This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

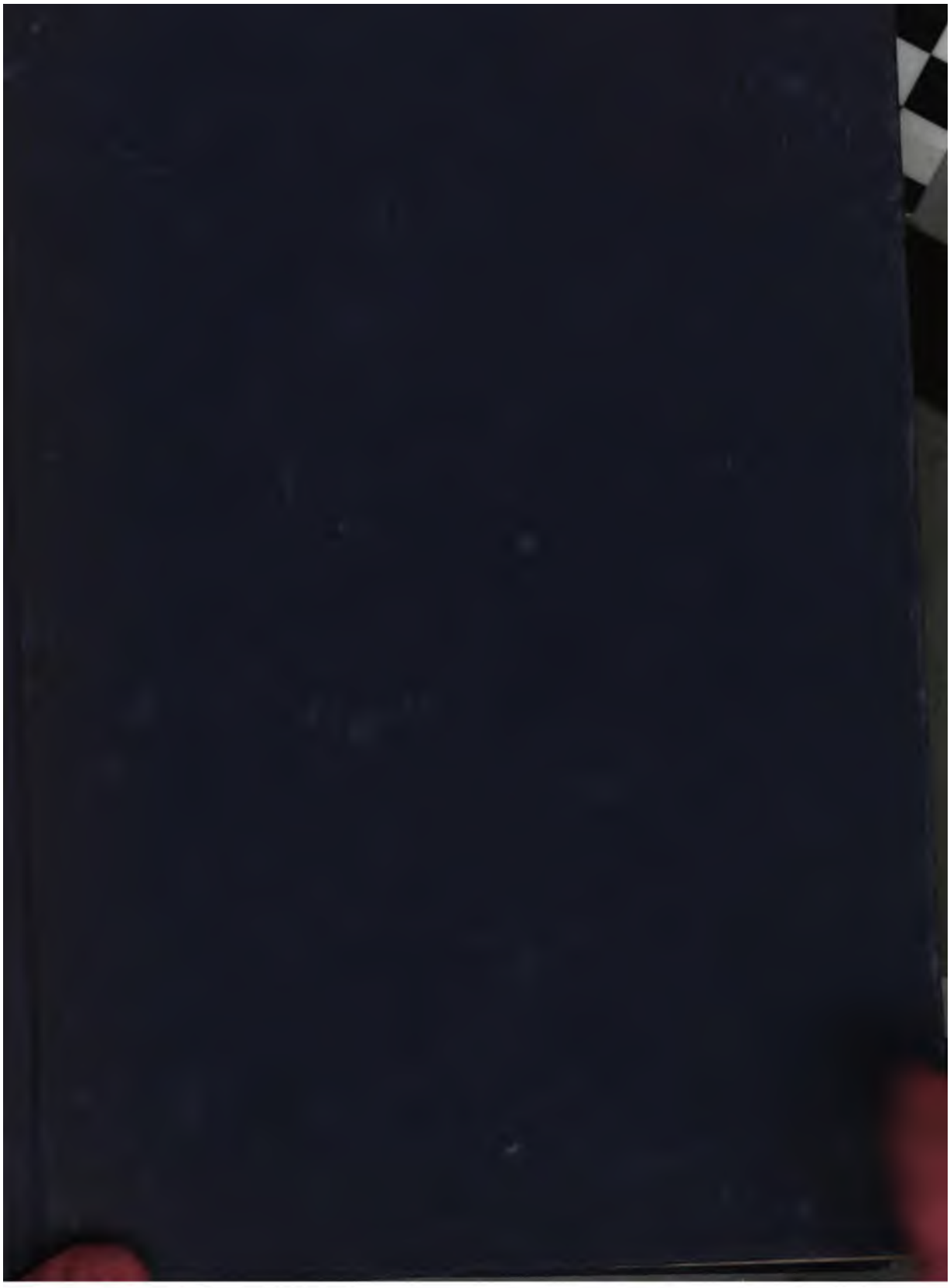
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Посвящается

священной памяти

моихъ дорогихъ родителей

и Того,

Чье довѣріе дало моей жизни смыслъ, моему труду вдохновеніе и моимъ убѣжденіямъ непобѣдимость.

Сентябрь 1897 г.
С.-Петербургъ.

Mereshcherskiy, V.P.

Кн. В. П. Мещерскій.

МОИ ВОСПОМИНАНІЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

(1850—1865 гг.)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія князя В. П. Мещерскаго. Спасская. № 27.
1897.

DK219.6
M4A3
v.1

I.

(До 1850-хъ годовъ).

Мои родители. — Мое дѣтство дома. — Мое дѣтство въ училищѣ Правовѣдѣнія. — Первые училищные начальники и воспитатели.

Самое цѣнное счастье въ жизни—это имѣть хорошихъ родителей.

Это счастье далъ мнѣ Богъ. Мать моя, старшая дочь великаго Карамзина, была олицетвореніемъ высокой души въ лучшемъ смыслѣ этого слова; подобной ей, русской женщины, я не встрѣчалъ: умъ ея былъ замѣчательно свѣтелъ и вѣренъ, сердце никогда не билось ни слабо, ни вяло, оно всегда билось сильно и горячо; любовь къ Россіи была культомъ ея души, а рядомъ съ этимъ все въ жизни міра ее интересовало; въ каждой мысли и въ каждомъ словѣ ея слышалось вдохновеніе правды и благородства... Оттого рѣчи ея покойный Тютчевъ называлъ: la musique d'une belle âme. Пошлость, ложь и сплетни она одинаково презирала, и все это вмѣстѣ взятое, не смотря на то, что она, больная, никуда не выѣзжала, дѣлало ея гостиную въ пятидесятыхъ годахъ средоточіемъ не только политической жизни, но патріотизма и благородства. Отецъ мой, съ оригинальнымъ чиномъ отставного подполковника гвардіи, жилъ издавна только семейною жизнью. Это былъ, безъ преувеличенія скажу, идеалъ человѣка христіанина, именно человѣка, потому

что онъ жилъ полною жизнью свѣта, но въ тоже время сіялъ, такъ сказать, красотою христіанства: его душа слишкомъ любила ближняго и добро, чтобы когда-либо помыслить злое, и въ то же время всегда веселый, всегда довольный, онъ жилъ жизнью всѣхъ, его окружавшихъ; все, что могъ, читалъ, всѣмъ интересовался и, подобно матери моей, никогда не задѣвалъ даже мимоходомъ ни лжи, ни чванства, ни пошлости, ни сплетни...

Таковы были совсѣмъ необыкновенныя, по нравственной красотѣ, существа, которыя я имѣлъ счастье получить отъ Бога родителями.

Увы, ни одно изъ этихъ душевныхъ красотъ, ни одинъ изъ этихъ даровъ не перешли ко мнѣ; но съ дурнымъ характеромъ и дурною натурою я получилъ, благодаря моимъ родителямъ, такую богатую для ума и для сердца духовную атмосферу, что съ раннихъ лѣтъ, рядомъ съ недостатками природы, въ душѣ моей стали жить идеалы, идеалы любви къ Россіи, идеалы правды и честности. Отчетливо помню, какъ въ ранніе уже годы дѣтства я постигъ въ атмосферѣ моихъ родителей, какъ надо любить Царя... Они жили въ карамзинскихъ преданіяхъ этой любви къ Царю... Это былъ глубокій и высокій культъ, но именно потому онъ не допускалъ ничего, похожаго на ложь, на холопство, на заискиванье того, что удовлетворяетъ чванству. И Государь Николай Павловичъ, и Государь Александръ Николаевичъ отлично знали про этотъ культъ въ семьѣ Мещерскихъ, интересовались тѣмъ, что говорилось въ гостиной моей матери, но знали въ то же время, что тамъ не вѣдалось—что значитъ кривить душою, и правда говорилась всегда полная, прямая и безстрашная... Духъ гордой, чистой и безпредѣльной любви къ Царю Карамзина царилъ въ нашей семьѣ...

На счетъ честности житейской — я живо помню, что въ раннемъ дѣтствѣ, когда мнѣ было 8 лѣтъ, я спасенъ былъ два раза строгостью моего отца и моей матери отъ опасности сдѣлаться безчестнымъ. Въ деревнѣ мы съ братомъ украли на оранжереѣ дыню; пятна на рубашкахъ насъ выдали; мы сознались, но нашъ отецъ, сказавши намъ, что кража есть страшный грѣхъ,—подвергъ насъ наказанію розгами и переполнилъ наши дѣтскія души ужасомъ и страхомъ къ этому преступленію. Потомъ черезъ годъ я совершилъ новый проступокъ противъ честности, не подозрѣвая его. Будучи въ училищѣ, я попросилъ у бабушки своей, Карамзиной, денегъ на лакомства. Бабушка мнѣ ихъ дала, но мать моя меня позвала, и съ такимъ глубокимъ чувствомъ объяснила мнѣ, что просить деньги у кого бы то ни было, кромѣ родителей, постыдно и гадко, что горько я заплакалъ, и невольно это запомнилъ...

Восьми лѣтъ меня отдали съ братомъ во вновь открывшіеся тогда приготовительные классы училища Правовѣдѣнія. Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій купилъ на свой счетъ барскій домъ Неплюева, на Сергіевской, и тамъ открылъ два класса, съ французомъ Бераромъ, пруссакомъ Штейномъ, и Шильдеромъ нѣмцемъ, какъ воспитателями. Это было своего рода постриженіе, но настоящее: мои длинныя кудри были безпощадно уничтожены казеннымъ цирульникомъ навсегда, и обстриженные по солдатски, мы поступили подъ строгую дисциплину школы...

Тогда директоромъ училища Правовѣдѣнія былъ старикъ Пошманъ; онъ доживалъ свой вѣкъ и процарствовалъ надъ нами только нѣсколько мѣсяцевъ... Но помню, что его фигура и его имя были авторитетны... Съ его смертью

назначили князя Голицына, изъ бывшихъ военныхъ... Онъ на насъ произвелъ впечатлѣніе своею сухостью и холодностью... При немъ кончился 48-й годъ, и до нашего тихаго дѣтскаго убѣжища мира и послушанія стали доходить смутные слухи о чемъ-то неладномъ въ училищѣ. Это неладное заключалось въ броженіи умовъ въ старшихъ классахъ, въ отдѣльныхъ скандалахъ, которые дѣлали воспитанники нѣкоторымъ изъ воспитателей и профессоровъ. Князь Николай Семеновичъ Голицынъ оказывался слабымъ и нерѣшительнымъ,—и пришлось въ 1849 году [illegible] Голицына смѣнить [illegible]. И мнѣ, что тогда у насъ [illegible] училищемъ недоволенъ. [illegible] замѣшанные въ [illegible] въ 1848 году...

[illegible] полицій-[illegible] въ генералы [illegible]. И мнѣ, какъ вчера [illegible] классы. Онъ [illegible] раздавался. [illegible] для приданія [illegible] наши классные [illegible] на столъ. [illegible] руками какъ [illegible] по швамъ! [illegible] и затѣмъ. [illegible] изъ класса. [illegible] вне-[illegible] вне-[illegible] и нимали [illegible] царя

отеческой строгости Папа Берара, нашего старшаго воспитателя, въ самой строгой дисциплинѣ...

Дисциплина была, дѣйствительно, строга. Она усилилась съ появленіемъ Языкова тѣмъ, что за то, что мы не ходили въ ногу въ строю, насъ ставили за черный столъ во время обѣда или завтрака...

Характернымъ проявленіемъ тогдашней школьной дисциплины врѣзалась въ память мою происходившая каждую субботу послѣ всенощной церемонія «petite-censure», какъ называлъ ее нашъ Папа Бераръ. Она была и торжественна, и страшна. Папа Бераръ съ ассистентами, въ лицѣ двухъ воспитателей, входилъ къ намъ въ классъ и садился за столъ. Начиналось чтеніе балловъ и нашего журнала поведенія... Всѣ грѣхи недѣли намъ припоминались, съ подобавшимъ внушеніемъ или наказаніемъ. Высшею мѣрою наказанія были розги...

Бравый преображенецъ, унтеръ-офицеръ Илья Ивановъ являлся въ лазаретъ и тамъ происходила экзекуція...

Какъ вчера, помню голосъ Папа Берара, читавшаго такого рода наставленія: Monsieur NN... a été mis à la table noire pour avoir p.. é dans son lit!

— Monsieur NN,—обращался онъ къ виновнику,— quand donc cesserez vous de p...r dans votre lit?..

Послѣ троекратнаго такого постановленія, бѣднаго NN приговаривали къ розгамъ...

— Александръ Ивановичъ,—обращался Папа Бераръ къ воспитателю Шильдеру,—il faut administrer à Monsieur ZZ. une petite correction... И ZZ отправлялся въ лазаретъ для экзекуціи... Но замѣчательно, что ZZ отъ этой дурной привычки отдѣлался.

Но вотъ настали опять безпокойныя времена въ стѣнахъ училища... Языковъ становился грознымъ.

назначили князя Голицына, изъ бывшихъ военныхъ... Онъ на насъ произвелъ впечатлѣніе своею сухостью и холодностью... При немъ кончился 48-й годъ, и до нашего тихаго дѣтскаго убѣжища мира и послушанія стали доходить смутные слухи о чемъ-то неладномъ въ училищѣ. Это неладное заключалось въ броженіи умовъ въ старшихъ классахъ, въ отдѣльныхъ скандалахъ, которые дѣлали воспитанники немилымъ изъ воспитателей и профессоровъ,—князь Николай Семеновичъ Голицынъ оказывался слабымъ и ненаходчивымъ,—и пришлось въ 1849 году сдѣлать coup d'état, т.-е. Голицына смѣнить и искать кого-нибудь построже... Помню, что тогда у насъ ходили слухи о томъ, что Государь училищемъ недоволенъ, и что найдены были будто косвенно замѣшанные въ исторіи Петрашевскаго, разыгравшейся въ 1848 году...

Этого строгаго человѣка нашли въ рижскомъ полиціймейстерѣ, полковникѣ Языковѣ. Его произвели въ генералы и отдали ему училище Правовѣдѣнія. Помню, какъ вчера, его появленіе къ намъ въ приготовительные классы. Онъ не вошелъ, а влетѣлъ, какъ ураганъ, поздоровался, и затѣмъ, съ глазами на выкатѣ, будто бы для приданія себѣ вида строгости, сталъ обходить наши классные столы... Я стоялъ съ руками, положенными на столъ. Онъ подошелъ ко мнѣ, ударилъ по обѣимъ рукамъ: какъ смѣть какъ стоять?—рявкнулъ онъ,—руки по швамъ! Другому тоже самое сдѣлалъ—онъ расплакался, и затѣмъ, сказавши такъ: смотрите у меня, вести себя хорошо, а не то расправа будетъ короткая!—вылетѣлъ изъ класса, оставивши насъ въ положеніи овечекъ, испуганныхъ внезапно расходившеюся грозою... Это было первое впечатлѣніе новаго режима, коего, разумѣется, мы не понимали ни смысла, ни причины, такъ какъ пребывали, благодаря

отеческой строгости Папа Берара, нашего старшаго воспитателя, въ самой строгой дисциплинѣ...

Дисциплина была, дѣйствительно, строга. Она усилилась съ появленіемъ Языкова тѣмъ, что за то, что мы не ходили въ ногу въ строю, насъ ставили за черный столъ во время обѣда или завтрака...

Характернымъ проявленіемъ тогдашней школьной дисциплины врѣзалась въ память мою происходившая каждую субботу послѣ всенощной церемонія «petite-censure», какъ называлъ ее нашъ Папа Бераръ. Она была и торжественна, и страшна. Папа Бераръ съ ассистентами, въ лицѣ двухъ воспитателей, входилъ къ намъ въ классъ и садился за столъ. Начиналось чтеніе балловъ и нашего журнала поведенія... Всѣ грѣхи недѣли намъ припоминались, съ подобавшимъ внушеніемъ или наказаніемъ. Высшею мѣрою наказанія были розги...

Бравый преображенецъ, унтеръ-офицеръ Илья Ивановъ являлся въ лазаретъ и тамъ происходила экзекуція...

Какъ вчера, помню голосъ Папа Берара, читавшаго такого рода наставленія: Monsieur NN... a été mis à la table noire pour avoir p.. é dans son lit!

— Monsieur NN,—обращался онъ къ виновнику,— quand donc cesserez vous de p...r dans votre lit?..

Послѣ троекратнаго такого постановленія, бѣднаго NN приговаривали къ розгамъ...

— Александръ Ивановичъ,—обращался Папа Бераръ къ воспитателю Шильдеру,—il faut administrer à Monsieur ZZ. une petite correction... И ZZ отправлялся въ лазаретъ для экзекуціи... Но замѣчательно, что ZZ отъ этой дурной привычки отдѣлался.

Но вотъ настали опять безпокойныя времена въ стѣнахъ училища... Языковъ становился грознымъ.

Объ этой грозѣ дошли до насъ нѣкоторые странные разсказы. Одинъ изъ нихъ особенно поразилъ наши дѣтскія души... Вскорѣ послѣ вступленія своего въ должность директора, Языковъ совершилъ коренную реформу въ воспитательномъ персоналѣ училища и, такъ сказать, въ самой дисциплинѣ. Реформа эта заключалась въ томъ, что почти весь штатскій персоналъ воспитателей былъ замѣненъ гвардейскими и армейскими офицерами, и во главѣ, такъ сказать, дисциплины и ея представителей, воспитателей—былъ поставленъ въ новой должности инспекторъ воспитанниковъ... Выборъ палъ на артиллерійскаго подполковника съ самою внушительною фамиліею, *Рутенберга*... Его наружность гармонировала съ его именемъ: высокаго роста, худой и сухой, съ рѣзкимъ подбородкомъ, съ медленною и всегда одинаковою походкою, онъ являлся передъ воспитанниками всегда суровымъ, всегда строгимъ, и улыбался раза два въ году, что, впрочемъ, не помѣшало намъ современемъ питать къ этому страшному человѣку уваженіе.

Съ назначеніемъ офицеровъ стали предъявляться къ воспитанникамъ строгія требованія почти военной выправки и дисциплины, и прежнія патріархальныя, добродушныя отношенія воспитанниковъ къ воспитателямъ замѣнились отношеніями скорѣе формальными и строевыми...

Эта перемѣна реформы вызвала нѣсколько одинокихъ протестовъ со стороны воспитанниковъ болѣе либеральныхъ, и сажаніе въ карцеръ на сутки стало учащаться... Языковъ, какъ мы дѣтскими умами понимали, по доходившимъ до насъ разсказамъ, хотѣлъ *что-то* сломить, и все усиливалъ свою строгость послѣ каждаго отдѣльнаго случая неповиновенія и строптивости...

И вотъ, вслѣдствіе такой системы усиленія наказаній,

произошелъ слѣдующій драматическій эпизодъ. Одинъ воспитанникъ 4 класса—съ 4-го класса воспитанники считались освобожденными отъ тѣлеснаго наказанія,—гуляя по залу, съ застегнутою на 3 пуговицы сверху курткою и съ руками въ боковыхъ карманахъ—два кармана были строго воспрещены,—мирно бесѣдовалъ съ своимъ товарищемъ... Подходитъ къ нему дежурный офицеръ, останавливаетъ его и приказываетъ ему застегнуть куртку и руки вынуть изъ кармана, а лѣвый карманъ велитъ зашить...

— Я развѣ вамъ мѣшаю?—отвѣчаетъ воспитанникъ, не вынимая руки изъ кармана, а другую руку переведя въ промежутокъ между разстегнутыми пуговицами куртки.

— Прошу не разсуждать,—отвѣчаетъ офицеръ,—и исполнить приказаніе.

— Не хочу,—отвѣчаетъ воспитанникъ.

— Въ карцеръ маршъ!

Виновный посаженъ былъ въ карцеръ.

Офицеръ доложилъ Рутенбергу, Рутенбергъ Языкову. Языковъ приходитъ въ сильное возбужденное состояніе, и рѣшаетъ, повидимому, что пришла минута показать себя во всей строгости своей власти.

Онъ стремглавъ летитъ въ залы училища.

— Строиться!—раздается по обѣимъ заламъ младшаго и старшаго курсовъ его страшный голосъ...

Три старшіе класса входятъ въ строю въ залъ младшаго курса. Затѣмъ онъ зоветъ всѣхъ наличныхъ учителей-профессоровъ и воспитателей, затѣмъ строитъ всѣ классы въ карэ, и вдругъ раздается команда: скамейку и розги...

Когда принесли скамейку и розги, Языковъ велитъ

и во всѣхъ проявленіяхъ жизни, и ея слѣды въ душѣ были такъ глубоки, такъ сознательны, что остались живыми на всю жизнь... Этотъ слѣдъ былъ 10 и 20 лѣтъ спустя тѣмъ недоумѣніемъ, тѣмъ непониманіемъ, съ которымъ я со всѣхъ сторонъ послѣ знакомился со сказками и толками о звѣрствѣ крѣпостного права, о лютости помѣщика... Въ нашей деревнѣ чуть ли не съ пеленокъ я видѣлъ только помѣщика въ лицѣ моего отца, и этотъ помѣщикъ былъ не только отцомъ, но былъ ангеломъ и добрымъ геніемъ для своихъ мужиковъ: когда я сталъ разсуждать и понимать, я именно этого ангела узналъ не по своимъ впечатлѣніямъ, а отъ мужиковъ, по тысячамъ проявленій ихъ обожанія къ нему. Я видѣлъ и понималъ, что мой отецъ не только въ каждомъ мужикѣ уважалъ человѣка, во Христѣ брата, но родного, близкаго ему, милаго ему сына, а съ другой стороны я сталъ видѣть и понимать, что другого значенія, какъ родного отца, мой отецъ для крестьянъ не имѣлъ. И въ этой, именно, семейной связи съ крестьянами мы росли. Мы знали чуть ли не всѣхъ крестьянъ по имени, знали каждую заботу, или печаль, или радость въ крестьянскихъ дѣлахъ, ни разу за рядъ лѣтъ мнѣ не пришлось слышать о наказанномъ моимъ отцомъ или его управляющимъ крестьянинѣ; а о помощи тому или другому сколько я слышалъ рѣчей въ устахъ моего отца...

До 1850 года въ деревнѣ съ нами жила моя бабушка, вдова великаго Карамзина, съ двумя незамужними дочерьми. Величавая и стройная 70-лѣтняя Екатерина Андреевна Карамзина была самымъ ярко-свѣтлымъ олицетвореніемъ привѣтливости и любви къ окружавшему ее міру... Отъ нея вѣяло правдою и благородствомъ, и я живо помню, какъ для каждаго она являлась какимъ-то величествен-

[illegible]

Съ этими впечатлѣніями [illegible] я на 7-лѣтнее заключеніе въ училище Правовѣдѣнія при Языковѣ.

При переходѣ изъ приготовительныхъ классовъ въ училище Правовѣдѣнія пришлось почувствовать разницу воспитательнаго режима... Въ рукахъ нашего [illegible] папа Берара мы чувствовали себя какъ будто въ своемъ домѣ, въ своей семьѣ: каждый изъ насъ сознавалъ свою дѣтскую личность не только существующею для нашихъ воспитателей, но до извѣстной степени имъ близкою; между ими и нами бывалъ постоянный обмѣнъ впечатлѣній, и самая строгость никогда не теряла характера семейнаго, дружескаго или отцовскаго обращенія...

При поступленіи въ училище, въ грозныя руки Языкова, пришлось съ нашими ощущеніями проститься: мы скоро поняли и почувствовали, что становились номерами, подъ которыми справляли свою функцію воспитанника.

Мы сразу постигли, что смѣшно, дико, ненемыслимо было бы представить себѣ нашего брата воспитанника, идущимъ къ директору съ душевнымъ вопросомъ... И то

[redacted]

[illegible] относит[illegible]

[illegible] питателей и [illegible]

[illegible] отношенія

[illegible] жизнь въ

[illegible] съ тѣмъ

[illegible] наблюдали

[illegible] прихо-

[illegible] нашихъ

[illegible] и

[illegible] въ

[illegible]ія

[illegible]

строгость будетъ сердитая; если въ черной—легче было на душѣ: его строгость была мягче и подчасъ нарушалась улыбкою...

Самымъ безпощаднымъ былъ учитель латинскаго языка П. М. Носовъ... Онъ ничего не зналъ, кромѣ мертвостроганго преподаванія урока, и затѣмъ спрашивалъ съ самою безпощадною формальностью, и единицы и двойки сыпались на насъ безъ счета...

Это было возмутительное преподаваніе; мы это чувствовали дѣтьми, но для обрисованія курьезнаго взгляда на внутренній режимъ Языкова—не могу здѣсь не вспомнить, что какъ въ теченіе 7 лѣтъ ни разу ни инспекторъ воспитанниковъ не приходилъ къ намъ невзначай, такъ ни разу въ эти 7 лѣтъ я не видѣлъ, чтобы инспекторъ классовъ (сперва Кранихфельдъ, а потомъ Ф. Ф. Витте) вошелъ въ классъ послушать, какъ учитъ учитель и какія у него отношенія къ воспитанникамъ...

Самыми симпатичными изъ воспитателей для насъ были самые оригинальные, отличавшіеся своею грубостью, какъ воспитатель артиллеристъ Геруцотъ, принявшій насъ въ 6 классѣ, и умѣвшій съ удивительною грубостью и вспыльчивостью соединять ласку и доброту, и отставной военный полуфранцузъ Малльо, котораго мы любили, во-первыхъ, за его доброту, во-вторыхъ, за то, что онъ дежурилъ въ лучшій день нашей недѣли, по субботамъ; онъ имѣлъ вкусъ къ остротамъ, и доводилъ ее до самой утонченной пытки, которую онъ относительно насъ придумалъ, и которою гордился, а именно подходить къ кровати за четверть часа до ужаснаго утренняго звонка, стаскивать одѣяло и говорить: спи скорѣе, mon cher, скоро звонокъ!

У нашего инспектора Рутенберга любимымъ словомъ,

исходившимъ изъ подъ его черныхъ усовъ, были страшные звуки: *я васъ вздеру...* Вотъ онъ розгами распоряжался неумѣло, и мы дѣтьми понимали разницу между отеческимъ пользованіемъ розгами нашего папа Берара и между неумѣлымъ и взбалмошнымъ обращеніемъ съ тѣми же розгами нашего артиллериста-инспектора... Напримѣръ, онъ велъ за руку тихимъ шагомъ *драть* воспитанника, пойманнаго за куреніе, и тѣмъ же тихимъ шагомъ и тою же рукою велъ на экзекуцію воспитанника за гадость... Когда дѣти понимаютъ разницу въ проступкахъ, и видятъ, что воспитатели ея не дѣлаютъ, тогда розги теряютъ свое благодѣтельное педагогическое значеніе.

Дисциплина у насъ, какъ я сказалъ, была почти военная... На улицѣ мы обязаны были отдавать честь всѣмъ военнымъ, а Царской Фамиліи и генераламъ становились во фронтъ... Послѣ завтрака насъ обучали офицеры военному строю и маршировкѣ, и отъ времени до времени Принцъ пріѣзжалъ дѣлать намъ смотры...

И, надо сказать правду, эта военная школа давала блестящіе результаты: мы держали себя стройно и имѣли бравый видъ, нисколько не тяготясь строгими требованіями выправки, къ намъ предъявляемыми.

Около февраля мѣсяца начиналось особенное подтягиваніе; насъ одѣвали въ новыя куртки и мы въ 1851 году впервые узнали, что ждемъ Государя и для этого насъ облекаютъ въ новыя одѣянія.

Но прошелъ и 51-й годъ, прошелъ и 52-й годъ, а Государь не пріѣзжалъ...

Наступилъ февраль 1853 года...

Какъ вчера помню одинъ изъ этихъ дней. Мы сидѣли въ классахъ около 3-хъ часовъ... вдругъ послышалась страшная суета: кто-то пробѣжалъ опрометью

по залѣ, затѣмъ вбѣжалъ къ намъ въ классъ одинъ изъ сторожей и, запыхавшись, прокричалъ: Государь пріѣхалъ...

Трудно передать, что мы въ эту минуту испытали...

Каждому изъ насъ въ первый разъ въ жизни предстояло лицомъ къ лицу совсѣмъ близко увидѣть того самаго Государя, котораго видъ на улицѣ издали производилъ на насъ какое-то необыкновенное дѣйствіе благоговѣйнаго страха...

Учитель нашъ замеръ и мы всѣ замерли... Учитель нѣмецкаго языка сталъ что-то намъ говорить, но совсѣмъ растерянно, очевидно, мы его не слушали и онъ самъ—мы это видѣли — не слушалъ себя... Онъ и мы всецѣло отдались ожиданію того великаго, что сейчасъ должно свершиться.

Большія стеклянныя двери выходили въ нашъ рекреаціонный залъ. Вдругъ послышался шумъ, сердце у каждаго забилось, мы оглянулись направо, и видимъ сквозь стеклянныя двери, какъ идетъ Государь. Онъ былъ въ сюртукѣ конногвардейскаго полка, съ эполетами, и шелъ онъ тихимъ и ровно величественнымъ шагомъ, и стекла нашей двери дрожали; за нимъ въ припрыжку сѣменилъ Языковъ, затѣмъ инспекторъ и дежурный офицеръ...

Но вотъ входитъ Государь въ классъ и останавливается...

— Здравствуйте, дѣти,—сказалъ онъ намъ громкимъ и привѣтливымъ голосомъ, глядя на насъ ласково. Этотъ чудный, ясный и въ тоже время именно ласковый взглядъ помню, какъ вчера.

Наше «здравья желаемъ Ваше Императорское Величество»—было не только громкое, но и восторженное...

Затѣмъ Государь сталъ глазами обходить каждаго поочередно, какъ бы разсматривая насъ, и провѣряя наши

физіономіи... Мы всѣ глядѣли ему прямо въ глаза, стоя молодцами, съ руками по швамъ. Въ другомъ классѣ, обозрѣвая физіономіи, Государь остановился на одномъ воспитанникѣ, глядѣвшимъ какъ-то изъ подлобья, приблизился къ нему и ласковымъ голосомъ спросилъ его: а у тебя развѣ совѣсть не чиста, что ты не хочешь глядѣть твоему государю въ глаза? Затѣмъ, поклонившись учителю и спросивши: чему они учатся, Государь послалъ намъ поклонъ головою, и пошелъ въ слѣдующій классъ... Въ одномъ изъ классовъ, гдѣ преподавалась географія, учитель Кайпшъ такъ испугался присутствія Царя, что на вопросъ Государя: что преподается, онъ отвѣтилъ— Егоръ Кайпшъ, Ваше Величество. — Что? — повторилъ Императоръ, никогда не слыхавшій про такое имя науки, и уже инспекторъ классовъ долженъ былъ выручить бѣднаго, растерявшагося учителя, сказавши: географія, Ваше Величество.

Когда Государь кончилъ осмотръ классовъ и, пройдя по спальнямъ, сталъ направляться къ лѣстницѣ, тогда мы всѣ изъ классовъ выскочили, и неудержимымъ потокомъ понеслись провожать Государя до подъѣзда... Въ сѣняхъ, когда ему подали его старую, изношенную шинель, съ небольшимъ потертымъ бобровымъ воротникомъ, Государь протянулъ руку Языкову и сказалъ ему; спасибо, ты мнѣ изъ правовѣдовъ сдѣлалъ молодцовъ... Разумѣется, многіе бросились бѣжать за санями чуть ли не до Прачешнаго моста... Языковъ, сіяющій отъ восторга, отпустилъ насъ по домамъ. Когда Государь ему протянулъ руку, онъ сталъ на одно колѣно, и поцѣловалъ ему руку. Опала съ училища Правовѣдѣнія была снята, а лежала она на немъ съ 1848 года...

III.

(1853—1854 годъ).

Крымская война. — Что говорилось о ней въ нашей семьѣ. — Муки Императора Николая. — Настроеніе Россіи.

Въ эпоху турецкой, а потомъ англо-французской войнъ я былъ уже въ четвертомъ классѣ училища 15-лѣтнимъ юношей и многое изъ того славно грустнаго времени запомнилъ отчетливо. Въ гостиной моихъ родителей сходились всѣ тогдашніе толки, всѣ слухи и въ особенности настроенія... Въ началѣ зимы 1853—1854 годовъ въ числѣ часто посѣщавшихъ нашу гостиную, на положеніи пріятеля, былъ лордъ Непиръ, членъ англійскаго посольства... Его положеніе было трудное: живыя связи дружбы влекли его въ нашу гостиную, а горизонтъ политики начиналъ становиться все темнѣе. Пустыхъ и свѣтскихъ разговоровъ тогда не было; всѣ мысли вращались около турецкаго вопроса, и волею неволею лорду Непиру приходилось, какъ пріятелю карамзинской семьи, выслушивать многое, что ему, какъ агенту англійскаго посольства, не могло быть пріятнымъ... Въ эту роковую зиму отъ него мы узнали о тогдашней извѣстной бесѣдѣ Императора Николая Павловича съ Сеймуромъ, тогдашнимъ англійскимъ посломъ въ Петербургѣ. Этотъ Сеймуръ пользовался въ Петербургѣ уваженіемъ и симпатіями, потому что онъ былъ очень порядочный человѣкъ. Такимъ же

[illegible] Николаемъ I, гдѣ несом-
[illegible] англійскій дипломатъ,
[illegible] Императору человѣкъ...
[illegible] высказались
[illegible] другой стороны—его
[illegible] рыцарству въ
[illegible] была въ немъ такъ
[illegible] въ своей бесѣдѣ
[illegible] умный дипломатъ.
[illegible] Сеймуръ заговорилъ
[illegible] друга и обрисовалъ
[illegible] затрудненія и опасности;
[illegible] Николая и имѣть на него
[illegible] въ средѣ окружавшихъ
[illegible] людей не было храб-
[illegible] Нессельроде меньше чѣмъ
[illegible] предостеречь Николая настолько
[illegible] дипломатическое улаженіе
[illegible] Николай I съ обычнымъ фана-
[illegible] своей военной силѣ,
[illegible] и правотѣ своего дѣла...
[illegible] дружбѣ королевы англій-
[illegible] тоже сыграла свою
[illegible] разговора Сеймура
[illegible] тѣми впечатлѣніями.
[illegible] Императорѣ Николаѣ послѣ
[illegible] всѣмъ вскру-
[illegible] что никто въ
[illegible] вотъ съ первыхъ
[illegible] I. Императоръ
[illegible] королевы англій-
[illegible] которыхъ коро-

лева повторяла свои завѣренія къ нему дружбы, и высказалъ Сеймуру мысль, что онъ никогда не допуститъ, чтобы королева могла въ своей политикѣ относительно Россіи измѣнить этой дружбѣ къ нему... На это Сеймуръ отвѣтилъ Императору, что онъ ни одной минуты не сомнѣвается въ искренности и прочности дружбы королевы къ нему, но что въ тоже время онъ долженъ напомнить Государю, что королева своимъ личнымъ вліяніемъ, даже если бы захотѣла, можетъ очень мало,—какъ относительно правительства и парламента, такъ и относительно общественнаго мнѣнія въ Англіи; что Восточный вопросъ есть вопросъ для Англіи самый чувствительный и острый, и что, по его свѣдѣніямъ, настроеніе общественнаго мнѣнія по этому вопросу къ Россіи недоброжелательно и недовѣрчиво, и что малѣйшая попытка королевы въ пользу Россіи въ данную минуту можетъ встрѣтить такое противодѣйствіе въ умахъ Англіи, что ей придется по необходимости заглушить въ себѣ всѣ свои личныя симпатіи и подчиниться вліянію на нее общественнаго мнѣнія...

Императоръ на эту дружескую откровенность Сеймура отвѣтилъ ему, что онъ не вѣритъ въ безсиліе королевы направлять политику Англіи, но что если въ крайнемъ случаѣ она должна будетъ уступить вліянію партіи, враждебной Россіи, онъ угрозы Англіи бояться не будетъ, и твердо разсчитываетъ на правоту своего дѣла, на силы и преданность своего народа и на вѣрность своихъ союзниковъ въ Европѣ... Вотъ тутъ Сеймуръ сказалъ свои знаменитыя слова объ Австріи, и вставилъ потому, что, какъ онъ говорилъ послѣ, онъ себя чувствовалъ болѣе въ роли искренняго благожелателя Императора Николая, чѣмъ англійскаго дипломата, и ему было и больно, и досадно

оставлять благороднаго монарха въ такомъ роковомъ для него заблужденіи относительно Австріи... Эти личныя чувства къ Императору Николаю и побудили его сказать Государю, что изъ всѣхъ государствъ Европы, по его мнѣнію, всего менѣе слѣдуетъ вѣрить Австріи, и что разсчитывать на ея благодарность или на ея преданность Россіи, по его мнѣнію, будетъ роковою для Императора ошибкою... Какъ я сказалъ, эта знаменательная историческая бесѣда тогдашняго англійскаго посла съ Императоромъ Николаемъ не произвела желаннаго дѣйствія на Русскаго Государя: онъ остался твердъ въ своихъ иллюзіяхъ рыцаря, и въ особенности, какъ говорилъ Сеймуръ, въ своей вѣрѣ въ свою правоту, и въ то, что за него вся Россія...

Лордъ Непиръ, говоря объ этомъ, раздѣлялъ вполнѣ мнѣніе своего принципала, и отъ себя, съ весьма тонкимъ чутьемъ умнаго наблюдателя событій, онъ прибавлялъ, что, по его мнѣнію, во всякомъ случаѣ, не отъ Англіи ждать иниціативы къ войнѣ съ Россіею, что все возбужденіе противъ Россіи идетъ изъ тюльерійскаго кабинета, и что, по его мнѣнію, положеніе можно было бы спасти тѣмъ, чтобы перервать переговоры Наполеона съ Пальмерстономъ противъ Россіи сепаратными переговорами русскаго кабинета съ англійскимъ, что такая политика ему казалась бы производительнѣе, чѣмъ разсчитывать на Австрію и Пруссію, но что, очевидно, именно такой оборотъ политики въ Восточномъ вопросѣ трудно предвидѣть, потому что Императоръ Николай, повидимому, не хочетъ ни вести прямыхъ переговоровъ съ Англіею, ни допустить возможности измѣны Австріи.

Какъ бы то ни было, но событія шли своимъ ровнымъ ходомъ, и какъ совершенно вѣрно говорилъ лордъ Непиръ,

инициатива враждебности противъ Россіи исходила отъ Наполеона III. Менѣе, чѣмъ кто-либо, онъ скрывалъ свои личныя чувства обиды и мести противъ Николая I, и всѣ знали, что они исходили изъ того, что въ письмѣ Николая I по случаю провозглашенія президента республики Наполеона императоромъ Франціи онъ назвалъ его не братомъ, а другомъ, и этимъ подчеркнулъ свое къ нему пренебреженіе передъ всею Европою...

Но живо помню, что въ одномъ Императоръ Николай былъ безусловно правъ въ то время, — это въ своемъ убѣжденіи, или въ своемъ чутьѣ, что за него вся Россія. Въ ходѣ событій тогда было дѣйствительно что-то роковое; все шло по какой-то инерціи, если можно такъ выразиться, къ роковой развязкѣ, къ войнѣ, и къ какой войнѣ!— напомнившей 1812-й годъ, къ войнѣ для Россіи страшной: но нигдѣ, ни въ какихъ гостиныхъ, ни въ какихъ умахъ—не чувствовалось и не слышалось иного настроенія, какъ патріотическая готовность идти на встрѣчу этой войнѣ, не взирая ни на какія угрозы, не взирая на то, что, въ сущности, становясь на реальную и прозаически практическую почву, не трудно было бы повернуть дѣло и затянуть его въ сферу безконечныхъ дипломатическихъ переговоровъ и найти почетный ему исходъ помимо войны... Пруссія предлагала свои посредническія услуги, а съ другой стороны, на что и лордъ Непиръ намекалъ въ своихъ разговорахъ, Англія въ сущности скорѣе враждебно относилась къ имперіи Наполеона III, чѣмъ дружелюбно, и пошла бы, можетъ быть. именно вслѣдствіе этого на сепаратные переговоры съ Россіею, но интриги Наполеона III и ходъ событій съ его характеромъ слѣпого рока — вталкивали Англію въ объятія тюльерійскаго авантюриста.

Такимъ образомъ, объявленіе войны западнымъ союзникамъ Россіи встрѣтило Россію въ самомъ наэлектризованномъ воинственномъ настроеніи и въ тоже время въ полномъ безстрашіи... Думаю, что въ этомъ была волшебная сила такого сильнаго любовью къ Россіи и вѣрою въ Россію Монарха, какимъ былъ Императоръ Николай. Онъ своимъ безстрашіемъ всѣхъ воодушевилъ сверху донизу...

Въ нашей семьѣ все, разумѣется, горѣло этимъ патріотизмомъ. Старшій сынъ Карамзина, Андрей Николаевичъ, оросилъ свою богатую и счастливую жизнь въ Демидовскомъ палаццо, гдѣ онъ жилъ съ своею женою, вдовою Демидова и съ молодымъ ея сыномъ, и поступилъ снова въ военную службу, въ дѣйствующую армію. Остальные два сына и старшій зять мой поступили въ ополченіе.

IV.

(1854—1855 годовъ).

Ополченцы. — Послѣдній кадетскій выпускъ при Николаѣ I. — Прекрасныя черты патріотизма въ высшемъ обществѣ въ Петербургѣ. — Князь В. А. Долгорукій. — Князь Меньшиковъ. — Князь Горчаковъ. — Двѣ стороны тогдашняго военнаго міра.

Въ это петербургское ополченіе, предназначавшееся для береговой обороны, подъ вліяніемъ тогдашняго настроенія, офицерскія должности по Петербургскому уѣзду разобраны были на расхватъ самыми блестящими представителями нашего высшаго общества. Можно было думать, что это были князья и графы, поступившіе въ ополченіе только для формы нести службу, но вышло совсѣмъ наоборотъ. Въ этомъ ополченіи создалось между офицерами одно изъ благороднѣйшихъ состязаній: кто кого лучше отдастся царской службѣ; создалась симпатичная единомышленная семья, началась самая горячая и строгая военная служба, ополченецъ солдатъ сталъ для каждаго офицера въ отношенія чисто семейныя, при введеніи самой строгой дисциплины, и когда Императоръ Николай на майскомъ парадѣ увидѣлъ въ строю это ополченіе, онъ удивился, что въ нѣсколько мѣсяцевъ офицеры сумѣли сдѣлать съ своими ополченцами то, что годами дѣлалось въ строю съ солдатами, и громко похвалилъ петербургское ополченіе... А затѣмъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя до Петербурга стали доходить извѣстія о томъ, какими героями явивились

[illegible] на [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] стрѣлко-
[illegible] оставленъ
[illegible] крестьянъ
[illegible] замѣчательный
[illegible] въ Царскомъ Селѣ.
Кра[illegible] замѣчательна.
[illegible] красивѣе и [illegible]
[illegible] красивая
[illegible] измѣне-
ніями [illegible] первомъ смотру
[illegible] графъ Левъ Перов-
скій [illegible] Государь Николай
Павловичъ [illegible] Великіе Князья
были въ той же [illegible] красивъ въ
этомъ мундирѣ былъ Императоръ Николай. Крики «ура»,
огла[illegible] —длились нѣсколько
минутъ.

Къ [illegible] Софійскомъ полѣ, помню еще [illegible] впечатлѣніямъ зрѣлище. Лагерь военно-учебныхъ заведеній былъ въ Царскомъ Селѣ. Вечеромъ въ одинъ изъ іюльскихъ дней было назначено окончаніе лагеря и производство выпускныхъ въ офицеры. Наслѣдникъ Александръ Николаевичъ, въ мундирѣ военно-учебныхъ заведеній и въ каскѣ съ знаменитымъ сіяніемъ, окружавшимъ орелъ, безъ султана, велъ кадетъ на Софійское поле. Настроеніе молодежи было сильнѣе воинственнаго. Пріѣзжаетъ верхомъ Николай Павловичъ. Всѣ затрепетали. Пошли раскаты безконечно-громкаго «ура». Когда кончился смотръ, Императоръ подозвалъ къ себѣ всѣхъ

новыхъ офицеровъ и сказалъ имъ прощальное слово. Каждое слово громко звучало по воздуху, потому что молчаніе царило торжественное... Видъ этихъ сотенъ юныхъ молодцовъ, окружавшихъ Императора, притаившихъ дыханіе, съ какимъ-то обожаніемъ глядѣвшихъ на своего Государя и жадно внимавшихъ Его словамъ, сознаніе, что глаза ихъ горятъ потому, что въ эту минуту, лучшую минуту ихъ жизни, силы и расцвѣта, у каждаго на душѣ — мысль о славной смерти за свою родину, за своего Царя, и что въ этой мысли о смерти за родину тайна этихъ веселыхъ, вдохновенныхъ и влюбленныхъ въ Государя своего молодыхъ лицъ,—все это придавало зрѣлищу что-то невыразимое никакимъ словомъ. Послѣ первыхъ словъ привѣтствія молодежи прозвучали слова о трудномъ положеніи Россіи, потомъ звучный голосъ Государя заговорилъ объ его вѣрѣ въ русскую армію и затѣмъ въ концѣ рѣчи прозвучали торжественные звуки прощанія... Прощайте дѣти, приведетъ-ли намъ Богъ увидаться, не знаю, но моя мысль и мое отцовское благословеніе съ вами; кто будетъ въ бою, пусть помнитъ объ этомъ: за честь Россіи не страшно умереть... Богъ съ вами, дѣти мои, прощайте! Вотъ приблизительно слова, сказанныя Императоромъ. Голосъ въ немъ не дрогнулъ, но на глазахъ Императора блеснули слезы, всѣ стоявшіе вблизи ихъ увидали; заплакали тогда многіе юноши, но то были чудныя слезы молодыхъ героевъ, дѣтей, прощающихся со своимъ обожаемымъ отцомъ, и едва смолкъ голосъ Государя, и его правая рука поднялась, чтобы благословить свою семью новыхъ офицеровъ, какъ сквозь слезы всѣ эти лица засіяли, всѣ крикнули такое «ура», какого я никогда послѣ не слыхалъ, птенцы бросились къ Императору; они подскакивали до его груди и цѣловали

ее, они покрывали поцѣлуями руку, кто хваталъ его саблю, кто бросался къ лошади, желая на ней поднять и понести Государя, и эту улыбку, добрую, ласковую и глубоко задушевную, съ которою глядѣлъ Императоръ на свою семью офицеровъ, разумѣется нельзя было забыть, какъ не забыли и того, что всѣ мы, старъ и младъ, глядѣвши на эту картину, плакали навзрыдъ...

Наша семья въ то время была въ траурѣ... 16 мая убитъ былъ въ Дунайской арміи, близъ Ольтеница, полковникъ Карамзинъ, мой дядя, Андрей Николаевичъ, старшій сынъ Карамзина. Онъ выпросилъ себѣ, горя желаніемъ быть въ дѣлѣ, рекогносцировку и съ своимъ Александрійскимъ гусарскимъ полкомъ выступилъ 15 мая. Но, введенный въ заблужденіе невѣрнымъ показаніемъ лазутчика, онъ наткнулся на громадный турецкій отрядъ и былъ окруженъ. Часть его отряда успѣла спастись, но самъ онъ предпочелъ бѣгству или плѣну смерть героя и былъ изрубленъ баши-бузуками.

Такимъ же горемъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя, но на другомъ поприщѣ, проявилъ себя и младшій сынъ Карамзина, Владиміръ Николаевичъ. Въ зиму 1854—1855 года страшный тифъ объявился въ нашей южной крымской арміи... Изъ Петербурга стали отправляться всякія медицинскія пособія и гостинцы для бѣдныхъ раненыхъ и больныхъ въ большихъ размѣрахъ. Императрица Александра Ѳеодоровна и Цесаревна Марія Александровна стали во главѣ этихъ отправокъ. Посылались туда уполномоченные для завѣдыванія этою раздачею пособій и подарковъ раненымъ и больнымъ. Въ ряды этихъ уполномоченныхъ наперерывъ стремились лучшіе люди высшаго общества. Вскорѣ мы узнали, что эта комиссія была равносильна боевой службѣ на самыхъ опасныхъ бастіо-

нахъ. Первый уполномоченный, прекрасный графъ Віельгорскій, заразился тифомъ и умеръ; на его мѣсто поѣхалъ князь Долгорукій, въ цвѣтѣ лѣтъ, бодрый и здоровый; не прошло мѣсяца, какъ и онъ палъ жертвою ужасной эпидеміи. Тогда взялъ на себя эту миссію Владиміръ Николаевичъ Карамзинъ... Съ нимъ прощались, какъ съ ѣдущимъ на вѣрную смерть. Но его звѣзда оказалась счастливѣе... Онъ вернулся изъ Севастополя не заболѣвши...

Жертвовали на нашихъ солдатъ и офицеровъ-севастопольцевъ все, что могли... Я помню, что въ одномъ домѣ, у графини N., сидѣло вечеромъ нѣсколько собесѣдниковъ за скромнымъ чайнымъ столомъ. Говорили о нуждѣ въ пожертвованіяхъ; въ числѣ собесѣдниковъ былъ знаменитый тогда богачъ Яковлевъ.

— Хотите чаю?—спросила его хозяйка.

— Даромъ или за пожертвованіе?—спросилъ Яковлевъ.

— Я даю даромъ,—отвѣтила хозяйка,—а вы принимайте, какъ хотите...

Яковлевъ взялъ чашку чая, затѣмъ, спросивъ себѣ кусочекъ бумаги и карандашъ, написалъ что-то на ней, свернулъ и отдалъ хозяйкѣ.

Это что-то оказалось слѣдующими краткими словами: «1 милліонъ. Яковлевъ».

Наши военныя неудачи нистолько не понижали наше духовное настроеніе. Напротивъ, оно росло и крѣпло... Чувствовалось, что мы очищались отъ чего-то страданіями душевными... Они вездѣ слышались, ибо не было семьи, гдѣ бы не оплакивался какой-нибудь раненый или убитый, и не было человѣка съ душою, который не жилъ тогда всецѣло этою душою въ нашемъ военномъ мірѣ...

Одно, что смущало насъ,—это роковыя неудачи въ назначеніяхъ и въ военномъ министерствѣ...

Послѣднее было, очевидно, въ неумѣлыхъ, хотя и честныхъ рукахъ. Военнымъ министромъ былъ тогда князь Василій Андреевичъ Долгорукій; его братъ, князь Владиміръ, завѣдывалъ провіантомъ.

Князь Василій Андреевичъ былъ прекрасный и честный человѣкъ. Когда онъ былъ еще молоденькимъ конно-гвардейскимъ офицеромъ, Императоръ Николай почему-то разъ поднялъ его на руки, поцѣловалъ въ лобъ и сказалъ ему: вотъ мой будущій военный министръ...

Пророчество это сбылось. И какъ разъ въ самую трудную военную минуту для Россіи... Совсѣмъ не подготовленный къ этой трудной должности, мало знакомый съ боевымъ дѣломъ, и вообще плохой администраторъ, князь Василій Андреевичъ Долгорукій могъ только проявлять честность, преданность и усердіе, но умѣніе было ему не подъ силу... и много обвиненій сыпалось на его голову.

Я помню, что въ военномъ отношеніи эта страдная и въ тоже время славная эпоха—была поразительно странна тою двойственностью впечатлѣній, которыя отъ нея происходили... Съ одной стороны сыпались обвиненія, и обвиненія, къ сожалѣнію, основательныя, на нашихъ главнокомандующихъ и, вообще, на высшихъ военныхъ лицъ... На князя Меньшикова много легло обвиненій за допущенную высадку, за потопленіе славнаго черноморскаго флота, за неудачу первыхъ дѣлъ, за отсутствіе предусмотрительности, за плохое состояніе всей интендантской, всей госпитальной частей, за неумѣлый выборъ людей, словомъ, за все, что въ началѣ Крымской кампаніи изодня въ день насъ поражало такъ неожиданно и такъ грустно; но затѣмъ, когда этотъ злополучный князь Меньшиковъ былъ смѣненъ и замѣненъ княземъ Горчаковымъ, мы стали слышать новаго только отзывы и

анекдоты о феноменальной разсѣянности этого главнокомандующаго, но чтобы явилась съ его назначеніемъ новая эра въ веденіи дѣла, мы про это не слышали... Тѣ же ужасныя подробности о страшномъ состояніи всей подвозной части и госпитальной части, то же ощущеніе, что *тамъ*, на мѣстѣ нашихъ скорбей и нашихъ славныхъ подвиговъ, не было головы и хозяина. И когда мы слышали объ этомъ разсказы отъ пріѣзжавшихъ *оттуда* и связывали невольно съ тѣмъ, что говорилось въ Петербургѣ въ обвиненіе неумѣлости военнаго министерства, тогда становится понятнымъ то нравственное страданіе, которое долженъ былъ испытывать Императоръ Николай, и испытывалъ, и въ особенности то состояніе умовъ, отчасти разочарованныхъ, отчасти угнетенныхъ, изъ котораго послѣ окончанія войны, или, вѣрнѣе, послѣ смерти Императора Николая, такъ сильно и такъ осязательно, и такъ заразительно вышло огульное порицаніе и осужденіе всей эпохи, будто бы приведшей къ банкротству все прошлое и старое и требовавшее будто бы какого-то всеобщаго и коренного перерожденія... Всецѣло живя только впечатлѣніями изъ военнаго міра, мы, невольно поддавшись унынію, перенесли его на все, на весь тогдашній государственный міръ, то есть утратили способность различать хорошее отъ дурного и, какъ я сказалъ, огульно все осуждали...

А рядомъ съ этимъ была другая сторона военнаго міра, великолѣпная и святая сторона, которой мы были обязаны тѣмъ, что сердца и души наши не дрогнули и духъ не упалъ ни въ комъ въ то время, пока умы, какъ я говорилъ, предавались унынію отъ неудачъ военной администраціи. Сторона была — ежедневная лѣтопись подвиговъ героизма въ Севастополѣ... Мы чувствовали и понимали, что всѣ тамъ герои, и каждая малѣйшая

подробность этой эпопеи, приходившая оттуда, вносила въ нашу будничную жизнь что-то необыкновенно святое и облагораживающее, отъ самой великой картины—севастопольскихъ моряковъ, съ Нахимовымъ и Корниловымъ, до самой маленькой, какъ разсказы о подвигахъ арестантовъ и публичныхъ женщинъ на бастіонахъ... Это былъ какой то героическій эпосъ древности, который въ тысячахъ подробностей мы переживали всѣми нашими нервами и всѣми нашими мыслями...

Потомъ, нѣсколько лѣтъ спустя, многіе изъ насъ поняли, какъ мы пристрастно, подъ вліяніемъ дурныхъ впечатлѣній отъ военнаго управленія, отнеслись къ оцѣнкѣ эпохи Николая; вообще, поняли, что эта вторая сторона военнаго міра, этотъ героизмъ, какъ состояніе духовное всѣхъ, и общій какъ черноморскому моряку, такъ и курскому ополченцу, и давшій намъ возможность пережить эту долгую войну въ высокомъ патріотическомъ настроеніи,—и былъ чуднымъ результатомъ николаевскаго царствованія, сумѣвшаго духовный русскій міръ не только сберечь въ его богатствѣ и въ его мощи, но усилить его, обогатить запасами, такъ сказать, неистощимыми. Одинъ черноморскій флотъ въ его проявленіяхъ въ Севастополѣ — что за исполинская сила, что за чудная краса, какъ духовный міръ,—взлелѣянныя и сбереженныя духомъ Николая I! А кавказскій военный міръ, съ его тоже чудными доблестями, духовными сокровищами, развѣ не былъ созданіемъ николаевской эпохи?.. А тогдашній духовный міръ всей Россіи и отдѣльно каждаго дѣятеля, отъ малаго до крупнаго, наши чувства и наши мысли—развѣ все это не было плодами николаевскаго царствованія и именно его духа? Эти двѣ стороны военнаго вопроса имѣли каждая свое духовное рѣшающее дѣйствіе

на исходъ Крымской войны. Тогда мы этого не сознавали, но поняли потомъ. Умъ, судившій строго наше безпомощное состояніе военной администраціи, со смертью Николая I, при первой возможности, подъ вліяніемъ общаго, какъ я сказалъ, разочарованія, направлялъ всѣ мысли къ скорѣйшему окончанію войны и къ заключенію мира, и тѣмъ самымъ служилъ болѣе интересамъ нашихъ враговъ, чѣмъ нашимъ... А вторая военная сторона эпохи: — героизмъ людей, наоборотъ, громко свидѣтельствовалъ, что со взятіемъ Малахова кургана и по переходѣ на сѣверную сторону мы можемъ еще долго держаться, отвергать всякія позорныя для Россіи условія мира. Эту духовную сторону тогдашней эпохи тогдашней Россіи очень чутко уразумѣли наши враги, и ея то они боялись; боялись потому-что къ августу 1855 года чувствовали себя совсѣмъ обезсиленными и всю надежду возлагали на то, что взятіе южной стороны Севастополя насъ понудитъ къ миру, а про себя думали съ боязнью, что если, паче чаянія, мы не примемъ условій мира и начнемъ новый годъ кампаніи, то имъ придется бросить Крымскій полуостровъ, за истощеніемъ не столько денежныхъ, сколько нравственныхъ силъ, особливо энтузіазма и энергіи.

Но разочарованный умъ взялъ верхъ, и мы пошли на переговоры.

Во всякомъ случаѣ, это неисчислимое множество личностей, изображавшихъ собою неистощимый запасъ героизма, высокаго и сознательнаго, и даже, если можно такъ выразиться, интеллигентнаго, — было продуктомъ великолѣпнаго николаевскаго царствованія. Когда придется мнѣ говорить о слѣдующей турецкой войнѣ, разница въ духовномъ настроеніи окажется значительною, и ока-

жется потому, что духовный міръ 70-хъ годовъ уже былъ продуктомъ совсѣмъ другой эпохи.

Но, какъ я сказалъ, въ 1854 и 1855 годахъ, живя въ этомъ мірѣ ежедневныхъ подвиговъ героизма и высокаго духа, проявляемыхъ тысячами, мы все это воспринимали, какъ нѣчто обиходное, потому что сжились съ духовнымъ міромъ той эпохи, которая всѣ эти подвиги героизма создавала, какъ нѣчто обычное, свое, всякому свойственное.

Какъ я говорилъ, во всѣхъ гостиныхъ строгимъ нападкамъ подвергалось военное министерство. Тутъ въ назначеніяхъ Императору не счастливилось; да и то надо сказать, что я отчетливо помню, какъ вездѣ, гдѣ произносилась эта строгая и справедливая критика, не приходилось слышать имени, на которое всѣ бы указывали, какъ на подходящаго военнаго министра; молва, гласъ народа, никого не подсказывала съ особенною настойчивостью, и этимъ можно было отчасти извинить Государя. Имя князя Васильчикова чаще другихъ произносилось, какъ симпатичное имя, озаренное севастопольскими лучами, но всѣ знали, что онъ не администраторъ *).

*) Я получилъ отъ Ф. А. Половцова заявленіе объ одной ошибкѣ памяти, будто мною сдѣланной въ предыдущей главѣ «Моихъ воспоминаній». Ф. А. Половцовъ утверждаетъ, что первый смотръ стрѣлковому полку былъ не при Николаѣ I, а лѣтомъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 1855 г.

V.

(1854—1855 годы).

Смерть Корнилова.—Первое стихотвореніе Апухтина.—Смерть Императора Николая I.—Его сотрудники: Д. Г. Бибиковъ, графъ Клейнмихель, Киселевъ, графъ Нессельроде.

Возвращаюсь къ училищнымъ воспоминаніямъ.

Маленькія причины ведутъ иногда къ крупнымъ послѣдствіямъ. Двумя классами ниже меня былъ тогда А. Н. Апухтинъ. Въ это время, несмотря на свои небольшіе годы, у насъ объ Апухтинѣ говорили... Около него группировались любители словесности: издавался маленькій рукописный журналъ, въ коемъ Апухтинъ, если не ошибаюсь, игралъ роль редактора и главнаго сотрудника. При этомъ всѣ мы знали тогда Апухтина за талантливаго юмориста. Уже тогда комизмъ его производилъ впечатлѣніе. Его ходившіе по рукамъ въ переписываемыхъ наскоро рукописяхъ сатирическія мелочи заставляли насъ смѣяться самымъ искреннимъ смѣхомъ. Смѣшныя стороны того или другого товарища были предметомъ его неисчерпаемой музы смѣха. Въ этомъ смѣхѣ были три черты: остроуміе, добродушіе и порядочность. Онѣ никогда его ни покидали потомъ во всю его жизнь. Объ Апухтинѣ-лирикѣ тогда мы не имѣли понятія.

Но вотъ умираетъ геройскою смертью Корниловъ.

Извѣстіе это производитъ въ Петербургѣ сильнѣйшее впечатлѣніе. Языковъ, нашъ директоръ, приходитъ къ намъ

и, обращаясь по поводу этого печальнаго событія къ Апухтину, проситъ его написать на смерть Корнилова стихотвореніе...

Вдохновиться такою смертью было нетрудно, и, вотъ, Апухтинъ написалъ на смерть Корнилова свое, чуть ли не первое, лирическое стихотвореніе. Языковъ повезъ его къ Принцу Ольденбургскому. Принцъ показалъ его Императору; оно переписывалось всѣми, всѣми читалось, и, вотъ, впервые имя Апухтина, какъ поэта, вылетѣло изъ затвора училищныхъ стѣнъ въ свѣтъ...

Этотъ первый успѣхъ рѣшилъ участь литературнаго творчества Апухтина. Онъ себя увѣрилъ, что его призваніе лирическая поэзія. Между тѣмъ, мы, его товарищи, уже тогда совсѣмъ другого были мнѣнія о характерѣ его таланта: мы его считали комикомъ и сатирикомъ...

Владѣніе стихомъ у Апухтина въ то время уже было поразительное: его стихотвореніе на смерть Корнилова, богатое именно этимъ красивымъ созвучіемъ, естественнаго лиризма тѣмъ не менѣе не имѣло. А все-таки съ этой минуты у Апухтина въ его творчествѣ случился переворотъ; его комизмъ отошелъ на второй планъ; онъ остался удѣломъ тѣснаго кружка пріятелей, а оффиціально, для свѣта, онъ сталъ лирическимъ поэтомъ, и навсегда. А на самомъ дѣлѣ онъ лирикомъ никогда не былъ.

Упоминаю объ этомъ эпизодѣ потому, что, благодаря ему, русская литература лишилась, по моему твердому убѣжденію, второго Гоголя; лириковъ, какъ Апухтинъ, явилось потомъ много, но комиковъ и сатириковъ его силы и по сей день я не встрѣчалъ ни одного.

Другой смерти скоро суждено было разразиться надъ нами. Помню, что чуть ли не въ воскресенье на масленицѣ видѣлъ въ послѣдній разъ Николая I на улицѣ. Въ

саняхъ онъ ѣхалъ одинъ мимо балагановъ, тогда стоявшихъ на Адмиралтейской площади. Видъ у него былъ все тотъ же богатырскій, но лицо его носило печать величественной скорби, про которую въ ту зиму всѣ говорили. Про это выраженіе душевнаго страданія, какъ постоянное, нельзя забыть. Потомъ каждый изъ насъ понялъ, что надо было быть тѣмъ необыкновеннымъ духовнымъ существомъ монарха, какимъ былъ Николай I, жившимъ заодно съ Россіею, чтобы постоянно, въ теченіе этого тяжелаго года носить не маску, а именно естественное отраженіе на лицѣ русской печали, и умирать отъ этой печали. Эта послѣдняя страница царствованія и жизни Николая I такъ была необыкновенна своимъ величественнымъ драматизмомъ, что изображеніе ея было подъ силу только второму Шекспиру. Фактъ былъ несомнѣненъ: Николай I умиралъ отъ горя и именно отъ русскаго горя...

Это умираніе не имѣло признаковъ физической болѣзни, — она пришла только въ послѣднюю минуту, — но умираніе происходило въ видѣ несомнѣннаго преобладанія душевныхъ страданій надъ его физическимъ существомъ: страдалецъ души побѣждалъ богатыря тѣла; и когда онъ простудился вдругъ, простуда бросилась на легкія и болѣзнь въ этомъ колоссѣ силы пошла такъ скоро, что весь процессъ болѣзни не длился и недѣли; душевныя силы не могли противодѣйствовать физической болѣзни, и физическія силы, въ свою очередь, были слишкомъ поражены душевнымъ недугомъ, чтобы бороться съ разрушительнымъ процессомъ... Оттого этотъ процессъ разрушенія шелъ такъ быстро, и оттого немедленно послѣ этой почти внезапной кончины по всему городу пошли ходить легенды: одна—о томъ, что Николай I былъ отравленъ его док-

торомъ Мандтомъ и другая—о томъ, что онъ самъ себя отравилъ...

Мы спокойно сидѣли въ классахъ, 16 февраля, когда вдругъ явился съ омраченнымъ и озабоченнымъ лицомъ Языковъ и велѣлъ намъ строиться. Когда мы построились, онъ объявилъ намъ, что Императоръ опасно заболѣлъ и что мы идемъ въ церковь молиться за него. Какъ громовымъ ударомъ поразила насъ эта вѣсть...

Въ церкви всѣ мы стояли на колѣняхъ, и многіе изъ насъ впервые плакали съ тѣмъ чувствомъ тоски, которое, потомъ въ жизни входитъ въ душу надъ гробомъ самыхъ дорогихъ существъ. Черезъ день, 18 февраля, мы узнали, что Императора Николая уже нѣтъ...

Кончина его была тихая и прошла безъ страданій...

Финаломъ болѣзни былъ параличъ легкихъ. До послѣдней минуты онъ владѣлъ полнымъ сознаніемъ, и умиралъ съ твердою и ясною покорностью, окруженный всею своею семьею и ни разу не проявивши ни желанія жить, ни страха смерти...

Говорили о томъ, что виноваты были неискусные при Императорѣ врачи, старикъ Мандтъ и медикъ Наслѣдника Карель; винили обоихъ, что они не прибѣгли къ помощи болѣе авторитетныхъ врачей; но дѣло въ томъ, что самъ умершій Императоръ отдался съ полнымъ довѣріемъ своимъ врачамъ, и не дозволялъ никакихъ другихъ медицинскихъ вмѣшательствъ... Мандтъ не имѣлъ ни авторитета, ни практики... Всегда здоровый, Императоръ Николай былъ плохою для него практикою, а въ городѣ онъ не пользовался довѣріемъ; про Кареля можно было сказать то же самое.

Въ то время были двѣ знаменитости въ Петербургѣ: какъ консультантъ по внутреннимъ болѣзнямъ, прекрасный

врачъ и еще болѣе прекрасный человѣкъ, Арендтъ и, какъ хирургъ, Пироговъ. Я назвалъ Арендта. Его прозывали ангеломъ больныхъ. Этотъ старикъ, бѣлый какъ лунь, не зналъ отказа больнымъ и не зналъ различія между бѣднымъ и богатымъ, между знатнымъ и послѣднимъ смертнымъ. Это была легендарная личность. До конца жизни онъ давалъ право всякому будить его ночью и куда бы то ни было онъ ѣхалъ.

Я помню, какъ у насъ въ домѣ онъ произвелъ на насъ сильное впечатлѣніе, разсказавъ, какъ въ эту ночь онъ былъ обезпокоенъ; усталый онъ вечеромъ бралъ ванну; но только что вошелъ въ ванну и собирался потомъ выспаться, какъ пришли ему сказать про больного на Васильевскомъ островѣ: пришлось вылѣзать изъ ванны, одѣться и скакать къ больному въ 20 градусовъ мороза... Столь же легендарною была личность Н. И. Пирогова. Это былъ поистинѣ чудный человѣкъ. Взглянешь на его открытое, умное и суровое лицо, страхъ являлся; но едва онъ заговоритъ, едва онъ взглянетъ на больного, какъ сразу страхъ исчезаетъ и замѣняется именно дѣтскимъ довѣріемъ къ нему, и каждое слово его, каждый звукъ его голоса, при ихъ рѣзкости, даже при ихъ грубости, дышали ласкою. Онъ тоже, какъ Арендтъ, не зналъ ни отдыха, ни отказа больному... Типъ этихъ двухъ свѣтилъ медицинской науки съ ихъ смертью угасъ навсегда.

Насъ повели прощаться съ Николаемъ I въ Петропавловскую крѣпость. Черты его лица были отлично сохранены. Онъ лежалъ въ гробу, какъ уснувшій.

Въ день перенесенія тѣла въ Петропавловскую крѣпость, мы стояли шпалерами на Дворцовомъ мосту. На гробѣ ыла казацкая шапка. За гробомъ первый и отдѣльно ъ новый Императоръ Александръ II въ атаманскомъ

мундирѣ гвардіи казачьяго полка. Лицо, его фигура были поразительно красивы... Порядокъ при шествіи былъ замѣчательный... Упоминаю объ этомъ потому, что когда 26 лѣтъ спустя пришлось увидѣть перенесеніе тѣла Александра II, совсѣмъ иной характеръ имѣла процессія и вся обстановка: какъ результатъ той эпохи, тогда именно замѣтно было отсутствіе, или, вѣрнѣе, недостатокъ того строгаго порядка, который такъ сильно отражался на всемъ въ февралѣ 1855 года.

Въ минуту своей смерти Николай I, мы всѣ это знали, оставлялъ въ управленіи крупныя личности между государственными людьми. Рядомъ съ ними стояли, правда, и маленькіе, но дѣло въ томъ, что вихрь новаго такъ скоро унесъ всѣхъ въ свои облака, что судъ надъ личностями николаевскаго времени безпристрастно никто не успѣлъ сдѣлать и вслѣдствіе этого однихъ дѣятелей молва осуждала криво и косо, а о другихъ, какъ будто, забыла.

Какъ я говорилъ раньше, военнымъ министромъ въ то время были всѣ недовольны; обвиняли князя В. А. Долгорукова въ неумѣньи администрировать, а министра финансовъ, Брока, бранили за неспособность.

Но рядомъ съ ними была крупная личность министра внутреннихъ дѣлъ генералъ-адъютанта Дмитрія Гавриловича Бибикова. Ихъ было два брата въ то время и оба генералъ-адъютанты: Дмитрій Гавриловичъ и Илья Гавриловичъ; первый составилъ себѣ громкое имя какъ кіевскій генералъ-губернаторъ, громкое имя умнаго администратора и строгаго государственнаго человѣка; второй былъ мягче и кротче своего брата: онъ былъ назначенъ виленскимъ генералъ-губернаторомъ, а при всѣхъ личныхъ прекрасныхъ качествахъ—могъ быть обвиненнымъ только въ недостаткѣ

того, что имѣлъ въ избыткѣ его братъ: строгости и въ излишкѣ довѣрчивости и доброты...

Дмитрій Гавриловичъ Бибиковъ, какъ про него тогда говорили, создалъ своего рода золотой вѣкъ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и, какъ я потомъ еще яснѣе сіе уразумѣлъ изъ позднѣйшихъ отзывовъ о немъ его подчиненныхъ, онъ управлялъ не бумагами, а умомъ... Онъ давалъ не мало воли своимъ директорамъ департаментовъ и своимъ губернаторамъ, но себѣ оставлялъ строгій надзоръ за ними и за ходомъ дѣлъ и постоянную провѣрку всего, что въ его министерствѣ дѣлалось. У него былъ тщательно подобранный штатъ чиновниковъ особыхъ порученій, и должность эта при немъ не была синекура, такъ какъ онъ имъ давалъ постоянно серьезныя командировки, и все нужное узнавалъ черезъ нихъ. Затѣмъ надо сказать, что Бибиковъ былъ вполнѣ цѣльною личностью, на мелочи себя не размѣнивалъ и во всѣхъ отношеніяхъ держалъ себя гордо и совсѣмъ независимо, не зная ни поклоновъ, ни лицепріятія. Это былъ своего рода типъ вельможи стараго закала. Объ немъ много говорили, когда онъ вводилъ знаменитые инвентари въ югозападномъ краѣ...

На инвентари Бибикова смотрѣли, какъ на нѣчто въ родѣ перваго шага къ освобожденію крестьянъ, въ то время, когда о послѣднемъ никто не помышлялъ...

Оттого эта мѣра, столь умная и разумная, была принята недовѣрчиво и даже непріязненно извѣстными кругами тогдашняго политическаго общества въ Петербургѣ, и что было замѣчательно, во главѣ этой непріязненной оппозиціи Бибиковскимъ инвентарямъ стоялъ Наслѣдникъ Цесаревичъ Александръ Николаевичъ... Въ засѣданіяхъ по этому вопросу, бывавшихъ подъ предсѣдательствомъ самого Николая I, происходили серьезныя схватки между

Бибиковымъ и Цесаревичемъ, и вотъ тутъ-то въ своемъ твердомъ отстаиваніи задуманнаго дѣла — безъ вопроса: кого онъ противъ себя вооружаетъ, — Бибиковъ себя и показалъ во всей красѣ своей гордой и строгой независимости...

Показалъ себя въ томъ и Николай I: разъ онъ вѣрилъ своему министру, онъ стоялъ за него горой, и никому, даже своему Наслѣднику, не давалъ предпочтенія въ довѣріи... Партія антибибиковская была на половину польская, ее тогда называли тоже крѣпостническою, и повторяю, весьма интересно констатировать, что, меньше чѣмъ за 10 лѣтъ до реформы освобожденія крестьянъ, Цесаревичъ Александръ Николаевичъ былъ случайнымъ противникомъ Бибикова именно потому, что въ его инвентаряхъ видѣли тогда попытку ограниченія помѣщичьяго права... Вражда эта была настолько серьезная, что послѣ похоронъ Николая I Бибиковъ послалъ новому Государю свое прошеніе объ отставкѣ, и получилъ ее, когда выборъ новаго Государя окончательно остановился на Сергѣѣ Степановичѣ Ланскомъ.

Другою крупною и замѣчательною личностью государственною былъ графъ Клейнмихель. Объ немъ, немедленно послѣ его удаленія при Александрѣ II, поторопились составить самое лживое мнѣніе, причемъ молва не поскупилась даже на самую безцеремонную ложь и клевету, разсказывая легенды про его обогащеніе на казенный счетъ. Дѣтьми мы еще ѣздили въ клейнмихельскій дворецъ у Обухова моста, и я живо помню этого въ высшей степени оригинальнаго человѣка; оригинальность его заключалась въ сліяніи въ немъ чего то почти дѣтски-наивнаго и простого съ нѣсколькими рѣзкими чертами государственнаго человѣка; черты эти были: строгость, фанатичная

преданность Царю и умѣнье не только управлять людьми, но выбирать людей для дѣла... Все, что себя прославило умомъ, дарованіями и знаніемъ въ мірѣ путейскихъ инженеровъ въ эту эпоху, было личнымъ выборомъ самого Клейнмихеля, и все это были крупныя личности. Смѣшно даже говорить о деньголюбіи Клейнмихеля... ибо онъ былъ именно смѣшенъ не только въ своей оригинальности. но въ незнаніи даже цѣны деньгамъ: онъ не умѣлъ отличать бумажки, и никогда денегъ близко не видалъ.

Онъ былъ до того равнодушенъ къ вопросамъ матеріальной жизни, что если бы ему сказали жить въ подвалѣ или мансардѣ, онъ жилъ бы, не испытывая никакого неудобства... Обладая чуднымъ даромъ—вдохновлять подчиненныхъ огненнымъ усердіемъ къ службѣ, онъ вдохновлялъ ихъ тоже своею честностью... Въ клейнмихельское время не было ни одного крупнаго инженернаго имени, напримѣръ, про котораго могли бы сказать что либо безчестное: про состоянія, нажитыя тогда инженерами, никто не могъ говорить, ибо ихъ не было, и потомъ, когда начались всѣ эти лживыя легенды про Клейнмихеля, никогда никто не могъ указать ни на одинъ фактъ, и въ особенности ни одного запятнаннаго имени его сотрудниковъ. Можетъ быть, нажились подрядчики при постройкѣ Николаевской желѣзной дороги, можетъ быть, кое-гдѣ по округамъ брали взятки, кое-какіе мелкіе служащіе, но Клейнмихель и его главные сотрудники были чисты, какъ алмазы...

Да, дорого стоила постройка Николаевской желѣзной дороги, но за то, какъ она была построена! Вѣдь тогда, когда ее начали строить, дѣло желѣзнодорожное въ Европѣ было еще въ дѣтскомъ возрастѣ, и громадная историческая заслуга Клейнмихеля заключалась въ томъ, что онъ построй-

кою этой дороги создалъ цѣлый самостоятельный міръ науки и практики постройки, и тогда, когда она была готова, и 10, и 20 лѣтъ спустя весь міръ призналъ, что по качествамъ и достоинствамъ постройки Николаевская дорога первая въ мірѣ.

Насколько расходы не играли роли въ постройкахъ, а играли главную роль требованія прочности и крѣпости,— доказалъ, между прочимъ, Николаевскій мостъ... Николай I былъ самъ инженеромъ, поэтому онъ знакомился съ проектомъ построекъ критическимъ умомъ свѣдущаго въ дѣлѣ человѣка. Когда проектъ Николаевскаго моста былъ оконченъ, Клейнмихель его представилъ на утвержденіе Николая I. Если не ошибаюсь, онъ составленъ былъ знаменитымъ тогда инженеромъ Кербедзомъ. Николай I, разсмотрѣвъ во всѣхъ подробностяхъ проектъ, призвалъ Клейнмихеля и, прямо указавъ ему мѣсто на планѣ, со стороны Васильевскаго острова, сказалъ: проектъ не годится; на этомъ мѣстѣ ледъ будетъ затираться и мостъ не выдержитъ; надо все кругомъ въ этомъ углу до дна обложить гранитомъ. Клейнмихель взялъ назадъ проектъ. По разсчетамъ строителей, на осуществленіе мысли Николая I потребовалось бы чуть ли не 2 или 3 милліона больше. Клейнмихель, представляя Государю новый планъ, доложилъ о томъ, насколько онъ обойдется дороже. «Хоть 10 милліоновъ больше, — отвѣтилъ Николай I,—ни мнѣ, ни тебѣ въ карманъ они не пойдутъ, а на прочность!». Оказалось потомъ, что Николай I былъ безусловно правъ, ибо именно въ указанномъ имъ мѣстѣ собирался ледъ, и не будь тамъ гранитнаго дна, мостъ и года не выдержалъ бы. Этотъ-то принципъ: хоть 10 милліоновъ, но чтобы было прочно,—примѣнялся ко всѣмъ сооруженіямъ Клейн-

михеля. Онъ милліоны истратилъ на прочность, но милліоны сберегъ ремонта...

Третья крупная личность Николаевскаго царствованія былъ Киселевъ, создатель министерства государственныхъ имуществъ. Четвертою крупною личностью былъ графъ Уваровъ, министръ народнаго просвѣщенія, потомъ замѣненный Авраамомъ Сергѣевичемъ Норовымъ—тоже крупною личностью. Графъ Уваровъ создалъ прекрасный и живой типъ нашихъ средне-учебныхъ заведеній въ видѣ гимназій... Рядомъ съ этими крупными государственными личностями выдѣлялась тоже оригинальная, цѣльная и самобытная личность графа Виктора Никитича Панина, министра юстиціи... Объ ней поговорю послѣ...

Наконецъ, не малъ и не дюжинъ былъ, не смотря на свой маленькій ростъ, похожій на Тьера, знаменитый графъ Нессельроде, министръ иностранныхъ дѣлъ. Онъ былъ и ловокъ, и уменъ, но, къ сожалѣнію, у него было два крупныхъ недостатка: онъ не былъ русскій по душѣ, и совсѣмъ ею не роднился со своимъ монархомъ, а во-вторыхъ, былъ феноменальный эгоистъ-эпикуреецъ... Оттого про него говорили, что онъ больше сдѣлалъ для кулинарнаго искусства и для цвѣтовъ, чѣмъ для иностранной политики Россіи. Его кухня считалась первою въ Петербургѣ, и его знаменитыя оранжереи на островахъ были храмомъ самаго утонченнаго культа флоры. Туда ѣздили, какъ на богомолье. Про эгоизмъ его припоминаю слѣдующій характерный эпизодъ. Въ Лѣтнемъ саду одинъ молодой человѣкъ, Ганъ, ѣхавъ въ кабріолетѣ, разбился объ дерево и упалъ полумертвый. Его перенесли домой. Г-жа Колерджи, племянница Нессельроде, въ тотъ день должна была ѣхать въ Варшаву, и простилась съ дяденькою, у котораго гостила. Узнавъ о несчастіи, постигшемъ

VI.

(1855—1857 годы).

Наши профессора: И. П. Шульгинъ, Богословскій, В. В. Шнейдеръ, Неволинъ, Калмыковъ.

Общій образовательный курсъ мы кончили въ училищѣ Правовѣдѣнія въ 4-мъ классѣ...

Кончили мы его съ грѣхомъ пополамъ, какъ-нибудь и кое-чему научившись. Это кое-что заключалось въ законѣ Божіемъ, въ исторіи, географіи, алгебрѣ и геометріи, въ физикѣ съ естественными науками, въ языкахъ: латинскомъ, русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ и въ географіи... Кромѣ того, въ число общеобразовательныхъ предметовъ входили логика и психологія...

Большая часть предметовъ преподавалась по заведенному шаблону, а потому, разумѣется, преподавалась плохо. Переходя въ старшій спеціальный юридическій курсъ, мы не запомнили ни одного изъ нашихъ учителей—по чему-нибудь оригинальному, или по какимъ-нибудь впечатлѣніямъ, которыя они могли бы произвести на наши молодыя натуры; мы просто отходили отъ нихъ, какъ отъ машинъ, переставшихъ дѣйствовать, и духовныя связи съ учителями порывались въ минуту, когда кончались отношенія ученика къ учителю.

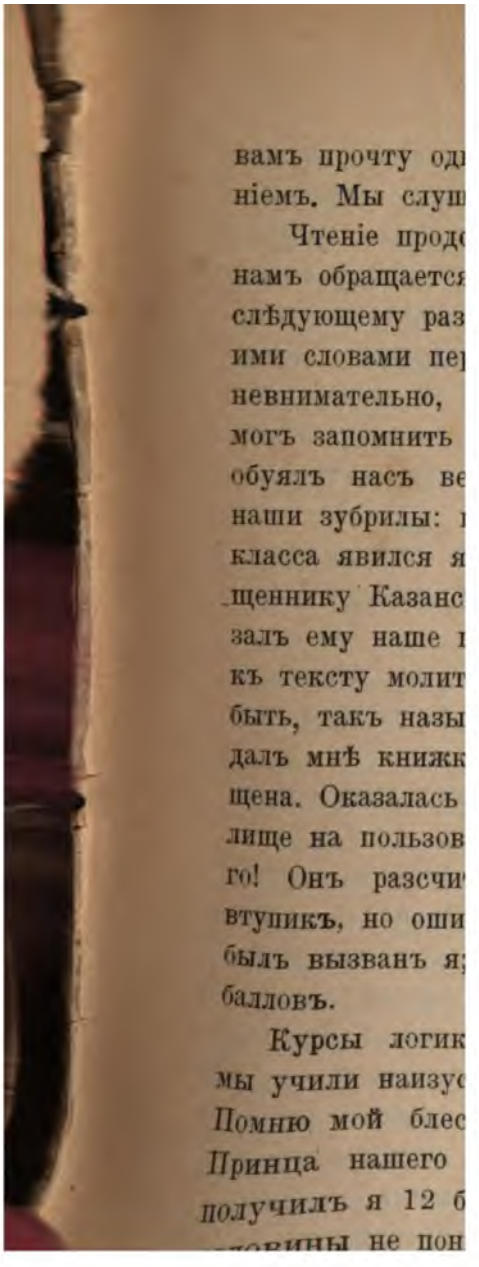
Въ этомъ отношеніи надо припомнить, что должности инспектора классовъ и его помощника были въ нашихъ

никовъ оставались въ памяти только клочки текста, въ родѣ, напримѣръ, конца исторіи Персіи, по учебнику Шульгина: „и пожаръ Персеполиса, какъ свѣточъ погребальный, освѣтилъ развалины великаго царства отъ Ефрата до Инда...“ Шульгинъ этотъ былъ у насъ не учителемъ, а профессоромъ исторіи въ высшихъ классахъ... Самымъ рѣзкимъ воспоминаніемъ объ немъ въ каждомъ изъ насъ оставался тотъ фактъ, что онъ во время лекцій оплевывалъ весь полъ каѳедры... Про него, какъ характеристика его метода обученія, не измѣнявшагося изъ года въ годъ, сложилась легенда вступленія въ курсъ исторіи, не лишенная комизма.

— «Исторія»,—начиналъ онъ свою первую лекцію ежегодно,—«есть систематическое изложеніе достопамятныхъ событій. Повидимому, такое опредѣленіе не совсѣмъ точно, ибо то, что для иного достопамятно, то для другого недостопамятно. Такъ, открытіе компаса есть событіе достопамятное для морехода, а открытіе картофеля есть событіе достопамятное для земледѣла. Итакъ, опредѣленіе, что исторія есть систематическое изложеніе достопамятныхъ событій, не совсѣмъ точно, потому что не все достопамятное для одного, достопамятно для другого. Я указалъ на примѣры открытія компаса и картофеля и могъ бы указать еще на многіе другіе, но, тѣмъ не менѣе, однако, за неимѣніемъ другого, болѣе точнаго, и это опредѣленіе можетъ быть признано за достаточное».

И эту ерунду мы помнили, но характеристику Карла Великаго или Карла V мы себѣ не усваивали, и исторію, напримѣръ, я пріобрѣлъ, какъ знаніе, только чтеніемъ внѣ уроковъ историческихъ книгъ дома.

Законъ Божій преподавалъ во всѣхъ классахъ нашъ духовникъ, протоіерей Богословскій. Онъ въ особенности



вамъ прочту од
ніемъ. Мы слуш

Чтеніе прод
намъ обращается
слѣдующему раз
ими словами пер
невнимательно,
могъ запомнить
обуялъ насъ ве
наши зубрилы:
класса явился я
щеннику Казанс
залъ ему наше
къ тексту молит
быть, такъ назы
далъ мнѣ книжк
щена. Оказалась
лище на пользов
го! Онъ разсчи
втупикъ, но оши
былъ вызванъ я;
балловъ.

Курсы логик
мы учили наизус
Помню мой блес
Принца нашего
получилъ я 12 б
ковины не пон

Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ фразу, затѣмъ спохватившись, что совралъ, говоритъ: *то-есть*, и затѣмъ говоритъ противоположное тому, что имъ было сказано раньше; такимъ образомъ, «то-есть» у него соединяло два антитеза. Богословскій вспылилъ и, прогнавъ его, сказалъ: ты умный человѣкъ, то-есть ты дуракъ. Съ той минуты мы сразу поняли, что «то-есть» не можетъ соединять два противорѣчія, а между тѣмъ, эта привычка, грѣшить противъ логики и говорить: это черное, то-есть, виноватъ, бѣлое,—у многихъ бываетъ.

Переходя въ старшій курсъ и получая вмѣсто серебряныхъ золотыя нашивки, мы испытывали извѣстное благоговѣніе къ нашему новому положенію.

Это благоговѣніе происходило отъ сознанія, что теперь мы перестали имѣть дѣло съ учителями, а будемъ имѣть дѣло съ профессорами.

Старшій курсъ являлся намъ съ характеромъ свѣтилища наукъ.

И, дѣйствительно, за немногими исключеніями, составъ профессоровъ у насъ въ то время представлялъ собою нѣчто внушительное по личностямъ, его составлявшимъ.

Самый почтенный изъ профессовъ, носившій названіе заслуженнаго, былъ профессоръ римскаго права Василій Васильевичъ Шнейдеръ. Это былъ и симпатичный, и оригинальный типъ, коего въ теперешнее время смѣшно было бы найти и слѣдъ. Въ немъ жилъ духъ римлянина золотого вѣка Рима и въ то же время жилъ человѣкъ со всѣми оттѣнками благородства и деликатности, съ одной стороны, и высокаго образованія—съ другой... Хотя онъ былъ нѣмецъ, но никогда никому изъ насъ въ голову не приходило на этого старика смотрѣть, какъ на нѣмца: онъ все время въ теченіе 3-х [illegible] намъ представлялся

фантастическимъ римляниномъ. Личность его могутъ характеризовать слѣдующіе запомненные мною эпизоды... Какъ-то разъ во время лекціи Шнейдеръ торжественнымъ голосомъ объявилъ намъ, что онъ будетъ отъ насъ требовать въ слѣдующій разъ на репетиціи. Когда онъ кончилъ, кто-то на задней скамейкѣ громко сказалъ: ого!.. Это «ого» привело старика въ ярость.

— Тотъ, кто сказалъ «ого», — вдругъ объявилъ съ каѳедры Шнейдеръ,—свинья!

— Я сказалъ «ого», Василій Васильевичъ,—заявляетъ виновный.

— Вы сказали? — отвѣчаетъ Шнейдеръ. Затѣмъ, посмотрѣвъ пристально на воспитанника, старикъ принялъ свое прелестно-доброе выраженіе лица, и сказалъ мягкимъ голосомъ:—ну, такъ простите старика, что онъ вспылилъ!— Трудно выразить, съ какимъ благоговѣніемъ мы въ эту минуту преисполнились къ старику.

Второй эпизодъ характеризируетъ его отношенія къ образованію вообще.

Надо сказать, что въ новой исторіи и, вообще, въ томъ мірѣ, который былъ внѣ нашихъ учебниковъ, мы были очень необразованы. Я былъ, благодаря моей семьѣ, образованной и всѣмъ интересовавшейся, — чуть ли не первый по образованію, такъ сказать, общему. Какъ-то пришлось Шнейдеру заговорить о Франціи и коснуться вопроса бурбонской линіи. Для большинства это оказалась terra incognita. Шнейдеръ спрашиваетъ: — а кто теперь единственный прямой потомокъ королей Франціи; всѣ молчатъ: знающихъ не оказалось. Тогда я говорю: герцогъ Бордосскій.

— Или,—говоритъ, просіявши Шнейдеръ.

— Графъ Шамборъ,—отвѣчалъ я.

Надо было видѣть радость старика.

— Браво! Вы образованный молодой человѣкъ,—сказалъ Шнейдеръ, и съ тѣхъ поръ сталъ со мною особенно любезенъ.

Третій эпизодъ еще характернѣе.

Зная, какую цѣну старикъ придавалъ замѣчательнымъ датамъ изъ римской исторіи и изъ римскаго права въ особенности, мы запомнили день смерти императора Юстиніана.

Когда настала эта годовщина, старшій нашего класса, передъ началомъ лекціи, подходитъ къ старику и говоритъ ему съ торжественною физіономіею: классъ мнѣ поручилъ, Василій Васильевичъ, вамъ засвидѣтельствовать свое глубокое сочувствіе по поводу сегодняшней годовщины смерти великаго Юстиніана...

Старикъ чуть не прослезился отъ умиленія и пришелъ въ такое благодушное состояніе духа, что при репетиціи всѣмъ понаставлялъ хорошіе баллы.

Здѣсь кстати вспомнить, что Императоръ Николай, еще въ началѣ своего царствованія, когда ему сказали, что у насъ мало профессоровъ, вообще, по юридическимъ наукамъ, велѣлъ создать профессоровъ, и для этого приказалъ учредить профессорскій институтъ при дерптскомъ университетѣ. Сказано — сдѣлано... Лучшіе кандидаты юридическихъ наукъ прикомандировывались, по окончаніи курса въ Москвѣ и въ Петербургѣ, въ Дерптъ, и тамъ проходили, кажется, двухъ-лѣтній курсъ въ профессорскомъ институтѣ.

Мы уже пользовались плодами этого института. Онъ далъ нѣсколько замѣчательн[illegible]бессоровъ въ области юридическихъ наукъ и, ме[illegible]мъ, такихъ, какъ

знаменитый Неволинъ, криминалистъ Калмыковъ, цивилистъ Мейеръ.

Неволинъ представлялъ собою тоже оригинальный типъ. Онъ преподавалъ намъ исторію законодательства и энциклопедію законовѣдѣнія, для которой изданная имъ книга славилась въ Германіи чуть-ли не болѣе, чѣмъ у насъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова ученый. Какъ Шнейдеръ жилъ извѣстную долю дня въ римскомъ мірѣ, такъ Неволинъ жилъ цѣлый день въ мірѣ юридическихъ наукъ. Тихій, скромный, онъ никогда не имѣлъ съ нами другихъ отношеній, какъ учебныхъ и научныхъ; каждому изъ насъ невозможно, было себѣ представить Неволина въ частномъ обыденномъ быту: какъ онъ ѣстъ, какъ онъ пьетъ; намъ представлялось, что онъ всегда въ мірѣ юридическихъ наукъ—и у насъ, и у себя дома. Мы питали къ нему особое уваженіе. Оно усилилось вслѣдствіе слѣдующаго эпизода, благодаря которому нравственный авторитетъ Неволина для насъ именно возросъ. Одинъ изъ плохихъ воспитаниковъ былъ вызванъ Неволинымъ отвѣчать заданный урокъ. Выходитъ онъ и, кромѣ программы, беретъ вырванные изъ книги энциклопедіи листки и преспокойно начинаетъ по нимъ отвѣчать.

Продолжалось это минуты три.

Мы видѣли, какъ Неволинъ пристально сталъ смотрѣтъ удивленнымъ взглядомъ на отвѣчавшаго воспитанника, чего съ нимъ никогда не бывало, а воспитанникъ, какъ ни въ чемъ не бывало, съ нахальствомъ продолжаетъ читать изъ листковъ, ничего не опасаясь, пока мы чуяли приближеніе грозы...

— Господинъ студентъ,—вдругъ прервалъ его Неволинъ, называвшій насъ всегда студентами, что намъ очень льстило,—дайте мнѣ вашу программу.

Воспитанникъ невозмутимо швыряетъ листки подъ каѳедру и подаетъ профессору свою программу.

Неволинъ беретъ программу, взглянулъ и затѣмъ возвращаетъ воспитаннику программу, и при этомъ онъ снова на него взглянулъ... И вотъ этотъ вглядъ, который помню и понынѣ, былъ событіемъ въ нашей нравственной жизни. Въ немъ столько было презрѣнія, столько было упрека отъ глубины души честнаго человѣка, что намъ холодно стало отъ этого взгляда...

— Садитесь, — проговорилъ затѣмъ Неволинъ и не поставилъ ему никакого балла.

Съ этой минуты, въ теченіе 3-хъ лѣтъ нашего старшаго курса, никто и подумать не смѣлъ прибѣгать къ такому обману при репетиціяхъ.

Взглядъ, полный презрѣнія къ обману, подѣйствовалъ на наши души сильнѣе всякаго слова, и вызванный черезъ два мѣсяца вновь Неволинымъ на репетицію, воспитанникъ отвѣчалъ, какъ мы всѣ.

Въ томъ же духовномъ мірѣ казался намъ нашъ профессоръ уголовнаго права, Калмыковъ, съ тою лишь разницею, что онъ былъ краснорѣчивѣе и діапазонъ его былъ всегда возвышенный.

Мы сознавали и чувствовали, что Калмыковъ священнодѣйствуетъ, обучая насъ уголовному праву; лицо его всегда было вдохновенно, голосъ его всегда былъ взволнованъ и тоже, какъ Неволинъ, онъ казался намъ немыслимымъ въ простой жизни частнаго человѣка. Въ изложеніи его всегда было много фигуральнаго, а въ нашихъ отвѣтахъ онъ требовалъ отъ насъ точности и яснаго изложенія.

Какъ вчера, помню его обр спитаннику:—

скажите мнѣ. — такой-то, — въ краткихъ, но ясныхъ словахъ содержаніе прошедшей лекціи...

Воспитанникъ начинаетъ: въ прошедшій разъ мы говорили...

Калмыковъ его останавливаетъ:

— Остановитесь, молодой человѣкъ: въ прошедшій разъ не мы говорили, а я говорилъ...

Помню тоже его умное, вдохновенное лицо, откинутымъ картинно назадъ, въ позѣ оратора, изрекающимъ основу уголовнаго права, въ видѣ римскаго изреченія: nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege, nullum crimen sine poena legale!— восклицалъ вдохновенный Калмыковъ.

Помню драматизмъ его голоса, когда, объясняя намъ преступленіе безъ умысла, онъ декламировалъ примѣръ: «женщина спала крѣпкимъ сномъ; ребенокъ спалъ возлѣ нея. Во снѣ несчастная мать видитъ, что она зарѣзываетъ гуся, она слышитъ крики гуся, хватаетъ его за горло, гусь кричитъ еще сильнѣе, потомъ крики стихаютъ... Мать просыпается и видитъ, что во снѣ она задушила своего ребенка, принявъ его за гуся, въ состояніи галлюцинаціи...

Долженъ признаться, припоминая нашъ спеціальный юридическій трехлѣтній курсъ наукъ, что за исключеніемъ тѣхъ профессоровъ, которыхъ я назвалъ, и впослѣдствіи замѣнившаго умершаго Неволина, И. Е. Андреевскаго, всѣ остальные профессора и преподаватели были очень мало интересны и еще меньше авторитетны... Такіе нужные для насъ курсы, какъ гражданское и уголовное судопроизводства, преподавались безцвѣтно и мертво, а у профессора Палибина преподаваніе государственнаго права, напримѣръ, всегда носило характеръ зубрежа, ничего общаго не имѣвшаго съ серьезнымъ и интереснымъ изученіемъ предмета. Для вящей характеристики этого мер-

твеннаго и тупого, такъ сказать, преподаванія, нельзя не вспомнить такую, напримѣръ, науку, какъ межевые законы. Два года мы проходили этотъ курсъ, и кто бы повѣрилъ, что огромнѣйшія литографированныя записки мы выучивали наизустъ, потому что ровно ничего въ этихъ межевыхъ законахъ не понимали, и никому въ голову не приходило познакомить насъ хотя немного съ этимъ предметомъ на практикѣ, то-есть въ натурѣ, дабы хоть сколько-нибудь мы могли понять хоть часть того, что мы попугаями зазубривали...

Кончая курсъ уже въ возрастѣ умственнаго развитія, соотвѣтствовавшаго послѣднему курсу университета, мы ясно сознавали, до какой степени учебная часть, благодаря рутинѣ и отсутствію живыхъ и дѣльныхъ руководителей учебнаго дѣла, была у насъ запущена и печальна. Полное невѣжество директора Языкова въ юридическихъ наукахъ въ особенности и въ педагогическомъ дѣлѣ вообще, полное невѣжество въ области общаго образованія— было, разумѣется, главною причиною такого печальнаго состоянія нашего образованія, и ничего не было удивительнаго, если, кончая курсъ и выдерживая экзамены, мы сознавали прежде всего, какъ плохо мы подготовлены были научно къ карьерѣ судебной и какъ мало мы знали изъ того, что мы вызубривали... Про себя, напримѣръ, я могу сказать, что, выдержавши передъ выпускомъ 16 экзаменовъ и получивши на нихъ круглыя 12 балловъ, я десятой части не зналъ отчетливо изъ того, что зналъ наизустъ и, усвоивалъ одною лишь памятью и именно на себѣ испыталъ, насколько вся система преподаванія у насъ юридическихъ наукъ была [illegible] ленна, нелѣпа и слѣдовательно, столько же [illegible] льна, сколько несостоятельна. Вызу[illegible]

тучивалось изъ головы, и большую часть того, что я усвоилъ себѣ, какъ знаніе прочное, я пріобрѣлъ внѣ училища, послѣ выпуска въ чтеніи и на практикѣ служебной.

По поводу зубрежа припоминаю слѣдующій характерный эпизодъ. У насъ въ классѣ было двое первыхъ воспитанниковъ по балламъ: самый неспособный, Х., и самый способный, покойный теперь Христіановичъ. Кромѣ способностей онъ имѣлъ много цѣнныхъ нравственныхъ качествъ. Видя, какъ его соперникъ Х. разрушаетъ свое физическое здоровье, зубря цѣлый день и почти всю ночь, чтобы получить тѣ 12 балловъ, которые Христіановичу давались сто разъ легче, онъ, то-есть Христіановичъ, обращается къ Х. и говоритъ ему: брось такъ зубрить, я тебѣ конкуррировать не буду и обѣщаю тебѣ никогда не имѣть полныхъ 12 балловъ; и вотъ въ исполненіе этого обѣщанія Христіановичъ нарочно изъ двухъ предметовъ отвѣчаетъ на репетиціяхъ ерунду и добивается того, что ему сбавляютъ два балла изъ каждаго предмета. Благодаря этому Х. могъ спокойно оставаться первымъ по балламъ до самаго выпуска, и на долю самаго неспособнаго выпалъ счастливый жребій золотой медали и надписи золотыми буквами на мраморной доскѣ. По этому примѣру дозволительно догадываться, что онъ повторялся не разъ въ анналахъ выпусковъ изъ училища, и потомству, вѣроятно, не разъ передавались имена только наиболѣе зубрившихъ и наименѣе понявшихъ свои науки.

VII.

Новыя вѣянія.—Ланской.—Конецъ войны.—Коронація.—Послѣ коронаціи.—Увлеченіе Герценомъ.

Теперь возвращаюсь къ міру внѣ училища. Не прошло года со смерти Николая I, какъ начали все усиливаться новыя вѣянія. Въ мірѣ государственныхъ людей, какъ я сказалъ, первой перемѣной было принятіе отставки Бибикова и замѣна его С. С. Ланскимъ. Я ни въ то время, ни послѣ не могъ узнать, что вызвало назначеніе именно Ланскаго, никогда дотолѣ ничѣмъ не заявившаго о своихъ государственныхъ способностяхъ. Его знали какъ человѣка хорошаго, ровнаго, добраго и, затѣмъ, про него ничего не знали. Придворныхъ связей у него не было никакихъ, и къ партіи молодой Россіи, очень скоро сплотившейся около В. Кн. Константина Николаевича, Ланской, какъ старый человѣкъ, не принадлежалъ. По чьей рекомендаціи, подъ чьимъ вліяніемъ состоялось это первое назначеніе новаго Государя, никто въ то время не зналъ. Вслѣдъ за Бибиковымъ подалъ свое прошеніе объ увольненіи отъ должности графъ Клейнмихель; но здѣсь была другая обстановка; Бибиковъ рѣзко подалъ въ отставку и рѣзко былъ уволенъ—безъ объясненій и безъ свиданій съ Государемъ. [illegible]ѣ знали, что тутъ играла роль взаимная вражда. Клейнмихель былъ въ другихъ отношеніяхъ къ новому Госу-

Новый Государь его любилъ, а потому, когда Клейнмихель, по своей рыцарской и солдатской прямотѣ, послалъ новому Государю свое прошеніе, Государь пріѣхалъ къ нему и въ самыхъ сердечныхъ словахъ упрашивалъ его подождать, и дать ему время найти преемника Клейнмихелю. Клейнмихель былъ, однако, въ своемъ рѣшеніи непреклоненъ, и указалъ Государю на Мельникова, какъ на лучшаго кандидата для своего преемства. Затѣмъ, послѣдовали еще два крупныхъ новыхъ назначенія. Князь Василій Андреевичъ Долгоруковъ былъ призванъ замѣстить А. Ф. Орлова на должности главнаго начальника III отдѣленія Собственной Его Величества канцеляріи и шефа жандармовъ, а на его мѣсто былъ назначенъ Дмитрій Алексѣевичъ Милютинъ; за ними гр. Нессельроде долженъ былъ отдать свой портфель вѣнскому нашему послу, князю Горчакову.

Какъ я писалъ раньше, всѣ до единаго новыя вѣянія исходили изъ мысли кончить войну и начать что-то новое... Это новое было совсѣмъ неопредѣленное, хотя всѣ знали, что прежде всего это новое должно заключаться въ прекращеніи стараго... Но какого стараго? Тутъ-то и начиналась область неопредѣлимаго. Было бы безусловно можно сказать, что требовалась какая-то отмѣна стараго политическаго режима, ибо нигдѣ не было въ нашихъ, по крайней мѣрѣ, сферахъ, политической или общественной, непріязни къ почившему Императору, какъ представителю стараго режима; вѣрнѣе было бы допустить, что эти вѣянія относились къ тому внутренне-административному міру, коего язвы обнаружились войною и имѣли связь съ военнымъ міромъ. [illegible]е, интендантскія и другія злоупотребленія. [illegible]ны относительно во[illegible]

ясь съ нашею неудачею на войнѣ, въ тысячахъ разсказовъ, толковъ, легендъ,—принимало характеръ неопредѣленныхъ, но тѣмъ не менѣе отчетливыхъ стремленій къ чему то новому.

Въ августѣ 1855 года была апогея нашего патріотическаго настроенія: съ извѣстіемъ о паденіи Малахова кургана, о переходѣ нашихъ героевъ войскъ съ южной стороны на сѣверную Севастополя, какъ будто оборвалось сердце во многихъ русскихъ: слова горчаковскаго донесенія, «*что и для героевъ есть невозможное*» и что «*войска дрались, какъ львы*»,—все сказали русской душѣ въ въ эту минуту глубокой печали, и хотя въ этомъ же настроеніи одна горсть русскихъ людей въ военныхъ и не военныхъ кружкахъ и почерпнула вдохновеніе—не сдаваться, не просить мира, но продолжать войну, но въ большинствѣ, такъ сказать, громко говорившихъ тогда людей явилась потребность отойти поскорѣе отъ картины нашихъ боевыхъ печалей и отдаться вѣяніямъ новаго... Въ этой потребности и заключается объясненіе, почему такъ скоро послѣ кончины Николая I вездѣ въ умственныхъ сферахъ явилось это исканіе новаго, какъ отвлеченіе, такъ сказать, мысли и духа отъ тяжелой военной дѣйствительности. Севастопольская эпопея, не взирая на то, что ея характеръ былъ святой по неисчерпаемости героизма, являлся для многихъ какъ бы воплощеніемъ и олицетвореніемъ стараго режима; не входя въ подробный анализъ этой эпопеи, гдѣ столько было доказательствъ несокрушимой силы русской мощи,—умы ссылались только на страданія, и изъ этихъ страданій выводили заключеніе, что надо скорѣе покончить со страданіями и искать что-то новое, такъ какъ старое было, будто бы, причиною этихъ страданій...

Скажу, прислушиваясь къ своимъ воспоминаніямъ всей послѣдующей эпохи, что 1856 годъ былъ самымъ свѣтлымъ годомъ царствованія Александра II. Небо надъ нимъ было совсѣмъ ясное. Въ мартѣ заключенъ былъ и подписанъ княземъ Алексѣемъ Ѳедоровичемъ Орловымъ парижскій договоръ, и хотя условія этого договора были для насъ и тяжелыя, и позорныя, но настроеніе всего общества, отчасти вслѣдствіе отдыха отъ ужасовъ войны, отчасти отъ вѣяній того неопредѣленнаго новаго, о которыхъ я говорилъ, отчасти отъ ожидавшейся въ августѣ великолѣпной Коронаціи и, отчасти, наконецъ, отъ всего симпатичнаго, что въ видѣ всевозможныхъ слуховъ и откликовъ исходило изъ Зимняго дворца, какъ подробности о новомъ государѣ,—настроеніе общества, говорю я, было именно похоже на голубое, совсѣмъ ясное, весеннее небо... Вѣяло чѣмъ томъ радостнымъ, чѣмъ то благодушнымъ, искреннимъ, будто исчезли куда-то плачущіе и печально озабоченные люди; вездѣ ихъ мѣста заняли веселые и наслаждающіеся жизнью.

У насъ, въ училищѣ Правовѣдѣнія, тоже ощущалось что то новое: Языковъ сталъ мягче и менѣе взбалмошнымъ, а за нимъ и наши воспитатели. Во всѣхъ отношеніяхъ начальства къ намъ явилось больше естественности, простоты и искренности... Только въ этомъ заключалась перемѣна въ 1856 году; я это говорю для того, чтобы отдѣлить именно этотъ годъ отъ послѣдовавшихъ, и даже отъ 57 года, когда начались вѣянія уже политическаго свойства, то-есть либеральнаго, и когда Языковъ, пять лѣтъ послѣ того, что призналъ нужнымъ публично сѣчь взрослаго воспитанника, откровенно говорилъ всякому, что *теперь* его сист воспитанія сводится

къ тому, что онъ каждое утро открываетъ форточку и нюхаетъ: откуда вѣтеръ дуетъ...

Лѣто 56 года я провелъ уже воспитанникомъ 1 класса, *со шпагою*, съ моими родителями въ Ревелѣ. Тамъ скончалась, жившая вмѣстѣ съ нашею семьею, старшая дочь Карамзина, Софья Николаевна. Упоминаю объ этомъ потому, что ея болѣзнь и ея кончина остались въ моей памяти какъ доказательство того, насколько сильно было душевное угнетеніе тогдашняго общества отъ только-что окончившейся ужасной войны. Послѣ того, какъ въ маѣ 1857 года убитъ былъ старшій сынъ Карамзина, старшая сестра его Софья Николаевна до того была потрясена этимъ несчастіемъ, что изъ веселой, беззаботной, разговорчивой, какою она всегда была, долгіе годы бывшей умомъ, образованіемъ и прелестнымъ характеромъ, приманкою карамзинской гостиной, вдругъ превратилась въ грустную и задумчивую. Затѣмъ, все усиливавшіеся ужасы войны, стали на нее дѣйствовать такъ сильно, что она мало-по-малу впала въ полную меланхолію и въ этомъ состояніи прожила до кончины...

Припоминаю, въ связи съ этимъ, что въ одинъ изъ свѣтлыхъ промежутковъ ея состоянія до кончины, она, припомнивъ недавнее прошлое, поручила передать своему другу, Ѳ. И. Тютчеву (поэту), чтобы онъ бросилъ заниматься столами, говоря, что это вредно для души. Надо сказать, что 1854 и 1855 года, въ петербургскомъ обществѣ, отчасти подъ вліяніемъ печальныхъ смертей на войнѣ, отчасти подъ вліяніемъ кончины Николая I, были временемъ, когда что-то мистическое и суевѣрное играло роль въ гостиныхъ и семьяхъ. Помню, что самая кончина Николая I была обставлена разсказами о страшныхъ явленіяхъ предвѣщавшихъ. Такъ, говорили объ одномъ

барскомъ домѣ, гдѣ дочь (ее называли) занималась спиритизмомъ, и получала отвѣты на вопросы посредствомъ билліарднаго кія, который она брала въ руки и который ее доводилъ до книжнаго шкафа и ударялъ объ книгу, гдѣ долженъ былъ заключаться отвѣтъ на мысленный вопросъ; при этомъ кій, когда книгу ставили на столъ, развертывалъ ее и ударялъ на ту страницу, гдѣ заключался отвѣтъ. Такъ какъ я видѣлъ такія странныя вещи собственными глазами, то и упоминаю объ этомъ разсказѣ, какъ о чемъ-то правдоподобномъ. И вотъ, однажды, на какой-то вопросъ о войнѣ, еще до болѣзни Николая I, кій очень сильно сталъ вырываться изъ рукъ барышни, затѣмъ, вырвавшись, долетѣлъ до портрета Николая, ударился объ него и, свалившись, разбился въ дребезги. «Будетъ несчастье»!—сказала тогда мать этой дѣвушки. Къ этой же категоріи предзнаменованій слѣдуетъ отнести тотъ фактъ, что пѣвчіе Казанскаго собора, тоже до болѣзни Николая I, по какой-то непонятной ошибкѣ, запѣли при возглашеніи многолѣтія Императору «вѣчную память». Помню тоже разсказъ того времени о какой-то черной птицѣ, три дня до смерти Николая I сидѣвшей надъ спицомъ маленькаго бельведера на крышѣ Зимняго Дворца, какъ разъ надъ его комнатою, и постоянно кричавшей какимъ-то зловѣщимъ голосомъ. Всѣ эти разсказы доказывали, какъ я сказалъ, до извѣстной степени нервное настроеніе тогдашняго общества, и ничего нѣтъ удивительнаго, что первыя явленія и опыты спиритизма, въ формѣ вертящихся столовъ и пишущихъ карандашей, происходили чуть ли не въ каждой гостиной Петербурга. Бесѣды съ духами мертвыхъ—съ душами убитыхъ на войнѣ, а потомъ съ духомъ Николая I—были главными предметами спиритическихъ сеансовъ.

День Коронаціи, 26 августа, пришлось мнѣ провести въ дорогѣ, въ мальпостѣ, изъ Ревеля въ Петербургъ, но помню, какъ вчера, великолѣпное освѣщеніе въ городѣ Нарвѣ, вечеромъ, 26 августа, гдѣ я подумалъ, что если такую блестящую иллюминацію устроилъ городъ Нарва, то что же должно было быть во всѣхъ большихъ городахъ Россіи, не говоря уже о Петербургѣ и Москвѣ...

Тогда всѣ говорили о томъ, что иностранныя государства особенно заботились о приданіи этой Коронаціи особаго блеска, какъ бы желая всѣ вмѣстѣ позолотить недавно нами проглоченную пилюлю парижскаго трактата. У всѣхъ государствъ, надо сказать, была въ ту пору совѣсть нечиста относительно Россіи, за исключеніемъ развѣ Испаніи и Португаліи. Кромѣ Франціи, Англіи и Сардиніи, воевавшихъ съ нами, роль измѣнницы сыграла, какъ извѣстно, Австрія и весьма двусмысленную роль сыграла Пруссія, двусмысленную потому, что она до войны и во все время войны гораздо ближе держалась Австріи, чѣмъ Россіи, и дружбу свою намъ проявила только въ *дружескомъ* совѣтѣ — какъ можно скорѣе заключить намъ миръ на какихъ-бы то ни было условіяхъ. Наполеонъ III хотѣлъ поразить насъ роскошью своего посольства и поручилъ герцогу Морни быть своимъ представителемъ, съ кредитомъ въ 7 милліоновъ франковъ. Англія послала своего самаго богатаго сановника и вельможу Гренвилля, съ кредитомъ неограниченнымъ. Австрія прислала перваго магната Венгріи, князя Эстергази, съ блестящею свитою.

Наконецъ, тогда мы впервые услыхали о знаменитомъ маркизѣ Карабе Испаніи, о герцогѣ д'Оссуна и д'Инфантадо, милліонерѣ, принявшемъ на себя быть посломъ Испаніи, на свои собственныя средства. Въ Россіи же всѣ рѣши-

тельно, имѣвшіе малѣйшія къ тому средства, сочли своимъ долгомъ прибыть въ Москву.

Этотъ съѣздъ всѣхъ именитыхъ русскихъ дворянъ на коронацію Александра II, во всей ихъ роскоши, получилъ значеніе историческаго событія, ибо въ послѣдній разъ въ стѣнахъ Москвы предстало все русское дворянство iш сотроге богатымъ... Оттого нанять тогда барскіе дома въ Москвѣ было затруднительно...

Несмотря на этотъ блескъ и всю роскошь, маленькій эпизодъ омрачилъ на минуту одинъ изъ торжественныхъ моментовъ церемоніала. Я упоминаю объ немъ потому, что тогда онъ былъ только непріятнымъ инцидентомъ, а потомъ о немъ вспоминали уже какъ о зловѣщемъ предзнаменованіи. Когда вѣнчанный Императоръ возложилъ корону на Императрицу, то по церемоніалу прикрѣплять ее должны были дежурныя статсъ-дамы—для формы, а въ натурѣ это долженъ былъ исполнить парикмахеръ Императрицы, а такъ какъ всѣ спѣшили ко времени церемоніи, то поспѣшилъ и парикмахеръ, и, на его бѣду, въ минуту, когда должно было начаться обратное шествіе, вдругъ корона сваливается съ головы Императрицы, съ боку ее успѣли поддержать, и уже на ходу несчастному парикмахеру пришлось кое-какъ ее скрѣпить.

Годъ спустя я узналъ отъ князя Дмитрія Александровича Оболенскаго, что на одномъ изъ баловъ въ Москвѣ во время Коронаціи Государь впервые заговорилъ о крестьянскомъ вопросѣ... Можно было думать, что при вѣнчаніи своемъ на царство Александръ II размышлялъ уже о предстоящей ему великой задачѣ, но припоминаемый мною эпизодъ имѣетъ интересъ т[illegible]у, что онъ прямо свидѣтельствовалъ о томъ, что будущій Царь-Освободитель былъ такъ же[illegible]къ

былъ отъ нея далекъ въ тѣ годы, когда, будучи Цесаревичемъ, ссорился съ Бибиковымъ изъ-за инвентарей. Этотъ эпизодъ доказываетъ, что онъ къ крестьянскому вопросу относился такъ же скептически, какъ прежде. Встрѣтивъ на одномъ изъ баловъ князя Оболенскаго, тогда уже вошедшаго въ плеяду молодыхъ приближенныхъ двора Великой Княгини Елены Павловны, Императоръ говорилъ ему: а ты слыхалъ, что Елена Павловна выдумала эмансипацію своихъ крестьянъ... Въ первый разъ тогда было произнесено слово эмансипація, при чемъ князь Оболенскій не могъ усумниться въ томъ, что слова эти звучали въ устахъ Государя если не иронически, то все-же скептически.

Къ концу 1856 года, когда успокоились всѣ волненія коронаціи, небо стало хмуриться и воздухъ сталъ грязниться...

Это было начало, зародышъ той эпохи,—увы!—долголѣтней и смутной, которая столько горя принесла Россіи наравнѣ со столькими благими намѣреніями...

Началась совсѣмъ новая политическая жизнь... Забытъ былъ Николай I, забыты были святыя страды Севастополя, все принялось жить и сосредоточивалось около чего-то новаго.

Это новое, смѣшно вспомнить, былъ Герценъ...

Явился новый страхъ—Герценъ; явилась новая служебная совѣсть — Герценъ; явился новый идолъ—Герценъ....

Теперь, столько лѣтъ проживши, видишь совершенно ясно, какъ легкомысленно, какъ ребячески, или, попросту говоря, какъ глупо отнеслось тогдашнее общество къ той задачѣ перерожденія, которую оно представляло себѣ, какъ избѣжное призваніе новаго царствованія, какъ результатъ ончившейся Николаевской эпохи. Серьезно говоря, я и

доселѣ ничего не узналъ, проживши 40 лѣтъ, такого, что меня убѣдило бы въ томъ, что царствованіе великаго Николая требовало послѣ его кончины какого то позорнаго во имя прогресса забвенія; напротивъ, яснѣе, чѣмъ когда-либо, я понялъ, что всѣ завѣты и преданія этого царствованія надо было для счастья Россіи всѣ до единаго свято сберечь, какъ здоровыя и крѣпкія основы русскаго государства, и заняться только переформированіемъ обвѣтшалыхъ учрежденій и крестьянскимъ вопросомъ; вслѣдствіе этого, казалось бы, совершенно естественнымъ, что крупные государственные умы того времени,—а ихъ было не мало въ 1856 году, соединясь около молодого Государя, сообща съ нимъ разработали бы планъ необходимыхъ реформъ въ ихъ разумной постепенности...

Но именно этого-то не случилось. Ничего никѣмъ не было разрабатываемо, съ мыслью начать дѣло по плану и въ порядкѣ. И оттого-то—все сосредоточилось въ Герценѣ...

А Герценъ съ своимъ вліяніемъ являлся выразителемъ самымъ циничнымъ того характера случайности, который должны были принять задачи, такъ-называемаго перерожденія.

Герценъ основалъ эпоху обличенія...

Это обличеніе стало болѣзнью времени, и оно-то испортило нравственно и духовно ту среду, изъ которой должна была исходить серьезная и строго провѣренная реформаторская дѣятельность. А такъ какъ въ основу Герценскаго обличія легла его мелочная, личная, а потому антипатріотическая ненависть къ Николаю I, то этимъ и объясняется, почему эпоха Герценскаго террора соединилась съ эпохою безсмысленнаго развѣнчиванія великой нравственной фигуры Николая I.

По странной случайности наше училище въ послѣдній

годъ моего пребыванія, 1856—1857 года, совсѣмъ игнорировало Герцена: я не помню, чтобы гдѣ-либо его читали, или чтобы мы о немъ говорили. Нашъ обиходъ не измѣнился, и хотя, какъ воспитанники 1-го класса, мы чувствовали себя вольнѣе остальныхъ классовъ и до извѣстной степени авторитетами для всѣхъ 6 классовъ, но я не помню, чтобы въ чемъ-либо относительно дисциплины мы измѣнили свои міровоззрѣнія...

Но едва мы выходили изъ училища, то начинали слышать разговоры о Герценѣ; въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, высшихъ того момента, Герцена брошюры читались, сваливаясь съ неба, и я помню, при встрѣчѣ съ юнкерами-сверстниками разговоры о томъ, что у нихъ классы дѣлятся на герценистовъ и антигерценистовъ. Дѣйствіе герценовскихъ проповѣдей въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, высшихъ и спеціальныхъ не замедлило проявиться; явился новый въ нихъ духъ, либеральный и современный, заключавшійся въ открещиваніи отъ николаевщины, въ порицаніи его *военщины*, въ критикованіи его *дисциплины*... Года два спустя, припоминая эти явленія, я понялъ, почему этотъ либерализмъ въ высшихъ спеціальныхъ военныхъ школахъ не получалъ должнаго отпора въ начальствѣ. Во главѣ военно-учебныхъ заведеній стоялъ человѣкъ, котораго очень незаслуженно связь съ крестьянскимъ дѣломъ возвеличила въ лѣтописяхъ той эпохи, это знаменитый Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ, ставшій потомъ графомъ. У него, какъ оказалось, николаевскаго было только обложка, убѣжденій и нравственной стойкости у него вовсе не было, а потому, одинъ изъ первыхъ николаевскихъ слугъ, который устыдился своего Монарха и благодѣтеля и поступилъ съ нимъ какъ Петръ со Христомъ во дворѣ Каіафы, былъ Ростовцевъ; едва появился Герценъ, едва заговорили

о новыхъ вѣяніяхъ, Ростовцевъ оказался однимъ изъ главныхъ его поклонниковъ, и это-то опасеніе прослыть отсталымъ, прослыть на страницахъ герценскихъ обличеній *николаевцемъ*, и было причиною, почему не было принято никакихъ серьезныхъ мѣръ къ тому, чтобы будущій инженеръ или артиллеристъ-офицеръ не могъ въ стѣнахъ училища заниматься русскою литературою по Герцену.

Помню я, какъ одинъ почтенный другъ нашей семьи, старый служака николаевскихъ временъ, разсказывалъ съ меланхоличнымъ юморомъ, какъ *теперь* у нихъ во всѣхъ министерствахъ забили тревогу; вездѣ явились корреспонденты Герцена изъ министерства; то были и столоначальники, и начальники отдѣленій, вслѣдствіе этого всѣ начальства до министра включительно—съ одной стороны трепетно и злобно доискивались: кто ихъ Іуда, а съ другой стороны—жили въ нервномъ страхѣ Герцена, ибо знали, что Герценъ имѣетъ читателей въ Зимнемъ дворцѣ.

О томъ, какъ велика была сила этого легкомысленнаго, этого глупаго страха герценовскихъ обличеній, свидѣтельствовалъ всего краснорѣчивѣе тотъ фактъ, о которомъ, именно тогда говорили,—что никто и помыслить не смѣлъ принять мѣры къ прекращенію этой дѣятельности Герцена, бравшаго свою силу не въ Лондонѣ, гдѣ онъ жилъ, а въ Россіи, въ тѣхъ департаментахъ и учрежденіяхъ, которые поставляли Герцену обличительный матеріалъ. Тогда говорили, что письма съ сообщеніями писались просто по адресу Герцена въ Лондонъ, или по одному и тому же передаточному адресу, и никто не смѣлъ до этого письма дотрогиваться. Ясно, если бы всѣ письма по адресу Герцена не посылались почтою по назначенію, то Герценъ лишенъ былъ бы главнаго и интереснѣйшаго своего матеріала; стоило бы только двухъ,

трехъ корреспондентовъ-обличителей найти, обличить и прогнать со службы, и сразу пропала бы у каждаго охота рисковать своею шкурою изъ-за удовольствія сотрудничать въ герценовскихъ изданіяхъ. Но, повторяю, никто не смѣлъ помышлять о сопротивленіи Герцену какимъ-либо путемъ и доходило это до того, что право, безъ преувеличенія можно сказать—въ иныхъ сферахъ и кружкахъ Герцена боялись болѣе, чѣмъ правительства.

И достойно вниманія вотъ еще что... Время при Николаѣ I относительно нравовъ служебныхъ было такъ мало сравнительно испорчено, что если сравнить тѣ предметы обличеній, которые громилъ Герценъ, тогдашней дѣятельности съ позднѣйшимъ временемъ, то подчасъ удивляешься, какъ могли такія бездѣлицы казаться обличенными ужасами.

Въ эту зиму 1856—1857 года, по случаю пребыванія моихъ родителей за границей я ходилъ изъ училища въ отпускъ къ моей теткѣ А. К. Карамзиной, вдовѣ убитаго на Дунаѣ А. Н. Карамзина. Жила она въ домѣ сына ея, П. П. Демидова, по Большой Морской. Зима эта и пребываніе въ такомъ жилищѣ роскоши, какъ этотъ Демидовскій домъ, съ его знаменитою малахитовою залою и т. п. былъ для меня съ братомъ важною жизненною школою...

Мы родились и жили въ семьѣ, не имѣвшей понятія о роскоши; теперь я вижу правовѣдовъ, щеголяющихъ въ собственныхъ мундирахъ, чуть ли не съ младшаго класса; я тогда до перваго класса не зналъ, что значитъ собственное платье; до 16 лѣтъ я ходилъ въ нашихъ уродливыхъ казенныхъ сапогахъ; до 17 лѣтъ я получалъ изъ дому на расходы не свыше 6 рублей въ мѣсяцъ, и вотъ, на этомъ то положеніи, и съ этими привычками къ скромной жизненной обстановкѣ, мы съ братомъ начали жить въ Де-

[illegible] и дѣлить [illegible]
[illegible] съ Павломъ Де-
[illegible] отношенія съ дѣтства у
[illegible] студентомъ 2 курса.
[illegible] Училища Правовѣдѣнія, и
[illegible] отъ другого: я
[illegible] въ то время.
[illegible] изъ дому—25 руб.
[illegible] получалъ *сто тысячъ*
[illegible]

VIII.

(1857 годъ).

Моя дружба съ П. П. Демидовымъ.—Его личность.—Нравы золотой молодежи.

Я сказалъ, что пребываніе мое въ одной, такъ сказать, комнатѣ съ молодымъ Демидовымъ, при его 1 милл. двѣсти тысячъ годового дохода, оказалось хорошею школою. И дѣйствительно, отчетливо помню, что итогомъ этой странной зимы, мною, какъ сонъ, проведенной въ Демидовскомъ домѣ,—было извѣстнаго рода отвращеніе къ деньгамъ: оно развилось отъ тѣхъ ежедневныхъ картинъ культа денегъ, которыя волею-неволею приходилось видѣть...

При этихъ 100 тысячахъ рублей въ мѣсяцъ жизнь студента Демидова представляла тогда въ высшей степени интересную картину нравовъ того времени... Самая личность молодого Демидова была изъ необыкновенныхъ, и въ связи съ его колоссальнымъ богатствомъ, и съ его поразительною красотою—это былъ тогда своего рода герой нашего времени... Красота его была до того поразительна, что когда онъ гулялъ по Лѣтнему саду, то и дѣло, что приходилось ему слышать возгласы: батюшки, какой красавецъ! или, по-французски: Dieu, qu'il est beau... Отъ этого одного было съ чего вскружить себѣ голову... И если къ этому прибавить его деньги, то одному можно

было удивляться, какъ этотъ молодой человѣкъ могъ выдержать эти первые годы молодости, буквально со всѣхъ сторонъ окруженный и даже опутанный всѣми возможными обольщеніями... Безъ преувеличенія скажу, что не менѣе десяти въ день получалъ молодой Демидовъ объясненій въ любви и зововъ на свиданіе, и не то, что отъ заинтересованныхъ его деньгами, но исключительно по адресу его личности, и не изъ того міра, гдѣ зовъ незнакомаго на свиданіе есть обыденное явленіе, а изъ свѣта, изъ большого даже свѣта, изъ балетнаго міра, изъ міра французскихъ актрисъ и т. д...

Тѣмъ не менѣе, въ этомъ водоворотѣ обольщеній Демидовъ тогда сравнительно уцѣлѣлъ. Смѣшно сказать, но это такъ: его спасла безалаберная кутежная жизнь въ кружкѣ золотой молодежи, спасла въ томъ смыслѣ, что не давала ему тогда ни времени заводить опасные романы, ни поддаваться самообожанію... Съ утра до вечера въ веселой обстановкѣ компаніи элегантныхъ юнкеровъ онъ о себѣ совсѣмъ не думалъ; въ немъ не успѣли развиться ни фатовство, ни самомнѣніе; il se laissait vivre,—какъ говорятъ французы, и послѣ веселой попойки возвращался усталый домой и спалъ...

Я сказалъ, что онъ былъ изъ необыкновенныхъ личностей. И дѣйствительно, давши ему необыкновенную красоту, давши ему необыкновенное богатство, судьба дала ему, кромѣ того, очень способный и тонкій умъ и въ придачу прекрасное сердце... Со всѣми этими дарами судьбы можно было бы, при хорошихъ условіяхъ воспитанія и при хорошемъ на него вліяніи въ ранней молодости, сдѣлать изъ него выдающагося, прекраснаго и способнаго человѣка, но мой дядя, Карамзинъ, мужъ его матери, который одинъ могъ бы вести его воспитаніе,

былъ убитъ, въ 1855 году, и бѣдный отрокъ остался безъ всякаго мужского руководительства на 15-лѣтнемъ возрастѣ, и если онъ, предоставленный самому себѣ, сумѣлъ остаться тѣмъ, чѣмъ онъ былъ: добрымъ и привѣтливымъ, умнымъ и воспріимчивымъ, пріятнымъ и веселымъ собесѣдникомъ, хорошимъ товарищемъ и даже учащимся студентомъ—онъ блестяще, съ помощью своихъ репетиторовъ и благодаря своимъ способностямъ, выдерживалъ экзамены,—то всѣмъ этимъ онъ обязанъ былъ только самому себѣ... Страшно подумать, чѣмъ онъ могъ сдѣлаться бы въ 18 лѣтъ, при необыкновенныхъ условіяхъ его жизни...

Его научили, разумѣется, играть въ карты; приходили къ нему играть *друзья*, разсчитывавшіе на его горячій, увлекающійся темпераментъ и на его оттѣнокъ своего рода рыцарства или деликатности, побуждавшей давать отыгрываться проигравшимъ ему круглыя суммы... Приходила играть молодежь безъ денегъ въ карманѣ; выигравши брали сотни и тысячи рублей съ Демидова,—проигравши, записывали на мелокъ или отыгрывались, при полномъ равнодушіи къ проигрышу и къ выигрышу молодого милліонера... Обыгрывали его въ билліардъ, подсовывали ему 5 и 10-тысячныхъ рысаковъ, подсовывали мнимые Корреджо и Рафаэли, словомъ, кто только могъ, тотъ эксплоатировалъ молодого Демидова. Затѣмъ, веселые обѣды, и паче всего веселые ужины у Бореля... Для Бореля Демидовъ былъ божествомъ. И дѣйствительно, кромѣ счетовъ за ужинъ Демидовъ ему ежегодно платилъ огромныя субсидіи или ренту за битыя заркала и проткнутыя картины... Когда приходили такія минуты буйства, тогда Борель, облизываясь, бѣгалъ около Демидова, и послѣ мамаева побоища, совершеннаго Демидовымъ и

опричниками его въ одной комнатѣ, Борель вводилъ его въ другую комнату, говоря почтительно: monsieur Demidoff, voila une glace, qui n'est pas brisée, и выпрашивая у Демидова чести увидѣть и это уцѣлѣвшее зеркало разбитымъ, причемъ послѣ побитія стеколъ, и при представленіи за нихъ счетовъ, они всегда оказывались венеціанскими...

Чтобы дать понятіе о тогдашнихъ кутежахъ золотой молодежи, припомню такой, напримѣръ, эпизодъ. Собралась веселая компанія у Бореля въ общей залѣ ужинать. Въ этой же залѣ сидитъ и скромно ужинаетъ одинъ штатскій...

Узнавши, что этотъ штатскій помощникъ правителя канцеляріи оберъ-полиціймейстера—вся компанія подходитъ къ нему и самымъ невозмутимымъ образомъ начинаютъ дѣлать саладный соусъ на его головѣ, начиная съ горчицы и кончая уксусомъ. Подчинившійся ватагѣ студентовъ и юнкеровъ, чиновникъ убѣжалъ потомъ домой и принесъ жалобу оберъ-полиціймейстеру. Тогда былъ оберъ-полиціймейстеромъ графъ П. А. Шуваловъ... Онъ послалъ за главными кутилами и объявилъ имъ, что если они не желаютъ, чтобы онъ довелъ о случившемся до Государя и до военнаго начальства, то требуетъ, чтобы они всѣ поѣхали къ обиженному чиновнику и попросили у него извиненія, что они и исполнили—и вовсе не изъ трусости, спѣшу прибавить,—ибо никто изъ этой молодежи своею шкурою не дорожилъ, а исключительно изъ порядочности, которая въ трезвомъ состояніи возвращалась въ каждомъ изъ нихъ въ свои права...

Какъ бы то ни было, но въ эту зиму я собственными глазами убѣдился, что можно безъ остатка издержать сто тысячъ рублей въ мѣсяцъ *карманныхъ денегъ* 17-ти лѣтъ,

не сдѣлавши при этомъ ничего *необыкновеннаго*, и не проигравши ни разу болѣе 3 или 4 тысячъ рублей... При чемъ долженъ сказать, что каждое обращеніе къ прекрасному сердцу молодого Демидова, или просто, когда онъ узнавалъ о чьей-либо нуждѣ, или когда онъ признавалъ себя обязаннымъ кого-нибудь вознаградить за выкинутую штуку или причиненную обиду, вызывало съ его стороны денежное даяніе всегда en grand.

Подъ вліяніемъ денегъ, я совершилъ первый грѣхъ перомъ, какъ разъ въ эту зиму написавши драму, на тему чиновника, послѣ долгой борьбы съ искушеніями взявшаго взятку и, прочитавъ ее въ кружкѣ Демидова, его и моихъ товарищей, вынесъ убѣжденіе, что далеко кулику до Петрова дня, и на этомъ надолго прекратилъ свои литературныя попытки, хотя нашъ профессоръ русской словесности, Н. А. Вышнеградскій, братъ И. А., чудесно преподававшій намъ курсъ русской литературы, громко говорилъ въ классѣ, что во мнѣ чуется внукъ Карамзина.

Не болѣе удачны были мои опыты сценическаго искусства, тоже въ домѣ Демидова. Демидовъ имѣлъ вкусъ къ театру. Въ то время образовался цѣлый кружокъ любителей драматическаго искусства, подъ названіемъ «Фаланстеръ», въ которомъ участвовали: изъ театра Самойлова, знаменитый Теодоръ Бурдинъ, а изъ музыкантовъ Леви, Тамберликъ, затѣмъ любители, какъ графъ Фредра, князь Долгорукій; участвовалъ и Демидовъ... Отсюда къ домашнему спектаклю былъ одинъ шагъ, и вдругъ въ одинъ прекрасный день устраивается въ залѣ сцена; Самойловъ беретъ на себя режиссерство, и назначаетъ спектакль; сперва идетъ на французскомъ языкѣ драма «Elle est folle», которую ставилъ Дешанъ, прелестный актеръ фран-

цузскаго театра, и гдѣ, въ главной роли сумасшедшаго, выступилъ Демидовъ, а потомъ «Свадьба Кречинскаго», гдѣ тотъ же Демидовъ игралъ роль Кречинскаго. И на эти спектакли мать Демидова зоветъ весь Петербургъ, со дворомъ во главѣ; въ первомъ ряду сидѣли Государь. Императрица, всѣ трое Великіе Князья, Великая Княгиня Марія Николаевна, а затѣмъ весь бомондъ... Смѣлость Демидова дебютировать на сценѣ при такихъ зрителяхъ увѣнчалась успѣхомъ: онъ проявилъ талантъ, но я, грѣшный, игравшій вторую роль во французской пьесѣ доктора Еллакъ, почувствовалъ, что ничего не проявилъ, кромѣ негодности...

IX.

(1857 годъ).

Заключительныя впечатлѣнія передъ выпускомъ.—Нашъ классъ и наше товарищество. — Репетиціи. — Экзамены. — Нашъ Принцъ. — Первые дни свободы.

Въ 1857 году намъ предстояло окончить курсъ и выйти на службу въ числѣ 26 человѣкъ.

Очень ясно и живо помню это время... Въ младшемъ курсѣ при серебряныхъ петлицахъ мы вели счетъ днямъ до перехода на старшій курсъ; то былъ счетъ 4-лѣтній; на старшемъ курсѣ мы стали записывать дни и вести имъ счетъ до выпуска, то есть трехлѣтній...

Скоро сталъ наступать и этотъ давно желанный день. Для меня онъ имѣлъ значеніе выхода изъ 10-лѣтняго заключенія, ибо я пробылъ 3 года въ приготовительныхъ классахъ, куда поступилъ 8 лѣтъ. Значитъ, выходилъ я на службу и въ жизнь 18 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ отъ роду.

Съ чѣмъ же я выходилъ, съ какимъ запасомъ духовнаго матеріала? Интересно сіе припомнить... Я говорю о духовномъ запасѣ, потому что въ физическомъ и матеріальномъ отношеніи, надо отдать справедливость нашей alma mater, запаса намъ давали мало: очень плохо насъ кормили для составленія запасныхъ суммъ, очень плохо вели гигіеническую часть, совсѣмъ не заботились о нашемъ физическомъ развитіи, очень плохо соблюдали главныя

[illegible]

[illegible]

[illegible] съ ограниченными средствами и, слѣдовательно, не знали различія положенія и карману. Это равенство весьма много способствуетъ гладкимъ и искреннимъ товарищескимъ отношеніямъ между всѣми.

Я помню одинъ эпизодъ, характеризовавшій единство и товарищество нашего класса, по моему, очень выразительно. Это было еще въ младшемъ курсѣ. Кто-то изъ товарищей, по выходѣ воспитателя изъ физическаго кабинета, заперъ на ключъ за нимъ дверь. Воспитатель пришелъ въ ярость и потребовалъ, чтобы мы назвали ему, кто затворилъ дверь; мы отказались назвать; онъ пошелъ къ Языкову, и это какъ разъ было за день до отпуска на пасхальные праздники. Языковъ изрекаетъ грозный приговоръ: оставить весь классъ безъ отпуска до тѣхъ поръ, пока не назовутъ виновнаго. Мы рѣшили молчать, и со Страстной среды началось наше заточеніе въ училищѣ, съ перспективою просидѣть въ заперти всѣ праздники. Надо полагать, что экономическія соображенія эко-

нома передъ необходимостью кормить цѣлый классъ взяли верхъ надъ педагогическими соображеніями наказанія, и въ Страстную пятницу насъ отпустили домой, не истребовавъ имени виновнаго. Во всякомъ случаѣ, этотъ фактъ доказываетъ именно то, что я говорилъ: нравственный духъ хорошаго и честнаго товарищества.

Затѣмъ, такой фактъ, какъ тотъ, который я привелъ насчетъ покойнаго Христіановича, который, чтобы облегчить положеніе товарища, желавшаго быть первымъ, не менѣе краснорѣчиво показываетъ, какой именно честный духъ товарищества у насъ господствовалъ.

На репетиціяхъ и экзаменахъ я держался для приготовленія самой по моему лучшей въ практическомъ отношеніи системы: я подбиралъ двухъ, трехъ изъ тѣхъ моихъ товарищей, которые своихъ записокъ не имѣли, и очень мало интересовались вопросомъ: какого класса они выйдутъ, и толковалъ имъ курсъ; ничего такъ не облегчаетъ усвоенія себѣ предмета, какъ именно этотъ способъ; для меня онъ замѣнялъ лишнее чтеніе курса, а для моихъ слушателей онъ служилъ практическимъ способомъ наскоро заполучить свѣдѣнія на семерку или восьмерку.

Первая разлука наступила въ мартѣ, когда насъ, воспитанниковъ I класса, по обычаю, распустили по домамъ готовиться къ экзаменамъ... Это было лучшее время нашей жизни: товарищи расположились по маленькимъ квартиркамъ, похожимъ на студенческія, и мы тамъ сходились для скромныхъ чаепитій, съ колбасою и сыромъ, и для *зубрежа вмѣстѣ*... Зубрежъ въ компаніи несравненно легче и веселѣе, и ежедневно вставшее солнце застигало насъ еще сидящими за тетрадями. Какъ вчера помню одинъ эпизодъ со мною, доказавшій лишній разъ

весь вредъ и всю очевидную тщету экзаменовъ... Часамъ къ 6 утра я кончилъ готовиться къ курсу; наканунѣ я тоже спалъ часа два; закончивъ зубрежъ, я умылся и прямо приступилъ къ утреннему чаю, съ тѣмъ, чтобы затѣмъ идти къ 9 часамъ на экзаменъ. Прихожу на экзаменъ; сижу и чувствую, что въ головѣ что-то не ладно: мысли начинаютъ безсвязно смѣшиваться, какое-то круженіе чего-то въ головѣ съ ощущеніемъ, какъ-будто это что-то кружится въ пустотѣ; меня вызываютъ къ столу съ зеленымъ сукномъ, я машинально беру билетъ, подхожу къ стулу, сажусь, смотрю въ билетъ и вдругъ— о, ужасъ!— чувствую, что я не только ничего не знаю, но что я даже припомнить ничего не могу: словно вся наука разомъ вылетѣла изъ головы... Тогда, блѣдный какъ полотно, я подхожу къ экзаменатору и говорю ему, что долженъ отказаться отъ экзамена: я совсѣмъ не владѣю головою... Это былъ осязательный признакъ остраго переутомленія. Мнѣ разрѣшили уйти; я вернулся домой, заснулъ, проспалъ часовъ шесть, и къ вечеру вернулъ себѣ вмѣстѣ съ памятью и забытую науку; помню, что, по какому-то странному дѣйствію этого мозгового явленія, усвоеніе забытаго курса стало еще полнѣе и яснѣе, чѣмъ до эпизода, и я почти безъ перечитыванія могъ отвѣчать на особомъ экзаменѣ, мнѣ данномъ, и получить 12 балловъ.

Какъ я сказалъ, намъ приходилось держать 16 выпускныхъ экзаменовъ. 16 экзаменовъ въ промежуткѣ времени немного болѣе мѣсяца! Это легко сказать, а если вникнуть въ сущность дѣла и разобраться въ немъ, умъ въ 18—19 лѣтъ былъ въ состояніи выдержать серьезно 16 экзаменовъ изъ разныхъ юридическихъ наукъ; ясно, что это не были экзамены, это были только упражненія памяти, какъ ясно было [illegible]то еслибы этихъ экзаме-

новъ не было, мы бы прочнѣе усвоили себѣ тѣ науки, по которымъ въ заключеніе курса надо было сдавать черезъ три дня заученные фоліанты... Переутомленіе памяти, и все что она выигрывала, все это пропорціонально проигрывало знаніе.

Изъ веселыхъ минутъ припоминаю примѣриваніе штатскаго платья. Фракъ и сюртукъ я получилъ разрѣшеніе заказать у толстаго и веселаго, тогда самаго моднаго портного, старика Шармера; помню, что онъ бралъ тогда за каждую пару 50 рублей. Наступилъ, наконецъ, и послѣдній экзаменъ, послѣ котораго предстояло отправиться въ баню и облечься въ штатское платье. Мы прощались съ училищемъ, надо сказать правду, безъ слезъ, но и не со злыми чувствами. Языковъ остался въ нашей памяти какимъ-то типомъ взбалмошнаго человѣка, и если съ кѣмъ-либо мы сердечно простились, такъ это съ нашимъ класснымъ воспитателемъ Евгеніемъ Федоровичемъ Герцогомъ. Это былъ сердечный, хорошій и честный человѣкъ, котораго мы не только любили, но и уважали; затѣмъ, такой профессоръ, какъ старикъ Шнейдеръ, типъ художественный, влюбленный въ свое Римское право, чудный человѣкъ, и вотъ и все... Всѣ остальные типы и лица сливались для насъ въ одну массу, довольно безцвѣтную, какъ лицъ, ничего не запечатлѣвшихъ въ наши молодыя души.

Счастливые и веселые мы отправились, разумѣется, гулять въ Лѣтній садъ, съ убѣжденіемъ или вѣрнѣе съ ощущеніемъ, что всѣ гуляющіе будутъ любоваться нашими щегольскими штатскими одѣяніями. На душѣ было легко и весело. За мѣсяцъ до выпуска насъ распредѣлили, по нашему желанію, по разнымъ отдѣламъ службы въ министерствѣ юстиціи. Я попалъ во 2 отдѣленіе 5 департамента

сената... У Donon состоялся традиціонный послѣ выпуска обѣдъ. Мы обѣдали съ нашимъ эксъ-начальствомъ. На мою долю въ заключеніе веселаго обѣда выпало развозить черезчуръ послужившихъ Бахусу по домамъ. 11 мая былъ актъ и принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій намъ далъ по золотой медалькѣ съ своимъ завѣтомъ: «respice finem».

Прежде чѣмъ кончить отдѣлъ моихъ училищныхъ воспоминаній, я хочу вспомнить долгъ благодарной памяти къ человѣку, который былъ для насъ, правовѣдовъ, въ теченіе всей нашей воспитательной эпохи — олицетвореніемъ совсѣмъ особенной доброты, совсѣмъ особенной любви къ добру, правдѣ и чести, и запечатлѣлъ свой свѣтлый простодушный образъ въ сердцѣ каждаго изъ насъ не только какъ воспоминаніе, но и какъ завѣтъ.

Человѣкъ этотъ былъ нашъ *Принцъ*; этимъ краткимъ титуломъ мы всѣ отъ мала до велика величали въ стѣнахъ училища правовѣдѣнія—Принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго. Раздавая намъ, при прощаніи съ училищемъ, золотыя медальки съ надписью: respice finem, Принцъ нашъ заповѣдывалъ намъ всегда взирать на конецъ дѣла.

Но скромный и смиренный нашъ Принцъ никогда не подозрѣвалъ, что Онъ для насъ своею личностью былъ прекраснымъ *началомъ* нашей воспитательной школы, началомъ, слѣдовательно, нашей всей послѣдующей и отвѣтственной жизни труда и дѣла, жизни человѣка, гражданина и вѣрноподданнаго.

У Принца Петра Георгіевича была чудная мать, великая княгиня Екатерина Павловна. Ея душу, любящую и честную, отзывчивую и довѣрчи унаслѣдовалъ сынъ ея Принцъ Петръ Георгіевичъ я полнотѣ, и эту-то душу, прекрасную, высоку какъ у мла-

денца, онъ отдалъ, можно сказать, намъ, правовѣдамъ; въ нашу alma mater онъ вложилъ эту душу, и мы этимъ гордились, считая себя дѣтьми и семьею нашего Принца. У Принца было подъ начальствомъ много воспитательныхъ заведеній, и мужскихъ, и женскихъ, но правовѣды были его «веніаминами», были его собственными дѣтьми. Принцъ вѣдь создалъ наше училище... Намъ передавали, какъ преданіе въ училищѣ, что въ 30-хъ годахъ Принцъ Петръ Георгіевичъ, преисполненный заботою дать судебному вѣдомству въ Россіи честныхъ и хорошихъ слугъ Престола, долго разрабатывалъ и лелѣялъ эту мечту въ душѣ, а затѣмъ пришелъ къ Императору Николаю просить права ее осуществить. Императоръ Николай его благословилъ на это дѣло, а затѣмъ, когда возникъ вопросъ: на какія же средства будетъ поведено дѣло, Принцъ сообщилъ, что домъ онъ покупаетъ на свои деньги и устраиваетъ его. При этомъ, будто бы, Императоръ Николай сказалъ Принцу: «ну, смотри, ты мнѣ за твоихъ правовѣдовъ будешь отвѣчать». Этотъ нравственный долгъ отвѣта за насъ Принцъ нашъ и принялъ предъ своимъ Государемъ съ особеннымъ фанатическимъ, такъ сказать, убѣжденіемъ, что русское дворянство, которое призвано было давать главный контингентъ будущихъ питомцевъ училища правовѣдѣнія, дастъ хорошихъ и доблестныхъ слугъ Престолу. И Принцъ насъ не иначе называлъ, какъ *своими* правовѣдами, а мы Принца иначе не называли, какъ «нашимъ» принцемъ... Этимъ «нашимъ» Принцемъ онъ всегда былъ и для маленькихъ крошекъ и для выпускныхъ «голіафовъ». Полюбленный нами съ дѣтскаго возраста, онъ для насъ имѣлъ прелесть и обаяніе легенаго, такъ сказать, волшебнаго принца, принца—добгенія и, затѣмъ, серьезное, реальное значеніе нашего аго начальника и попечителя.

Уже на старшихъ курсахъ училища мы поняли благодаря Принцу,—а жизнь послѣдующая еще прочнѣе въ насъ утвердила ту же мысль, — что умъ не диво и не главное, а что главное — это сердце. Съ умомъ сколько глупостей дѣлаетъ человѣкъ, а съ такимъ сердцемъ, какое билось у нашего Принца, что представляла его жизнь, какъ не рядъ свѣтлыхъ и полезныхъ для Россіи дѣлъ и лѣтъ, въ теченіе которыхъ онъ этимъ сердцемъ столько вдохновилъ людей къ добру и къ чести, а говорить онъ былъ не мастеръ, и политикою и мудрствованіями не занимался. Мы знали изъ пережитого, что были Великіе Князья съ видными политическими ролями, но кто же изъ членовъ Императорской Фамиліи сдѣлалъ то, что Принцъ сдѣлалъ: изъ заботы, чтобы судьи въ Россіи стали честны, пожертвовать часть своего состоянія на созданіе цѣлаго громаднаго училища правовѣдѣнія!..

Рядомъ съ этимъ неистощимымъ для добра сердцемъ необыкновенна была и его скромность. Онъ себѣ ничего никогда не ставилъ въ заслугу, ничего въ себѣ не цѣнилъ: съ утра до вечера отдавая всего себя на исполненіе обязанностей, онъ не зналъ ни отдыха, ни самодовольства. У правовѣдовъ въ наше время имѣлись двѣ легенды: одна о созданіи училища, а другая о спасеніи училища правовѣдѣнія.

Вторая легенда гласила, что когда въ 1848 году стали проявляться въ нѣкоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ безпорядки политическаго свойства, и что-то случилось тоже въ училищѣ правовѣдѣнія, Императоръ Николай разсердился и хотѣлъ закрыть наше училище, но будто Принцъ нашъ поѣхалъ къ Государю и на колѣняхъ и со слезами умолялъ Его простить училищу и ему, и что Императоръ, тронутый до глубины сердца горемъ Принца,

пощадилъ его дѣтище, хотя, какъ я выше писалъ, держалъ училище въ своей опалѣ и до 1853 года его не посѣщалъ. Явился Языковъ. Мы часто задавались вопросомъ: какъ такой взбалмошный человѣкъ могъ пріобрѣсти довѣріе нашего Принца? Но потомъ мы поняли причину этого довѣрія. Принцъ такъ былъ счастливъ пріѣздомъ Императора Николая въ училище правовѣдѣнія, и тѣмъ «спасибо», которое онъ высказалъ Языкову, что всю заслугу возвращенія училища къ порядку и къ милости Царской онъ приписалъ къ Языкову. И это чувство его связало съ Языковымъ надолго. А у насъ воззрѣнія были другія. Мы понимали, что и здѣсь опять-таки имѣли дѣло съ проявленіемъ необыкновенной скромности и смиренія нашего Принца. А понимали мы это потому, что между нами никто не придавалъ Языкову значенія спасителя училища, а всѣ вѣрили, что когда въ училище пришла въ среду воспитанниковъ легенда о томъ, какъ Принцъ выпросилъ у Государя прощеніе училищу и взялъ на себя ручательство за его, такъ сказать, возрожденіе, то въ воспитанникахъ тогда, изъ любви и изъ уваженія къ своему Принцу, родилась и упрочилась подъ вліяніемъ чувства чести рѣшимость не огорчать Принца, а напротивъ, радовать его и постоять за него хорошимъ поведеніемъ у Государя. А Принцу и въ голову не приходило, что онъ былъ любовью, къ себѣ внушенною, единственный виновникъ снятія съ училища Царской опалы и все приписывалъ заслугамъ Языкова.

Скромность и смиреніе этого чуднаго старца принимали въ нашемъ дорогомъ Принцѣ самыя разнообразныя проявленія. Напримѣръ, онъ какъ будто извинялся, когда дѣлалъ кому-либо доброе дѣло. Глубоко я запомнилъ, какъ въ 1854 году онъ обошелся съ однимъ изъ моихъ това-

рищей. По домашнимъ обстоятельствамъ воспитанникъ этотъ долженъ былъ выйти изъ училища изъ-за бѣдности своихъ родителей, и поступилъ, надѣвъ солдатскую шинель, въ ряды севастопольцевъ. Принцъ его позвалъ къ себѣ, принялъ, какъ сына родного, обласкалъ, расцѣловалъ, благословилъ и отпустилъ, и едва тотъ вышелъ изъ кабинета Принца, какъ Принцъ за нимъ бѣжитъ и, догоняя его, начинаетъ извиняться и просить его принять отъ него, какъ *личное одолженіе*, маленькій пакетъ.

Въ этомъ пакетѣ оказалась значительная сумма денегъ. И въ извиненіе Принцъ сказалъ эти чудныя слова: я какъ отецъ, какъ отецъ, даю сыну...

Запомнилъ я другое проявленіе смиренія въ нашемъ Принцѣ. Одинъ изъ классовъ нашихъ составилъ заговоръ противъ нашего законоучителя, грознаго протоіерея Богословскаго. По обычаю, всѣ воспитанники должны были передъ началомъ и послѣ лекціи подходить къ законоучителю и цѣловать ему руку, получая благословеніе. Классъ постановилъ, въ отместку Богословскому за его дурные баллы, къ нему не подходить. Тогда Богословскій вышелъ изъ класса и сказалъ: отнынѣ моя нога въ этомъ классѣ не будетъ. Событіе огромнаго размѣра: цѣлый классъ подвергнутъ анаѳемѣ. Воспитатель летитъ къ Языкову; Языковъ летитъ къ Принцу. Что же дѣлаетъ Принцъ? Онъ пріѣзжаетъ въ училище, собираетъ отлученный классъ говоритъ имъ отъ сердца: не хорошо, не почтительно, и затѣмъ приказываетъ классу идти за нимъ. Принцъ приходитъ къ священнику на квартиру. Богословскій выходитъ къ Принцу. Принцъ говоритъ ему: я привелъ къ вамъ блудныхъ дѣтей, я за нихъ извиняюсь передъ вами и прошу ихъ простить, а затѣмъ первый подходитъ къ священнику, цѣлуетъ ему руку и принимаетъ благосло-

веніе. Нужно ли говорить, что черезъ весь классъ прошелъ, какъ электрическій токъ, порывъ благоговѣйной любви къ Принцу, и каждый почтительно сталъ подходить къ священнику, и каждый отдѣльно громко и убѣжденно произносилъ слова: простите меня, батюшка.

Да, въ любви, въ простотѣ и въ смиреніи была его нравственная для насъ, его дѣтей, нашего отца и попечителя Принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, сила. Быть честнымъ, быть вѣрнымъ слугою Царя и Россіи, быть добрымъ и любить человѣка мы, правовѣды, научились у нашего Принца... И дорогъ онъ намъ, какъ чудный и вѣчный идеалъ правовѣда!

X.

(1857 годъ).

Выходъ изъ училища на службу. — Характеристика нашихъ знаній и личностей. — Первыя служебныя впечатлѣнія. — Наше служебное начальство: графъ В. Н. Панинъ, Мих. Ив. Топильскій, Ильичевскій. — Петербургское высшее общество. — Центры придворные.

Вступили мы на государственную службу.

Припоминая это начало службы, не скажу, чтобы она оказалась въ какомъ-нибудь отношеніи пріятною.

Не скажу, чтобы мы вышли изъ училища хорошо образованными и съ прочными познаніями; года два спустя послѣ выпуска, когда сношенія съ людьми и большее вниманіе къ политической жизни меня побудили къ извѣстной провѣркѣ степени своего образованія, я долженъ былъ себя сознать очень необразованнымъ, и принялся за новый курсъ самообразованія посредствомъ чтенія. Въ особенности хромали мы, если можно такъ выразиться, общественнымъ образованіемъ... Напримѣръ иностранное государственное право намъ совсѣмъ было незнакомо, въ исторіи политической мы были до нельзя слабы, исторія цивилизаціи намъ была совсѣмъ незнакома и т. д.

Но если запасы свѣдѣній были въ насъ плохи, нельзя

сказать то же про запасъ жизненности и благихъ намѣреній... Мы, несомнѣнно, вышли изъ училища живыми и чувствовали въ себѣ не только жажду къ дѣятельности, но и стремленіе къ борьбѣ, мы рвались, такъ сказать, къ такой дѣятельности, гдѣ бы и голова и душа работали...

Но этого то именно намъ не дала наша служба. Мы сразу очутились въ какой то физической и нравственной сушѣ и духотѣ, подъ непосредственнымъ начальствомъ людей самаго настоящаго чиновничьяго типа. Въ моемъ отдѣленіи 5-го департамента сената такими именно безусловно чиновниками-людьми оказались и секретарь, и оберъ-секретарь, а что есть разница между живыми и мертвыми людьми на службѣ, я это сразу понялъ, ибо во главѣ моего начальства стоялъ оберъ-прокуроръ Гольтгоеръ, который производилъ впечатлѣніе не только почтеннаго и симпатичнаго, но именно живого... Впрочемъ, мѣсто исправляющаго должность младшаго помощника секретаря, съ 18 рублями въ мѣсяцъ, было до того іерархически ничтожно, что я могъ только сквозь многія призмы относиться къ такому высокому начальнику, какъ оберъ-прокурору, и цѣнить разницу между его личностью и личностью моихъ прямыхъ начальниковъ.

Такимъ образомъ, сразу, при поступленіи въ канцелярію сената, явился вопросъ: неужели для этой работы нужно высшее юридическое образованіе, когда не получившіе никакого образованія въ этой же канцеляріи играли роль докъ и представляли изъ себя своего рода дѣлопроизводственный авторитетъ... Скука отъ мертвечины — вотъ было главное впечатлѣніе, съ которымъ, вѣроятно, мы всѣ начали свою службу по судебному вѣдомству...

Не солгу, если скажу, что этотъ элементъ скуки и мертвенности былъ тогда присущъ всему судебному вѣдомству... Мои товарищи, поступившіе не въ сенатъ, а въ министерство юстиціи, — испытывали эту скуку еще въ большей степени...

Объяснялась она весьма просто — характеромъ нашего высшаго начальства... Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, напримѣръ, сперва при Бибиковѣ, а потомъ при Ланскомъ была живая дѣятельность; въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ работа кипѣла; вообще, въ эту эпоху, когда очень наглядно и осязательно вездѣ загоралась жизнь новой эпохи, единственное министерство, которое не давало никакихъ проявленій новой жизни, было министерство юстиціи...

Главныя начальствующія лица этого министерства были типы очень интересные, но всѣ они, не смотря на то, что были разные типы, держали министерство юстиціи въ его безжизненной атмосферѣ. Министръ юстиціи былъ знаменитый графъ Викторъ Никитичъ Панинъ, уже тогда носившій названіе, данное ему Герценомъ, трехполѣнный... Графъ Панинъ былъ совсѣмъ необыкновенный типъ государственнаго человѣка... По недоступности своей онъ былъ чѣмъ-то въ родѣ полубога, по легендарной о немъ молвѣ онъ былъ какимъ-то миѳологическимъ существомъ, почитаніе котораго исключало всякую возможность даже думать, что онъ имѣетъ что-нибудь общаго съ житейскою стороною служебнаго міра; все служившее въ вѣдомствѣ его пребывало въ сознаніи, что человѣка въ чиновникѣ министерства юстиціи не существуетъ для графа Панина... Можно было думать, что онъ даже дорожилъ тѣмъ, чтобы никто не могъ изъ среды его подчиненныхъ представлять себя относительно

его не чиновникомъ, то есть человѣкомъ съ обыденною *жизнью; такіе факты, какъ, напримѣръ,* резолюція графа Панина на прошеніе чиновника, ходатайствовавшаго объ отпускѣ: ему не нужно, а пусть ѣдетъ въ отпускъ такой-то, никогда и не помышлявшій объ отпускѣ, — именно свидѣтельствовали о томъ, что чиновникъ, какъ человѣкъ съ заявленіями правъ на жизнь внѣслужебную, какъ будто, для графа Виктора Никитича не существовалъ... Оригинальность этого типа тѣмъ болѣе была замѣчательна, что рядомъ съ этимъ графъ Панинъ былъ несомнѣнно самый образованный изъ тогдашнихъ государственныхъ людей, и внѣ службы былъ самымъ веселымъ и оживленнымъ собесѣдникомъ... Но это «внѣ службы» было меньшею частью дня графа Панина. Въ теченіе большей части дня онъ былъ министромъ юстиціи, и служебный міръ былъ для него какимъ то отдѣльнымъ отъ жизни священнодѣйствіемъ, коего онъ считалъ себя верховнымъ первосвященникомъ. Это рѣзкое отдѣленіе службы отъ жизни такъ было строго соблюдаемо графомъ Панинымъ, что про него говорили тогда, что онъ для разговоровъ съ своими устроилъ у себя въ двери кабинета окно, черезъ которое разговаривалъ съ семьей, чтобы никого изъ непричастныхъ къ служебному кругу недопустить въ свой кабинетъ, какъ храмъ служителей священнодѣйствія. Не лишена была оригинальности, напримѣръ, и ежедневная прогулка графа Панина. Кто въ Петербургѣ въ то время ее не зналъ, эту прогулку. Каждый Божій день по Невскому проспекту, въ пятомъ часу дня, можно было встрѣтить высокаго старика, прямого какъ шестъ, въ пальто, въ цилиндрѣ на небольшой, длинноватой головѣ, съ очками на носу и съ палкою всегда подъ мышкою. Прогулка эта была тѣмъ интерес-

нѣе, что всѣ видѣли графа Панина, но онъ никого никогда не видѣлъ, глядя прямо передъ собой въ пространство: весь міръ для него не существовалъ во время этой прогулки, и когда кто ему кланялся, графъ машинально приподнималъ шляпу, но, не поворачивая и не двигая головою, продолжалъ смотрѣть въ даль передъ собою. Отсюда сталъ ходить въ тѣ времена анекдотъ про знаменитаго комика Жемчужникова, который однажды осмѣлился рѣшиться нарушить однообразіе прогулки графа Панина: видя его приближеніе и зная, что графъ Панинъ смотритъ прямо передъ собою, онъ нагнулся и, притворился, будто что-то ищетъ на тротуарѣ, до того момента, пока графъ Панинъ не дошелъ до него и, не ожидая препятствія, вдругъ былъ остановленъ въ своемъ ходѣ, и, конечно, согнувшись, перекинулся черезъ Жемчужникова, который затѣмъ, какъ ни въ чемъ не бывало, снялъ шляпу и, почтительно извиняясь, сказалъ, что искалъ на панели уроненную булавку...

Не менѣе комиченъ анекдотъ про Жемчужникова, касающійся ежедневныхъ прогулокъ министра финансовъ Вронченко. Онъ гулялъ ежедневно по Дворцовой набережной въ 9 часовъ утра. Жемчужникову пришла фантазія тоже прогуливаться въ это время, и проходя мимо Вронченко, котораго онъ лично не зналъ, онъ останавливался, снималъ шляпу и говорилъ: министръ финансовъ, пружина дѣятельности — и затѣмъ проходилъ далѣе...

Сталъ онъ продѣлывать это каждое утро, до тѣхъ поръ, пока Вронченко не пожаловался оберъ-полиціймейстеру Галахову, и Жемчужникову подъ страхомъ высылки вмѣнено было болѣе его высокопревосходительство министра финансовъ не безпокоить.

Вторымъ типомъ, тоже необыкновеннымъ, въ министерствѣ юстиціи былъ директоръ департамента Михаилъ Ивановичъ Топильскій, маленькаго роста, съ сѣдыми бакенбардами, съ большими очками; онъ изображалъ собою полнѣйшій типъ чиновника древнихъ временъ... Но типичность его заключалась въ томъ, что все въ мірозданіи и все въ вѣдомствѣ министерства юстиціи для него сосредоточивалось въ графѣ Викторѣ Никитичѣ Панинѣ... Внѣ его и безъ него Михаилъ Ивановичъ не жилъ, и обратно безъ Михаила Ивановича графъ Панинъ не понималъ жизни, онъ былъ его конфидентомъ не только по служебнымъ дѣламъ, но и по домашнимъ, хозяйственнымъ дѣламъ, и безъ него, можно было сказать, ничто же бысть, еже бысть въ министерствѣ юстиціи. Топильскій передъ цѣлымъ вѣдомствомъ являлся не разсуждающимъ, а исключительно исполнявшимъ не только волю графа Панина, но и духъ его, и такія резолюціи, какъ тѣ, о которыхъ я говорилъ — предложить другому вмѣсто просившаго уѣхать въ отпускъ, исполнялъ не только безпрекословно и немедля, но онъ говорилъ чиновнику: вы обязаны подать рапортъ и исчезнуть на все время отпуска. У Топильскаго не было ни убѣжденій, ни взглядовъ, ни намѣреній собственныхъ; онъ ждалъ, чтобы имѣть ихъ по вопросамъ, при свиданіи съ графомъ, а до этого отвѣчалъ: какъ графъ рѣшитъ...

Третій типъ министерства юстиціи былъ тогдашній товарищъ министра Илличевскій. Подходя по росту къ своему министру, онъ потому представлялъ изъ себя типъ, что во всемъ вѣдомствѣ сумѣлъ всякому внушить убѣжденіе, что онъ *ничего* въ полномъ смыслѣ этого слова. Про Топильскаго всѣ знали, что онъ думаетъ, какъ графъ Панинъ. Про Илличевскаго всѣ знали, что

онъ *никакъ* не думаетъ, и это до такой степени, что во время болѣзни или отлучки графа Панина, когда его должность въ министерствѣ юстиціи занималъ управляющій министерствомъ юстиціи товарищъ министра, онъ говорилъ: «не знаю», или призывалъ Михаила Ивановича и говорилъ ему: «поступите, какъ приказалъ бы графъ»...

Время, въ которое я началъ свою службу, было самое симпатичное время. Своею симпатичностью оно было кратковременно... Года два, три—не болѣе, послѣ которыхъ люди какъ будто начали становиться злѣе и въ особенности менѣе искренни...

Отличительною чертою тогдашняго Петербурга была его оживленность. Оживленность эта была и общественная, и свѣтская, и отчасти государственная... Въ придворныхъ сферахъ тоже было замѣтно оживленіе... Придворныхъ сферъ тогда было нѣсколько... Прежде всего центромъ оживленія былъ Зимній дворецъ, гдѣ въ зиму 1857—1858 года начались маленькіе вечера у Императрицы Маріи Александровны... Государь Александръ Николаевичъ имѣлъ свою партію въ ералашъ, съ рѣдко мѣнявшимися партнерами. Они были: графъ А. Адлербергъ, Иванъ Матвѣевичъ Толстой, князь Василій Андреевичъ Долгорукій, новый шефъ жандармовъ, графъ Андрей Петровичъ Шуваловъ, оберъ-гофмаршалъ, затѣмъ князь Суворовъ, баронъ Ливенъ, оба генералъ-адъютанты... А рядомъ съ карточнымъ столомъ собирались гости для бесѣды вокругъ Императрицы... Тогда называли изъ стариковъ князя Горчакова, новаго министра иностранныхъ дѣлъ, графовъ Віельгорскихъ, князя Вяземскаго поэта, графа Алексѣя Бобринскаго, пріѣзжавшаго изъ кіевскаго своего имѣнія, графа Киселева, барона Мейендорфа и т. д., изъ молодыхъ—поэта и друга Государя графа Алексѣя Толстого. Впослѣдствіи стали приглашаться и другіе молодые.

Второй придворный центръ оживленія былъ дворъ Великой Княгини Елены Павловны... Вдова Великаго Князя Михаила Павловича уже тогда начала собою изображать историческую роль покровительницы ума, и преимущественно политическаго, хотя въ то же время у ея очага находили отчизну и науки, и искусства. Сложилось преданіе, будто мужъ ея, Великій Князь Михаилъ Павловичъ, былъ только строгій фронтовикъ и ничего кромѣ военной службы не зналъ, и что по-неволѣ былъ разладъ между имъ и его женою, любившею науки, искусства и политику... Молва эта была невѣрная. Великій Князь Михаилъ Павловичъ подъ личиною строгаго фронтовика скрывалъ много чертъ и прелестей образованнаго и любившаго образованіе человѣка. Его гостиная при Николаѣ не только благодаря женѣ его, но и благодаря ему была средоточіемъ умныхъ, талантливыхъ и образованныхъ людей, посреди которыхъ Великій Князь постоянно принималъ живое участіе въ литературныхъ и политическихъ бесѣдахъ. Не говоря уже о русской литературѣ, которую Онъ зналъ и изучалъ, Онъ много читалъ изъ иностранной литературы, но въ особенности французской. По этому поводу я запомнилъ эпизодъ съ однимъ изъ моихъ дядей, Карамзинымъ, служившимъ при Николаѣ въ конно-гвардейской артиллеріи.

Пріѣзжаетъ Великій Князь Михаилъ Павловичъ въ караулъ и застаетъ караульнаго офицера, именно моего дядю, за чтеніемъ французскаго романа... Онъ сразу на него накидывается за чтеніе романовъ въ караулѣ и приговариваетъ его къ аресту... Нѣсколько дней спустя, Великій Князь, послѣ ученія бригады, вызываетъ моего дядю; раздается его голосъ: К рамзинъ подходитъ.

— А я хотѣлъ тебѣ сказать, что вышелъ новый французскій романъ у Беллизара (у Полицейскаго моста, гдѣ былъ Мелье), такой то (сказалъ названіе). Интересный, совѣтую прочесть, но только не въ караулѣ.

Дворъ Великой Княгини Елены Павловны по женской части имѣлъ репутацію симпатичную...

Гофмейстериною ея была тогда очень почтенная и милая старушка княжна Львова, фрейлинами при ней были дѣвицы Раденъ и Эйнеръ, изъ которыхъ первая имѣла уже тогда репутацію очень умной женщины... Для того, чтобы гости могли быть plus á leurs aises, какъ тогда говорили, вечера происходили у княжны Львовой; приглашенія посылала она; надѣвъ фракъ съ чернымъ галстухомъ, приглашенные ѣхали только на чашку чая. Туда приходила Великая Княгиня изъ своихъ аппартаментовъ, садилась и бесѣдовала то со всѣми, то съ отдѣльными гостями.

И вотъ на этихъ-то вечерахъ начались первыя бесѣды объ эмансипаціи, и тутъ впервые заговорили о Самаринѣ, о князѣ Черкасскомъ, о Соловьевѣ, а потомъ о Милютинѣ.

Третій придворный центръ былъ Мраморный дворецъ. Тутъ былъ исключительно политическій очагъ новыхъ людей и новыхъ вѣяній... Имя Великаго Князя Константина Николаевича было уже тогда у всѣхъ на языкѣ и произносилось вездѣ съ симпатіями. Тогда говорили о немъ, во-первыхъ, потому, что онъ начиналъ свою роль генералъ-адмирала, а во-вторыхъ, потому, что онъ тогда занимался исканіемъ людей для своего брата Государя... Онъ мечталъ тогда создать цѣлую плеяду молодыхъ государственныхъ людей. И какъ только ему называли ...собнаго человѣка, онъ немедленно съ нимъ знако-...ся... Такъ, напримѣръ, приблизительно около того

времени, услыхавъ, что тогдашній предсѣдатель гражданской палаты князь Дмитрій Александровичъ Оболенскій пользовался прекрасною репутаціею умнаго и высоко честнаго человѣка, онъ немедленно его позвалъ и упросилъ поступить къ себѣ въ морское министерство. Затѣмъ приближены имъ были къ себѣ Борисъ Павловичъ Мансуровъ, тоже изъ вѣдомства юстиціи, и графъ Дмитрій Андреевичъ Толстой изъ министерства внутреннихъ дѣлъ, молодой М. Х. Рейтернъ, отправленный заграницу готовиться въ будущіе министры финансовъ и др.

Имѣлъ тогда тоже значеніе Дворъ Великой Княгини Маріи Николаевны, женщины высокаго ума, съ прямымъ характеромъ, и горячо принимавшей къ сердцу всѣ интересы своего брата Монарха. У нея тоже въ то время бывали маленькіе вечера, гдѣ послѣ ералаша подавали ужинъ, и гдѣ за ужиномъ велись оживленныя политическія бесѣды.

Всѣ эти придворные очаги умственной жизни тогда играли свою роль: во-первыхъ, они произносили имена новыхъ людей, и переносили эти имена изъ своихъ кружковъ въ сферы Зимняго Дворца; во-вторыхъ, они болѣе или менѣе разрабатывали матеріалъ для будущихъ государственныхъ вопросовъ и такъ сказать, двигали время.

Были и частные дома съ политическими гостиными... Полною авторитета и интересною политически тогда была гостиная графа Блудова, гдѣ около его дочери, всегда вдохновленной русскими вопросами жизни, графини Антонины Дмитріевны Блудовой, сходились всевозможные умные люди всякихъ положеній и спеціальностей. Здѣсь очень оживленно разрабатывались въ бесѣдѣ политическіе вопросы будущаго. Была го[illegible]графа Віельгорскаго, гдѣ, впрочемъ, политика бы[illegible]планѣ и гдѣ

на первомъ планѣ была музыка. Затѣмъ была небольшая, но привѣтливая и радушная гостиная князя П. А. Вяземскаго, гдѣ главные элементы были литературные... Рядомъ съ нею была гостиная моей матери, наслѣдство Карамзиныхъ, гдѣ ежедневно у самовара собирались для дружеской бесѣды друзья Карамзинской семьи и моихъ родителей, и гдѣ о всякомъ государственномъ вопросѣ велись оживленные, переходившіе часто въ огненные споры, разговоры...

Оживленнымъ тогда былъ и такъ называемый большой свѣтъ. Принимавшихъ домовъ было нѣсколько. Давали балы тогда, и балы роскошные на 250 персонъ, графъ и графиня Панины, княгиня Бѣлосельская, Эммануилъ Дмитріевичъ Нарышкинъ, жена бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ С. С. Бибикова, моя тетка, вдова Карамзина, бывшая Демидова... Почти на всѣхъ балахъ бывали Государь и вся царская фамилія...

Въ итогѣ помню, что, начавши мои выѣзды въ свѣтъ въ эту зиму, я выѣзжалъ въ свѣтъ каждый вечеръ: то на какой нибудь вечеръ въ бѣломъ галстухѣ, то въ какой нибудь семейный домъ на вечернюю бесѣду за чашкою чая въ черномъ... Эти послѣдніе вечера были самые пріятные.

Въ 1857 году, въ концѣ, впервые Государь заговорилъ объ улучшеніи крестьянскаго быта, какъ извѣстно, въ рѣчи, обращенной къ нѣкоторымъ предводителямъ. Послѣ этого вопросъ этотъ вошелъ во всѣ гостиныя и кабинеты Петербурга. Читали затѣмъ «Колоколъ» Герцена и толковали о мужичкахъ... Но толки эти были весьма туманны и неопредѣленны и тогда никому въ голову не ходило—вообразить того, что, два года спустя, признаясь за необходимость почти всѣми: освобожденіе кре-

стьянъ съ землею. Герценъ объ этомъ говорилъ, молодые Самарины и Черкасскій объ этомъ говорили, какъ о мечтѣ, но ихъ считали тогда утопистами, и весь міръ тогдашнихъ gros bonnets и самъ Государь далѣе неопредѣленнаго желанія сдѣлать что-нибудь съ крестьянскимъ вопросомъ не шелъ.

Съ Самаринымъ въ эту зиму я встрѣчался, уже какъ взрослый, въ гостиной князя Д. А. Оболенскаго; до того я встрѣчался съ нимъ въ своей семьѣ, гдѣ онъ издавна былъ, какъ родной, но тогда я былъ мальчикъ и ребенокъ и не удостоивался его вниманія. Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ былъ однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ и замѣчательныхъ умныхъ русскихъ людей: подобнаго ему я никогда послѣ не встрѣчалъ. Съ очень умнымъ открытымъ лицомъ, въ которомъ выразительные полные мысли глаза соединялись съ улыбкою, принимавшею самыя разнообразныя впечатлѣнія, съ прямымъ носомъ, внизу котораго ноздри расширялись всякій разъ, когда онъ говорилъ съ увлеченіемъ или съ жаромъ, Самаринъ производилъ сразу впечатлѣніе на того, кто съ нимъ встрѣчался. Семья его была старинная московская дворянская семья; и отецъ, и мать пользовались необыкновеннымъ уваженіемъ всей Москвы и странная вещь: любимый этими родителями сынъ, самъ ихъ нѣжно любившій,—Ю. Ф. Самаринъ уже съ студенческой скамьи считался по мыслямъ и по духу революціонеромъ въ своей семьѣ. Это революціонерство заключалось въ томъ, что онъ своимъ очень тонкимъ и сильно ѣдкимъ умомъ пользовался съ самой молодости, чтобы осмѣивать и денигрировать все то, что ему въ людяхъ и въ ст[illegible] не нравилось... Его умъ, прежде всег[illegible] ы, роднился съ московскими с[illegible] что

нихъ было много духовной свободы, но въ то же время всѣмъ своимъ существомъ онъ жилъ гораздо болѣе въ современной политической жизни. Затѣмъ, изъ перваго же свиданія съ Ю. Ф. Самаринымъ тогда я убѣдился, что онъ не любитъ дворянства: почему онъ его не любилъ, я ни тогда, ни послѣ не могъ узнать, ибо самъ онъ давалъ своею, такъ сказать, жизнью всякому право видѣть и признавать въ немъ только дворянина. Потомъ, когда началась горячка работъ по крестьянскому дѣлу, я понялъ, что это враждебное къ дворянству чувство въ Самаринѣ сыграло свою роковую роль въ разработкѣ крестьянскаго вопроса. Роль эта заключалась въ томъ обаяніи и въ томъ вліяніи, какія имѣлъ Самаринъ между дѣятелями по крестьянскому вопросу... Для большинства ихъ Самаринъ былъ съ огромнымъ авторитетомъ учитель, котораго они не только чтили, но и боялись. И вотъ, подъ этимъ обаяніемъ Самаринскаго ума, его духа, такъ сказать, велось крестьянское дѣло, и велось именно въ духѣ какого-то партійнаго недовѣрія къ дворянскому сословію...

Но объ этомъ послѣ.

Въ домѣ Оболенскихъ, о которомъ я говорю, я, какъ начинавшій тогда жизнь и службу, черпалъ вдохновеніе и стремленіе къ полезной дѣятельности... И тѣмъ скучнѣе и безцвѣтнѣе тогда начала казаться мнѣ моя служба въ сенатѣ, гдѣ главный смыслъ ея заключался въ перепискѣ, и гдѣ для стремленій къ чьей-либо пользѣ рѣшительно не было мѣста.

XI.

(1858 годъ).

Мое поступленіе на службу въ полицію. — Персоналъ моихъ сослуживцевъ. — Мое начальство. — Графъ П. А. Шуваловъ, оберъ-полиціймейстеръ. — Мои служебныя похожденія.

Познакомился я зимою 1858 года съ нѣкіимъ Владиміромъ Никифоровичемъ Спасскимъ, пріятелемъ моихъ двоюродныхъ братьевъ, который тогда былъ товарищемъ губернскаго прокурора, и у котораго тогда подъ начальствомъ были, такъ называвшіеся въ то время, стряпчіе полицейскихъ дѣлъ, по одному въ каждой части. Должность эта была создана недавно, и на одну изъ такихъ должностей В. Н. Спасскій предложилъ мнѣ поступить, указывая на то, что два правовѣда занимаютъ такія должности.

Я безконечно обрадовался этому предложенію, во-первыхъ, потому, что предстояла совсѣмъ живая дѣятельность, а во-вторыхъ, потому, что я дѣлался богатымъ человѣкомъ, съ 100 руб. въ мѣсяцъ жалованья. Должность эта имѣла живой практическій смыслъ. Стряпчій этотъ игралъ въ своей части при слѣдственномъ приставѣ ту же роль, какую товарищъ прокурора игралъ во всемогущей тогда управѣ благочинія, и какую губернскій прокуроръ игралъ относительно всѣхъ губернскихъ тогда учрежденій,—роль представителя ока правосудія и защитника

не могъ быти
жности поощрялъ
теръ въ Петер-
мечтавшій
ніи.
полицейскихъ
гда была еще
знаменитаго
сти и осу-
ржимордьі».
культурныя
въ моей
номъ ста-
приставъ
съ его
тый.
къ, съ
нуть.
тъ.
на

«найти краденое»,—со дна морского отрывали и находили, а не приказывалъ, такъ никогда не находили, а если,—какъ это разъ было при кражѣ серебрянаго сервиза у одной фрейлины въ Зимнемъ Дворцѣ,—не нашли сервиза, и Галаховъ изрекъ резолюцію: «найти», тогда Шестобитовъ преспокойно изъ своихъ секретныхъ суммъ покупалъ или заказывалъ подобный украденному сервизъ и оный торжественно препровождалъ по назначенію.

Слѣдственный приставъ и его контора меня сразу поразили своею типичностью. Толстый, на одинъ глазъ кривой, старый и громадный слѣдственный приставъ, съ отвисшими слюнявыми губами, показался мнѣ просто отвратительнымъ, особливо, когда съ такою рожею, онъ принималъ любезныя или сладенькія выраженія на лицѣ; письмоводитель его и два писца были полнѣйшимъ изображеніемъ иверскихъ стрикулистовъ стараго времени; комната была низкая, вонючая, и вотъ сюда, въ это смрадное захолустье, я попалъ прямо изъ палатъ сената... Но не было дня, чтобы пришлось жаловаться на такую перемѣну обстановки, ибо каждая минута времени въ такой должности была интересна и полезна... Я сидѣлъ въ комнатѣ, гдѣ, я зналъ, все живетъ только для беззаконій и взятокъ, и на мнѣ лежала обязанность ежедневно наблюдать за тѣмъ, чтобы не творилось ничего беззаконнаго. Въ случаѣ нарушенія закона я обязанъ былъ протестовать, и если мой протестъ не былъ уваженъ слѣдственнымъ приставомъ, то я долженъ былъ представлять о томъ товарищу прокурора. Кромѣ того, оберъ-начальникомъ нашимъ былъ самъ губернскій прокуроръ, старичекъ-чиновникъ стараго закала, который, когда я ему представлялся, просилъ меня объ одномъ: не слишкомъ горячиться...

что-то держитъ въ рукѣ, спрятавъ подъ халатомъ; ну, каторжникъ, да и только!

Приставъ, слегка блѣдный, дѣлаетъ шагъ впередъ и, знакомъ приблизивъ къ себѣ *на всякій случай* двухъ городовыхъ, спрашиваетъ у страшнаго незнакомаго:

— Что у васъ въ рукѣ?

— А вамъ какое дѣло? — отвѣчаетъ страшный неизвѣстный.

— Отдайте!

Мы всѣ стали и ждемъ: вотъ сейчасъ увидимъ пистолетъ. Приставъ храбро протягиваетъ руку.

— Извольте,—спокойно отвѣчаетъ страшный незнакомецъ.

И, о, ужасъ! оказывается кожаный портсигаръ. Физіономія храбраго пристава моментально представилась намъ глупою.

— Кто вы?

— Не ваше дѣло...

— Приставъ начинаетъ сердиться.

— Какъ вы смѣете такъ отвѣчать полиціи?

— А вы какъ смѣете врываться ночью въ частный домъ, гдѣ живутъ честные люди? Здѣсь живетъ женщина, вы ее можете до смерти испугать, она беременная...

— Мы исполняемъ предписаніе высшаго начальства,—отвѣтилъ приставъ.

Приступаютъ къ обыску. Ищутъ бумаги. Нападаютъ на кухаркины счета, записочки на женское имя...

— Все больше любовныя, — меланхолично замѣчаетъ приставъ.

— Вотъ еще важные документы,—говоритъ съ серьезнымъ видомъ опасный человѣкъ, подавая бумажки.

— Что это?—спрашиваетъ приставъ.

— Прачкины счета,—былъ отвѣтъ секретнаго незнакомца.

Обыскъ продолжается.

— Позвольте мнѣ исполнить долгъ естественной надобности?—спрашиваетъ незнакомецъ.

Приставъ совѣщается съ полиціймейстеромъ и съ жандармскимъ офицеромъ, и рѣшаются подъ конвоемъ двухъ городовыхъ допустить каторжника въ ретирадное мѣсто.

Я скромно заявляю, что мнѣ кажется, что тутъ недоразумѣніе: ясно, что это не бѣжавшій изъ Сибири каторжникъ.

— А лицо-то у него какое!—съ убѣжденнымъ ужасомъ отвѣчаетъ мнѣ приставъ.

— Лицо разбуженнаго человѣка, нечесанаго и немытаго, и больше ничего,—говорю я.

Рѣшили войти въ комнату, гдѣ спала женщина. Таинственный жилецъ протестовалъ, что ее могутъ до смерти испугать.

Я тоже протестовалъ, предложивъ послать къ ней горничную, чтобы ее разбудить и предупредить, а затѣмъ достаточно одному приставу къ ней войти, а не всѣмъ. Такъ и сдѣлали. Ничего не оказалось, кромѣ довольно красивой женщины въ ночной рубашкѣ. Въ концѣ-концовъ, обобрали бумажки, сложили, велѣли подъ конвоемъ незнакомцу одѣться и повезли его въ закрытой каретѣ въ секретный номеръ въ домѣ оберъ-полиціймейстера.

Въ то же утро я поѣхалъ къ графу Шувалову высказать ему сомнѣнія моей совѣсти.

— Ce sont vos premiéres armes,—сказалъ мнѣ графъ въ видѣ привѣтствія.

— Oui, monsieur le comte, — отвѣтилъ я, — mais je crains qu'elles ne soient de carton.

Я объяснилъ графу мои сомнѣнія. Онъ разсмѣялся и сказалъ мнѣ, что показанія полиціймейстера и пристава совсѣмъ иного характера, несравненно болѣе драматическаго.

— И если это не бѣжавшій каторжникъ,—заключилъ графъ по-французски,—во всякомъ случаѣ, это подозрительная личность.

Черезъ три дня я былъ снова у графа. И что же оказалось?

— Вы были правы въ вашихъ сомнѣніяхъ,—сказалъ мнѣ графъ.—Вчера явился ко мнѣ какой-то, почтенный на видъ, старикъ, и заявляетъ мнѣ, что у него сбѣжалъ уже десятый день племянникъ, военный инженеръ такой-то, что онъ чудакъ и уже въ третій разъ сбѣгаетъ съ квартиры и поселяется у своихъ любовницъ. Мнѣ пришла мысль,—продолжалъ графъ,—показать ему нашего таинственнаго арестанта; его приводятъ, — и старикъ, какъ увидѣлъ, вскрикнулъ: «Миша»! и прямо въ его объятія. Оказалось, что этотъ каторжникъ былъ дѣйствительно военный инженеръ, не только скрывшій свою фамилію, но и надѣвшій, Богъ вѣсть для чего, штатское платье.

Выпадали на мою долю и менѣе веселыя экспедиціи. Не забуду первую мою Пасху въ должности стряпчаго. Готовился я ѣхать къ заутренной. Вдругъ гонецъ, съ предложеніемъ немедленно прибыть на мѣсто убійства въ захолустье моей части. Никогда не забуду этого контраста впечатлѣній. Ѣду и всюду по дорогѣ у церквей вижу пасхальныя процессіи и слышу пасхальный трезвонъ, а на душѣ ожиданіе картины убійства. Пріѣзжаю въ небольшую квартиру чиновника военнаго вѣдомства,

на четвертый этажъ, въ отдаленной улицѣ, и меня ведутъ въ небольшую кухню. Тамъ застаю картину: на полу лежитъ убитая молодая женщина, оказавшаяся кухаркою, а въ двухъ шагахъ отъ нея, низенькаго роста, мизерный на видъ, деньщикъ, съ самымъ невозмутимымъ спокойствіемъ глядитъ то на трупъ, то на присутствовавшихъ. Это былъ убійца, а на столѣ, тутъ же, кухонный ножъ, которымъ онъ убилъ свою жертву. Оказалась драма любви. Этотъ сѣрый, жалкій и закорузлый солдатикъ явился полнымъ олицетвореніемъ Отелло и, влюбленный въ свою Дездемону безъ ума, онъ вообразилъ себѣ, что имѣетъ въ своемъ баринѣ соперника, и вотъ, дождавшись пасхальной ночи, онъ къ ней задумалъ пріурочить свою ужасную месть. Баринъ готовился идти къ заутрени, кухарка стояла, обернувшись спиной къ плитѣ, готовя розговѣнье, а онъ сзади къ ней подошелъ съ ножемъ въ рукахъ, и сразу, силою своего звѣрскаго инстинкта, вонзилъ ей ножъ въ затылокъ, такъ что она, даже не крикнувъ, упала мертвая. Тутъ я впервые познакомился съ нравственнымъ міромъ такого люда. Схваченный господиномъ своимъ съ ножемъ въ рукахъ, этотъ тщедушный солдатикъ отрицалъ свою виновность до конца и, когда кончился допросъ и его должны были вести въ арестантскую, онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, попросилъ позволенія проститься съ своей жертвой, сталъ на колѣни, нагнулся, сталъ цѣловать ее, а затѣмъ, *перекрестивши* ее три раза, всталъ и пошелъ, бодро и спокойно, какъ ни въ чемъ не бывало. И въ эту минуту, тихую и ужасную, мы слышали, какъ долетали до насъ веселые звуки пасхальнаго трезвона.

Вскорѣ по службѣ мнѣ пришлось, смѣшно сказать, прослыть въ глазахъ начальства либераломъ—и стропти-

[illegible] правѣ [illegible] пишу [illegible] что никакимъ обра- [illegible] явнаго отступленія отъ [illegible] могуществу.

[illegible] прокурору, съ [illegible] льныхъ вы- [illegible].

Старикъ-прокуроръ призываетъ меня для объясненій по дѣламъ службы. Я являюсь.

— Охота вамъ заводить такую щекотливую переписку,—говоритъ мнѣ прокуроръ, — ну, стоитъ-ли? Поѣзжайте къ Овсянникову, ну, что вамъ стоитъ?

— Мнѣ,—говорю,—ничего ровно не стоитъ, но я не могу поѣхать къ Овсянникову, потому что это было бы, во-первыхъ, насмѣшка надъ закономъ, а во-вторыхъ, это было бы униженіемъ достоинства правительственной власти. Нельзя, не роняя себя, признавать Овсянникова знатнымъ лицомъ.

— Что же, вы все-таки не поѣдете?

— Все-таки не поѣду.

— Ну, вотъ будутъ непріятности... смотрите.

— Будутъ, такъ будутъ, а все-таки не поѣду.

Дней черезъ пять пріѣзжаетъ жандармъ, съ требованіемъ явиться къ генералъ-губернатору по дѣламъ службы.

Пріѣзжаю.

Подходитъ ко мнѣ тогдашній генералъ-губернаторъ Павелъ Николаевичъ Игнатьевъ и, послѣ ласковаго привѣтствія, начинаетъ меня уговаривать: смириться и поѣхать къ купцу Овсянникову.

Я почтительно объясняю генералъ-губернатору нравственныя и законныя причины, по которымъ я не могу исполнить его желанія.

— Такъ-то такъ,—отвѣчаетъ старикъ,—но все-таки нужно къ нему поѣхать, онъ почтенный старикъ, весь Петербургъ его знаетъ, и вдругъ требовать въ слѣдственную контору.

осмѣлился не согласиться и уѣхалъ домой, остав-
ри своемъ мнѣніи.

(черезъ три получилъ я записку отъ оберъ-поли-

ціймейстера графа Шувалова на французскомъ языкѣ, съ просьбой заѣхать къ нему отъ 3 до 4 часовъ на другой день «pour causer sur une petite affaire».

Я пріѣзжаю, и что же я застаю въ кабинетѣ графа Шувалова?

Сидитъ онъ, графъ, сидитъ Овсянниковъ, сидитъ слѣдственный приставъ.

— На этотъ разъ,—сказалъ мнѣ графъ Шуваловъ,— вы протестовать не можете. Законъ соблюденъ, господинъ Овсянниковъ вызванъ для допроса въ полицію.

Волею-неволею пришлось подчиниться, найдя весьма характерною эту всеобщую тогда заботу о томъ, чтобы не безпокоить Степана Тарасовича вызовомъ къ слѣдствію по его же жалобѣ. Потомъ я увидѣлъ, что Овсянниковъ не простилъ мнѣ этого либерализма по отношенію къ его особѣ.

Я разсказывалъ намедни, какъ усердная полиція доискалась бѣжавшаго каторжника изъ Сибири въ лицѣ военнаго инженера. Въ томъ же году пришлось убѣдиться, какъ дѣйствительно бѣжавшему каторжнику легко было не быть узнаннымъ тою же полиціею.

Сцена происходила въ слѣдственной комнатѣ тюремнаго замка. Въ камерѣ были слѣдственный приставъ, [illegible]йный Христіановичъ, мой товарищъ, и арестантъ, [illegible]нящій родства. Въ прихожей былъ сторожъ.

[illegible]канунѣ былъ полученъ секретный циркуляръ отъ [illegible]лиціймейстера о томъ, что такой-то бѣжавшій [illegible]ри каторжникъ, совершу[illegible] пути до Петер[illegible] убійствъ, грабежей [illegible]оговъ, два раза [illegible] въ Ниж[illegible] губерніяхъ, и [illegible]вшій [illegible]тся въ Петер[illegible] [illegible]къ всегда

ясныя и безполезныя, и особенныя: недостаетъ праваго коренного зуба, и два пальца на лѣвой рукѣ сведены. Почему — трудно понять, можетъ быть по инстинкту, Христіановичу, глядѣвшему на арестанта, мирно и невинно повѣствовавшаго о своихъ хожденіяхъ по чужимъ людямъ, въ смиренномъ званіи непомнящаго родства, вдругъ пришла въ голову мысль: а что если этотъ непомнящій родства есть именно тотъ самый бѣжавшій изъ Сибири каторжникъ, котораго розыскиваютъ?

Сталъ онъ пристальнѣе глядѣть, общія примѣты какъ будто подходятъ.

И вотъ, подъ вліяніемъ этого внезапнаго подозрѣнія, Христіановичъ пишетъ записку къ смотрителю тюрьмы, и велитъ прислать на всякій случай кандалы и 4-хъ человѣкъ стражи съ ружьями, и какъ ни въ чемъ не бывало, посылаетъ эту записку со сторожемъ, тайкомъ отъ арестанта. А съ арестантомъ онъ продолжаетъ говорить самымъ добродушнымъ образомъ.

Длилось это минуты три. Черезъ три минуты послышался топотъ солдатъ въ прихожей. Христіановичъ вышелъ, велѣлъ кандалы оставить въ прихожей, а солдатъ поставилъ въ слѣдственной комнатѣ.

Затѣмъ онъ обратился къ арестанту съ двумя вопросами: первый вопросъ относился къ коренному зубу, онъ велѣлъ открыть ротъ,—коренного зуба не оказалось; второй вопросъ относился къ двумъ пальцамъ руки.

— Разогни пальцы,—приказалъ приставъ.

Оказалось, что онъ, арестантъ, разогнуть ихъ не могъ.

Тогда Христіановичъ сѣлъ на свое мѣсто и, велѣвъ конвою окружить арестанта, сталъ ему читать циркуляръ ываемомъ бѣгломъ каторжникѣ. Непомнящій родрѣ чтенія, сталъ измѣняться въ лицѣ, и по-

степенно изъ мягкаго, горемычнаго и тихаго бродяги превращаться въ то, что онъ былъ; губы посинѣли, лицо поблѣднѣло и искривилось ужасною гримасою полуна-смѣшки и полузлобы, глаза стали наливаться кровью, и когда, увидавъ эту метаморфозу на лицѣ своего арестанта, приставъ крикнулъ: «кандалы» и два солдата внесли желѣзныя цѣпи, арестантъ какъ бы судорожно выпрямился и расширился, казалось, что вотъ сейчасъ онъ захочетъ вырваться, но конвой его схватилъ за руки. Тогда на губахъ показалась пѣна, и онъ сквозь эту пѣну началъ говорить: «чего тамъ, попался, только тутъ не все прописано, а сдѣлалъ я еще вотъ что», и разсказалъ три случая имъ ограбленныхъ церквей и два поджога. А когда его стали уводить, уже въ кандалахъ, онъ остановился у дверей и, обращаясь къ слѣдственному приставу, сказалъ: «ну, смотри, коли встрѣтишься, на меня не пеняй. Ты, небось, смѣтливый, догадался, да и я не дуракъ. Счастливо оставаться».

Очевидно, не будь этого внезапнаго наитія у слѣдственнаго пристава, такъ бы и исчезъ молодецъ, подъ званіемъ непомнящаго родства, и снова, не сегодня, такъ завтра, попалъ бы въ падшую среду... какъ нищій...

А этотъ Христіановичъ вышелъ изъ училища съ золотою медалью и первый изъ правовѣдовъ далъ собою прекрасный примѣръ: пренебрегши службою въ департаментѣ, онъ не побрезгалъ пойти въ слѣдственные пристава и составилъ себѣ очень скоро громкое и прекрасное имя.

Въ числѣ обязанностей моихъ по должности старшаго полицейскихъ дѣлъ, именно Рождественской части, была одна, невеселая,—это присутствіе на казни плетьми.

Наказаніе это сопровождалось извѣстною обрядностью. Приговореннаго везли по городу изъ тюремнаго замка въ особомъ открытомъ экипажѣ, похожемъ на похоронные дроги, на нихъ онъ сидѣлъ прикованный къ столбу, въ черномъ одѣяніи, съ большою надписью на груди: за какое преступленіе онъ везется на казнь. Конвоирами былъ отрядъ солдатъ при ружьяхъ и жандармы; впереди барабанщикъ, бьющій дробь. Къ 7 часамъ утра я долженъ былъ являться на Конную площадь; къ этому времени привозили преступника. Устроены были помостки, на помосткахъ приподнималась доска, наклонная, на которую клали преступника, его обнажали до поясницы и привязывали ремнями у шеи и у ногъ. У помостковъ стояли: полиціймейстеръ, священникъ съ крестомъ и врачъ. Читали приговоръ и послѣ онаго барабанщикъ билъ дробь; затѣмъ привязывали арестанта и, въ заключеніе, палачъ въ красной рубахѣ, съ извѣстнымъ приговариваніемъ: «берегись, обожгу!» приступалъ къ исполненію казни. Послѣ исполненія подавали фургонъ, въ который сажали наказаннаго или укладывали его лежа, и отправляли въ больницу тюремнаго замка.

Первый разъ я вынесъ тяжелое впечатлѣніе отъ вида, который принимала спина наказуемаго, дѣлаясь совсѣмъ синею, но человѣкъ, прежде всего, животное привычекъ, какъ говорятъ французы, и, къ стыду моему, долженъ признаться, что послѣ четвертаго зрѣлища я никакихъ сильныхъ впечатлѣній не испытывалъ.

Впрочемъ, этому способствовало сдѣланное мною въ этотъ промежутокъ времени открытіе. На третьей казни должны были примѣнять надъ преступникомъ-отцеубійцей [illegible]ую мѣру наказанія, а именно 99 ударовъ плетей. [illegible]мѣра наказанія признавалась равносильною смерт-

ной казни. Подробности преступленія были до того ужасны, что никто изъ насъ не могъ чувствовать даже малѣйшей жалости къ нему. На пятидесятомъ ударѣ докторъ осматриваетъ казненнаго и даетъ мнѣніе, что казнь можетъ быть продолжаема. Ее кончаютъ... Преступника, послѣ 99 ударовъ плетей, кладутъ въ фургонъ и, взглянувъ на его лицо, я замѣтилъ, что оно какъ будто не выражало тѣхъ страданій, какія онъ долженъ былъ перенести.

Но впечатлѣніе свое я оставилъ при себѣ. Дней черезъ пять прихожу я въ тюремный замокъ, вхожу въ большой дворъ и застаю невиданную картину: стоятъ, построенные въ карэ, арестанты, а посреднѣ кого-то сѣкутъ. Я узнаю, что сѣкутъ палача за то, что онъ слишкомъ легко наказалъ отцеубійцу. По этому поводу я познакомился со всѣми тайнами этой процедуры. Я узналъ, во-первыхъ, что палачъ избирается всегда изъ самыхъ тяжкихъ преступниковъ, приговоренныхъ къ безсрочной каторгѣ; узналъ, что такой молодецъ охотно предпочитаетъ функціи палача, такъ какъ она оказывалась очень выгоднымъ, сравнительно, дѣломъ. Палачъ передъ казнью получалъ отъ наказуемаго или отъ его семьи извѣстную плату, доходившую до тысячи и болѣе рублей за *легкое* сѣченіе и, благодаря этому, всякая казнь, не смотря на то, что плеть тройная, и что каждый ударъ помножался на три,—на дѣлѣ превращалась въ исполненіе лишь формальности: было больно, но никогда не было опасности не только для жизни, но и для здоровья. Весь секретъ заключался въ способѣ привязыванія казненнаго къ наклонной доскѣ. Какъ докторъ мнѣ объяснилъ, отъ палача зависѣло, какъ прив ступника: если бы онъ привязывалъ его къ эт и такъ, чтобы

преступникъ не могъ приподнимать плечъ, не оставивъ пространства между грудью и доскою, тогда, несомнѣнно, на четвертомъ или пятомъ ударѣ онъ получилъ бы параличъ легкихъ и смерть; если же его привязывали такъ, что онъ могъ поднять плечи и слегка приподняться, тогда онъ могъ безъ всякой опасности перенести и 99 ударовъ. Что при мнѣ и случилось. Всѣ это знали и, разумѣется, не мѣшали палачу привязывать казненнаго по своему. Тутъ же, на этихъ помосткахъ, производилось наложеніе клеймъ: придавливали къ рукамъ и къ ногамъ пластинку съ зубчатыми буквами, которыя врѣзывались въ тѣло, а затѣмъ обмазывали это мѣсто черною краскою, которую нельзя было смыть: словомъ, это была операція, похожая на татуированіе у индѣйцевъ. Въ итогѣ отъ всего этого впечатлѣніе всегда получалось отвратительное, и нельзя было не порадоваться искренно, когда эти наказанія плетьми и клейменіе были отмѣнены. Устрашающее дѣйствіе ихъ было слабо, а всѣ детали были только отвратительны.

Есть преступленія, которыя, по своей безконечной жестокости, во всемъ образованномъ христіанскомъ мірѣ требуютъ смертной казни; отвергать этого нельзя; но не можетъ быть преступленій, которыхъ наказуемость могла бы заключаться въ истязаніяхъ, коихъ самая тяжесть могла зависѣть отъ каприза палача или отъ суммы взятки, получаемой палачемъ.

Какъ символическое зрѣлище, казнь дворянина производила болѣе сильное дѣйствіе. Его привозили въ его платьѣ, на томъ же помостѣ читается приговоръ. Затѣмъ, палачъ снималъ съ наго платье, барабанъ билъ дробь, палачъ подходилъ къ преступнику, и надъ головой его

ломалась шпага; послѣ того его одѣвали въ арестантское сѣрое платье.

Но были и пріятныя обязанности по службѣ. Главнѣйшее изъ нихъ заключалось въ правѣ протеста по актамъ о заарестованіи. Стряпчій полицейскихъ дѣлъ несъ отвѣтственность за соблюденіе при слѣдствіи справедливости и законности, а потому имѣлъ право всякое нарушеніе справедливости и закона пріостанавливать, посредствомъ письменнаго протеста, и, если его протестъ не уважался, жаловаться товарищу прокурора и прокурору. Это право не было формальностью; напротивъ, оно имѣло важное значеніе и фактическую силу. Пользованіе этимъ правомъ нерѣдко сопровождалось борьбою, и эта то борьба имѣла сильное и облагораживающее воспитательное для личности такого стряпчаго значеніе: она развивала и закаляла его характеръ, возвышала въ его собственныхъ глазахъ цѣну его личности и, затѣмъ, служила отличной школою для развитія вниманія къ служебному дѣлу, наблюдательности и логики: мы пріучились умѣть доказывать свои убѣжденія, и это лучшая изъ умственныхъ школъ.

По этому поводу скажу вещь, которая заставитъ вскрикнуть нашихъ судейскихъ, и назвать меня варваромъ, а именно, что въ то время уголовное слѣдствіе велось лучше, чѣмъ теперь, и велось потому лучше, что не соблюдался *святой* принципъ отдѣленія власти судебной отъ администраціи. Слѣдствіе производила административная власть, а наблюденія за правильностью его лежало на чинахъ судебнаго вѣдомства; теперь дознаніе производитъ полиція, а [illegible] производитъ судебный слѣдователь, а наблю[illegible] и некому: товарищъ прокурора [illegible] это одна и

та же рука, оттого слѣдственная часть теперь такъ плоха. Производи слѣдствіе полиція и будь при ней чинъ судебнаго вѣдомства для наблюденія, слѣдствіе производилось бы гораздо лучше. Въ мое время я зналъ, что слѣдственный приставъ и его письмоводитель могли брать взятки, зналъ я тоже, что управа благочинія, начальство слѣдственнаго пристава, брала взятки, но, тѣмъ не менѣе, я съ обоими боролся всегда и всегда удачно, потому что находилъ поддержку и въ честномъ товарищѣ прокурора, и въ честномъ прокурорѣ; и если этой поддержки въ дѣлѣ было недостаточно и дѣло было изъ весьма важныхъ, я обращался къ оберъ-полиціймейстеру, и онъ всегда оказывалъ мнѣ не только содѣйствіе, но и сильную помощь. И все это потому, что революціоннаго принципа отдѣленія властей не было: было ихъ соединеніе, какъ одно изъ средствъ вести дѣло успѣшнѣе и скорѣе. И разъ не было отдѣленія властей, не было и вражды между ними, не было взаимнаго противодѣйствія.

Но попробуйте въ этомъ убѣдить нашихъ судейскихъ. Они скорѣе примутъ буддійскую вѣру, чѣмъ признаютъ практическую непригодность отдѣленія властей.

XII.

(1858—1859 годы).

Петербургскій свѣтъ. — Потемкинскій домъ. — Умныя гостиныя. — Валуевъ. — Его восхожденіе. — Д. Н. Замятинъ. — В. П. Бутковъ.

Всю зиму 1858 года я очень дѣятельно выѣзжалъ въ свѣтъ. Свѣтъ тогда былъ многочисленъ и разнообразенъ. Въ немъ было много тѣхъ оригинальныхъ типовъ, которыхъ теперь и слѣдъ простылъ. Въ тогдашнемъ большомъ свѣтѣ прежде всего не было того, что теперь въ избыткѣ: du soi disant grand monde, то-есть такого, который потому такъ величаютъ, что на безрыбьи и ракъ рыба...

Большого свѣта «аплике» тогда не было. Все были въ полномъ смыслѣ слова аристократическіе дома.

Всѣ эти дома принимали: принимали въ извѣстные дни; затѣмъ, принимали запросто, пока другіе принимали en grand, то-есть давали балы.

Одинъ изъ первыхъ домовъ, съ которымъ мнѣ пришлось близко познакомиться, былъ Потемкинскій домъ на Милліонной. Такого дома не было, навѣрно, ни до, ни послѣ. Состоялъ онъ изъ двухъ лицъ, изъ старика Александра Михайловича Потемкина, изображавшаго собою стараго вельможи-дворянина и носившаго преобра- мундиръ павловскаго времени, и жены его, Та- исовны Потемкиной. При нихъ состояли старикъ-

ломалась шпага; послѣ того его одѣвали въ арестантское сѣрое платье.

Но были и пріятныя обязанности по службѣ. Главнѣйшее изъ нихъ заключалось въ правѣ протеста по актамъ о заарестованіи. Стряпчій полицейскихъ дѣлъ несъ отвѣтственность за соблюденіе при слѣдствіи справедливости и законности, а потому имѣлъ право всякое нарушеніе справедливости и закона пріостанавливать, посредствомъ письменнаго протеста, и, если его протестъ не уважался, жаловаться товарищу прокурора и прокурору. Это право не было формальностью; напротивъ, оно имѣло важное значеніе и фактическую силу. Пользованіе этимъ правомъ нерѣдко сопровождалось борьбою, и эта то борьба имѣла сильное и облагораживающее воспитательное для личности такого стряпчаго значеніе: она развивала и закаляла его характеръ, возвышала въ его собственныхъ глазахъ цѣну его личности и, затѣмъ, служила отличной школою для развитія вниманія къ служебному дѣлу, наблюдательности и логики: мы пріучились умѣть доказывать свои убѣжденія, и это лучшая изъ умственныхъ школъ.

По этому поводу скажу вещь, которая заставитъ вскрикнуть нашихъ судейскихъ, и назвать меня варваромъ, а именно, что въ то время уголовное слѣдствіе велось лучше, чѣмъ теперь, и велось потому лучше, что не соблюдался *святой* принципъ отдѣленія власти судебной отъ администраціи. Слѣдствіе производила административная власть, а наблюденія за правильностью его лежало на чинахъ судебнаго вѣдомства; теперь дознаніе производитъ полиція, а слѣдствіе производитъ судебный слѣдователь, а наблюдать за ними некому: товарищъ прокурора и судебный слѣдователь это одна и

та же рука, оттого слѣдственная часть теперь такъ плоха. Производи слѣдствіе полиція и будь при ней чинъ судебнаго вѣдомства для наблюденія, слѣдствіе производилось бы гораздо лучше. Въ мое время я зналъ, что слѣдственный приставъ и его письмоводитель могли брать взятки, зналъ я тоже, что управа благочинія, начальство слѣдственнаго пристава, брала взятки, но, тѣмъ не менѣе, я съ обоими боролся всегда и всегда удачно, потому что находилъ поддержку и въ честномъ товарищѣ прокурора, и въ честномъ прокурорѣ; и если этой поддержки въ дѣлѣ было недостаточно и дѣло было изъ весьма важныхъ, я обращался къ оберъ-полиціймейстеру, и онъ всегда оказывалъ мнѣ не только содѣйствіе, но и сильную помощь. И все это потому, что революціоннаго принципа отдѣленія властей не было: было ихъ соединеніе, какъ одно изъ средствъ вести дѣло успѣшнѣе и скорѣе. И разъ не было отдѣленія властей, не было и вражды между ними, не было взаимнаго противодѣйствія.

Но попробуйте въ этомъ убѣдить нашихъ судейскихъ. Они скорѣе примутъ буддійскую вѣру, чѣмъ признаютъ практическую непригодность отдѣленія властей.

XII.

(1858—1859 годы).

Петербургскій свѣтъ. — Потемкинскій домъ. — Умныя гостиныя. — Валуевъ. — Его восхожденіе. — Д. Н. Замятинъ. — В. П. Бутковъ.

Всю зиму 1858 года я очень дѣятельно выѣзжалъ въ свѣтъ. Свѣтъ тогда былъ многочисленъ и разнообразенъ. Въ немъ было много тѣхъ оригинальныхъ типовъ, которыхъ теперь и слѣдъ простылъ. Въ тогдашнемъ большомъ свѣтѣ прежде всего не было того, что теперь въ избыткѣ: du soi disant grand monde, то-есть такого, который потому такъ величаютъ, что на безрыбьи и ракъ рыба...

Большого свѣта «аплике» тогда не было. Все были въ полномъ смыслѣ слова аристократическіе дома.

Всѣ эти дома принимали: принимали въ извѣстные дни; затѣмъ, принимали запросто, пока другіе принимали en grand, то-есть давали балы.

Одинъ изъ первыхъ домовъ, съ которымъ мнѣ пришлось близко познакомиться, былъ Потемкинскій домъ на Милліонной. Такого дома не было, навѣрно, ни до, ни послѣ. Состоялъ онъ изъ двухъ лицъ, изъ старика Александра Михайловича Потемкина, изображавшаго собою типъ стараго вельможи-дворянина и носившаго преображескій мундиръ павловскаго времени, и жены его, Таисы Борисовны Потемкиной. При нихъ состояли старикъ-

врачъ Патенотъ и двѣ барышни въ роли компаніонокъ, или, какъ ихъ называли, фрейлины Татьяны Борисовны.

Домъ Потемкина былъ всегда открытъ. Гости являлись обыкновенно къ обѣду, и, кромѣ того, къ обѣду имѣли право бывать всѣ пріятели дома, безъ зова, такъ что столовая вмѣщала сегодня десять персонъ, а завтра двадцать пять. Состояніе Потемкина было большое, но кто имъ завѣдывалъ, довольно трудно было себѣ представить, такъ какъ оба, и мужъ, и жена, болѣе всего не любили счетоводство.

Мужъ былъ добрѣйшій человѣкъ, но въ то же время весьма цѣльный и упрямый въ своихъ привычкахъ. Онъ былъ полнѣйшимъ олицетвореніемъ, какъ я сказалъ, стараго вельможи, рыцарски честенъ, доступный для послѣдняго изъ простѣйшихъ людей и неумолимо гордый со всѣми, какъ называемыми, тузами; но гордость эта была такъ же добра и проста, какъ его натура; всякій чувствовалъ презрѣніе, которое Потемкинъ питалъ къ идоламъ свѣта, но жесткихъ, рѣзкихъ или злыхъ проявленій этой гордости, или этого презрѣнія никто не видѣлъ, потому что онъ былъ инстинктивно любезенъ со всѣми и былъ христіански добръ, хотя любилъ и ворчать, и дѣлалъ видъ, что сердится.

Самое смѣшное было то, что болѣе всего старикъ Потемкинъ ворчалъ на свою жену, которая расходилась съ нимъ во многихъ симпатіяхъ и увлеченіяхъ. Такъ, напримѣръ, Александръ Михайловичъ Потемкинъ терпѣть не могъ монаховъ и, вообще, возню съ духовенствомъ. Татьяна Борисовна, наоборотъ, [illegible] не любила, какъ возню съ монахами и с[illegible] Tatiana avec ses moines,—такъ по дес[illegible] сердито старикъ Потемк[illegible]

ожидала мужа, она прятала своихъ монаховъ, и я помню общій смѣхъ, когда однажды Александръ Михайловичъ разсказывалъ съ негодованіемъ, какъ онъ вошелъ въ спальню къ женѣ, и лбомъ ударился о спрятаннаго за занавѣсью аѳонскаго монаха.

Дѣло въ томъ, что не одни монахи были любимые гости у Татьяны Борисовны; безъ преувеличенія можно сказать, что домъ ея былъ la maison du bon Dieu, то-есть домомъ для каждаго, кто къ ней обращался за помощью. Помощь эта была богата разнообразіемъ, начиная съ простыхъ подаяній и кончая разными просьбами объ опредѣленіи на мѣста. По десяти и пятнадцати записокъ въ день собственноручныхъ вылетали изъ дома Потемкиныхъ по адресу разныхъ министровъ, съ просьбами за беззащитныхъ, а когда дѣло чье-либо было драматическое или безъисходное, такая же записка съ нарочнымъ отправлялась или къ Императрицѣ или къ Государю, въ собственныя руки. Разумѣется, подчасъ злоупотребляли этою идеальною добротою и высоко-христіанскимъ милосердіемъ Татьяны Борисовны, подчасъ обманывали ея рекомендацію, подчасъ смѣялись надъ ея легковѣріемъ и надъ ея добродушіемъ, называли ея протеже—потемкинскими, съ пренебреженіемъ, но рядомъ съ этимъ какое изобиліе добра дѣлала она и дѣлалъ ея мужъ; но старикъ Потемкинъ дѣлалъ добро такъ, чтобы никто не могъ узнать и сердился, какъ только объ его добрѣ кто-нибудь заговаривалъ. Только монахамъ онъ отказывалъ наотрѣзъ, говоря: Tatiana me ruine assez avec ses moines.

Въ домѣ Потемкинскомъ жили въ разныхъ углахъ [illegible]иваемые Татьяной Борисовной бѣдняки всякаго [illegible]рытые отъ мужа.

[illegible]нію прелестный эпизодъ по поводу этихъ таин-

ственныхъ жильцовъ, разсказанный мнѣ Татьяною Борисовною, съ ея маленькимъ чуть-чуть лукавымъ смѣхомъ. Каждый день являлся къ обѣду одинъ бѣдный протеже Татьяны Борисовны, чиновникъ, жившій на Петербургской сторонѣ, и каждый день добрый Александръ Михайловичъ спрашивалъ его: «ну, что, хорошо прогулялись?» зная, что его гость пришелъ пѣшкомъ съ Петербургской стороны. Однажды Татьяна Борисовна нашла возможнымъ дать этому бѣдному комнату въ ихъ домѣ, но тайкомъ отъ мужа; и вотъ, каждый день Александръ Михайловичъ задавалъ ему все тотъ же вопросъ о прогулкѣ пѣшкомъ съ Петербургской, не подозрѣвая, что вся прогулка ограничивалась двумя сотнями шаговъ по двору и по лѣстницѣ дома.

Характерною чертою этихъ обѣдовъ и, вообще, этихъ пріемовъ въ Потемкинскомъ домѣ было полное сліяніе сословій. За обѣдомъ сидѣли рядомъ и представители высшей аристократіи, даже дипломатіи, высшіе сановники, затѣмъ какой-нибудь монахъ, громко рыгавшій за обѣдомъ, и разные типы бѣдняковъ. Александръ Михайловичъ являлся къ обѣду во фракѣ, а гости иные бывали изъ такихъ, у которыхъ фрака и въ заводѣ не было.

По субботамъ часть бомонда собиралась въ Потемкинскую церковь ко всенощной, послѣ которой сервировался чай и длилась около часа времени бесѣда въ разныхъ комнатахъ. По воскресеньямъ тотъ же бомондъ собирался къ обѣднѣ... Пріѣзжать могъ, кто хотѣлъ, и этою обѣднею сколько разъ пользова[illegible] того, чтобы представлять Татьянѣ Борисовнѣ [illegible] diable, нуждавшагося в[illegible].

Самымъ блестящи[illegible] день. Съ утра до веч[illegible]

безъ отличія, поздравителей. Тутъ проявлялась во всей своей красѣ черта, которая показывала, какими дѣйствительно вельможами была чета Потемкиныхъ. Былъ обычай въ тѣхъ домахъ, гдѣ ожидали посѣщенія Государя, прекращать пріемъ на это время гостей, въ ожиданіи Государя. У Потемкиныхъ происходило наоборотъ. Всѣ знали, что отъ 3 до 4 въ Татьянинъ день Государь непремѣнно посѣтитъ именинницу, и, вотъ, къ этому времени съѣзжалось и сходилось много гостей, опять-таки всѣхъ состояній, изъ разныхъ боярскихъ палаццо, и съ Выборгской, и съ Петербургской пѣшеходы... Вся Милліонная была запружена каретами, всѣ комнаты были полны гостями.

Пріѣзжалъ Государь... Александръ Михайловичъ его встрѣчалъ въ сѣняхъ, внизу, именинница—на верху лѣстницы, и Государь, проходя по гостинымъ, раскланивался направо и налѣво, причемъ непремѣнно Татьяна Борисовна гдѣ-нибудь находила возможность представлять Государю какую-нибудь темненькую и жалкую личность, нуждавшуюся въ помощи... Государь это зналъ по преданіямъ, и всегда весело знакомился съ протежэ Татьяны Борисовны... Александръ Михайловичъ, проводивъ Государя до гостиной, сдавалъ, такъ сказать, Гостя въ руки жены, и самъ возвращался въ свои кельи, и оттуда выходилъ, чтобы снова провожать Государя до низу, когда онъ уѣзжалъ...

Въ домѣ Потемкиныхъ я былъ принятъ, какъ родной, такъ какъ одна изъ сестеръ Потемкиной была моя тетка, а такъ какъ эта необыкновенная, чудная, сказочная женщина имѣла огромное значеніе въ моей жизни, то объ ней мнѣ [illegible] еще не разъ говорить. Сорокъ лѣтъ прошло и, [illegible]ваясь къ людямъ и къ жизни, спрашиваешь [illegible]кели такая женщина, какъ Татьяна Борисовна

Потемкина, жила на свѣтѣ столь недавно: до того она была одна въ своемъ родѣ.

Одна изъ отличительныхъ чертъ того времени, о которомъ я пишу, та, что люди собирались и разговаривали. Я говорю, «отличительныхъ», ибо лѣтъ двадцать спустя въ томъ же петербургскомъ свѣтѣ—явленіе это, собраніе нѣсколькихъ людей исключительно для бесѣды, совсѣмъ прекратилось... Въ то время это было потребностью. Я помню, напримѣръ, что у меня въ это время бывали разъ въ недѣлю скромныя собранія сверстниковъ, на которыхъ ничего не происходило другого, какъ оживленная бесѣда за чашкою чая: говорили мы вскользь о политикѣ, часто о литературѣ, о той или другой злобѣ дня, и никому изъ насъ не было скучно. Какъ я сказалъ, были гостиныя въ Петербургѣ, гдѣ сходились только для разговоровъ; каждая такая гостиная имѣла своихъ умныхъ людей. Умный человѣкъ имѣлъ свою цѣну, и на него предъявлялся спросъ не только въ сферахъ государственной службы, но просто, какъ потребность будничной общественной жизни.

Приблизительно въ это время я началъ слышать имя Валуева, произносившееся въ гостиныхъ съ извѣстнымъ оттѣнкомъ рекламы. Валуева я помню съ дѣтства въ нашей семьѣ, такъ какъ онъ женатъ былъ на дочери князя Вяземскаго, дяди моей матери, а дѣти его были мои сверстники. Онъ былъ очень статенъ, красивъ и говорилъ съ хладнокровіемъ и извѣстною торжественностью. Послѣ его губернаторства въ Остзейскомъ краѣ при князѣ Суворовѣ, его взялъ къ себѣ въ управленіе государственныхъ имуществъ М. Н. Муравьевъ, и, вотъ, онъ сталъ появляться въ гостиныхъ Петербурга и обращать на себя вниманіи своею наружностью, и своими рѣчам

Исторія Валуева очень интересна тѣмъ, что доказываетъ, какъ много можно сдѣлать съ хорошимъ воспитаніемъ. Мать Валуева была очень ученая и образованная женщина, жившая въ Москвѣ. Когда ея сынъ кончилъ университетскій курсъ, она нашла, что онъ крупный невѣжда въ области общаго образованія, поселилась въ деревнѣ, и тутъ цѣлые два года посвятила на образованіе сына. Въ этотъ курсъ входили иностранные языки, иностранная литература, исторія и въ особенности упражненіе для пріобрѣтенія навыка и умѣнія говорить. Молодой Валуевъ долженъ былъ передъ аудиторіею своей матери говорить въ теченіе двухъ часовъ на извѣстную тему, то по-русски, то по-французски, то по-нѣмецки. По окончаніи этого курса Валуевъ съ матерью прибылъ на зиму въ Москву; въ эту зиму какъ разъ Дворъ прибылъ въ Москву, и Валуевъ, на балѣ въ дворянскомъ собраніи, будучи представленнымъ Николаю Павловичу, произвелъ на него разговоромъ впечатлѣніе настолько благопріятное, что Государь сказалъ графу Блудову, что ему нужны образованные молодые люди въ Петербургѣ, и указалъ ему на двухъ: на Валуева и на Владиміра Дмитріевича Скарятина (потомъ гофмаршалъ Цесаревича Александра Александровича и убитый на Царской охотѣ). Это было началомъ карьеры Валуева.

Но возвращаюсь къ моему времени. Встрѣчалъ я его тоже въ гостиной моей тетки, Авроры Карамзиной (бывшей Демидовой), гдѣ ему пришлось познакомиться съ большимъ пріятелемъ моей тетки, княземъ Горчаковымъ, министромъ иностранныхъ дѣлъ и большимъ охотникомъ до говоренья.

Валуевъ говорилъ плавно и медленно; Горчаковъ натъ, говорилъ скоро, но тѣмъ не менѣе ему понра-

вился Валуевъ, а такъ какъ Горчаковъ былъ постоянно въ интимномъ кругу Государя и Императрицы, то несомнѣнно, что онъ правду говорилъ, когда увѣрялъ мою тетку, что онъ помогъ *величію* Валуева. Помню тоже, что уже моя тетка для той же цѣли устроила у себя два, три вечера съ Валуевымъ для Великой Княгини Маріи Николаевны, и тутъ между двумя дамами Валуевъ распускался во всемъ блескѣ своего краснорѣчія. Великая Княгиня Марія Николаевна нашла его умнымъ и пріятнымъ, и начала хвалить его громко Государю.

Такъ подготовлялось восхожденіе Валуева, къ коему первый шагъ былъ назначеніе его управляющимъ дѣлами комитета министровъ.

Помню оригинальное, совсѣмъ противоположнаго характера восхожденіе около того же времени другого человѣка, антипода Валуева, Дмитрія Николаевича Замятина. Домъ Замятина я тоже зналъ съ дѣтства по семейнымъ связямъ. Дмитрій Николаевичъ былъ олицетвореніемъ спокойнаго, скромнаго, честнѣйшаго и милѣйшаго человѣка, не знавшаго никакихъ другихъ интересовъ въ жизни, кромѣ заботы о честной и спокойной совѣсти.

Ума онъ былъ самаго обыкновеннаго и имѣлъ много здраваго смысла. Жена его была очень умная женщина и имѣла всѣ качества составлявшія то, что французы называютъ—une maitresse femme. Замятинъ былъ тогда сенаторомъ. Умираетъ товарищъ графа Панина, Илличевскій. Государь спрашиваетъ у графа Панина: кого онъ желаетъ себѣ въ товарищи. Графъ Панинъ отвѣчаетъ, что онъ все еще думаетъ. Въ заключеніе этихъ размышленій, длившихся довольно долго, когда Государь снова обратился къ графу Панину съ вопросомъ: нашелъ онъ себѣ товарища?—графъ Панинъ отвѣтилъ, что нашелъ

и прибавилъ: что, въ виду затрудненія выбрать, онъ рѣшилъ искать себѣ товарища изъ сенаторовъ *по росту* и остановился по этому случаю на Замятинѣ. Государь разсмѣялся и утвердилъ Замятина товарищемъ министра юстиціи.

Затѣмъ, когда графу Панину пришлось оставить министерство юстиціи, чтобы взяться за наслѣдство графа Блудова, судьба отдала министерство юстиціи въ руки самаго смиреннаго человѣка въ Петербургѣ, Дм. Ник. Замятина, если не ошибаюсь въ 1861 году.

Въ то время для карьеры молодыхъ людей былъ одинъ не лишенный пикантности способъ: это гостиная госпожи Бутковой, и ухаживаніе за нею на положеніи рыцаря дамы и безкорыстнаго обожателя. Мужъ ея, Владиміръ Петровичъ Бутковъ былъ тогда государственнымъ секретаремъ. Это былъ въ высшей степени курьезный типъ, никогда потомъ не повторявшійся. Популярнѣе человѣка въ Петербургѣ не было. Его безъ преувеличенія всѣ знали, начиная съ высшихъ слоевъ и кончая всѣми кокотками Петербурга. Знали его какъ замѣчательно умнаго, способнаго и работящаго человѣка, знали его какъ за самаго забубеннаго жуира, за театрала и за гуляку. Зрѣлище видѣть Буткова идущимъ по Невскому было донельзя характерно; онъ буквально не успѣвалъ надѣвать шляпы, такъ часто онъ долженъ былъ кланяться и ее снимать; затѣмъ, смотришь, выпрыгиваетъ онъ изъ саней или изъ коляски, чтобы здороваться съ какою-нибудь знаменитою кокоткою; затѣмъ, проѣзжая мимо Казанскаго собора, онъ принимается набожно креститься; затѣмъ опять выскакиваетъ кого-нибудь привѣтствовать.

ъ, а пять-шесть разъ въ день можно было встрѣ-
государственнаго секретаря на улицахъ, за-

тѣмъ ежедневно онъ часами просиживалъ у знаменитой французской актрисы, любимицы Петербурга, Мюла́, не пропускалъ ни одного представленія французскаго театра, ни одного маскарада, и въ то же время велъ всѣ дѣла государственнаго совѣта, всѣ дѣла кавказскаго комитета, а затѣмъ въ это время начиналъ принимать тоже участіе въ крестьянскомъ дѣлѣ; онъ имѣлъ вполнѣ заслуженную репутацію дѣлового, дѣльнаго и даровитаго государственнаго человѣка. Второго Буткова не явилось, но онъ, весь, каковъ онъ былъ, во всякомъ случаѣ является назидательнымъ доказательствомъ, что можно съ государственными дѣлами соединить жизнь частнаго человѣка. Послѣ того, вскорѣ, стали говорить про переутомленіе государственныхъ людей. Но про Буткова можно было сказать, что онъ себя переутомлялъ бездѣліемъ, то-есть, дѣлая отлично свое государственное дѣло, слишкомъ много отдавалъ времени развлеченіямъ. Его гостиная, или, вѣрнѣе, гостиная его жены, гдѣ онъ никогда не бывалъ, всегда была полна молодыми людьми; днемъ они работали въ государственной канцеляріи, а по вечерамъ исправляли свою службу пріятныхъ собесѣдниковъ госпожи Бутковой, и этою двойною службою пріобрѣтали главное: расположеніе и протекцію своего начальства, и, надо отдать справедливость, что никто такъ не двигалъ своихъ протеже такъ быстро, какъ Бутковъ, и надо сказать правду, что они къ тому же были люди способные и отличные работники.

XIII.

(1859—1860 годы).

Мой переходъ въ уѣздные судьи. — Дворянскій либерализмъ. — Михайловскій и Мраморный дворцы. — Ихъ политическое значеніе.

Послѣ почти двухъ-лѣтней практики полицейскаго стряпчаго, мнѣ было предложено баллотироваться въ уѣздные судьи Петербургскаго уѣзда. Петербургскій уѣздъ былъ тогда весьма блестящій по именамъ избирательный кругъ, состоя изъ петербургскихъ аристократовъ-домовладѣльцевъ; я принялъ кандидатуру и былъ избранъ въ концѣ 1859 г. петербургскимъ уѣзднымъ судьею по гражданскому отдѣленію.

Помѣщался этотъ судъ на вершинѣ тогдашняго зданія губернскихъ присутственныхъ мѣстъ, гдѣ теперь домъ градоначальника, въ трехъ комнатахъ. Нельзя сказать, чтобы я много выигралъ отъ этого движенія по службѣ, ибо сталъ получать вмѣсто 100 р. въ мѣсяцъ — 50 рублей. Секретарь суда получалъ 33 рубля въ мѣсяцъ, засѣдатели 40 съ чѣмъ-то, а столоначальники по 22 рубля.

Составъ канцеляріи былъ печальный и немногимъ отличался отъ тогдашняго состава полицейскихъ конторъ: какія-то допотопныя фигуры писцовъ, какія-то подозрительныя лица у столоначальниковъ... Мои два засѣдателя оказались на видъ порядочными, и мы стали жить очень

мирно. Губернаторъ тогдашній, графъ Александръ Бобринскій, почтенный и симпатичный молодой человѣкъ, возлагалъ на меня надежды въ томъ отношеніи, что-де нужно поднять и улучшить учрежденіе, мнѣ ввѣренное, но, вникнувъ въ положеніе его, я очень скоро убѣдился, что всѣ мои заслуги могутъ быть только отрицательныя, то есть заключаться въ томъ, что я честенъ и что грабить обращающихся къ суду не позволю. Затѣмъ, такъ какъ физически было невозможно, чтобы канцелярія, начиная съ секретаря и кончая писцами, могли жить при ихъ ничтожныхъ окладахъ, то между мною и ими было заключено соглашеніе, на основаніи котораго я имъ предоставлялъ брать деньги за исполненіе частныхъ по дѣламъ услугъ и праздничныя деньги, но подъ условіемъ, чтобы поборы и взятки никто бы не смѣлъ требовать, подъ опасеніемъ немедленнаго изгнанія.

Соглашеніе это было свято соблюдаемо; и всѣмъ было отъ того хорошо: и тяжущимся, и частнымъ лицамъ, и намъ, членамъ суда, было хорошо, такъ какъ мы знали, что на подвохи наша канцелярія не пойдетъ. Да и если бы она на то пыталась, сіе было бы безполезно, такъ какъ дѣла мы всѣ разсматривали и отправляли сами и канцелярію до вліянія на дѣла не допускали. Прошло меньше года, и мы втроемъ достигли блестящихъ результатовъ въ томъ отношеніи, что дѣлъ залежавшихся не было; они шли по очереди, но безостановочно, и не разъ мнѣ приходилось получать заявленія благодарности просителей... Доказательствомъ того, что судъ пріобрѣлъ довѣріе, послужило то обстоятельство, что тяжущіеся стали, по гражданскимъ дѣламъ, прибѣгать къ сокращенному дѣлопроизводству предпочтительно передъ длиннымъ и аппеляціоннымъ порядкомъ. Этотъ сокращенный порядокъ былъ

чѣмъ-то въ родѣ третейскаго суда, то есть судомъ, основаннымъ исключительно на довѣріи къ личности судей. Назывался онъ *судомъ по формѣ* и былъ учрежденъ Петромъ Великимъ. Онъ заключался въ томъ, что судъ записывалъ въ своемъ засѣданіи показанія обѣихъ сторонъ, пунктъ за пунктомъ, за ихъ подписью, и затѣмъ на основаніи сихъ записей произносилъ немедленно окончательное рѣшеніе.

Во всякомъ случаѣ, должно сказать, что, не взирая на нищенскіе оклады, не взирая на жалкій личный составъ канцеляріи суда, дѣла даже исковымъ порядкомъ производились у насъ скорѣе, чѣмъ производятся они теперь въ новыхъ усовершенствованныхъ учрежденіяхъ...

Кстати здѣсь сказать, что тоже самое происходило въ сосѣднемъ съ нашимъ отдѣленіи уголовнаго суда. Въ то время было болѣе человѣколюбія въ судебныхъ сферахъ, чѣмъ теперь, и несравненно болѣе смиренія: никому изъ насъ въ голову не приходило гордится тѣмъ, что мы не беремъ взятокъ; теперь, получающіе 3.000 рублей въ годъ, вмѣсто нашихъ 600 рублей, непремѣнно гордятся своею честностью...

Въ то время мы считали себя обязанными все дѣлать отъ насъ зависящее, чтобы помогать частнымъ лицамъ и облегчать имъ сношеніе съ судомъ, хотя законъ насъ къ тому вовсе не обязывалъ; теперь, кичась тѣмъ, что они честны, члены Ѳемиды считаютъ себя обязанными быть совершенно индифферентными къ тяжущимся лицамъ, какъ къ людямъ, именно вслѣдствіе отсутствія человѣколюбія.

Была и другая черта, отличавшая нашъ судебный бытъ отъ нынѣшняго въ пользу перваго: эта черта была заботливость объ томъ, чтобы не держали напрасно и долго

арестантовъ. Тогда спеціально за этимъ должны были слѣдить прокуроръ и стряпчіе и, въ случаѣ замедленія арестантскаго дѣла, они обязаны были хлопотать объ ускореніи хода дѣла въ судѣ или палатѣ. Теперь этого нѣтъ. Дѣло тянется, сколько суду угодно, и нѣтъ лицъ, спеціально заботящихся о томъ, чтобы арестантовъ напрасно не томили въ заключеніи.

Время, когда происходили дворянскіе выборы, было уже оживлено заботою о злобѣ дня, о крестьянскомъ вопросѣ...

Работа по немъ кипѣла въ петербургскихъ лабораторіяхъ, а рядомъ съ этимъ въ дворянскихъ кружкахъ уже начинали намѣчиваться оттѣнки либеральнаго образа мыслей, а слѣдовательно двухъ лагерей, либеральнаго и консервативнаго. Но, какъ я сказалъ, либерализмъ подъ вліяніемъ Герцена имѣлъ значеніе только какъ оттѣнокъ въ дворянской средѣ; онъ, такъ сказать, зарождался и стремился, хотя довольно смутно и неопредѣленно, къ чему то, въ родѣ политическаго представительства, или вѣрнѣе къ удовлетворенію потребности говорить... Это именно либеральное настроеніе въ извѣстныхъ аристократическихъ кружкахъ являлось какъ бы заявленіемъ права на компенсацію за готовившуюся крестьянскую реформу...

Были гостиныя, гдѣ тогдашніе Мирабо большого свѣта разсуждали такъ, обращаясь къ правительству: вы хотите отнять у насъ помѣщичьи наши права, прекрасно, отнимайте, но взамѣнъ мы хотимъ политическаго вліянія, какъ дворянское сословіе, мы хотимъ права голоса въ государственныхъ дѣлахъ... Не скажу, чтобы эта аристократическая либеральная партія была многочисленна, напротивъ, она представляла изъ себя горсть людей, но въ то-же время я совершенно убѣжденъ, что этимъ именно

идеямъ мы обязаны немедленно послѣ освобожденія крестьянъ—введеніемъ земскихъ учрежденій... Они явились отвѣтомъ не на нужды жизни, а просто на потребность имѣть говорильни.

Идея либеральнаго кружка дворянъ въ Петербургѣ продать свои помѣщичьи права за политическое вліяніе—встрѣчена была несочувственно не столько правительственною сферою, въ то время весьма добродушною, сколько средою эмансипаторовъ, имѣвшей тогда два центра: одинъ у Великой Княгини Елены Павловны, а другой у графа Якова Ивановича Ростовцева... Самаринъ, князь Черкасскій, Милютинъ Николай Алексѣевичъ, Арапетовъ и т. д. — всѣ эти главные вожаки крестьянскаго дѣла слишкомъ явно и страстно были одновременно и главными руководителями крестьянскаго дѣла и главными врагами дворянства, какъ сословія, чтобы они могли допустить что бы то ни было въ родѣ попытки дворянства пріобрѣсти политическую роль... И въ этомъ отношеніи они свою cause держали въ надежныхъ рукахъ... Съ одной стороны, графъ Ростовцевъ, съ другой, графъ Блудовъ, съ третьей—Великая Княгиня Елена Павловна. Ростовцевъ, какъ неофитъ третьяго крещенія—первое было либеральное до 14 декабря 1825 года, второе было Николаевское до Александра II, а третье снова либеральное наступило въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, — былъ озабоченъ, какъ тогда говорили, какъ бы получше угодить Герцену, и онъ не нуждался въ страстныхъ рѣчахъ Самарина, чтобы работать надъ крестьянскимъ дѣломъ изъ ненависти къ дворянству. Графъ Блудовъ былъ олицетвореніемъ полнѣйшаго безстрастія: его тихій, миролюбивый и спокойный нравъ не допускалъ въ себѣ никакой ненависти, но весь складъ его умственной личности, его служебной карьеры,

былъ таковъ, что онъ, какъ умный бюрократъ, мирился съ либерализмомъ, какъ съ доктриною, какъ съ теченіемъ времени, но идеи политическаго вліянія дворянства онъ не постигалъ и не допускалъ, не находя въ себѣ съ ней ни малѣйшаго отголоска. Что же касается Великой Княгини Елены Павловны, то она представляла изъ себя весьма оригинальный типъ умной женщины, въ которой страннымъ образомъ мирились и шли рядомъ ея либеральныя идеи, ея нѣмецкія традиціи воспитанія и ея великокняжескія понятія или убѣжденія...

Между этими тремя—идея либеральнаго усиленія политическаго значенія дворянства не находила себѣ мѣста. Ни одинъ изъ представителей этой идеи не былъ вхожъ въ ея кругъ умныхъ людей, но за то былъ вхожъ рядомъ съ Самаринымъ, которому она мыла голову за его антибалтскія идеи, остзейскій баронъ, съ его средневѣковыми феодальными идеями... и Самаринъ, не дерзавшій въ ея салонѣ хулить остзейскаго барона, могъ безпрепятственно бранить русское дворянство съ точки зрѣнія либеральной.

Это анти-дворянское направленіе, какъ теченіе тогдашняго времени, слышалось и чувствовалось вездѣ, гдѣ говорили громко о крестьянскомъ вопросѣ и, вообще, о внутренней политикѣ.

Въ живой гостиной моихъ родителей очень чутко откликались главные мотивы тогдашней политической музыки, ибо въ ней сходились умные люди, принимавшіе къ сердцу всѣ государственные вопросы и бывавшіе въ разныхъ сферахъ тогдашняго чиновнаго круга. То пріѣзжалъ Ф. Ю. Самаринъ говорить о тогдашней злобѣ дня и спорить съ моею матерью и съ моимъ отцомъ, горячо отстаивавшими дворянскіе интересы; то пріѣзжалъ декламировать свои монологи Валуевъ, всегда дорожившій тѣмъ,

чтобы стоять на высотѣ минуты, а потому тоже относившійся къ дворянскому вопросу съ извѣстнымъ скептицизмомъ и съ оттѣнками ироніи въ отзывахъ; то пріѣзжалъ прелестный поэтъ Ѳ. Ю. Тютчевъ, горячо интересовавшійся всѣми малѣйшими сторонами современной жизни; то приходилъ дѣлиться слухами и толками англійскаго клуба и разныхъ оффиціальныхъ круговъ старинный другъ дома, генералъ А. Россетти, братъ извѣстной А. О. Смирновой; то пріѣзжалъ со своими впечатлѣніями изъ Мраморнаго дворца, гдѣ онъ былъ однимъ изъ восходившихъ, и изъ Михайловскаго дворца князь Д. А. Оболенскій и разныя другія лица, и общая картина тогдашняго времени представлялась довольно вѣрною и наглядною.

Къ сожалѣнію, это анти-дворянское настроеніе прошло и въ Мраморный дворецъ. Всѣ знали, что непосредственно Великая Княгиня Елена Павловна не имѣла вліянія на своего племянника, Государя, но въ тоже время всѣ знали, что вліяніе молодого генералъ-адмирала Константина Николаевича на своего Брата было очень большое.

Великій Князь Константинъ Николаевичъ, по тогдашнимъ отзывамъ его близко знавшихъ, былъ замѣчательною личностью прежде всего по даровитости, затѣмъ, по воспріимчивости ко всякой идеѣ блага, и въ третьихъ, по сочетанію въ немъ самыхъ высокихъ и лучшихъ порывовъ съ какими то ему самому чуждыми порывами къ дурному. Въ чемъ же заключалось это дурное?

Одна личность, близко его знавшая съ ранней молодости, съ его собственныхъ словъ, очень рельефно характеризовала это дурное въ немъ: то это были припадки сильнѣйшей надменности и заносчивости, то проявленіе непобѣдимаго высокомѣрія, не терпѣвшаго ни противорѣчія, ни даже спора; то это были признаки какой-то потреб-

ности согнуть чью-либо волю, поразить кого-либо въ самое больное мѣсто, уколоть кого-нибудь. Анализъ этотъ именно былъ сдѣланъ въ то время надъ собою самимъ Великимъ Княземъ, причемъ онъ прибавлялъ, въ задушевной бесѣдѣ съ этою личностью, слѣдующія интересныя слова: «онѣ, эти дурныя черты, во мнѣ сидятъ, какъ злой духъ; онѣ сильны во мнѣ, и вы не повѣрите, какихъ мнѣ усилій требуется съ ними бороться... Я иногда побѣждаю моего внутренняго врага совсѣмъ, и тогда я самъ себя не узнаю, до того я становлюсь добръ и воспріимчивъ ко всему доброму; а иногда, наоборотъ, я чувствую себя подъ гнетомъ этого дурного, я такъ чувствую: какъ будто во мнѣ сидитъ кто-нибудь другой, какой-то злой человѣкъ, и распоряжается моимъ умомъ и моимъ сердцемъ... Молиться за меня надо,—прибавилъ молодой Великій Князь...» Я запомнилъ и записалъ эти замѣчательныя слова, столь симпатично освѣщающія эту замѣчательную личность недавняго прошлаго.

А такъ какъ натура Великаго Князя была необыкновенно живая, бойкая и порывистая, то всякое проявленіе въ немъ его мысли и его впечатлѣнія было сильно и безусловно откровенно, такъ что хорошее исходящее отъ него очаровывало сразу, а дурное бывало рѣзко и подчасъ больно. Разумѣется, совсѣмъ было бы другое, если онъ былъ характера спокойнаго, хладнокровнаго и былъ къ тому же равнодушнымъ; но въ томъ-то и было дѣло, что его кипѣвшій жизнью темпераментъ соединялся въ немъ съ живою любознательностью, съ усиленною воспріимчивостью и съ самою искреннею жаждою пользы и блага Россіи.

Тогда говорили о томъ вліяніи, которое имѣлъ на нравъ Великаго Князя его воспитатель Литке, который

будто бы тѣмъ и повредилъ ему, что ставилъ себѣ педагогическою задачею ломать, такъ сказать, волю впечатлительнаго и смѣлаго юноши, вмѣсто того, чтобы его ласками направлять, и постоянно, какъ бы по принципу, проявлять свой авторитетъ наперекоръ его молодымъ и и бойкимъ порывамъ, и именно этимъ объясняли то постоянное неравенство и неравновѣсіе въ характерѣ, которое проявлялъ Великій Князь.

Но при этомъ надо вспомнить, что нѣтъ худа безъ добра, и, какъ говорилъ тогда про него одинъ изъ его приближенныхъ, главное, что было въ молодомъ Великомъ Князѣ цѣнно, это полнѣйшее отсутствіе скрытности и фальшивости. Онъ никогда не притворялся, никогда не лгалъ и не зналъ, что значитъ быть двуличнымъ.

И вотъ, всѣ тогда говорили, что это анти-дворянское настроеніе исходило изъ Мраморнаго дворца, и именно отъ молодого Генералъ-Адмирала, который въ свою очередь его переносилъ въ атмосферу Государева кабинета. Чтобы понять и объяснить, почему это могло такъ быть, надо вспомнить, что хотя Самаринъ и не былъ никогда близкимъ къ Великому Князю лицомъ, но за то въ то время началось полное вліяніе на него Головнина, а Головнинъ по этой части, то-есть по дворянскому вопросу, никогда не давалъ себѣ труда скрывать свои враждебныя или, вѣрнѣе, свои ироническія чувства. А поводъ встать въ отношеніе политическаго антагонизма къ дворянству въ то время для Великаго Князя явился самъ собою... Когда закипѣлъ крестьянскій вопросъ, тогда очень рельефно образовались два взгляда на этотъ вопросъ: одинъ—въ видѣ проекта освобожденія крестьянъ безъ земли; а другой—съ землею. Началась борьба этихъ двухъ взглядовъ. Вся, такъ называемая, либеральная пар-

тія, съ графомъ Ростовцевымъ во главѣ, разумѣется, стояла твердо за второй проектъ; партія, такъ называвшаяся, дворянская, стояла за первый проектъ, и вотъ, охваченный огненнымъ нетерпѣніемъ увидѣть поскорѣе великій день освобожденія крестьянъ, Великій Князь Константинъ Николаевичъ, видя только представителей первой партій, и слыша отъ нихъ о противодѣйствіи дворянской партіи идеѣ земельныхъ надѣловъ, съ свойственною ему страстностью вооружался всею душою противъ этой партіи, и поневолѣ слилъ ее въ своемъ представленіи съ дворянствомъ вообще.

И, вспоминая это время, нельзя не повторить того, что тогда говорилось; будь эта самая живая, пылкая, воспріимчивая и очень даровитая натура Великаго Князя, при всей его прямотѣ и искренности, подъ вліяніемъ людей, совсѣмъ безпристрастныхъ въ политическомъ отношеніи, только желавшихъ одного добра, какое громадное измѣненіе въ характерѣ и направленіи всей эпохи произвелъ бы, при своемъ вліяніи на Царя-Брата, этотъ выдававшійся по даровитости Великій Князь.

И вѣдь не онъ одинъ вліялъ въ этомъ анти-дворянскомъ духѣ на тогдашнее направленіе правительства. Министръ внутреннихъ дѣлъ Ланской, не смотря на свои коренныя, такъ сказать, дворянскія убѣжденія, — находился въ то время подъ вліяніемъ своего подчиненнаго Николая Алексѣевича Милютина, человѣка даровитаго, умнаго, рабочаго и весьма пріятнаго въ обращеніи... Нѣсколько лѣтъ спустя я имѣлъ долгую бесѣду съ отдыхавшимъ тогда въ Москвѣ отъ дѣлъ Николаемъ Алексѣевичемъ, и я понялъ многое, что тогда въ разгарѣ крестьянскаго вопроса казалось непонятнымъ... Милютинъ жилъ въ какомъ-то фиктивномъ фантастическомъ мірѣ

представленій о какомъ-то земельномъ дворянствѣ, не то аристократическомъ, не то крѣпостническомъ, которое, будто-бы, проникнуто было какою-то фанатическою враждою къ тому, что тогда считали миссіею Императора Александра II, и всѣ его мысли къ работѣ надъ крестьянскимъ дѣломъ вдохновлялись этимъ представленіемъ о призваніи бороться съ какимъ-то политическимъ врагомъ... Какъ ни странно было это представленіе, но, принимая во вниманіе, что главная часть жизни Милютина проходила въ бюрократической сферѣ, далеко отъ дворянской жизни, можно было понять эту дворянофобскую идею въ Милютинѣ, но почему ей давали, такъ сказать, raison d'être такіе люди, какъ Самаринъ и Черкасскій, отлично знавшіе и дворянскую жизнь, и то, насколько она далека была отъ образа фронды противъ правительства въ крестьянскомъ вопросѣ, и почему они не противорѣчили ложнымъ представленіямъ Милютина, я ни тогда, ни послѣ не могъ понять.

XIV.

(1859—1860 годы).

Тогдашнее тихое настроеніе общества.—Элементы либеральные, элементы оппозиціи.—Вредное вліяніе Самарина и его сподвижниковъ.—Умственное движеніе въ среднихъ слояхъ общества.

Ничто такъ не казалось въ то время ненужнымъ и аффектированнымъ, какъ это анти-дворянское настроеніе въ реформаторскихъ сферахъ, по той простой причинѣ, что главною отличительною чертою дворянства наканунѣ грандіозной реформы, его ожидавшей, было добродушіе.

Чтобы вдохновиться, какъ это дѣлали главные дѣятели крестьянской реформы, съ Самаринымъ во главѣ, какою-то стихійною непріязнью къ дворянству, надо было создать себѣ фикцію какого-то постояннаго врага, на дѣлѣ не существовавшаго, и ополчиться противъ него войною, немного похожею на войну Донъ-Кихота съ вѣтренями мельницами. Главное, чего не доставало въ той войнѣ — былъ второй противникъ: первый былъ — это эмансипаторы, но второго, сопротивляющагося дворянства, — не было.

Были, какъ я говорилъ, невинные и, пожалуй, смѣшные мечтатели политическаго вліянія дворянства, затѣмъ были добродушные дворяне, добродушные въ своей оппозиціи, добродушные въ своей покорности, и, наконецъ,

были дворяне — то же, если хотите, добродушные, — преисполненные наивною ревностью быть передовыми и, если нужно, готовые пересолить либерализмомъ и Самарина, и Черкасскаго.

Во всякомъ случаѣ, мы всѣ испытывали въ то время, какъ эта новая эпоха переживалась тихо. Я полагаю, что главною тому причиною были скромные размѣры въ то время ежедневной печати. Двѣ газеты въ то время печатались въ Петербургѣ: „Сѣверная Пчела“ Греча и „С.-Петербургскія Вѣдомости“; обѣ удѣляли злобѣ дня скромное мѣсто, цензура тогда была для газетъ предварительная и, слѣдовательно, страстность не могла создаваться въ печати и изъ нея переходить въ общество. Доказательствомъ того, какъ добродушно было тогдашнее настроеніе дворянства, можетъ служить тотъ фактъ, что въ то время гостиная моихъ родителей слыла за оппозиціонную: on y frondait, какъ тогда говорили; не разъ въ разговорахъ въ Зимнемъ Дворцѣ Государь спрашивалъ полушутя и полусерьезно извѣстныхъ лицъ, которыя бывали въ нашей гостиной: ну, что говорятъ въ Мещерской гостиной, сильно насъ бранятъ? А между тѣмъ — врядъ ли въ Петербургѣ была гостиная, болѣе серьезно преданная тѣмъ идеаламъ, которые собою изображалъ Государь, и самому Государю, что, разумѣется, нисколько не мѣшало осуждать пристрастный образъ реформаторовъ... Значитъ, если такая гостиная, какъ моихъ родителей, гдѣ жилъ и царилъ духъ Карамзина, могла слыть за гостиную фронды, то не доказывало ли это, что на самомъ дѣлѣ ничего похожаго на фронду или на политическую агитацію противъ правительства въ дворянской средѣ тогда и въ зародышѣ не было.

Такого же добродушнаго свойства были извѣстія,

приходившія въ Петербургъ о настроеніи провинціи и Москвы: говорили, спорили, дѣлились на партіи; но ни откуда не приходили извѣстія о какомъ-либо сопротивленіи или о какой-либо враждѣ дворянскихъ кружковъ.

А между тѣмъ, графъ Ростовцевъ и всѣ его сотрудники работали надъ крестьянскимъ дѣломъ въ такомъ настроеніи, будто бы кромѣ реформы имъ предстояла задача побѣдить какого-то всесильнаго врага въ лицѣ земельнаго дворянства. Это привидѣніе, созданное воображеніемъ однихъ и злымъ умысломъ другихъ, — стояло передъ глазами эмансипаторовъ и, какъ я сказалъ, вдохновляло ихъ ненавистью къ дворянству.

Вотъ эту-то особенность того времени нельзя было не ставить въ вину такимъ людямъ, какъ Самаринъ, Черкасскій и Милютинъ, ибо благодаря ей вся реформа приняла тенденціозный и политическій антидворянскій характеръ, котораго она могла бы не имѣть, и отъ отсутствія котораго самое дѣло и вся послѣдующая эпоха чрезвычайно много бы выиграли въ смыслѣ спокойнаго прогресса. Вопросъ о выкупѣ въ той формѣ, въ которой онъ состоялся, несправедливый и насильственный, съ прекращеніемъ обязательствъ по залогу въ опекунскомъ совѣтѣ, послужившій одною изъ главныхъ причинъ разоренія земельнаго дворянства, былъ созданъ въ то время именно во имя политической непріязни къ земельному дворянству. Никому не дали права назвать это громко безнравственнымъ и несправедливымъ злоупотребленіемъ власти.

Достойно вниманія, что тогда и въ средѣ государственныхъ людей мало было оппозиціонныхъ настроенію эмансипаторскихъ элементовъ. Громче другихъ называли графа Сергѣя Григорьевича Строганова, всегда го-

ворившаго противъ демократическаго характера реформы, но графъ Строгановъ тогда уже былъ главнымъ воспитателемъ Цесаревича Николая Александровича и могъ отдавать государственному дѣлу только остатокъ своего досуга, а его было весьма немного. Государь его высоко цѣнилъ и уважалъ, но графъ былъ одинъ и рѣдко говорилъ Государю о крестьянскомъ вопросѣ, тогда какъ люди, ведшіе дѣло, говорили Государю о немъ ежедневно. Легко понять, что вслѣдствіе этого противодѣйствіе главному теченію могло быть слабое, а напоръ вліянія главнаго теченія неизбѣжно долженъ былъ усиливаться.

Называли тоже графа Панина въ числѣ оппозиціонныхъ членовъ правительства, но о какихъ-либо проявленіяхъ этой оппозиціи его я ничего не слыхалъ, тѣмъ болѣе, что потомъ графъ Панинъ сталъ вполнѣ на сторонѣ эмансипаторовъ. Какъ бы то ни было, но я запомнилъ, что въ то время много говорили объ одномъ совѣщаніи у Государя, гдѣ онъ, какъ бы въ отвѣтъ на ту оппозицію, которая была, или, вѣрнѣе, которая Ему была представляема, высказался самымъ категоричнымъ и рѣшительнымъ образомъ за освобожденіе съ землею; слухи прибавляли, что Государь при этомъ сдѣлалъ жестъ, ударивъ кулакомъ по столу, получившій значеніе энергичной и окончательной рѣшимости, при которомъ Онъ сказалъ: какъ Я рѣшилъ, такъ и будетъ.

Лица, которыя передавали объ этомъ эпизодѣ, прибавляли, что Государь проявилъ кромѣ энергической рѣшимости извѣстное возбужденіе или раздраженіе противъ чего-то, будто бы, противившагося Его волѣ.

Вотъ это былъ результатъ того зловреднаго дѣйствія, которое производили Самаринъ и Комп., сочиняя ка-

кого-то врага Государевымъ намѣреніямъ, никогда на дѣлѣ не существовавшаго... Они, какъ будто, опасались, что простое политическое убѣжденіе въ необходимости реформы могло быть недостаточнымъ стимуломъ для Государя вести дѣло энергично до конца; они опасались, какъ будто внутренной реакціи въ самомъ Государѣ во имя дворянскихъ интересовъ, близость которыхъ Государю иные предполагали возможною по его прошлому, по его аристократическимъ, такъ сказать вкусамъ и преданіямъ, и вотъ, изъ опасенія этого поворота или чьего-либо вліянія въ пользу дворянства, они рѣшились отрѣзать путь къ отступленію для Государя, внушивъ ему какое-то искусственное чувство раздраженія противъ какой-то сопротивляющейся дворянской партіи. Оттого, когда они увидѣли Государя въ раздраженіи, ударяющимъ кулакомъ по столу и говорящимъ: Я рѣшилъ, и такъ будетъ! — они обрадовались этому событію, какъ побѣдѣ, и въ особенности какъ несомнѣнному признаку, что поворота къ болѣе дворянскому воззрѣнію, къ болѣе безпристрастному и безличному образу дѣйствій не будетъ.

И дѣйствительно, его уже не было. Всѣ элементы либеральнаго движенія руководили дѣломъ и направляли его къ намѣченному исходу. Приближенные же тогда говорили, что надо избѣгать попытокъ говорить съ Государемъ противъ принятыхъ имъ рѣшеній, чтобы его не раздражать и не сердить.

Государь былъ тогда въ осадномъ положеніи. Это время было, между прочимъ, замѣчательно тѣмъ, что чуть ли не всякій грамотный человѣкъ на Руси брался за перо, чтобы писать какой-либо проектъ реформы по тому или другому государственному вопросу, и всякій посылалъ свой проектъ Государю. Рядомъ съ этимъ

диктаторствовалъ въ заграничной запрещенной печати Герценъ съ своими многочисленными проектами, и тутъ же разные государственные люди сочиняли свои проекты, и все это посылалось или передавалось въ собственныя руки Государя. Разумѣется, всего этого было слишкомъ много, слишкомъ не по силамъ одному человѣку, да еще въ такое время, когда надо было столько отдавать вниманія крестьянскому вопросу, и я совершенно убѣжденъ, что эта огромная масса наваливавшихся на Государя проектовъ и вопросовъ его переутомляла и отнимала у него возможность къ чему бы то ни было относиться съ легкимъ и пріятнымъ настроеніемъ сердца.

Какъ я сказалъ, въ то время газетная печать играла въ нашей умственной жизни весьма слабую роль.

Но, въ то же время, отчасти благодаря несомнѣнному обаянію во многихъ сферахъ такой подпольной проповѣди, какъ Герценскія статьи, отчасти благодаря какому то послабленію рѣшительно во всѣхъ слояхъ общества, до учебныхъ заведеній включительно, дисциплины, умы постепенно начинали выходить изъ-подъ опеки старыхъ преданій и переходить въ новую область какого то стремленія къ чему то новому, какихъ то сѣтованій на прошлое и какихъ то претензій къ настоящему.

Живя въ большомъ свѣтѣ, я въ немъ этихъ признаковъ новой эпохи не находилъ ни въ какихъ рѣзкихъ проявленіяхъ. Преданія старины оставались въ чести, никто на нихъ не покушался и политическіе разговоры не носили никакого характера ни злобы, ни желчи, ни неудовольствія, такъ сказать, политическаго.

Но совершенно случайно мнѣ пришлось убѣдиться, что совсѣмъ не такъ мирно и благодушно жили люди въ среднемъ или въ интеллигентномъ классѣ. Въ особенности

начала сильно сказываться перемѣна въ образѣ мыслей въ учащейся молодежи. Въ интеллигентныхъ кружкахъ шла умственная работа обличительная и даже раздраженная противъ порядка вещей. Требовалось нетерпѣливо, какъ будто, что то большее, чѣмъ эмансипація крестьянъ. Узналъ я объ этомъ изъ разговоровъ съ Іосафатомъ Петровичемъ Огрицко. Судьба насъ съ нимъ сблизила совершенно естественно. Огрицко былъ при моей теткѣ, А. А. Карамзиной, чѣмъ то вродѣ домашняго секретаря по преемству отъ ея мужа и моего дяди, убитаго въ турецкую войну, Карамзина. Функціи его были несложны, что позволяло ему заниматься своими дѣлами. А его собственныя дѣла заключались въ начатой имъ тогда работѣ, — собраніи польскихъ законовъ для предпринятаго имъ труда, «volumina legum» и въ группированіи около себя, подъ предлогомъ сотрудничества, разныхъ вольнодумцевъ изъ молодыхъ людей университета и изъ своихъ сверстниковъ. Въ ту пору я съ нимъ видѣлся довольно часто въ домѣ моей тетки и, затѣмъ, онъ заходилъ ко мнѣ и мы съ нимъ часто бесѣдовали, а такъ какъ онъ былъ блестяще уменъ и пріятенъ въ бесѣдѣ, то я не могъ не находить большаго удовольствія въ обществѣ съ нимъ.

Общимъ тономъ всѣхъ разговоровъ Огрицки была тонкая иронія. Онъ относился ко всему, что дѣлалось, не только скептически, но насмѣшливо, исходя изъ мысли, что все это ребячество въ сравненіи съ тѣмъ, что нужно. А нужно было, по его мнѣнію, радикальное измѣненіе строя жизни и именно государственной жизни, въ смыслѣ прекращенія всего, что онъ называлъ деспотизмомъ и произволомъ. По его мнѣнію, тогдашнему, если правительство не приметъ на себя иниціативу либеральнаго, самаго рѣшительнаго переформированія государственнаго

строя, начнется внутренняя или подпольная работа всѣхъ элементовъ, *забитыхъ*, *униженныхъ* и *недовольныхъ* противъ правительства и неизбѣжно, путемъ революціоннымъ, дѣйствія достигнутъ того, что теперь, пока еще есть время, правительство могло бы устанавливать путемъ спокойнымъ. Когда на эти мысли я отвѣтилъ Огрицкѣ вопросомъ: «да гдѣ же вы берете эти революціонные элементы? я, признаться, ихъ не вижу»,—онъ мнѣ добродушно отвѣтилъ, что ими кишатъ всѣ канцеляріи и департаменты, ими кишатъ всѣ наши университеты, что они вездѣ есть и только слѣпые ихъ не видятъ.

Зайдя однажды на квартиру Огрицки, я пересталъ быть слѣпымъ, ибо какъ разъ попалъ къ нему въ то время, когда у него въ сборѣ была его *команда*. Признаюсь откровенно, никогда не представлялъ въ своемъ воображеніи типъ нигилиста или анархиста въ натурѣ. У Огрицки увидѣлъ впервые разнообразные экземпляры этого типа и ужаснулся. Тогда слова «нигилистъ» еще не существовало. Еще менѣе, казалось, было поводовъ думать о примѣненіи къ кому-нибудь клички «анархистъ», но самое дѣло того и другого, какъ оказалось, тогда уже существовало. Фигуры эти, немытыя, нечесанныя, гадкія и выраженіемъ и физіономіею, доселѣ во мнѣ воскресаютъ живыми, и когда, послѣ нѣсколькихъ минутъ побывки у Огрицки, я вышелъ на улицу, я почувствовалъ, что вышелъ изъ какого то душнаго смрада.

Но только нѣсколько лѣтъ позже я убѣдился, что Огрицко правду говорилъ, когда увѣрялъ меня, что уже въ то время въ каждой канцеляріи и въ каждомъ департаментѣ есть его единомышленники. Несомнѣнно, что это было чѣмъ то вродѣ скрытно распространившейся духовной эпидеміи, признаки которой, впрочемъ, не долго

заставили себя ждать, ибо уже въ 1861 году явились первые симптомы безпорядковъ въ средѣ студентовъ.

Огрицко говорилъ, что съ освобожденіемъ крестьянъ отъ помѣщичьяго ига далеко не уѣдешь. Нужнѣе для Россіи освобожденіе образованнаго люда отъ гнета деспотизма и т. д. И вотъ эту то пропаганду вели въ разныхъ сферахъ, преимущественно между молодежью, разные Огрицки.

Полемъ для такой пропаганды было то нетвердое направленіе, которое, со смертью графа Уварова, приняло министерство народнаго просвѣщенія. Преемникъ его, Бородинскій инвалидъ (безъ одной ноги) и писатель, Авраамъ Сергѣевичъ Норовъ, былъ прекраснѣйшимъ человѣкомъ. Товарищемъ его былъ прелестный и обаятельный поэтъ князь Вяземскій, но оба вмѣстѣ и каждый порознь были слишкомъ добры, слишкомъ довѣрчивы, слишкомъ идеальны для своей миссіи. Миссія эта была не легкая. Не только предстояло стоять твердо у кормила министерской власти за всѣ старыя преданія власти и дисциплины, за весь строй порядка, но надо было бороться съ наступавшими на школу волнами и вѣяніями новаго времени. Я живо помню мои впечатлѣнія отъ встрѣчъ тогда у князя Вяземскаго съ однимъ изъ представителей, тогда довольно крупнымъ, педагогическаго міра, и ту антипатію, которую мнѣ внушала тогда его желчная и холодная рѣчь. Человѣкъ этотъ былъ Никитенко. Слушая этого *умнаго* человѣка, всегда говорившаго зло и насмѣшливо рѣшительно о каждомъ и рѣшительно обо всемъ, я въ то время испытывалъ только антипатичное къ нему чувство. Задавалъ себѣ наивный вопросъ: неужели въ эту душу никогда не входило доброе впечатлѣніе, неужели никогда изъ этой души не исходитъ мысль, согрѣтая сердцемъ?

Но потомъ я понялъ и другое. Я понялъ, что когда такіе сухіе, желчные и холодные люди допускаются къ какому либо дѣлу, имѣющему живое отношеніе къ молодежи, тогда они то и являются главными виновниками нравственнаго растлѣнія этой молодежи... Они принимаются за нею ухаживать, ища у нея популярности, вмѣсто того, чтобы ее держать въ строгомъ повиновеніи, и, играя въ фрондеровъ и обличителей, когда можно безопасно, въ мягкомъ креслѣ гостиной, бранить и осмѣивать правительство, они передъ молодежью дѣлаются холопами... Когда, долго послѣ, я читалъ записки этого Никитенки, мои чувства къ нему не улучшились, а, напротивъ, ухудшились, ибо въ запискахъ я увидѣлъ, какъ онъ рисовался и извращалъ факты и характеры лицъ, а себя разрисовывалъ какимъ-то борцомъ за идеальную гуманность. А я помню его, когда въ гостиной князя Вяземскаго онъ умѣлъ соединять ухаживаніе за княземъ, какъ за вліятельнымъ человѣкомъ, съ выгодною тогда ролью фрондера и обличителя-сатирика.

Послѣ Норова явилось еще болѣе слабое управленіе кратковременнаго министерства гр. Путятина, неизвѣстно почему попавшаго на министерское кресло; при немъ, въ сферахъ учащейся молодежи, начали чувствовать, что можно и на головѣ ходить... Явилась сверху какая-то доброта слабости, и если студенты ею не воспользовались, чтобы изъ университета въ то время сдѣлать республику, то это лишь потому, что графъ Путятинъ имѣлъ за себя и за свой авторитетъ обаяніе необыкновенно добраго и почтеннаго человѣка, а молодежь, которая прежде всего молода, то есть, въ сущности, и благородна, и добра, инстинктивно отвращалась отъ мысли отвѣчать на доброту министра зломъ и причинять ему огорченіе.

XV.

(1861 годъ).

Настроеніе общества.—Мой отецъ какъ помѣщикъ.—Черта крестьянской благодарности. — Наканунѣ 19 февраля. — Толки и чувства. — Забытый вопросъ.—19 февраля.—Государь и Его впечатлѣнія.—Настроеніе внутри Россіи.

Необыкновенно спокойное настроеніе умовъ по отношенію къ крестьянскому вопросу, царившее въ теченіе всего подготовительнаго къ крестьянской реформѣ періода, продолжалось и въ началѣ знаменитаго 1861 года.

Въ 1860 году въ Петербургѣ принимали участіе въ разработкѣ вопроса губернскіе депутаты отъ дворянства; казалось бы, можно было ожидать историческихъ, такъ сказать, минутъ—въ теченіе этого послѣдняго подготовительнаго періода, въ видѣ оживленныхъ споровъ и энергическихъ протестовъ, но ничего этого не было: дѣло подвигалось скорымъ, но въ то же время нерушимымъ путемъ. Отчасти тому способствовало то обстоятельство, что петербургскіе воротилы крестьянскаго вопроса тщательно позаботились о томъ, чтобы не допускать въ число провинціальныхъ делегатовъ лицъ слишкомъ оппозиціонныхъ, отчасти потому, что, какъ я сказалъ, на самомъ дѣлѣ этой оппозиціи активной, массовой, партійной и организованной совсѣмъ не было. Какой-нибудь петербургскій ораторъ оппозиціи Безобразовъ — заставлялъ о

себѣ говорить, потому что онъ дѣйствительно и наружностью, и талантомъ былъ выдающійся ораторъ, но онъ былъ одинъ въ полѣ воинъ: имъ восхищались, но на него глядѣли съ меланхоліею, ибо знали, что около него нѣтъ слѣдовъ партіи, способной отстаивать свою оппозицію.

Къ положенію дворянства въ эту минуту какъ нельзя болѣе примѣнялись библейскія слова пророчества: «яко овча на заколеніе ведеся, и яко агнецъ передъ стригущими его безгласенъ; во смиреніи судъ его взятся»...

Во всякомъ случаѣ иностранецъ, который пріѣхалъ бы за два или за три мѣсяца до 1861 года въ Петербургъ, несомнѣнно былъ бы пораженъ отсутствіемъ признаковъ того, что готовится и близится моментъ окончанія одного изъ величайшихъ государственныхъ переворотовъ въ Россіи, равнымъ по общественному значенію имѣвшаго себѣ только французскую революцію 1789 года.

Въ эту минуту кстати вспомнить то, что смиренное имя моего отца, отставного подполковника гвардіи, освѣщается яркою славою какъ русскаго дворянина и какъ человѣка-христіанина въ особенности; къ концу работъ по крестьянскому дѣлу выяснилось, что изъ числа помѣщиковъ, всего менѣе взимавшихъ оброка со своихъ крестьянъ, были графъ Шереметевъ и мой отецъ, съ тою лишь разницею, что у графа Шереметева было болѣе ста тысячъ крестьянъ, а у моего отца до 2,000 душъ, и не только ни разу мой отецъ не увеличивалъ 6 рублей оброка, но прощалъ недоимки, всякому помогалъ лѣсомъ, сердечно входилъ въ положеніе всякаго нуждающагося; а такъ какъ при этихъ условіяхъ большая часть крестьянъ была, сравнительно, богата, и отдѣльные крестьяне торговали купцами второй гильдіи и ворочали десятками тысячъ, то легко понять, какое нравственно-прекрасное

значеніе имѣлъ во славу моего отца тотъ фактъ, что онъ, не взирая на безбѣдное состояніе своихъ крестьянъ, никогда и не подумалъ возвышать въ теченіе 30 лѣтъ взимавшійся съ нихъ пустяшный оброкъ. Имена нѣкоторыхъ сподвижниковъ по крестьянскому дѣлу, изъ творившихъ его съ желчью и съ ненавистью, перешли въ исторію. А между тѣмъ, внѣ всякаго сомнѣнія, что такіе помѣщики, какъ мой отецъ и какъ графъ Шереметевъ, болѣе сдѣлали для славы крестьянскаго дѣла своими отношеніями къ крестьянамъ и для славы русскаго дворянства.

Не менѣе историческаго интереса имѣетъ та справка, которую дала жизнь въ отвѣтъ на вопросъ: какъ возблагодарили такого отца-помѣщика наши добрые мужички, эти чуть-ли не евангельскими добродѣтелями прославлявшіеся тогда представители «de ce bon peuple?»

Издавна былъ у крестьянъ моего отца обычай въ Новый годъ и на Пасху присылать депутаціи съ поздравленіемъ и приношеніями конфектъ, сладкихъ пироговъ и фруктовъ. Послѣднее приношеніе ими сдѣлано было въ январѣ 1861 года. Послѣ ни одного разу они не приходили поздравлять моего отца! Черта эта комментарій не требуетъ.

Въ январѣ 1861 говорили въ гостиныхъ о предстоящей 19 февраля реформѣ съ извѣстнымъ оживленіемъ. Состоялось знаменитое засѣданіе государственнаго совѣта, подъ личнымъ предсѣдательствомъ Императора, небывавшее никогда ни до этого, ни послѣ, посвященное окончательному разсмотрѣнію положенія о крестьянахъ. Говорили о томъ, что Императоръ пожелалъ, чтобы составленіе манифеста было поручено митрополиту московскому Филарету, при участіи графа Блудова, графа Панина и

Великаго Князя Константина Николаевича. Но, рядомъ съ этимъ царившимъ по крестьянскому вопросу оживленіемъ, скептики и критики задавали себѣ вопросъ: да гдѣ же тотъ, кто будетъ вводить такую громадную и трудную реформу? Вопросъ этотъ относился къ личности министра внутреннихъ дѣлъ. Графъ Ланской казался слишкомъ слабымъ и развалившимся для такого исполинскаго дѣла, а между тѣмъ по странной случайности, подтвердившей и на сей разъ ту мысль или легенду, что первый министръ въ Россіи всегда Николай Чудотворецъ, приступили къ реформѣ въ 1861 году не только не задумавшись надъ вопросомъ: есть ли человѣкъ, способный ее проводить, но какъ будто забывши про этотъ вопросъ. Забыли и многое другое, не менѣе важное.

Помню, что въ то время спокойные и безпристрастные умные люди говорили о томъ, что хорошо было бы передъ наступленіемъ 19 февраля созвать: 1) всѣхъ губернаторовъ, чтобы преподать имъ одну общую инструкцію, и дать имъ тонъ, по которому они могли бы дѣйствовать, и 2) всѣхъ губернскихъ предводителей дворянства, съ цѣлью: а) въ ихъ лицѣ поблагодарить все дворянство за патріотическое дѣло, ими свершенное, и б) призвать ихъ къ духовному, такъ сказать, содѣйствію правительству въ предстоящемъ великомъ трудѣ введенія положенія 19 февраля. Такой созывъ губернскихъ предводителей дворянства имѣлъ бы историческое значеніе торжественнаго исповѣдыванія Государемъ передъ лицомъ своего народа той громадной исторической заслуги, которая съ такою любовью, съ такимъ глубокимъ вѣрноподданическимъ чувствомъ, съ такимъ безпредѣльнымъ самоотверженіемъ была принесена дворянствомъ на алтарь отечества.

Но ничего изъ этихъ мыслей не осуществилось... Съ

свойственными имъ лукавостью и косностью, дѣятели крестьянскаго вопроса упорно постарались осуществленіе этой прекрасной мысли сдѣлать невозможнымъ.

Это было характерное начало либеральной комедіи, разыгрывавшейся 20 лѣтъ подрядъ; казалось-бы въ принципѣ, что могло быть либеральнѣе, какъ признать цѣлое сословіе и образованное притомъ соучастникомъ въ правительственной дѣятельности и возвысить его общественное значеніе.

Но именно потому это признаніе исторической заслуги за сословіемъ было отвергнуто по ненависти, что рѣчь шла о сословіи дворянскомъ, и отвергнуто для присвоенія заслуги исключительно и всецѣло правительству тѣми самыми людьми, которые немедленно послѣ, когда громадный корабль 19 февраля 1861 года былъ спущенъ на воду, и либералы признали *дворянство загубленнымъ*, всю свою дальнѣйшую дѣятельность направили къ ослабленію того самаго правительства и къ усиленію общественности, но въ видѣ какого то фантастическаго новаго сословія— интеллигентнаго пролетаріата.

Но этого мало. Сначало занялись подбираніемъ очень усердно флигель-адъютантовъ, которыхъ предстояло разсылать по Россіи для объявленія манифеста 19 февраля. Безспорно, между этими флигель-адъютантами были и достойные, и способные люди: прежняя практика посылки для наборовъ дала нѣкоторымъ изъ нихъ кое-какія практическія свѣдѣнія и сметку въ области внутренней жизни Россіи, но были и совсѣмъ неспособные къ этому дѣлу, которые, тѣмъ не менѣе, съ тѣми же полномочіями посланы были въ такую трудную минуту на столь отвѣтственное дѣло.

А рядомъ съ этимъ, только 2 мѣсяца послѣ 19 фе-

враля, въ 1861 году догадались и спохватились въ Петербургѣ, что въ провинціи, въ деревняхъ никакой власти для введенія положенія не имѣется и что *мировыхъ посредниковъ еще нѣтъ*, и вся полицейская часть этого грандіознаго государственнаго переворота легла, съ одной стороны, на присланнаго изъ Петербурга флигель-адъютанта, а съ другой стороны на полицію — *того времени*, то-есть, на знаменитыхъ земскихъ исправниковъ по выбору изъ дворянъ. О реформѣ полиціи надумали только 2 года спустя.

Вотъ какъ легкомысленно тогда пущено было дѣло; воротилы его все свое вниманіе сосредоточили надъ земельнымъ вопросомъ, то-есть надъ заботою какъ можно глубже поразить дворянство, а объ интересахъ порядка и правительства они мало думали, до такой степени мало, что когда вышелъ манифестъ 19 февраля и вышло положеніе о крестьянахъ, оказалось, что эмансипаторы *позабыли* или не захотѣли выработать *уставъ вотчинной полиціи*... на нихъ возложенный, какъ задача. Такъ поднесь онъ и не вышелъ.

Безвластіе и безпорядокъ были тѣми элементами, которые призваны были въ 1861 г. быть воспріемниками отъ купели этого новорожденнаго дитяти 19 февраля 1861 года.

Вотъ и наступило великое 19 февраля.

Потомки наши могли бы себѣ представить обстановку этого дѣла необыкновенною по торжественности и, такъ сказать, въ декоративномъ отношеніи.

Но именно этой декоративной торжественности вовсе не было. Какъ всегда, въ этотъ день было торжественное богослуженіе въ Исаакіевскомъ соборѣ, куда съѣхались

высшіе чины, генералитетъ и военные, и гдѣ прочитанъ былъ прекрасный манифестъ пера Филарета.

Говорили въ городѣ до этого дня, что будто Государь со всею Царскою Фамиліею будетъ присутствовать на богослуженіи въ Исаакіевскомъ соборѣ и при чтеніи манифеста; другіе говорили, что будетъ въ этотъ день большой выходъ во Дворцѣ; иные даже прибавляли, что съ балкона во Дворцѣ будетъ чтеніе манифеста, но ничего этого не было, и во Дворцѣ, какъ всегда, былъ въ этотъ день малый выходъ.

Единственное необыкновенное событіе, въ этотъ день случившееся, было привѣтствіе Государя народомъ на Сенатской площади въ третьемъ часу дня. Государь ѣхалъ вмѣстѣ съ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ и толпы крестьянъ были допущены къ поднесенію ему хлѣба-соли. Но размѣры этой толпы были настолько скромные, что, очевидно, это было привѣтствіе, заранѣе поставленное генералъ-губернаторомъ княземъ Суворовымъ въ извѣстныя рамки.

Помню, что тогда очень искренно жалѣли, что народному привѣтствію не даны были болѣе достойные событію широкіе размѣры.

Записалъ я въ тотъ день другое впечатлѣніе, которое по своему характеру было историческое. Послѣ прогулки Государь вошелъ къ своей дочери, Великой Княжнѣ Маріи Александровнѣ, любимому своему дѣтищу, съ сіявшимъ лицомъ, поднялъ ее на руки, принялся цѣловать, и съ такимъ чуднымъ, съ сіяніемъ радости, лицомъ сказалъ тутъ же находившейся воспитательницѣ Великой Княжны, Аннѣ Ѳедоровнѣ Тютчевой, потомъ Аксаковой, которая мнѣ это и разсказывала,—j'ai voulu embrasser ma fille le plus beau jour de ma vie! (я захотѣлъ разцѣловать мою дочь въ лучшій

среды мировых посредников для введенія крестьянскаго положенія 19 февраля.

Это не была простая готовность идти на это дѣло, это не было движеніе, вызванное какими-либо интересами личными; нѣтъ, то былъ энтузіазмъ, то-есть, такое же самое чувство, съ какимъ въ крымскую войну всякій, кто могъ, бросалъ свой домъ и шелъ въ ряды русскихъ ратниковъ. Старики-дворяне или сами шли на должность мироваго посредника, или посылали своихъ сыновей; иные бросали удобныя мѣста въ Петербургѣ и Москвѣ и стремились въ свой уѣздъ на должность мирового посредника.

Интересно констатировать, что совсѣмъ этого настроенія въ средѣ земельнаго дворянства эмансипаторы въ Петербургѣ не ожидали. Они ждали другого: они были увѣрены въ томъ, что земельное дворянство пребудетъ вѣрнымъ своей роли безгласнаго передъ стригущими агнца и что не найдется *лучшихъ людей* изъ среды дворянства для дѣятельности мировыхъ посредниковъ, и что за неимѣніемъ ихъ не то чиновники, не то кто-нибудь, первый встрѣчный изъ мѣстнаго дворянства, возьмутся за это дѣло, какъ слѣпые исполнительные чиновники въ рукахъ губернаторовъ.

Дворянство, наоборотъ, сознало, насколько важно было для успѣха дѣла его личное участіе въ его веденіи, и устремилось къ нему въ благородномъ порывѣ патріотизма. Вотъ это была существенно важная историческая минута, важная тѣмъ, что она доказала, насколько дворянство способно подъ вліяніемъ патріотической или политической идеи сплотиться въ замыслѣ выдѣлить изъ своей среды *лучшихъ людей*.

Дѣйствительно, лучшіе люди пошли въ должность ми-

рового посредника и дѣло пошло повсемѣстно поразительно хорошо.

Но лѣтописецъ, констатируя этотъ отрадный для чести русскаго дворянства фактъ, долженъ, увы, тутъ же оговориться и записать въ свою лѣтопись, что это состояніе дворянскаго патріотизма длилось не долго, самое большое два года. Потомъ дворянство охладѣло и съ той минуты о сплоченности его замолкла рѣчь.

XVI.

(1861 годъ).

Путешествіе Государя. — Приглашеніе въ Святыя Горы Потемкиныхъ.— Мои впечатлѣнія въ Святыхъ Горахъ. — Ожиданіе и приготовленіе къ къ пріѣзду Императрицы. — Пріѣздъ. — Впечатлѣніе.—Неожиданное прибытіе Государя.

Въ маѣ начали ходить толки про большое путешествіе Государя и Государыни по Россіи. Въ концѣ мая узналъ отъ Татьяны Борисовны Потемкиной, что толки про Царское путешествіе основательны, и что, дѣйствительно, въ августѣ, послѣ обычнаго лагернаго сезона, Государь съ Императрицею предпринимаютъ поѣздку на югъ, съ конечною цѣлью прожить осень въ Крыму, на южномъ берегу, въ только что пріобрѣтенномъ ими у графа Потоцкаго имѣніи, Ливадіи.

При этомъ Татьяна Борисовна сказала, что она просила Императрицу по дорогѣ заѣхать къ ней въ Святыя Горы, въ Харьковской губерніи, и что Императрица обѣщала ей этотъ визитъ.

— Venez aussi,—сказала мнѣ добрая старушка,—вы мнѣ поможете въ моихъ хлопотахъ.

При этомъ, какъ я узналъ послѣ, самъ владѣтель Святыхъ Горъ, почтенный Александръ Михайловичъ Потемкинъ, проявилъ свою обычную оригинальность. Татьяна Борисовна сообщила мужу о томъ, что она пригласила

въ Святыя Горы Императрицу и сказала ему: я надѣюсь, что ты поѣдешь со мною принимать Государыню.

— Я?—почти разсердившись отозвался старикъ Потемкинъ —я не выѣду ни на шагъ изъ Гостилицы, а ты принимай, кого хочешь.

Такъ онъ и не поѣхалъ, приказавши въ то же время, чтобы Татьянѣ Борисовнѣ былъ открытъ безграничный кредитъ для пріема Царственныхъ Гостей.

И не ѣздилъ онъ въ Святыя Горы только потому, что тамъ Татьяна развела монаховъ, какъ онъ говорилъ.

Въ іюлѣ я поѣхалъ въ деревню, побывалъ въ Смоленской губерніи и въ Курской губерніи; въ обѣихъ засталъ полную тишину и полное спокойствіе, не смотря на самый разгаръ эмансипаціоннаго года.

Тамъ, въ деревнѣ Курской губерніи, я получилъ уже настоятельное приглашеніе отъ Татьяны Борисовны Потемкиной явиться въ Святыя Горы, въ августѣ мѣсяцѣ, и къ назначенному времени направился туда. Изъ Харькова предстояло сдѣлать 120 верстъ по грунтовой дорогѣ до станціи «Голая Долина», а оттуда свернутъ въ Святыя Горы. Прибывъ въ Святыя Горы, я ахнулъ отъ никогда невиданной мною подобной красоты мѣстности, съ живописнымъ Донцомъ, съ однимъ берегомъ луговымъ, а съ другимъ—горнымъ, съ огромною мѣловою скалою, на которой зиждется верхняя часть громаднаго Святогорскаго монастыря, съ роскошною зеленью, и погрузился молодою душою въ дивный міръ поэтическихъ впечатлѣній.

Засталъ Татьяну Борисовну въ разгарѣ ея хлопотъ. Впрочемъ, надо сказать, что хлопоты эти были очень скромныя; какъ настоящая барыня, Татьяна Борисовна Потемкина и не думала о томъ, что
ратрицу роскошью въ обстановкѣ.

Не лишено было комизма, что этотъ строгій аскетъ, отецъ Германъ, подчасъ дѣлалъ внушенія Татьянѣ Борисовнѣ за то, что ея барышни смущали покой сердецъ монастырской братіи. При Татьянѣ Борисовнѣ находились двѣ компаніонки, онѣ были молоды и общительны, и очень естественно, когда отецъ Германъ приходилъ къ Татьянѣ Борисовнѣ служить въ ея домашней церкви и приводилъ съ собою монаховъ, то онѣ обмѣнивались невинными любезностями на словахъ съ монахами, пока отецъ Германъ велъ душеспасительную бесѣду съ Татьяной Борисовной. И вотъ, отецъ Германъ журилъ Татьяну Борисовну за то, что она не въ достаточной святости держитъ своихъ компаніонокъ, а Татьяна Борисовна съ почтительною серьезностью, изъ страха къ отцу Герману, уговаривала своихъ барышень *не губить души* святыхъ отшельниковъ, какъ она говорила.

Я засталъ живописную картину на правомъ берегу Донца. Слухъ объ ожидающемся пріѣздѣ Царицы прошелъ по всей округѣ и произвелъ свое дѣйствіе: сотни народа стали исподволь сбираться къ Святымъ Горамъ и расположились лагеремъ въ шатрахъ на берегу Донца. А такъ какъ 15 августа былъ храмовой праздникъ въ монастырѣ, то и къ этому дню сбирались заранѣе толпы богомольцевъ, такъ что ко времени пріѣзда Императрицы, по словамъ исправника, можно было насчитывать около 30 тысячъ пришлаго народа. И на все это пришлое населеніе— одинъ земскій исправникъ, 1 становой и нѣсколько полицейскихъ стражниковъ.

Въ монастырѣ я, между прочимъ, познакомился съ весьма имнтереснымъ типомъ схимника Пѣтъ пятн
до того одинъ изъ монаховъ, почувс прибѣ
смерти и выслушавъ отъ врачей с

воръ, мотивированный чахоткою въ ея послѣднемъ періодѣ, попросилъ у настоятеля позволенія принять большую схиму, и, пріявъ ее, поселился въ вырубленной въ мѣловой скалѣ кельѣ, въ вышину его роста и въ ширину около 3 аршинъ. Въ этой кельѣ былъ столикъ съ иконами и затѣмъ гробъ, въ который онъ ложился на ночь. Свѣта не было, кромѣ освѣщенія отъ восковой свѣчки. Такимъ образомъ, этотъ умиравшій отъ чахотки монахъ поселился въ кельѣ, гдѣ не было дневного свѣта и гдѣ не было притока воздуха, при полномъ отсутствіи вентиляціи. И вотъ этотъ умиравшій, когда я его видѣлъ, уже шестнадцатый годъ жилъ въ этой кельѣ и 15 лѣтъ ежедневно ждалъ смерти. Вотъ вамъ и теорія кубическаго содержанія воздуха, вотъ вамъ и теорія извѣстнаго воздуха для легкихъ въ чахоткѣ. На второй годъ стала уже ходить молва между богомольцами объ этомъ схимникѣ, а года черезъ три онъ сталъ уже извѣстнымъ по всѣмъ окрестнымъ губерніямъ и слылъ за святого. Тутъ, какъ мнѣ разсказывалъ схимникъ, наступила для него невыносимо тяжелая пора: съ одной стороны стали пускать къ нему богомольцевъ, сотнями приходившихъ его смущать своими обращеніями къ нему, какъ къ святому; съ другой стороны, это обманутое ожиданіе смерти, превратившееся въ безконечный затворъ, до того стало его мучить, что онъ рѣшился умолять настоятеля дозволить выйти изъ кельи и вернуться къ братіи, но настоятель, во избѣжаніе соблазна, ему этого не разрѣшилъ. И вотъ, говорилъ онъ, я живу, и чѣмъ больше живу, тѣмъ сильнѣе меня Богъ испытываетъ искушеніями и обольщеніями. Потомъ я узналъ, какъ этотъ прожилъ еще 7 лѣтъ и умеръ черезъ послѣ того, когда былъ перенесенъ изъ

видъ на монастырь на Донецъ, и на далекіе берега. Императрица воскликнула: non, comme c'est beau, comme c'est beau, и сказала Татьянѣ Борисовнѣ: «Какъ вы счастливы, что имѣете такой рай земной».

Съ перваго раза мы познакомились съ типичной личностью старика графа Шувалова.

— Есть у меня теперь время заниматься вашими красивыми пейзажами,—отвѣтилъ онъ по-французски хозяйкѣ, — когда нужно заниматься всею этою voletaille. Они требовательнѣе Ихъ Величествъ, эти скоты! И едва онъ успѣлъ кончить свой туалетъ, какъ началъ суетиться.

Было отчего: ибо вмѣстѣ съ Императрицею прибыло цѣлыхъ два экипажа придворной челяди, не особенно, какъ мы увидѣли, расположенной къ субординаціи и оказавшейся не въ духѣ, когда убѣдилась, что приходится располагаться бивуакомъ за неимѣніемъ *комфортабельныхъ* помѣщеній.

Передъ обѣдомъ мы, то-есть К. и я, были представлены Императрицѣ. Тутъ же я представлялся графу Шувалову и княжнѣ Долгоруковой, которая, не будучи красивою, своею стройностью и своимъ умнымъ лицомъ производила чарующее впечатлѣніе. Императрица насъ плѣнила своею простотою и своею естественностью: она была весела, разговорчива и все, что она говорила, дышало искренностью и отсутствіемъ всякой банальности; а такъ какъ она была очень умна и образованна, то слушать ее доставляло удовольствіе.

Я, по крайней мѣрѣ, никогда не видавшій вблизи Царской Фамиліи, похожъ былъ, отчасти, на тѣхъ хохловъ, которые представляли себѣ Царей съ сіяніями; я представлялъ себѣ, что они не умѣютъ быть ни пр ми, ни естественными. И вдругъ начать знак

Дворомъ и Императрицею и увидѣть, что она естественнѣе и проще всѣхъ нашихъ тогдашнихъ грандъ-дамъ.

По маршруту Императрица должна была пробыть въ Святыхъ Горахъ слѣдующій весь день и выѣхать утромъ третьяго дня, на соединеніе съ Государемъ, который въ это время дѣлалъ смотръ въ Чугуевѣ. На другой день утро Императрица посвятила монастырю; была у обѣдни, торжественно встрѣченная настоятелемъ съ братіею, и затѣмъ, осмотрѣвъ монастырь, вернулась къ завтраку домой. Впечатлѣнія ея были новыя и самыя пріятныя. Графъ же Шуваловъ ворчалъ на то, что служба была слишкомъ длинная. Вечеромъ послѣ обѣда была восхитительная прогулка въ лодкахъ по Донцу, при лунномъ освѣщеніи, въ теплую и тихую украйнскую ночь. и при огняхъ, зажигавшихся по берегамъ, гдѣ раздавались и пѣсни и привѣтствія бивуакировавшихъ тысячей народа.

На другой день, утромъ, сюрпризъ столь же пріятный, сколько совсѣмъ нежданный. Императрица рано утромъ передумала и послала телеграмму Государю, въ которой просила Его пріѣхать къ обѣду въ Святыя Горы.

Тутъ я лишній разъ полюбовался самою Татьяною Борисовною. Она, разумѣется, была въ восторгѣ отъ этого извѣстія, но дѣло въ томъ, что провіантъ былъ истощенъ, предвидѣли утромъ отъѣздъ, а вмѣсто этого надо было приготовить обѣдъ Государю. Какъ ни въ чемъ ни бывало, она мнѣ сообщила это извѣстіе и поручила мнѣ объявить ея повелѣніе бурмистру, чтобы все было къ обѣду готово. Я призвалъ бурмистра и сообщилъ ему краткій приказъ Татьяны Борисовны.

ушаю-съ,—отвѣтилъ бурмистръ, — все будетъ
и больше ничего мнѣ не прибавилъ.

Черезъ пять минутъ летѣли факторы-евреи верхомъ въ разныя направленія.

Кредитъ, какъ я сказалъ, для пріема былъ объявленъ А. М. Потемкинымъ безграничнымъ.

Комиченъ былъ въ это утро графъ Шуваловъ. Привыкшій къ пунктуальности во всемъ, что касается обихода Императорскихъ Особъ, онъ не могъ допустить возможности такой революціи въ маршрутѣ и такого разсужденія, какъ то, которое высказала Императрица, какъ будто отнимая у нея право быть простою смертною; здѣсь прелестно, я хочу, чтобы Государь здѣсь побывалъ, онъ придетъ въ восхищеніе, спѣшить намъ некуда.

Вотъ эти впечатлѣнія и мысли совсѣмъ сбивали съ толку старика-педанта и онъ съ тономъ упрека констатировалъ, что въ первый разъ ему приходится видѣть такое нарушеніе маршрута. Татьяна Борисовна мило надъ нимъ подшучивала; Шуваловъ же ей говорилъ: да вы сами-то что шутите, а развѣ у васъ готово все, что нужно для пріема Государя?

— Будетъ готово, не безпокойтесь.

— Однако, я сомнѣваюсь: Государь имѣетъ свои привычки, онъ пьетъ свое вино.

— Знаю,—говоритъ Татьяна Борисовна,—il aura son Mozell mousseuz.

Послѣ 4-хъ часовъ прибылъ гонецъ съ извѣстіемъ, что Государь пріѣдетъ къ 6-ти часамъ.

Все тотъ же исправникъ и все тѣ же два становыхъ пришли въ нервный страхъ. Вѣсть пронеслась мигомъ по всей окрестности. И толпы народа стали подниматься на встрѣчу Царю.

И, дѣйствительно, аккуратно въ 6 часовъ
въ колескѣ съ графомъ Алекс. Влад. Адло

былъ въ Святыя Горы. Затѣмъ прибылъ сопровождавшій его харьковскій губернаторъ генералъ Ахматовъ.

Когда Государь прибылъ, Татьяна Борисовна обратилась къ нему и говоритъ, что извиняется, но дворца Ему дать для помѣщенія не можетъ, а только маленькій флигелекъ. Государь на это засмѣялся и она провела Его во флигель, гдѣ были двѣ комнаты; ковры въ этихъ комнатахъ были простого домашняго издѣлія, а самая роскошная мебель заключалась въ простыхъ клеенчатыхъ диванахъ. Государь вошелъ и сказалъ: Я буду наслаждаться этою простотою. Онъ тоже испытывалъ чарующее вліяніе мѣстности и былъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Увидя старика Шувалова съ озабоченнымъ лицомъ, Государь разсмѣялся и сказалъ: а ты, вѣрно, ворчишь на насъ за эту эскападу.

Знаменитый *бурмистръ* исполнилъ данное ему приказаніе. Къ 6 часамъ былъ сервированъ роскошный обѣдъ.

До обѣда мы были представлены Татьяной Борисовной Потемкиной Государю, который съ нами обошелся не только любезно, но ласково. За обѣдомъ Государь былъ главнымъ разговаривавшимъ лицомъ, такъ какъ Онъ разсказывалъ о своихъ путевыхъ впечатлѣніяхъ. Затѣмъ, нечего говорить, что во все время обѣда никто не чувствовалъ себя въ придворномъ оцѣпенѣніи, напротивъ, всѣмъ было весело, пріятно, отрадно, безъ малѣйшаго даже признака принужденнаго состоянія. Государь спрашивалъ хозяйку о крестьянахъ святогорскаго имѣнія. Хозяйка ему отвѣтила, что здѣсь продолжаетъ царить
ное состояніе старины, и никакихъ недоразу-
ружилось, что подтвердилъ и губернаторъ
ералъ Ахматовъ, тутъ же сидѣвшій и на-

Черезъ пять минутъ летѣли факторы-евреи верхомъ въ разныя направленія.

Кредитъ, какъ я сказалъ, для пріема былъ объявленъ А. М. Потемкинымъ безграничнымъ.

Комиченъ былъ въ это утро графъ Шуваловъ. Привыкшій къ пунктуальности во всемъ, что касается обихода Императорскихъ Особъ, онъ не могъ допустить возможности такой революціи въ маршрутѣ и такого разсужденія, какъ то, которое высказала Императрица, какъ будто отнимая у нея право быть простою смертною; здѣсь прелестно, я хочу, чтобы Государь здѣсь побывалъ, онъ придетъ въ восхищеніе, спѣшить намъ некуда.

Вотъ эти впечатлѣнія и мысли совсѣмъ сбивали съ толку старика-педанта и онъ съ тономъ упрека констатировалъ, что въ первый разъ ему приходится видѣть такое нарушеніе маршрута. Татьяна Борисовна мило надъ нимъ подшучивала; Шуваловъ же ей говорилъ: да вы сами-то что шутите, а развѣ у васъ готово все, что нужно для пріема Государя?

— Будетъ готово, не безпокойтесь.

— Однако, я сомнѣваюсь: Государь имѣетъ свои привычки, онъ пьетъ свое вино.

— Знаю,—говоритъ Татьяна Борисовна,—il aura son Mozell mousseux.

Послѣ 4-хъ часовъ прибылъ гонецъ съ извѣстіемъ, что Государь пріѣдетъ къ 6-ти часамъ.

Все тотъ же исправникъ и все тѣ же два становыхъ пришли въ нервный страхъ. Вѣсть пронеслась мигомъ по всей окрестности. И толпы народа стали подниматься на встрѣчу Царю.

И, дѣйствительно, аккуратно въ 6 часовъ Государь въ колескѣ съ графомъ Алекс. Влад. Адлербергомъ при-

былъ въ Святыя Горы. Затѣмъ прибылъ сопровождавшій его харьковскій губернаторъ генералъ Ахматовъ.

Когда Государь прибылъ, Татьяна Борисовна обратилась къ нему и говоритъ, что извиняется, но дворца Ему дать для помѣщенія не можетъ, а только маленькій флигелекъ. Государь на это засмѣялся и она провела Его во флигель, гдѣ были двѣ комнаты; ковры въ этихъ комнатахъ были простого домашняго издѣлія, а самая роскошная мебель заключалась въ простыхъ клеенчатыхъ диванахъ. Государь вошелъ и сказалъ: Я буду наслаждаться этою простотою. Онъ тоже испытывалъ чарующее вліяніе мѣстности и былъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Увидя старика Шувалова съ озабоченнымъ лицомъ, Государь разсмѣялся и сказалъ: а ты, вѣрно, ворчишь на насъ за эту эскападу.

Знаменитый *бурмистръ* исполнилъ данное ему приказаніе. Къ 6 часамъ былъ сервированъ роскошный обѣдъ.

До обѣда мы были представлены Татьяной Борисовной Потемкиной Государю, который съ нами обошелся не только любезно, но ласково. За обѣдомъ Государь былъ главнымъ разговаривавшимъ лицомъ, такъ какъ Онъ разсказывалъ о своихъ путевыхъ впечатлѣніяхъ. Затѣмъ, нечего говорить, что во все время обѣда никто не чувствовалъ себя въ придворномъ оцѣпенѣніи, напротивъ, всѣмъ было весело, пріятно, отрадно, безъ малѣйшаго даже признака принужденнаго состоянія. Государь спрашивалъ хозяйку о крестьянахъ святогорскаго имѣнія. Хозяйка ему отвѣтила, что здѣсь продолжаетъ царить патріархальное состояніе старины, и никакихъ недоразумѣній не обнаружилось, что подтвердилъ и губернаторъ харьковскій генералъ Ахматовъ, тутъ же сидѣвшій и на-

звавшій Святыя Горы благодатнымъ уголкомъ своей губерніи.

Я имѣлъ случай познакомиться ближе въ этотъ вечеръ съ Ахматовымъ. Надо полагать, что здѣсь, въ Святыхъ Горахъ, онъ положилъ основаніе своей новой карьерѣ оберъ-прокурора святѣйшаго синода. Ахматовъ началъ свою службу въ кавалергардскомъ полку, былъ сдѣланъ флигель-адъютантомъ, а потомъ отъ фронтовой службы перешелъ въ вѣдомство министерства внутреннихъ дѣлъ. Это былъ одинъ изъ симпатичнѣйшихъ людей, которыхъ я когда-либо встрѣчалъ: спокойный, твердый въ характерѣ, глубоко вѣрующій, со всѣми преданіями и завѣтами старой дворянской семьи въ душѣ, онъ въ то же время былъ человѣкъ впечатлительный, воспріимчивый, очень умный, и съ запасомъ священнаго огня. По наукѣ церковной онъ былъ однимъ изъ учениковъ Андрея Николаевича Муравьева.

Бѣдный Муравьевъ не переставалъ мечтать о постѣ оберъ-прокурора святѣйшаго синода... Когда очистилась Протасовская компанія, слухи городскіе и даже синодскіе прочили на это мѣсто Муравьева; къ его мечтѣ стало приливать подкрѣпленіе, въ видѣ надеждъ, исходившихъ изъ этихъ толковъ, но, увы, какъ потомъ разсказывалъ мнѣ Ахматовъ, когда онъ, появившемуся къ нему Муравьеву, возвѣстилъ въ Петербургѣ о томъ, что выборъ Государя палъ на него, Ахматова, Муравьевъ не могъ скрыть нанесеннаго ему удара, и такъ и опустился, сраженный этимъ извѣстіемъ, на стулъ.

У Ахматова было много разсудительности, и прелесть его заключалась въ тѣхъ мягкихъ и теплыхъ сердечныхъ мотивахъ, которыми сопровождались его мысли.

– Послѣ обѣда состоялась прогулка по Донцу на лодкахъ.

Прогулка была эта до такой степени событіемъ изъ сказочнаго міра Шехерезады, по красотѣ впечатлѣній, что Государь буквально испытывалъ нѣчто въ родѣ восторженнаго состоянія. И дѣйствительно, никогда и нигдѣ послѣ, по днесь, я не видѣлъ и не испытывалъ ничего подобнаго, какъ впечатлѣнія отъ прекраснаго. Ночь наступила теплая и лунная. Море десятковъ тысячъ народа волновалось и бушевало по правой сторонѣ Донца, а Донецъ тихо дремалъ волшебно отражая во всю свою даль и мѣсячный блескъ и тысячи всевозможныхъ огней.

Большая лодка вмѣстила всѣхъ гостей съ хозяйкою. Гребцы, въ красныхъ рубахахъ и въ шапкахъ съ павлиньимъ перышкомъ и въ плисовыхъ черныхъ безрукавкахъ, стройно гребли въ двѣнадцать веселъ, впереди шла лодка съ монастырскимъ хоромъ пѣвчихъ; толпы народа покрывали длинный берегъ; раздавались крики, возгласы, кто крестился, кто крестилъ лодку, бабы поднимали дѣтей своихъ на руки, какъ будто прося для нихъ Царскаго благоволенія, молодежь крестьянская бѣгала сотнями вдоль берега за лодкою, иные, чтобы ближе видѣть Царя, стояли по грудь въ водѣ; а на высокомъ, горномъ берегу, въ густой и темной зелени бора ежеминутно вспыхивали и горѣли бенгальскіе огни, въ продолженіе всей прогулки. Первая остановка была въ поэтическомъ скиту монастыря. Тамъ, подъ тѣнью вѣковыхъ дубовъ и мрачныхъ сосенъ, отрядъ монастырскихъ монаховъ устроилъ себѣ особый пріютъ уединенія и молитвы, подъ названіемъ скита, изъ котораго никто уже не выходилъ, и гдѣ цѣлый день они проводили въ мо-

ѣ. Появленіе Царей въ этомъ мѣстѣ молитвы, стро-

гаго покоя и вѣчнаго разъединенія со свѣтомъ производило какое-то таинственное впечатлѣніе. Изъ скита шествіе направилось внизъ по Донцу къ маленькой фермѣ, на поэтическомъ мѣстѣ устроенной, гдѣ милая святогорская хозяйка устроила вечерній чай. Никогда не забуду выраженіе наслажденія этимъ деревенскимъ просторомъ, этимъ чуднымъ, волшебнымъ вечеромъ на лицѣ Государя. Онъ каждымъ дыханіемъ, каждымъ вѣяніемъ наслаждался... и казался молодымъ двадцатилѣтнимъ человѣкомъ.

Тѣ же волшебныя впечатлѣнія сопутствовали Гостямъ при обратномъ шествіи. Въ одиннадцатомъ часу вечера кончилась прогулка, и такъ какъ на другое утро отъѣздъ долженъ былъ состояться послѣ обѣдни, то всѣ разошлись на ночлегъ рано.

Около полуночи, проходя по святогорскому саду, я увидѣлъ характерную картину, напоминавшую цыганскій таборъ: подъ деревьями пылали огни подъ большими чанами, а около нихъ суетились какія-то фантастическія тѣни; я спросилъ одну изъ этихъ тѣней, что они дѣлаютъ: оказалось, что это была работа царской кухни: повара и мундшенки готовили разныя блюда и соуса для царской кухни на всю дальнѣйшую поѣздку Двора до Ливадіи включительно.

Утромъ въ 8 часовъ всѣ уже были на ногахъ. Государь, отдохнувшій и веселый, вышелъ въ 8 часовъ изъ своей кельи и, привѣтствуя Татьяну Борисовну съ добрымъ утромъ, сказалъ ей, что спалъ какъ убитый, и затѣмъ отправился гулять по саду. Въ 9 часу началась обѣдня въ домовой церкви Татьяны Борисовны, ее служилъ настоятель монастыря отецъ Германъ съ четырьмя старшими іеромонахами. Пѣвчіе пѣли восхитительно.

Во время причастнаго стиха невольно хотѣлось смѣяться,

глядя на безпокойство и даже на тревогу старика графа Шувалова, постоянно глядѣвшаго на часы и приходившаго въ нервное состояніе отъ того факта, что причастный концертъ пѣлся слишкомъ долго.

У графа Шувалова на эту часть обѣдни полагалось по обычаю 5 минутъ, а пѣніе продолжалось около четверти часа.

— Les 5 minutes sont depuis longtemps écoulées, — говорилъ суетясь графъ Шуваловъ, глядя на часы, — et ils chantent toujours...

Послѣ обѣдни появился фотографъ — разумѣется, еврей, — и Царскіе Гости были столь любезны, что, по просьбѣ Татьяны Борисовны, дали снять себя въ общей группѣ святогорской компаніи; группа вышла замѣчательно удачна. Затѣмъ поданъ былъ завтракъ, а послѣ завтрака состоялся отъѣздъ. Государь, прощаясь съ нами (съ К—мъ и со мною), милостиво сказалъ намъ: до свиданья въ Крыму и пригласилъ насъ туда пріѣхать.

Государь, Императрица съ двумя Дѣтьми и съ Татьяною Борисовною поѣхали въ ея коляскѣ до парома. За паромомъ ждали Ихъ Величествъ дорожные экипажи и вся свита. Ѣзда до парома была волшебнымъ шествіемъ въ морѣ народныхъ волнъ. Я и К. мы были снова въ роли верховыхъ и открывали шествіе. Но, увы, тутъ же пришлось мнѣ убѣдиться, что я плохой царедворецъ. Уѣзжая Императрица дала мнѣ свой букетъ съ тѣмъ, чтобы я отдалъ ей букетъ у парома, въ ея дорожную карету.

Я взялъ букетъ, берегъ его, но когда сѣлъ на лошадь, чтобы скакать впередъ, я позабылъ, что букетъ положилъ на столъ въ комнатѣ, и, переполненный впечатлѣніями, вырывавшими слезы отъ зрѣлища народныхъ привѣтствій,

я вспомнилъ о букетѣ тогда, когда Императрица, сѣвъ въ свой дормезъ, сказала мнѣ: et mon bouques... Я долженъ былъ въ наивности своей сознаться, что въ попыхахъ оставилъ его дома... Императрица, глядя на мое сконфуженное лицо, вѣроятно, простила мнѣ мое преступленіе, ибо улыбнулась и протянула мнѣ любезно руку, но потомъ всякій разъ, когда она мнѣ что-нибудь поручала, она прибавляла: seulement n'oubliez pas, comme vous avez oublié le bouquet.

Такихъ чудныхъ часовъ, какъ въ эти три святогорскіе дня, въ жизни ужъ не повторилось... Ни звука о политикѣ никѣмъ произнесено не было.

XVII.

(1861 годъ).

Поѣздка въ Крымъ.—Ливадія.—Старикъ графъ Бобринскій.—Мой первый литературный опытъ.—Чтеніе въ Ливадіи.—Графъ А. П. Шуваловъ.—Мое пожалованіе въ камеръ-юнкеры.

Послѣ отъѣзда Ихъ Величествъ мы оставались долго подъ впечатлѣніемъ и въ обаяніи этого радостнаго совсѣмъ необыкновеннаго событія, и домъ святогорскій сталъ своего рода святынею для тысячей народа, подымавшихся на гору къ нему, чтобы посмотрѣть всѣ мѣста, гдѣ жили Царь и Царица.

Я пробылъ въ этомъ земномъ раю еще три недѣли и, затѣмъ, отправился на почтовыхъ черезъ Екатеринославскую губернію и землю войска Донского на Таганрогъ, чтобы тамъ сѣсть на пароходъ и отплыть въ Ялту. По выходѣ парохода въ Азовское море, я познакомился къ вечеру съ зыбью этого моря, которая хуже оказалась качки Чернаго моря и даже Ламанша. Короткая волна все время мѣняетъ направленіе качанія судна, и едва началась эта зыбь, какъ всѣ почти пассажиры легли-лежмя на палубѣ, принявши блѣдно-желтый цвѣтъ лица.

Заходивши въ Бердянскъ и Маріуполь, и въ Керчи пересѣвъ на другой пароходъ, мы прибыли на третій день въ Ялту. Изъ Ялты я отправился въ чудное имѣніе, тогда принадлежавшее моей теткѣ, княгинѣ Мещер-

ской, сестрѣ Татьяны Борисовны Потемкиной, Гатру, гдѣ я и поселился, заставъ уже въ имѣніи Татьяну Борисовну Потемкину. Въ тотъ годъ, благодаря первому пріѣзду Двора, южный берегъ началъ переполняться пріѣзжими гостями, но всѣ удобства, начиная съ гостинницъ— были еще въ зародышѣ.

Черезъ нѣсколько дней по прибытіи, я имѣлъ честь быть позваннымъ на вечернее собраніе въ Ливадію.

Причиною этого зова было мое первое произведеніе пера. Я написалъ описаніе пребыванія Ихъ Величествъ въ Святыхъ Горахъ и прочиталъ его Татьянѣ Борисовнѣ Потемкиной, которая объ этомъ передала Императрицѣ. Императрица пожелала прослушать эти воспоминанія, и вотъ, вмѣстѣ съ Татьяною Борисовною, былъ позванъ азъ грѣшный. Отъ Государя я имѣлъ честь и радость узнать, что къ 30 августу я былъ пожалованъ въ камеръ-юнкеры.

Въ большой Ливадійской гостиной сервированъ былъ чайный столъ; Императрица сидѣла у стола и сама разливала чай; Государь съ своими партнерами игралъ въ ералашъ; въ числѣ нихъ былъ графъ Адлербергъ А. В., князь В. А. Долгоруковъ, шефъ жандармовъ и симпатичный, знаменитый графъ Алексѣй Бобринскій, владѣлецъ Смѣла, главный иниціаторъ сахарнаго дѣла въ Россіи и основатель первой желѣзной дороги въ Россіи, Царскосельской. Потомъ я имѣлъ случай ближе познакомиться съ этою дѣйствительно замѣчательною и крупною личностью. Это былъ живой, бойкій, любознательный, образованный и умный старикъ, любившій все, что кипѣло жизнью, что выражало умную мысль и что касалось области труда; говорилъ кратко, но замѣчательно опредѣленно и слушалъ всегда внима-

тельно, и въ обращеніи съ Царями былъ все тотъ же, въ лучшемъ смыслѣ слова, джентльмэнъ и грансеньеръ, какимъ былъ съ каждымъ изъ насъ. Тутъ же въ гостиной былъ и его близкій другъ оберъ-гофмаршалъ графъ Андрей Петровичъ Шуваловъ, съ которымъ я познакомилъ читателя уже въ Святыхъ Горахъ. Въ иныхъ проявленіяхъ личности онъ казался контрастомъ своего друга, графа Бобринскаго. Графъ Шуваловъ отличался отъ графа Бобринскаго своею типичностью во всемъ, что было придворный міръ; это былъ оригинальный типъ вельможи-царедворца. При Дворѣ онъ весь отдавался культу Двора, но этотъ культъ не уничтожалъ въ немъ ни человѣка, ни вельможу, но въ особыхъ живописныхъ краскахъ бралъ, такъ сказать, верхъ, или, какъ говорятъ французы, имѣлъ шагъ надъ всѣмъ остальнымъ. Умный и пріятный собесѣдникъ, образцовый семьянинъ, идеальный отецъ, какъ только онъ входилъ въ святилище своего придворнаго культа, онъ весь въ него погружался, и въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи вы видѣли верховнаго жреца придворнаго культа; но рядомъ съ тѣмъ, какъ онъ самъ въ себѣ, такъ и другіе въ немъ никогда не забывали и не переставали видѣть графа Шувалова, то-есть честнаго человѣка и носителя старыхъ преданій гранъ-сеньера. Послѣ него я встрѣчалъ придворныхъ людей, характерно называемыхъ по-французски des plats pieds, но графа Шувалова я никогда не встрѣчалъ послѣ.

Послѣ чая Императрица пригласила меня начать чтеніе. Государь прекратилъ игру и удостоилъ меня слушать. Чтеніе произвело пріятное впечатлѣніе. Государь сказалъ мнѣ: «спасибо, очень мило и живо написано», а Императрица, одобривъ содержаніе, сказала мнѣ, что она требуетъ только, чтобы всѣ слова: «Августѣйшіе», «из-

волили» и т. п. были выкинуты, такъ какъ они портятъ простоту и жизненность изложенія. Старикъ графъ Бобринскій мнѣ протянулъ руку и сказалъ: «я васъ поздравляю, въ васъ слышится искра святого огня вашего дѣда». Этотъ маленькій успѣхъ моего перваго пера былъ для меня большою радостью, но въ особенности я былъ счастливъ тѣмъ, что доставилъ удовольствіе моей дорогой и милой Татьянѣ Борисовнѣ, которой ласка и доброта ко мнѣ были чисто материнскія, и которой, любуясь ею, я былъ обязанъ, что съ перваго шага моего на придворномъ поприщѣ могъ въ ней найти тотъ духовный секретъ, посредствомъ котораго придворные успѣхи и, вообще, придворный міръ не портятъ и не подлятъ человѣка. Прощаясь, Императрица сказала мнѣ, что будетъ очень рада, если я мою статейку напечатаю въ газетѣ по прибытіи въ Петербургъ.

Послѣ этого вечера я удостоился еще раза два приглашеній на вечеръ и одинъ разъ на обѣдъ къ Ихъ Величествамъ въ Ливадію.

Въ это время я уже былъ по рангу придворнымъ человѣкомъ. По пріѣздѣ, лично отъ Государя узналъ, что 30 августа я былъ пожалованъ въ званіе камеръ-юнкера, по представленію тогдашняго министра юстиціи Замятина. Ихъ Величества посѣтили мою тетку княгиню Мещерскую и Татьяну Борисовну въ Гатрѣ и провели у нихъ вечеръ. Затѣмъ, я былъ приглашенъ на морскую прогулку на пароходѣ въ Судакъ Императрицею. Первая часть поѣздки была восхитительная, благодаря чудной погодѣ, но къ вечеру начался вѣтеръ, все усиливаясь, дошелъ до такихъ размѣровъ, что явился вопросъ объ опасности высаживаться въ ялтинской бухтѣ. Но Императрица была удивительно храбра, не говоря о томъ, что

Ее не укачивало. Она была бодра и весела и слышать не хотѣла объ опасностяхъ для высадки. На пароходѣ, днемъ, я удостоился бесѣды съ Императрицею tête à tête, въ теченіе часа времени, который, по Ея желанію, я посвятилъ разсказамъ о моей полицейской службѣ, причемъ Она особенно заинтересовалась вопросомъ арестантовъ и образомъ ихъ тогдашняго содержанія, который, дѣйствительно, былъ очень плохъ; въ этомъ разговорѣ я не могъ не обратить вниманія, насколько Императрица много знала такого, что Она, въ своемъ положеніи, казалось могла и не знать и до чего додуматься Ей было некогда. Такъ, напримѣръ, говоря о содержаніи арестантовъ, Она настаивала на той мысли, что арестанты, находящіеся подъ слѣдствіемъ, не могутъ содержаться на такомъ же положеніи, какъ арестанты, приговоренные къ наказанію, такъ какъ каждый изъ первыхъ можетъ оказаться невиннымъ, и содержатся подъ стражею только изъ предосторожности.

Подошли мы, однако, къ Ялтѣ. Дѣйствительно, положеніе было не изъ легкихъ и не изъ пріятныхъ. Море волнуется страшно, темно, шквалъ дуетъ во всю, а приходится высаживаться на катеръ и потомъ пройти добрыхъ полторы версты. Императрица только смѣялась, видя озабоченныя лица въ окружавшихъ и храбро пошла впередъ, ступая по трапу, при поэтическомъ свѣтѣ факеловъ. Попасть въ катеръ было не легко: надо было ждать, когда волна подниметъ его до трапа, и сразу броситься въ объятія матросовъ. Императрица это совершила весьма ловко, на всякомъ изъ насъ лежала обязанность ей подражать.

Но, слава Богу, всѣ попали на катеръ благополучно, и затѣмъ долженъ признаться, что, имѣвши возможность

познакомиться съ тремя видами качки съ Азовскою зыбью, съ Черноморскою качкою на пароходѣ и затѣмъ съ грозною волною на катерѣ, я испыталъ, что послѣднее изъ трехъ ощущеній гораздо пріятнѣе, тогда какъ тѣ ощущенія, хотя я, какъ оказалось, не страдаю морскою болѣзнью, весьма непріятны.

Вскорѣ послѣ этой прогулки мнѣ пришлось возвращаться въ Петербургъ, такъ какъ отпускъ уѣзднаго суда окончился, и здѣсь я былъ осчастливленъ новымъ знакомъ милостиваго вниманія и любезности Императрицы. Она позвала меня къ себѣ и вручила мнѣ письмо для Ея Сына, Цесаревича Николая Александровича, сказавши мнѣ, что будетъ очень рада меня съ нимъ познакомить... Затѣмъ, прощаясь, Императрица сказала мнѣ съ улыбкою: надѣюсь, что вы не забудете мое письмо, какъ забыли мой букетъ,—и протянула мнѣ руку.

Графъ Шуваловъ сдѣлалъ мнѣ другой сюрпризъ, тоже пріятный. Онъ отправилъ меня курьеромъ и выдалъ 500 рублей денегъ на дорогу.

Въ первый разъ приходилось постичь и испытать всю прелесть магическаго слова: курьеръ въ почтовой ѣздѣ. Досталъ я наемную легкую коляску и на четверкѣ помчался въ Москву.

Дѣйствительно, я мчался, дѣлая среднимъ числомъ около 18 верстъ въ часъ. Помню, что когда я ѣхалъ въ Крымъ, мнѣ пришлось на одной станціи ждать лошадей около 3 часовъ времени. Эта станція славилась постояннымъ отвѣтомъ станціоннаго смотрителя всякому пріѣзжему: *нѣтъ лошадей.*

Подъѣзжаю я къ ней. Едва подъѣхалъ, какъ выскочилъ смотритель съ докладомъ: лошадей нѣтъ, придется *обождать*... Тутъ же стояла коляска съ готовою четвер-

кою. Я, ничего не говоря, отдаю смотрителю свою магическую подорожную, на которой значилось, что я ѣду курьеромъ по Высочайшему повелѣнію, и вхожу на станцію. Тамъ застаю одного генерала, который доканчиваетъ свой завтракъ. Мы раскланялись, и онъ очень любезно предлагаетъ мнѣ закусить, разсказывая при этомъ, что уже третій часъ сидитъ на проклятой станціи и не можетъ дождаться своей четверки. Но вотъ, не прошло трехъ минутъ, какъ вбѣгаетъ смотритель и докладываетъ: ваше сіятельство, лошади готовы! Я прощаюсь съ генераломъ, выхожу и что же вижу: четверка генерала очутилась у моей коляски, а коляска генерала опять безъ лошадей. Пригнала же меня злая судьба пятью минутами раньше его отъѣзда. Я вернулся къ генералу, чтобы извиниться передъ нимъ, но бѣдный генералъ впалъ въ меланхолію.

На одной станціи за Харьковомъ встрѣтился я со старикомъ М. Е. Ковалевскимъ, министромъ народнаго просвѣщенія. Онъ со мною заговорилъ, и тутъ я узналъ отъ него, что онъ спѣшитъ въ Петербургъ, гдѣ начались студенческіе безпорядки. Ковалевскій произвелъ на меня очень симпатичное впечатлѣніе: отъ его личности вѣяло чѣмъ-то благороднымъ и добрымъ; но сразу можно было почувствовать, что это не тотъ желѣзный человѣкъ, который былъ нуженъ въ ту критическую минуту, когда именно желѣзная энергія была нужна, чтобы сломить въ началѣ стихію шалостей и своеволій, разсвирѣпѣвшую въ молодыхъ умахъ, сломить, чтобы съ ней же спасти сотни юношей отъ дальнѣйшихъ расплатъ съ Немезидою за шалости... Потомъ это оказалось; но въ минуты разговора на станціи Ковалевскій на словахъ хотѣлъ на меня произвести впечатлѣніе будущаго энергичнаго человѣка.

XVIII.

(1861 г.).

Пріѣздъ въ Царское Село. — Впечатлѣнія. — Первое знакомство съ Цесаревичемъ Николаемъ и его братьями.—Въ Петербургѣ мой эпизодъ съ редакціей «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». — Графъ Блудовъ.—Эпизодъ съ Огрицко.—Обѣдъ у Замятиныхъ.– Старикъ Неклюдовъ.

Дорогою изъ Колпина до Царскаго Села предавался размышленіямъ. Я понималъ и чувствовалъ, что начинало сбываться что-то такое, чего я сильно желалъ, это своего рода таинственное впечатлѣніе въ жизни... Сколько разъ подъ вліяніемъ бесѣдъ съ П. Козловымъ, однимъ изъ близкихъ пріятелей Цесаревича Николая Александровича, и разговоровъ съ милыми друзьями нашей семьи Батышковыми, — родственниками Н. В. Зиновьева, бывшаго главнымъ воспитателемъ Великихъ Князей, я составлялъ себѣ идеальное представленіе объ этомъ, тогда слывшемъ за необыкновеннаго по своимъ чарамъ, Великомъ Князѣ, и сколько разъ, встрѣчая его на набережной и глядя на это лицо, выражавшее, дѣйствительно, что-то особенное, какую-то утонченную и въ то же время естественную и живую привѣтливость и дышавшее живымъ участіемъ къ окружавшей жизни, я думалъ, подобно многимъ, какъ хотѣлось бы съ такою выдающеюся личностью говорить и говорить обо всемъ, чѣмъ тогда полна была русская жизнь... И вотъ, когда на балконѣ «Ливадія» Импера-

трица вручила мнѣ письмо къ Наслѣднику, я съ какимъ-то суевѣріемъ почувствовалъ, что начинается осуществленіе одного сильнаго и искренняго желанія въ жизни, а тутъ, по дорогѣ къ Царскому Селу, на получасовомъ разстояніи отъ адресата моего письма, я еще сильнѣе испытывалъ это таинственное впечатлѣніе...

Но вотъ, около 10 час., я подъѣхалъ къ Царскосельскому Дворцу, и тутъ началъ испытывать уже совсѣмъ другое чувство: не то застѣнчивости, не то конфузливости, не то растерянности, при входѣ въ первый разъ въ жизни во дворецъ, гдѣ я никого не зналъ. Это чувство поглотило всѣ остальныя. Велѣлъ я о себѣ доложить, и меня ввели въ какую-то небольшую комнату въ нижнемъ этажѣ, куда первыми вошли Великіе Князья Александръ и Владиміръ Александровичи, первый — въ своемъ финскомъ стрѣлковомъ сюртукѣ, а второй въ своемъ лейбъ-драгунскомъ сюртукѣ, въ сопровожденіи графа Бориса Алексѣевича Перовскаго. Я долженъ былъ самого себя представлять, и самъ сознавалъ, что долженъ казаться очень глупымъ.

Юные Великіе Князья были въ духѣ, веселые и задали мнѣ очень развязно нѣсколько вопросовъ; графъ Перовскій обошелся со мною очень любезно, такъ что, когда отворилась дверь и вошелъ въ флигель-адъютантскомъ сюртукѣ Наслѣдникъ, я уже чувствовалъ себя менѣе глупымъ и plus à mon aise... Великій Князь поговорилъ со мною минутъ пять и тоже оказался въ хорошемъ настроеніи духа, разспросилъ всѣ подробности крымскаго житья-бытья и, затѣмъ, такъ какъ предстояли имъ всѣмъ уроки, аудіенція кончилась, и я отретировался, познакомившись тоже съ полковникомъ О. Б. Рихтеромъ, который и тутъ, какъ всегда послѣ, явился тѣмъ, чѣмъ

онъ всегда былъ, ледянымъ по виду, что, какъ всѣ знали, никогда не мѣшало ему быть доступнымъ всякому теплому чувству.

Такъ совершилось мое первое знакомство съ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ, положившее начало всей послѣдующей моей придворной части жизни. Я говорю «части жизни», ибо дѣйствительно часть жизни, и лучшая ея часть, по годамъ и по духовному содержанію, отдана была мною этому придворному міру съ его неистощимымъ запасомъ очень отрадныхъ и очень горькихъ впечатлѣній.

Изъ дворца я поѣхалъ къ дѣдушкѣ своему, князю Вяземскому, жившему тогда вмѣстѣ съ княгинею въ одномъ изъ китайскихъ домовъ въ царскосельскомъ паркѣ. Князь Вяземскій со своею острою, но доброю улыбкою привѣтствовалъ меня словами: «Поздравляю тебя съ придворными успѣхами!»

Оказалось, что князь имѣлъ въ виду мои литературные успѣхи. Я ему сдѣлалъ рапортъ объ этомъ моемъ первомъ произведеніи и просилъ у него разрѣшенія прислать ему для прочтенія мою рукопись. По его совѣту, я долженъ былъ передать ее, послѣ прочтенія имъ, княземъ Вяземскимъ, въ «С.-Петербургскія Вѣдомости» для напечатанія. Вернувшись въ Петербургъ, я послалъ князю Вяземскому рукопись, затѣмъ, получивъ полное одобреніе отъ него и исправивъ ее согласно указаніямъ князя-поэта, я ее свезъ къ редактору «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», Очкину, съ записочкою рекомендательною отъ князя Вяземскаго.

Редакторъ, конечно, меня принялъ очень любезно, но сразу удивилъ меня, когда я увидѣлъ на лицѣ его что то вродѣ гримасы, едва я вкратцѣ передалъ ему со-

держаніе моей рукописи. Я въ наивности своей думалъ, что изъ-за содержанія статьи ее примутъ съ безконечнымъ удовольствіемъ.

Вернувшись въ Петербургъ, я сразу изъ одного міра перекинулся въ другой, совсѣмъ противоположный. Два цѣлыхъ мѣсяца я жилъ въ чудной поэзіи и въ душевномъ мирѣ; по пріѣздѣ въ Петербургъ очутился сразу въ мірѣ самой непривѣтливой прозы.

Засталъ Петербургъ нервно живущимъ студенческими безпорядками. Непостижимая ненаходчивость всего учебнаго начальства дала ребяческимъ шалостямъ студентовъ развернуться въ цѣлую политическую революцію; явились вожаки, своего рода Дантоны; явились бурныя сходки, уличныя толпы, студенческія делегаціи, съ шествіемъ на домъ попечителя, явилось требованіе студенческой конституціи, и все это—такъ себѣ, здорово живешь, только потому, что въ началѣ не нашлось ни одного энергичнаго и умнаго человѣка, который взялся бы весь этотъ мятежъ затушить въ корнѣ.

Гадко было, что студенты дали себя увлечь въ безпорядки именно въ 1861 году, доказывая этимъ, что первое проявленіе безпорядковъ въ Россіи въ отвѣтъ на великое Царское дѣло, первое проявленіе неблагодарности къ Царю, первое огорченіе Ему—произошло въ средѣ учащейся молодежи...

Во всякомъ случаѣ, съ этой осени начинается эпоха безпорядковъ въ Россіи. Несомнѣнно и то, что всѣ студенческіе безпорядки были дѣломъ политическихъ подстрекателей, которые пролѣзли въ университетъ. Черезъ нѣсколько дней по моемъ возвращеніи, я видѣлъ Огрицко, и отъ него узналъ именно это. Онъ сообщилъ мнѣ сіе даже съ улыбкою.

Во всякомъ случаѣ, время начиналось странное.

Эпизодъ, случившійся со мною по поводу моей статьи о пребываніи Ихъ Величествъ въ Святыхъ Горахъ, впервые меня научилъ тому, что врали тѣ, которые увѣряли, что либеральная тенденція у насъ не помѣшаетъ преданности Государю. Увы, потомъ мы дорогою цѣною узнали на опытѣ, какъ тѣсно сходились либерализмъ съ антимонархизмомъ, но въ то время это было для меня совсѣмъ неожиданнымъ открытіемъ. Проходятъ дни, а статья моя въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ не появляется. Наконецъ, я ѣду въ редакцію.

Тутъ мнѣ говоритъ редакторъ, что, при всемъ желаніи, онъ не рѣшается печатать моей статьи.

— Отчего?—спрашиваю наивно.

— Да, видите-ли, отчего... Ужъ вы очень поэтизируете монастырь, а затѣмъ, по правдѣ сказать, не такое теперь время, чтобы восхищаться Царскими поѣздками...

Я остолбенѣлъ... Потомъ, оправившись, говорю редактору:—да вы, можетъ быть, все это говорите мнѣ, чтобы не высказать мнѣ прямо, что статья моя по вашему не пригодна для печати.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ редакторъ,—статья написана хорошо, съ огонькомъ и интересна, да не то время, чтобы ее печатать.

Я взялъ статью назадъ и съ негодованіемъ въ душѣ испросилъ аудіенцію у графа Блудова, бывшаго тогда президентомъ академіи наукъ, при которой «С.-Петербургскія Вѣдомости» и издавались. Графъ Блудовъ меня принялъ, выслушалъ, удивился и сказалъ мнѣ, что самъ прикажетъ напечатать *своею властью*. Я оставилъ у него рукопись, потомъ отъ него узналъ, что онъ ее прочиталъ

держаніе моей рукописи. Я въ наивности своей думалъ, что изъ-за содержанія статьи ее примутъ съ безконечнымъ удовольствіемъ.

Вернувшись въ Петербургъ, я сразу изъ одного міра перекинулся въ другой, совсѣмъ противоположный. Два цѣлыхъ мѣсяца я жилъ въ чудной поэзіи и въ душевномъ мирѣ; по пріѣздѣ въ Петербургъ очутился сразу въ мірѣ самой непривѣтливой прозы.

Засталъ Петербургъ нервно живущимъ студенческими безпорядками. Непостижимая ненаходчивость всего учебнаго начальства дала ребяческимъ шалостямъ студентовъ развернуться въ цѣлую политическую революцію; явились вожаки, своего рода Дантоны; явились бурныя сходки, уличныя толпы, студенческія делегаціи, съ шествіемъ на домъ попечителя, явилось требованіе студенческой конституціи, и все это—такъ себѣ, здорово живешь, только потому, что въ началѣ не нашлось ни одного энергичнаго и умнаго человѣка, который взялся бы весь этотъ мятежъ затушить въ корнѣ.

Гадко было, что студенты дали себя увлечь въ безпорядки именно въ 1861 году, доказывая этимъ, что первое проявленіе безпорядковъ въ Россіи въ отвѣтъ на великое Царское дѣло, первое проявленіе неблагодарности къ Царю, первое огорченіе Ему—произошло въ средѣ учащейся молодежи...

Во всякомъ случаѣ, съ этой осени начинается эпоха безпорядковъ въ Россіи. Несомнѣнно и то, что всѣ студенческіе безпорядки были дѣломъ политическихъ подстрекателей, которые пролѣзли въ университетъ. Черезъ нѣсколько дней по моемъ возвращеніи, я видѣлъ Огрицко, и отъ него узналъ именно это. Онъ сообщилъ мнѣ сіе даже съ улыбкою.

Во всякомъ случаѣ, время начиналось странное.

Эпизодъ, случившійся со мною по поводу моей статьи о пребываніи Ихъ Величествъ въ Святыхъ Горахъ, впервые меня научилъ тому, что врали тѣ, которые увѣряли, что либеральная тенденція у насъ не помѣшаетъ преданности Государю. Увы, потомъ мы дорогою цѣною узнали на опытѣ, какъ тѣсно сходились либерализмъ съ антимонархизмомъ, но въ то время это было для меня совсѣмъ неожиданнымъ открытіемъ. Проходятъ дни, а статья моя въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ не появляется. Наконецъ, я ѣду въ редакцію.

Тутъ мнѣ говоритъ редакторъ, что, при всемъ желаніи, онъ не рѣшается печатать моей статьи.

— Отчего?—спрашиваю наивно.

— Да, видите-ли, отчего... Ужъ вы очень поэтизируете монастырь, а затѣмъ, по правдѣ сказать, не такое теперь время, чтобы восхищаться Царскими поѣздками...

Я остолбенѣлъ... Потомъ, оправившись, говорю редактору:—да вы, можетъ быть, все это говорите мнѣ, чтобы не высказать мнѣ прямо, что статья моя по вашему не пригодна для печати.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ редакторъ,—статья написана хорошо, съ огонькомъ и интересна, да не то время, чтобы ее печатать.

Я взялъ статью назадъ и съ негодованіемъ въ душѣ испросилъ аудіенцію у графа Блудова, бывшаго тогда президентомъ академіи наукъ, при которой «С.-Петербургскія Вѣдомости» и издавались. Графъ Блудовъ меня принялъ, выслушалъ, удивился и сказалъ мнѣ, что самъ прикажетъ напечатать *своею властью*. Я оставилъ у него рукопись, потомъ отъ него узналъ, что онъ ее прочиталъ

и послалъ къ редактору за подписью: прошу напечатать немедленно, и затѣмъ она напечатана все-таки не была.

Но, затѣмъ, со мною произошелъ эпизодъ еще характернѣе. Подъ впечатлѣніемъ студенческихъ безпорядковъ, я написалъ свое первое публицистическое произведеніе, подъ заглавіемъ: *Въ улику времени*, прочелъ ее князю Вяземскому, прочелъ ее нѣкоторымъ своимъ друзьямъ и, затѣмъ, получивъ одобреніе, я рѣшился ее напечатать брошюрою... Но для этого надо было мнѣ ее прежде послать къ цензору. Не зная, какъ это дѣлается и, вообще, ничего не зная о мірѣ печати, я обратился съ просьбою мнѣ помочь совѣтами и свѣдѣніями... къ Огрицкѣ, всегда возившемуся съ этимъ міромъ.

Огрицко взялъ рукопись къ себѣ, обѣщавъ передать ее цензору.

Не далѣе какъ на слѣдующій день, онъ приходитъ ко мнѣ и возвращаетъ мнѣ рукопись.

— Я такую гадость своими руками въ цензуру сдавать не буду.

— Отчего гадость?

— Оттого, что это доносъ на насъ!

— На васъ?

— Да, на насъ, революціонеровъ...

Въ десятый разъ мы поругались съ Огрицкой. Но вотъ что замѣчательно: это его пророчество.

— Впрочемъ, я вамъ впередъ говорю: никакая цензура вашей брошюры не допуститъ къ печати! Попробуйте и увидите.

— Отчего?

— Оттого, что она нашему брату не нравится, а нашихъ братьевъ [illegible]ше, чѣмъ вы думаете... Попробуйте, увидите!

Я попробовалъ.

Нисколько не испугавшись, а, напротивъ, поощренный зловѣщими предсказаніями Огрицки, я лично отправился въ цензурный комитетъ и просилъ передать рукопись пензору.

Прошло мѣсяца три.

Я получаю свою рукопись обратно, раскрываю и ахнулъ. Почти не было страницы или не испачканной или прямо вымаранной. Слова замѣнены противоположными по смыслу. И вотъ, что замѣчательно: статья была перековеркана четырьмя вѣдомствами: красными чернилами, черными, синимъ карандашемъ, чернымъ карандашемъ и синими чернилами. Оказалось, что въ насмѣшку, вѣроятно, надъ моими мыслями и съ тѣмъ, чтобы статью сдѣлать невозможною для печати, она отъ цензора, смотрѣвшаго ее, попала въ комитетъ, оттуда къ попечителю учебнаго округа, оттуда въ департаментъ министерства народнаго просвѣщенія, оттуда даже въ крестьянскій главный комитетъ, такъ какъ въ статьѣ встрѣчались слова: «крестьяне» и «освобожденіе крестьянъ».

Случайно или потому ли, что Огрицко узналъ о судьбѣ моей рукописи, но на другой же день онъ ко мнѣ явился и съ сіяющимъ лицомъ спрашиваетъ меня: «Ну что, получили вы вашу улику времени?»

— Что же это должно значить?—спрашиваю я у Оргицки.

— А это должно значить,—сказалъ, лукаво улыбаясь Огрицко,—что надо, чтобы съ волками жить, по-волчьи выть, а овечкою заговоришь,—волки съѣдятъ.

Во всякомъ случаѣ эпизодъ этотъ въ высшей степени характеренъ.

Обѣдалъ въ одно изъ воскресеній у новаго министра

юстиціи, Дмитрія Николаевича Замятина. Забылъ въ свое время записать, что раньше, весною, обѣдалъ я у него какъ разъ на другой день послѣ его назначенія министромъ. Жена его и онъ были сіяющіе, но ихъ радость была различная. Она сразу занеслась; онъ радовался и былъ счастливый во смиреніи, и когда я его поздравилъ, онъ мнѣ говоритъ: да, вотъ, кто бы могъ подумать, что я попаду въ министры; жена правду говорила: не родись богатъ, не родись уменъ, а родись счастливъ... Стоявшій рядомъ, въ той самой подобострастной позѣ, въ какой годы стоялъ при графѣ Панинѣ, Михаилъ Ивановичъ Топильскій благоговѣйно улыбнулся и сказалъ: кому же, какъ не вамъ было и быть министромъ... Старикъ Неклюдовъ, отецъ госпожи Замятиной, 80-лѣтній старикъ, расхаживалъ въ своихъ гетрахъ стараго времени и казался всѣхъ удовлетвореннѣе. Это былъ оригинальный старикъ. Одна изъ его оригинальныхъ выходокъ была та, что онъ отправился къ гробовщику Туранову и спросилъ себѣ гробъ на выборъ. Тотъ остолбенѣлъ отъ удивленія, когда узналъ, что гробъ ему нуженъ для примѣрки по его собственной особѣ; онъ пошелъ въ кладовую и тамъ сталъ ложиться то въ одинъ, то въ другой гробъ; нашелъ по мѣркѣ и, разсказывая, прибавлялъ: on y est mieux mon cher, que dans un fauteuil de Gambs, и затѣмъ велѣлъ себѣ принести гробъ, напомнивъ, чтобы пришли съ черной лѣстницы—въ кухню, чтобы не пугать народъ. И въ этой кухнѣ гробъ стоялъ 8 лѣтъ! Затѣмъ, онъ поѣхалъ въ Невскую лавру, купилъ могилу, велѣлъ ее обложить камнемъ, и когда ему доложили, что высохла, самъ полѣзъ въ могилу и посидѣлъ въ ней нѣсколько минутъ, чтобы убѣдиться—суха ли.

Я разсказалъ За[illegible]у мой эпизодъ съ «С.-Петер-

бургскими Вѣдомостями». Онъ вѣрить не хотѣлъ и пришелъ въ негодованіе.

Какъ судьба у насъ играетъ событіями и людьми! Когда вспомнишь, что графъ Панинъ избралъ Замятина въ товарищи по росту, и что замѣмъ именно этому Замятину пришлось вводить самую мудреную и сложную реформу царствованія—судебную, то невольно придешь къ мысли, однажды сказанной Ф. И. Тютчевымъ: il faut avouer que les fonctions du русскій Богъ ne sont pas une sinécure.

XIX.

(1861 г.).

Перемѣна службы. — Поступленіе къ П. А. Валуеву въ чиновники особыхъ порученій.—Валуевъ. — Графъ Сергѣй Григорьевичъ Строгоновъ.— Первый вечеръ у О. Б. Рихтера съ Цесаревичемъ въ Царскомъ Селѣ.— Мои впечатлѣнія.

Вѣроятно, вѣсти о моихъ придворныхъ quasi-успѣхахъ дошли до Валуева, которому въ 1861 году было предложено министерство внутреннихъ дѣлъ, ибо только этимъ объясняю себѣ, почему, встрѣтившись со мною у князя Вяземскаго,—онъ былъ женатъ на дочери князя Вяземскаго,—онъ мнѣ любезно предложилъ перейти къ нему на службу, въ должность чиновника особыхъ порученій, на 1,500 руб. жалованья. Я съ удовольствіемъ принялъ это предложеніе, потому что Валуевъ по этому поводу высказалъ нѣкоторые комментаріи, изъ которыхъ я могъ понять, что ему нужны люди для командировокъ по Россіи.

Валуевъ былъ интересный типъ своей эпохи. Я впервые съ такимъ типомъ встрѣчался, и долженъ сказать, что послѣ повторенія этого типа никогда не встрѣчалъ поднесь. Его исторію образованія я разсказалъ раньше. Благодаря ему, онъ былъ, несомнѣнно, и образованный, и [illegible]итанный, и до извѣстной степени въ умственномъ от[illegible]іи импозантный или представительный человѣкъ. [illegible] было первое впечатлѣніе; но потомъ, при сближе-

ніи съ нимъ, онъ производилъ странное впечатлѣніе тѣмъ, что казался обожателемъ музыки словосочетанія, и этотъ культъ фразы звонкой и громкой ставилъ выше всѣхъ остальныхъ къ нему предъявлявшихся ожиданій и требованій. Рядомъ съ этимъ онъ представлялъ въ отношеніи характера и всей его духовной личности изумительное спокойствіе, спокойствіе безстрастія и, какъ будто равнодушіе къ убѣжденіямъ... Онъ не зналъ, что значитъ что-нибудь принимать къ сердцу: и такимъ квіетистомъ онъ былъ въ семейной и частной жизни и во всѣхъ положеніяхъ въ государственной жизни. Физіономія спокойная, безстрастная, скорѣе добрая, чѣмъ равнодушная, мягкая и привѣтливая, съ тонкими, красивыми губами, всегда наготовѣ говорить—физіономія эта никогда не измѣнялась. Злость, негодованіе, ненависть, радость, восторгъ, нѣжность—всѣ эти элементы духовной жизни никогда не находили отраженія или выраженія на лицѣ Валуева; барометръ у него какъ будто стоялъ постоянно на ясной погодѣ, beau fixe, и вотъ именно это въ постоянныхъ отношеніяхъ производило извѣстное тягостное впечатлѣніе. Душа возмущалась отъ этого постояннаго maestoso moderato, какъ отзвукъ человѣка, и такъ и рвалась крикнуть ему: да выйдите хоть разъ изъ себя, да разсердитесь же.

Тоже странное впечатлѣніе производитъ Валуевъ относительно мыслей. Его умъ не зналъ простой мысли, какъ не зналъ онъ тоже простого силлогизма, какъ не зналъ онъ простого разрѣшенія мыслію вопроса. Не разъ мнѣ придется, вѣроятно, приводить тому доказательства въ моихъ воспоминаніяхъ, а пока ограничиваюсь лишь этими краткими чертами его характеристики, для то
но, чтобы имѣть право задать послѣ вопрос
задавалъ себѣ и тогда: почему, когда

столь трудное политическое время, какъ 1861 годъ, министръ внутреннихъ дѣлъ,—выборъ могъ пасть на Валуева, у котораго рессурсовъ для такого страшно важнаго и страшно отвѣтственнаго поста не было именно въ свойствахъ его ума и его личности.

Валуевъ, какъ членъ государственнаго совѣта, какъ посолъ, какъ предсѣдатель какого-либо важнаго учрежденія—могъ удовлетворять главнымъ требованіямъ, будучи образованнымъ человѣкомъ, будучи спокойнымъ собесѣдникомъ, будучи внимательнымъ слушателемъ; но администраторомъ, призваннымъ постоянно брать инициативу вопросовъ и постоянно напрягать умъ къ разрѣшенію ихъ, Валуевъ никогда не могъ быть.

Но такова была, какъ я говорилъ, игра судьбы. Изъ Ростовцева, никогда не видѣвшаго вблизи ни мужика, ни деревни, она сдѣлала главнаго дѣятеля крестьянской реформы; изъ Замятина, выбраннаго Панинымъ въ товарищи изъ-за роста, она сдѣлала судебнаго реформатора; Валуеву она поручила вести крестьянское дѣло, вводить земскую реформу.

Затрудненія въ предстоящемъ ему дѣлѣ для Валуева заключались и въ томъ, что онъ очень мало зналъ Россію, въ ея внутренней жизни. Онъ былъ губернаторомъ въ Остзейскомъ краѣ, и только тамъ познакомился съ пружинами губернской жизни, а между тѣмъ Остзейскій край въ то время мало походилъ на русскій край.

Но, при всемъ томъ, Валуевъ былъ, какъ начальникъ, весьма почтенный и симпатичный человѣкъ. Помѣщикъ въ рѣчи, онъ былъ въ обращеніи простъ и доступенъ; жалъ свободу мнѣнія и чужое убѣжденіе, онъ со да былъ джентельмэномъ, былъ безусловно чест-

нымъ человѣкомъ и не зналъ, что значитъ придворное холопство.

Впрочемъ, чтобы оставаться честнымъ и добросовѣстнымъ лѣтописцемъ того времени, я долженъ сказать, припоминая время и отношенія къ его задачамъ тогдашнихъ людей, что назначеніе Валуева и его личность имѣли свой историческій смыслъ. Разумѣется, государственный человѣкъ, ближе знавшій Россію, съ твердою и ясною программою, съ цѣльнымъ характеромъ и съ желѣзною энергіею—былъ бы гораздо болѣе на своемъ мѣстѣ въ то время, чѣмъ Валуевъ; но для этого надо было, чтобы этотъ человѣкъ былъ русскій баринъ и осмысленный консерваторъ, вродѣ, напримѣръ, графа Сергѣя Строганова, тогдашняго попечителя Наслѣдника, или такого, какимъ потомъ сдѣлался графъ Дмитрій Толстой. Но въ то время, когда кругомъ все кипѣло какимъ-то озлобленіемъ къ дворянству и какимъ-то нетерпѣливымъ и лихорадочнымъ стремленіемъ ко всему новому, очень была серьезная опасность для государства отъ назначенія на мѣсто министра внутреннихъ дѣлъ какого-нибудь молодого генія, по внушенію или Михайловскаго или Мраморнаго Дворца, который повелъ бы министерство внутреннихъ дѣлъ въ духѣ либерализма tambour battant.

Выборъ, павшій на Валуева, выборъ самого Государя, который успѣлъ съ нимъ познакомиться, какъ съ докладчикомъ по комитету министровъ, и за котораго былъ такой вѣскій голосъ, какъ М. Н. Муравьева, его недавняго начальника, выборъ этотъ, говорю я, былъ счастливъ въ томъ отношеніи, что онъ поставилъ во главу министерства внутреннихъ дѣлъ, съ того времени [illegible] встать въ первенствующую въ ряду ми
человѣка внѣ партій, человѣка спокой

наго, человѣка безусловно преданнаго Государю и слишкомъ образованнаго и джентльмэна, чтобы симпатизировать начинавшимъ зарождаться Базаровымъ, какъ кандидатамъ для государственныхъ должностей.

На русскомъ языкѣ нѣтъ слова, которое имѣетъ смыслъ при оцѣнкѣ людей; это французское слово: comme il faut. Валуевъ былъ типомъ этого comme il faut, и потому именно, что онъ имъ былъ, онъ никогда не могъ восхищаться черными ногтями и нечесанными волосами, какъ признаками новыхъ политическихъ убѣжденій. И я нисколько не преувеличиваю, нисколько не грѣшу даже противъ оттѣнковъ истины, если, отдавая себѣ отчетъ въ личности Валуева въ то время, я именно эту личность со всѣми ея недостатками признаю въ отрицательномъ смыслѣ полезною, какъ причину, почему многое что при какомъ-нибудь кн. Черкасскомъ, напримѣръ, могло бы прямо привести Россію къ соціальной революціи, при Валуевѣ и благодаря ему шло съ горы затормаженымъ. Валуевъ явился невольнымъ тормазомъ. Его сладкозвучная фраза получила свою историческую роль.

И потомъ, надо было и то сказать... Давно министерство внутреннихъ дѣлъ нуждалось въ очищеніи своего персонала появленіемъ какого-нибудь homme comme il faut. Бибиковъ былъ безусловно умный министръ внутреннихъ дѣлъ; но къ вопросу: кто у него директора,—онъ относился очень равнодушно. Ланской тоже не отличался умѣньемъ выбирать сотрудниковъ. Кромѣ Милютина и двухъ-трехъ чистыхъ именъ—среда была довольно сѣрая.

Въ это самое время мнѣ пришлось познакомиться съ однимъ изъ крупныхъ, если не крупнѣйшимъ, изъ госу-
похи. Лицо это былъ графъ
въ.

Это былъ по наружности сухой, большого роста, съ сѣдыми небольшими бакенбардами старикъ, всегда ходившій, опираясь на палку, съ виду всегда полунасмѣшливый и холодный, но, на самомъ дѣлѣ, между его наружностью и его личностью былъ существенный разладъ въ томъ отношеніи, что, весь отданный своему живому и важному дѣлу, этотъ человѣкъ очень рѣдко бывалъ холоднымъ, а насмѣшливымъ бывалъ только кстати.

Кто подсказалъ выборъ графа Сергѣя Григорьевича Строгонова въ главные воспитатели тогдашняго Наслѣдника,—я никогда не могъ узнать, но, во всякомъ случаѣ, побужденіемъ къ такому выбору, разумѣется, была блестящая страница и въ московскомъ учебномъ округѣ и въ жизни графа Строгонова, его попечительства въ Москвѣ въ послѣдніе годы царствованія Николая. Съ его именемъ связано воспоминаніе въ Москвѣ о золотомъ вѣкѣ въ ея университетѣ. А если это такъ, то легко понять, почему выборъ молодого Государя Александра II воспитателемъ для Наслѣдника могъ остановиться на графѣ Строгоновѣ.

Въ домѣ его, на Невскомъ, у Полицейскаго моста, былъ длинный и узкій кабинетъ, необыкновенно простой по убранству и только наполненный книгами, въ которомъ онъ принималъ, сидя у простого своего письменнаго стола.

Графъ Строгоновъ взялъ палку, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ ко мнѣ на встрѣчу, далъ руку и затѣмъ поглядѣлъ на меня пристально и внимательно, какъ бы желая съ перваго взгляда составить себѣ впечатлѣніе.

Потомъ онъ сѣлъ, пригласивъ меня сѣсть передъ нимъ, и началъ мнѣ задавать вопросы. Вопросы его были прогулкою его ума въ разныхъ областяхъ, начиная съ Крыма, откуда я пріѣхалъ, и кончая моею собственною біогра-

фіею. Потомъ разговоръ перешелъ на дневныя темы, то-есть на слухи о студенческихъ безпорядкахъ. Графъ Строгоновъ ихъ приписывалъ общей débandade въ университетѣ, а самую débandade онъ приписывалъ отсутствію одного авторитетнаго лица во главѣ университета и отсутствію дисциплинарнаго единомыслія между профессорами университета. Это послѣднее графъ Строгоновъ призналъ симптомомъ положенія тогда, въ самомъ началѣ безпорядковъ; его, знакомый по опыту съ этимъ міромъ, тонкій и наблюдательный умъ сразу видѣлъ главное больное мѣсто и, Боже мой, сколько разъ потомъ, пять, десять, двадцать лѣтъ спустя, это самое осужденіе университета произносилось разными лицами.

Тутъ же въ разговорѣ графъ Строгоновъ высказалъ мысль, которая по простотѣ своей могла казаться общимъ мѣстомъ, но глубокій смыслъ которой потомъ сто разъ приходилось припоминать именно потому, что эта, казавшаяся общимъ мѣстомъ, мысль все болѣе и болѣе дѣлалась рѣдкостью въ головахъ нашихъ руководителей времени.

— Возиться съ молодежью,—сказалъ, между прочимъ, графъ Строгоновъ,—не значитъ еще умѣть ее вести; а у насъ думаютъ, что можно быть попросту такъ же легко педагогомъ, какъ чиновникомъ.

Это первое свиданіе съ графомъ Строгоновымъ, длившееся около получаса, произвело на меня сильное впечатлѣніе и преисполнило мое молодое существо какимъ-то культомъ къ этому замѣчательному человѣку.

О Царственномъ своемъ воспитанникѣ онъ ничего не говорилъ. Онъ сказалъ мнѣ только по французски: Николай Александровичъ мнѣ сказалъ, что онъ съ вами познакомился. Затѣмъ, прощаясь со мною, графъ сказалъ

мнѣ: милости просимъ, заходите, буду всегда радъ васъ видѣть.

Приблизительно такую же фразу сказалъ мнѣ въ Царскомъ Селѣ полковникъ Рихтеръ, но я все не рѣшался придавать ей значеніе, боясь навязываться. Однажды, однако, послѣ обѣда у Вяземскихъ, въ Царскомъ, имѣя часъ впереди до поѣзда, зашелъ къ О. Б. Рихтеру, занимавшему двѣ маленькія комнатки рядомъ съ комнатами Наслѣдника. Засталъ его за чтеніемъ; и минутъ 20 спустя послѣ нашей бесѣды en tète-á-tète, послышались въ сосѣдней комнатѣ чьи-то шпоры, и затѣмъ, вошелъ Наслѣдникъ. Я собрался было уходить, но Великій Князь очень любезно мнѣ сказалъ: я пришелъ васъ повидать, и сѣлъ на диванчикъ; хозяинъ приказалъ подать чаю, и я провелъ добрый часъ времени въ этой бесѣдѣ втроемъ.

Первое впечатлѣніе, которое я отчетливо испыталъ въ этотъ вечеръ, было то, что молодой Наслѣдникъ жилъ совсѣмъ въ общеніи съ нашею жизнью въ Петербургѣ до малѣйшихъ подробностей, и, слѣдовательно, почва для обмѣна мыслей являлась безпредѣльная.

Изъ первыхъ же нотъ духовнаго репертуара Цесаревича я познакомился съ одною изъ чертъ его ума, что французы называютъ un esprit caustique; по-русски это можно выразить только приблизительно словами: слегка насмѣшливый, или тонко-насмѣшливый... Позже я могъ убѣдиться, что Наслѣдникъ имѣлъ отъ кого вдохновляться этою чертою его ума, такъ какъ она очень развита была въ графѣ Строгоновѣ и очень симпатично-своеобразно сказывалась въ О. Б. Рихтерѣ.

Что же касается характера, который приняла наша бесѣда, то главное впечатлѣніе, мною замѣченное, было то, что съ первой же минуты я почувствовалъ полнѣй-

шую потребность говорить съ безграничною искренностью. Къ тому побуждала и даже повелительно побуждала милая естественность Царственнаго собесѣдника и видимыя проявленія той цѣны, которую онъ придавалъ правдивой и искренней рѣчи, проявленія, которыя я сразу же въ немъ замѣтилъ.

Въ наброскахъ моего тогдашняго «Дневника» сказано такъ: говорили обо всемъ, что тогда касалось интересовъ минуты. Великій Князь задавалъ мнѣ много вопросовъ, но при этомъ, по мѣрѣ того, какъ я ему давалъ отвѣты, видно было по тому, что онъ отъ себя говорилъ или замѣчалъ, что онъ не технически задаетъ вопросы, а интересуясь и не мало знаючи самъ. Въ особенности видно, что какъ онъ ни молодъ и какъ ни похожъ на монастырь,—по его же словамъ,—царскосельскій затворъ,—онъ уже людей началъ учиться понимать... Горечи или разочарованія я не примѣчалъ, но острая критика сказывалась не разъ, причемъ стрѣлы его ума попадали мѣтко. Мы коснулись университетскихъ безпорядковъ. Великій Князь очень вѣрно замѣтилъ, что, вѣроятно, тутъ кроются какіе-нибудь вожаки, которые ничего не хотятъ, кромѣ того только, чтобы сбивать съ толку. Я сообщилъ Цесаревичу про то, что мнѣ говорилъ графъ Строгоновъ. Да,—сказалъ Великій Князь,—если бы студенты имѣли дѣло съ такими людьми, какъ графъ Строгоновъ, то, вѣроятно, и бунтовать не хотѣли бы... Узнавъ, что я перешелъ на службу къ Валуеву, Наслѣдникъ повторилъ сложившуюся про него молву, что онъ любитъ себя слушать... Я разсказалъ Великому Князю всю эпопею мою со статьею о пребываніи Ихъ Величествъ въ Святыхъ Горахъ и съ «Петербургскими Вѣдомостями»... Великій Князь воскликнулъ: «Неужели это возможно»... Веселое, свѣтлое лицо

[illegible] кладки,
[illegible] тщательно
[illegible] генерала. Увы,
[illegible] минутъ
[illegible] и расклани-
[illegible] до свида-
[illegible] казалъ самымъ
[illegible] очень хо-
[illegible] Княземъ. въ
[illegible] же время я все
[illegible] добрымъ голо-
[illegible] и пріѣзжайте: въ это
[illegible] меня заставать.
[illegible] пояснить, имѣла иной
[illegible] почти бесѣды заклю-
[illegible] газетахъ: чтеніе га-
[illegible] или маленькую роль.
[illegible] непосредственныхъ впечатлѣній
[illegible]

XX.

(1861 годъ).

Свѣтскія впечатлѣнія.—Барышни Смирновы.—Начало сезона.—Вечерній чай у О. Б. Рихтера въ Царскомъ Селѣ съ Цесаревичемъ.—Вел. Кн. Марія Николаевна. Ея сынъ Герцогъ Николай Максимиліановичъ Лейхтенбергскій.—Вел. Кн. Елена Павловна.

Познакомился я въ эту осень съ тремя барышнями Смирновыми. Хочу вспомнить объ нихъ, потому что этотъ домъ сестеръ Смирновыхъ для всѣхъ, кто въ немъ бывалъ, имѣлъ двоякій интересъ: общеніе съ милыми и симпатичными личностями, во-первыхъ, а во-вторыхъ,—пребываніе въ такой духовной атмосферѣ, которая ни для кого не могла повториться, до того она была оригинальна, и сохранилась въ то время, какъ уцѣлѣвшій обелискъ старины.

Всѣмъ тремъ сестрамъ вмѣстѣ было тогда около 210 лѣтъ. Ихъ молодость относилась ко временамъ Александра I, при которомъ отецъ ихъ, Смирновъ, исправлялъ, кажется, должность начальника казначейства. Дочери же называли эту должность: *государственный казначей*. Міръ этихъ трехъ сестеръ Смирновыхъ былъ замѣчателенъ тѣмъ, что у нихъ бывало чуть ли не полъ-Петербурга: бывалъ въ это время Бисмаркъ, бывшій тогда прусскимъ посланникомъ, бывалъ князь Долгоруковъ, шефъ-жандармовъ, бывали разные дипломаты и разные знатные люди

того времени, но въ то же время, едва вы входили въ эту скромно, по-старинному меблированную квартиру въ домѣ Жербина, по Михайловской, съ ея старыми слугами московскаго типа, вы сразу переставали жить всѣмъ тѣмъ, чѣмъ кипѣла и волновалась вокругъ современная жизнь, и входили въ какой то міръ, гдѣ маленькія подробности и маленькія сплетни свѣта постоянно шли рядомъ съ воспоминаніями давно минувшихъ временъ.

Современная политическая жизнь съ ея крупными вопросами ихъ вовсе не интересовала; всѣ три ограничивались только интересами и вопросами въ жизненной сферѣ ихъ знакомствъ и связей: вещи ихъ не интересовали, ихъ интересовали только лица, съ ихъ свѣтскою и интимною жизнью. Я помню, напримѣръ, какъ я, года два спустя послѣ знакомства со Смирновыми, задалъ вопросъ одной изъ сестеръ о Бисмаркѣ, разсчитывая узнать отъ нея что-нибудь интересное, какъ впечатлѣніе. Она мнѣ отвѣтила по-французски: «какже, я отлично помню, что когда онъ у насъ обѣдалъ, онъ всегда опаздывалъ». Больше этого она ничего не могла сообщить интереснаго.

Старшая сестра называлась Еленою Осиповною, вторая—Марьею Осиповною, третья—Александрою Осиповною. Про первыхъ двухъ разсказывали, что Елена Осиповна продала свое первенство второй сестрѣ за чечевичную похлебку, ибо домомъ завѣдывала и играла роль хозяйки Марья Осиповна. Роли ихъ распредѣлялись такъ: Марьи Осиповнѣ предоставлено было сидѣть дома и принимать, Елена Осиповна командировывалась въ разныя гостиныя къ знакомымъ и пріятелямъ, а третья—завѣдывала хозяйствомъ. Всѣ три были добры, привѣтливы и любезны. Ихъ пунктъ былъ обѣдъ, къ которому звались знакомые и пріятели. Обѣды бывали разныхъ разрядовъ: первый былъ

съ посланниками и сановниками, на нихъ мнѣ не удалось попасть, послѣдній, кажется, пятый разрядъ, былъ для черненькихъ, онъ назывался обѣдъ съ гувернантками, потому что звалась *Нивеша* (мадамъ Ниве), какъ они говорили, гувернантка у Ольденбургскихъ.

Марія Осиповна, несмотря на свои 70 лѣтъ, глядѣла бодро; ея лицо носило слѣды красоты. Какъ она сама говаривала, les gens m'appellent, *прямая*, потому что, дѣйствительно, она всегда держала себя безукоризненно прямо.

Старшая сестра Елена Осиповна величала свою сестру Марію Осиповну словомъ «fière», а сама она съ третьей сестрой были олицетвореніемъ скромности и смиренія.

Насколько онѣ жили внѣ реальнаго міра, можно было судить по тому, напримѣръ, что онѣ не знали, въ какой губерніи и въ какомъ уѣздѣ ихъ имѣніе. На вопросъ объ этомъ, онѣ объясняли свой лѣтній адресъ такъ: „Мы садимся на Никольскую желѣзную дорогу, выходимъ на станціи Тверь, тамъ насъ ждетъ коляска и мы ѣдемъ въ деревню».

Говорили онѣ охотнѣе по-французски; по-русски, какъ всѣ наши старыя барыни того времени, онѣ говорили плоховато, съ постоянными галлицизмами и съ примѣсью французскихъ словъ а ля мадамъ Курдюкова.

Про свою молодость былая красавица, Марія Осиповна, разсказывала съ вдохновеніемъ, что она плѣняла всѣхъ и что даже на балѣ у Коленкура Императоръ Александръ со всею свитою подошелъ къ ней и, ставъ на одно колѣно, сказалъ ей: «hommage à la plus belle des belles». Старшая про себя говорила, что она никогда не была красива, но имѣла un air piquant.

Эти смирновскіе обѣды были замѣчательны тѣмъ, что хозяйки очень не любили, чтобы послѣ обѣда засиживались.

[illegible] кофе и, затѣмъ, [illegible] очень [illegible], когда [illegible] убирались. Обороты рѣчи ихъ всегда были непредвидѣнны по своей оригинальности. Помню, какъ сердилась старшая Смирнова за [illegible] похороны, которыя Петербургъ устроилъ любимицѣ своей, прелестной пѣвицѣ итальянской оперы Бозіо. Весь Невскій былъ запруженъ публикой и учащеюся молодежью всѣхъ учебныхъ заведеній. Смирнова сердито говорила, что она не можетъ понять такихъ почестей, *потому все же она была только актриса*, а теперича извольте, прибавляла она, *умри хоть бы я*, [illegible]: «умерла гостепріимная *дворянка*». Помню ея впечатлѣніе отъ «Руслана и Людмилы». Всего больше на нее произвелъ впечатлѣніе Черноморъ и она говорила самымъ серьезнымъ образомъ: *je ne sais pas ce qu'on a contre* Черноморъ, je le trouve très *gentil, и онъ такой миленькій*.

Такъ какъ ни одна изъ трехъ ничего не понимала въ дѣлахъ, то знаменитая въ свое время игуменья Митрофанія намѣтила ихъ, какъ свои жертвы, выпросивъ у нихъ поручительство, и, въ концѣ концовъ, разорила этихъ трехъ сестеръ, такъ что подъ самую глубокую старость этихъ бѣдныхъ старушекъ коснулась почти нищета. Въ разсказахъ объ этой игуменьѣ сестры Смирновы остались вѣрны себѣ; никто изъ насъ не могъ отъ нихъ узнать сущность дѣла съ точки зрѣнія дѣловой, потому что онѣ, бѣдненькія, сами ничего не понимали, кромѣ того только, что она ихъ обобрала и обманула. «Все дѣло съ того началось,— разсказывала Марья Осиповна,—что мы подписали одну бумагу и съ энтой бумаги все и пошло». А какая эта была бумага, мы и не могли узнать. Елена Осиповна съ наивною злобою ее звала великою премерзавкою и разсказывала, «что когда она пріѣхала къ Марьѣ (второй сестрѣ), то

стала на колѣни и клялась ей Богомъ и эвтимъ соборомъ, что изъ окна глядѣлъ съ его кумоломъ. Што же? И тутъ она солгала, потому оказалось, что эта церковь была вовсе не соборъ, а армянская церковь». Прелестно передавала Марья Осиповна остроумное слово по этому поводу царя остроумія, поэта Тютчева. Тютчевъ однажды сказалъ: ces pauvres demoisselles Smirnoff, leurs fonds sont à la baisse (à l'abbesse—игуменьѣ). А Марья Осиповна Смирнова говорила такъ: et même monsieur Tutcheff a fait sur ce sujet un trés joli mot; il a dit ces pauvres demoiselles Смирновъ, comme elles ont baissè.

Да, порою онѣ были смѣшны, эти почтенныя и милыя старушки, но сколько благоговѣнія стали внушать онѣ къ себѣ тогда, когда, обобранныя и разоренныя этою игуменьею Митрофаніею, онѣ съ покорностью гордыхъ дворянокъ склонили свои старческія головки подъ удары неумолимой нищеты.

Эта, всегда сіявшая веселою улыбкою Марья Осиповна Смирнова лежала умирающею на своей постели, и входитъ къ ней старый слуга, оставшійся при ней служить безъ жалованья, изъ благодарности, и докладываетъ, что княгиня Наталья Семеновна Голицына (ея пріятельница) проситъ ей продать зеркало. Это былъ придуманный старою княгинею деликатный способъ помочь на одрѣ болѣзни своей пріятельницѣ. Но гордая бѣдняжка поняла это и, приподнявшись на своемъ ложѣ, сказала своему слугѣ: «передай княгинѣ, что я скоро умру и послѣ моей смерти она можетъ купить все, что хочетъ».

И таковыми въ ихъ предсмертныя минуты оказались всѣ три сестры.

Пока онѣ были въ довольствѣ, онѣ все отдавали, что

имѣли, другимъ; когда съ глубокою старостью пришла тяжелая нужда, онѣ ничего ни у кого не просили.

И, хороня каждую изъ нихъ, мы вспоминали слова Елены Осиповны по поводу похоронъ Бозіо, что «хоронимъ гостепріимную дворянку».

Зима 1861 года на 1862 годъ была оживленная, въ смыслѣ великосвѣтскаго сезона. Всѣ тогдашніе большіе дома принимали широко и давали блестящіе балы: дома Паниныхъ, княгини Кочубей, Эммануила Дмитріевича Нарышкина, Софьи Сергѣевны Бибиковой, жены бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ, графа Павла Строгонова...

Къ этимъ баламъ для меня прибавились и придворные балы. Впервые, помню, я въ эту зиму испытывалъ чисто куртизанское впечатлѣніе отъ рокового вопроса: есть ли приглашеніе ко Двору, или нѣтъ?

Пока Дворъ былъ въ Царскомъ Селѣ, я воспользовался любезнымъ приглашеніемъ О. Б. Рихтера, и раза три, въ теченіе поздней осени, провелъ вечеръ у него въ той бесѣдѣ à trois, про которую я говорилъ выше.

Цесаревичъ приходилъ въ комнату Рихтера, приносили чай, и мы добрыхъ два часа бесѣдовали самымъ пріятнымъ образомъ. Потомъ, когда Дворъ переѣхалъ въ Петербургъ, меня позвали на простой вечеръ, гдѣ играли въ разныя игры и немного танцовали, въ одно изъ воскресеній, и гдѣ главный персоналъ составляли Великіе Князья и Герцоги Лейхтенбергскіе. Здѣсь я познакомился съ другомъ и сверстникомъ Наслѣдника, старшимъ Герцогомъ Лейхтенбергскимъ, Николаемъ Максимиліановичемъ, и съ его сестрами принцессами. На второе или третье воскресенье я не получилъ приглашенія на этотъ маленькій вечеръ, и помню, въ какое я пришелъ отчаяніе. Міръ

опостылъ въ тотъ вечеръ, пока я ждалъ приглашенія, и оно не пришло... Ядъ придворный уже вошелъ въ мой организмъ, хотя, къ счастью, не совсѣмъ, ибо, потомъ, до такой степени Богъ помогъ отдѣлить личныя отношенія при Дворѣ отъ придворныхъ, что годъ спустя старикъ графъ Строгоновъ мнѣ сказалъ: если вамъ это пріятно, то могу вамъ сказать, что, по вашей манерѣ держаться и по вашимъ дѣйствіямъ, вы—плохой куртизанъ. Это подтверждалось потомъ не разъ, а нѣсколько разъ, когда я ломалъ себѣ шею, но зато это же помогало мнѣ переносить мои придворныя невзгоды съ тою философіею, которая не позволяла огорченіямъ вліять на мою духовную жизнь, ослаблять энергію и падать духомъ...

Но, какъ я сказалъ, въ началѣ зимы 1861 года я былъ вполнѣ куртизаномъ, когда такъ сильно почувствовалъ себя ужаленнымъ случайнымъ фактомъ непріглашенія на придворную вечеринку. Потомъ, въ качествѣ новаго камеръ-юнкера, я сталъ представляться Августѣйшимъ Особамъ... Изъ нихъ всего болѣе на меня произвело симпатичное впечатлѣніе представленія Великой Княгинѣ Маріи Николаевнѣ и ея старшему сыну. Великая Княгиня Марія Николаевна называла себя тогда уже старушкою, но, кромѣ своей чудной николаевской профили и наружной подвижности, сберегла и свою молодую впечатлительность, и свою прямую и откровенную натуру... Я слышалъ не разъ отъ придворныхъ судей, что никто не былъ такимъ повтореніемъ Николая I, изъ его дѣтей, какъ Великая Княгиня Марія Николаевна въ главныхъ чертахъ характера. Она была умна и добра, и въ то же время оригинальна, непредвидѣнна въ своихъ мысляхъ, и часто въ своихъ дѣйствіяхъ, не зная ни притворства, ни фразы... Въ итогѣ, въ эти четверть часа, пока я былъ

удостоенъ разговора съ нею въ ея маленькомъ будуарѣ, я получилъ живое представленіе о необыкновенно привлекательномъ типѣ русской Великой Княгини, впервые мною увидѣнной вблизи.

Представленію герцогу Н. М. Лейхтенбергскому предшествовало знакомство съ его воспитателемъ, свитскимъ генераломъ К. Гр. Ребиндеромъ.

Это былъ весьма симпатичный типъ честнаго человѣка съ сердцемъ, который отдалъ себя всего на дѣло воспитанія своего питомца, порученное ему еще Императоромъ Николаемъ. Онъ велъ это воспитаніе, какъ умѣлъ, [illegible] могъ, влагая въ него не только все свое теплое [illegible] но и святой огонь, и держалъ своего воспитан[illegible] въ атмосферѣ впечатлѣній своей честности и своей [illegible]ности. Воспитаннику его было тогда 19 лѣтъ, [illegible] былъ выше средняго, лицо блѣдное, волоса [illegible] темные, много изящнаго и наряднаго въ манерахъ [illegible] и въ лицѣ привѣтливость и оживленіе; [illegible] что-то медленное и небрежное. Такова [illegible] наружность герцога. Затѣмъ, по внутреннему своему [illegible] былъ образованъ, развитъ, любознателенъ, вос[illegible] предпочиталъ свою собственную домашнюю [illegible]ной. Это полное отсутствіе въ немъ при[illegible] отчасти происходившее отъ того, что [illegible] стороны, видѣлъ и замѣчалъ ихъ смѣшныя [illegible] потому, что герцогъ много времени [illegible] за границей и, въ особенности, въ [illegible] самаго [illegible] и обыкновеннаго [illegible] прелести и завоевы[illegible]

[illegible]

кій вечеръ, [illegible] авленія дру[illegible]

Великой Княгинѣ, знаменитой своимъ умомъ и политическимъ вліяніемъ, Еленѣ Павловнѣ.

Садясь, по ея повелѣнію, передъ нею, я испытывалъ нѣчто вродѣ страха: не оказаться достаточно въ уровнѣ ея прославленнаго ума. Мнѣ казалось, что вотъ, вотъ я сейчасъ услышу замѣчательно умныя вещи, но, какъ всегда это бываетъ, когда ожидаешь многаго,—я испыталъ разочарованіе и нашелъ, уходя отъ нея, что куда умнѣе и пріятнѣе, какъ собесѣдница, какъ женщина, Императрица Марія Александровна. Прежде всего, что я ощутилъ, это—то, что передо мною сидѣла персона, совсѣмъ убѣжденная въ томъ, что она необыкновенное по уму существо и что она совсѣмъ—не какъ другіе. Чувствовалось, что она думала объ эффектѣ, который она должна произвести. Въ эти нѣсколько минутъ Великая Княгиня задала мнѣ рядъ вопросовъ, но, видимо, нисколько ими не интересуясь, и, не слушая отвѣтовъ, сама отвѣчала на нихъ, владѣя, какъ мастерица своего дѣла, искусствомъ играть словами и видимо убѣжденная, что все, что гласятъ ея уста,—умныя слова.

Этимъ ограничились мои представленія ко Дворамъ. Зима эта для меня была чисто свѣтская,—на недѣлѣ по 5 и по 6 вечеровъ и баловъ, по воскресеньямъ балы придворные, днемъ катанье на конькахъ въ Таврическомъ саду, а когда я приходилъ къ Валуеву и говорилъ ему, что желаю работать, онъ мнѣ, какъ и другимъ, отвѣчалъ: «подождите, я *вамъ придумаю* работу». Не очень ободрительны были такія слова, но, къ счастью, въ началѣ 1862 года онъ началъ *придумывать* работы и съ той
началась моя командировочная служба, отъ которой
много свѣдѣній и взглядовъ на жизнь, отъ кото-
во всякомъ случаѣ, сталъ умнѣе въ томъ отно-

удостоенъ разговора съ нею въ ея маленькомъ будуарѣ, я получилъ живое представленіе о необыкновенно привлекательномъ типѣ русской Великой Княгини, впервые мною увидѣнной вблизи.

Представленію герцогу Н. М. Лейхтенбергскому предшествовало знакомство съ его воспитателемъ, свитскимъ генераломъ К. Гр. Ребиндеромъ.

Это былъ весьма симпатичный типъ честнаго человѣка съ сердцемъ, который отдалъ себя всего на дѣло воспитанія своего питомца, порученное ему еще Императоромъ Николаемъ. Онъ велъ это воспитаніе, какъ умѣлъ, какъ могъ, влагая въ него не только все свое теплое сердце, но и святой огонь, и держалъ своего воспитанника въ атмосферѣ впечатлѣній своей честности и своей естественности. Воспитаннику его было тогда 19 лѣтъ, росту онъ былъ выше средняго, лицо блѣдное, волоса почти темные, много изящнаго и нарядnаго въ манерахъ и въ сложеніи и въ лицѣ привѣтливость и оживленіе; въ движеніяхъ что-то медленное и небрежное. Такова была наружность герцога. Затѣмъ, по внутреннему своему міру онъ былъ образованъ, развитъ, любознателенъ, воспріимчивъ и предпочиталъ свою собственную домашнюю жизнь придворной. Это полное отсутствіе въ немъ придворныхъ чертъ, отчасти происходившее отъ того, что онъ, глядя со стороны, видѣлъ и замѣчалъ ихъ смѣшныя стороны, и отчасти потому, что герцогъ много времени съ дѣтства провелъ за границей и, въ особенности, въ Англіи, въ обстановнѣ самаго простого и обыкновеннаго быта,—придавало его личности много прелести и завоевывало ему симпатіи вездѣ.

Иное впечатлѣніе я вынесъ отъ представленія другой

Великой Княгинѣ, знаменитой своимъ умомъ и политическимъ вліяніемъ, Еленѣ Павловнѣ.

Садясь, по ея повелѣнію, передъ нею, я испытывалъ нѣчто вродѣ страха: не оказаться достаточно въ уровнѣ ея прославленнаго ума. Мнѣ казалось, что вотъ, вотъ я сейчасъ услышу замѣчательно умныя вещи, но, какъ всегда это бываетъ, когда ожидаешь многаго,—я испыталъ разочарованіе и нашелъ, уходя отъ нея, что куда умнѣе и пріятнѣе, какъ собесѣдница, какъ женщина, Императрица Марія Александровна. Прежде всего, что я ощутилъ, это—то, что передо мною сидѣла персона, совсѣмъ убѣжденная въ томъ, что она необыкновенное по уму существо и что она совсѣмъ—не какъ другіе. Чувствовалось, что она думала объ эффектѣ, который она должна произвести. Въ эти нѣсколько минутъ Великая Княгиня задала мнѣ рядъ вопросовъ, но, видимо, нисколько ими не интересуясь, и, не слушая отвѣтовъ, сама отвѣчала на нихъ, владѣя, какъ мастерица своего дѣла, искусствомъ играть словами и видимо убѣжденная, что все, что гласятъ ея уста,—умныя слова.

Этимъ ограничились мои представленія ко Дворамъ. Зима эта для меня была чисто свѣтская,—на недѣлѣ по 5 и по 6 вечеровъ и баловъ, по воскресеньямъ балы придворные, днемъ катанье на конькахъ въ Таврическомъ саду, а когда я приходилъ къ Валуеву и говорилъ ему, что желаю работать, онъ мнѣ, какъ и другимъ, отвѣчалъ: «подождите, я *вамъ придумаю* работу». Не очень ободрительны были такія слова, но, къ счастью, въ началѣ 1862 года онъ началъ *придумывать* работы и съ той поры началась моя командировочная служба, отъ которой добылъ много свѣдѣній и взглядовъ на жизнь, отъ которыхъ, во всякомъ случаѣ, сталъ умнѣе въ томъ отно-

шеніи, что постигъ неизмѣримую разницу между петербургскимъ управляющимъ и между русскимъ управляемымъ міромъ. Впрочемъ, при свиданіяхъ съ Валуевымъ въ эту зиму, какъ записано въ моемъ дневникѣ, я узналъ, въ числѣ изрѣченій, которыя онъ любилъ произносить, одну умную вещь, надъ правдою которой не разъ приходилось задумываться въ жизни. La science de la vie,—сказалъ мнѣ однажды Валуевъ,—conciste á ne jamais méconnaître la fragilité du fait et la stabilité du principe. (Наука жизни заключается въ томъ, чтобы никогда не забывать непрочности факта и вѣчности принципа). Нигдѣ, какъ въ придворной жизни, гдѣ фактъ самый мелкій, самый проходящій, самый пошлый играетъ роль громаднаго событія, затемняющаго собою видъ на все важное и живое и притупляющаго чувствительность ко всему, что не ты самъ,—это изрѣченіе Валуева я припоминалъ не разъ не праздно, а съ заботою его примѣнять къ дѣлу, то есть не преувеличивать значеніе и дѣйствіе отдѣльныхъ фактовъ и личныхъ впечатлѣній.

XXI.

(1862 годъ).

Мои служебныя командировки.—Поѣздка въ Архангельскъ и въ Каргополь.—Впечатлѣнія.

Въ январѣ 1862 года мой министръ объявилъ мнѣ о трехъ командировкахъ, изъ которыхъ двѣ были срочныя, а одна долгосрочная. Первая—была поѣздка въ Каргополь, Олонецкой губ., для уголовнаго слѣдствія по Высочайшему повелѣнію, сообща съ членомъ отъ министерства юстиціи; вторая—въ Архангельскъ для введенія взаимнаго отъ огня страхованія и, наконецъ, третья—разъѣзды по волостнымъ правленіямъ для того, чтобы составить себѣ вѣрное представленіе о томъ, какъ начали дѣйствовать новыя крестьянскія учрежденія самоуправленія.

Послѣ блестящаго бала въ Эрмитажѣ я вернулся домой, переодѣлся, у подъѣзда стояла кибитка, и подъ веселые звуки Juristen walzer, еще звучавшіе въ ушахъ, я пустился въ далекій путь...

На третій день ѣзды въ кибиткѣ по снѣгамъ, гдѣ встрѣчались подъ конецъ пути населенные пункты только черезъ 40—50 верстъ, прибылъ я въ Каргополь, Олонецкой губерніи, городокъ съ 450 душами населенія, гдѣ интеллигенцію изображали 6—7 представителей мѣстнаго чиновничества. Засталъ тамъ очень почтеннаго нѣмца,

старичка городничаго изъ пансіонеровъ комитета о раненыхъ, очень умнаго, энергичнаго, лѣтъ пятидесяти; исправника, кончившаго университетъ, и симпатичнаго лѣсничаго. Чего же больше было ожидать въ такомъ городкѣ. Каргополь поразилъ меня своимъ изобиліемъ церквей. Церкви эти были остатки старины, временъ Іоанна IV, когда Каргополь былъ мѣстомъ ссылки для татей и разбойниковъ, и представлялъ въ тоже время оживленный путь торговли для сѣвернаго края.

По прибытіи члена отъ министерства юстиціи, г. Лакіери, мы приступили къ слѣдствію. Намъ предстояло въ одной деревнѣ произвести слѣдствіе по жалобѣ, поданной на Высочайшее имя однимъ каторжникомъ на неправильное его осужденіе за убійство трехъ лицъ. Онъ признавалъ себя невиннымъ. Шутка сказать: слѣдствіе о неправильномъ осужденіи, послѣ того, что обвиненный былъ наказанъ плетьми съ наложеніемъ клеймъ! Слѣдствіе было нами произведено тщательно и, о ужасъ, чѣмъ болѣе оно разъяснялось, тѣмъ болѣе становилось очевиднымъ, что, дѣйствительно, обвиненіе и осужденіе были неправильны... Послѣ двухъ мѣсяцевъ мы закончили слѣдствіе.

Пришлось мнѣ провести Пасху въ этомъ городкѣ. Помню, какъ жутко было въ пасхальную ночь, сидя у окна въ пустынномъ безмолвіи, одиноко глядѣть на огонекъ единственнаго жалкаго фонаря въ городѣ, у тюрьмы, и далеко отъ всѣхъ, кого любишь, проводить эту свѣтлую ночь... Узнавъ, что никогда въ Каргополѣ не слыхали пѣвческаго пѣнія, я сталъ вмѣстѣ съ смотрителемъ духовнаго училища устраивать хоръ пѣвчихъ, съ цѣлью, чтобы они пѣли пасхальную службу заутрени. Обиходъ нотный оказался, и опытъ сравнительно удался; импровизированный и въ 4 недѣли подготовленный хоръ

пѣвчихъ пѣлъ всю пасхальную заутреню, и на другой день *депутація* отъ города пришла меня благодарить за этотъ удавшійся опытъ. Замѣчательно было, что въ эту ночь протоіерей собора облаченъ былъ въ ризу временъ Іоанна IV, съ верхомъ, страшно тяжелымъ, такъ какъ онъ былъ изъ толстой золотой тканой парчи, и усыпанъ жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями; нижняя часть ризы нѣсколько разъ возобновлялась.

Странно: что значитъ привычка. Когда пришлось выѣзжать изъ Каргополя и прощаться съ маленькимъ кружкомъ людей, съ которымъ сжился въ эти 2 мѣсяца, въ городкѣ, гдѣ помину не было ни о моркови, ни о бѣломъ хлѣбѣ, все-таки взгрустнулось...

Пріѣхалъ я въ Архангельскъ, гдѣ засталъ городъ подъ снѣгомъ. Губернаторомъ былъ тамъ старикъ Арендаренко; онъ поручилъ городскому головѣ собрать городскую думу; явился я въ думу читать предложеніе устроить взаимное страхованіе отъ огня; иностранцы отозвались сочувственно; коренные горожане испугались нововведенія, и исходя изъ убѣжденія, что пожаръ Божья воля, настаивали на томъ, что страхованіе взаимное будетъ стачкою противъ Бога, который разсердится и въ наказаніе пошлетъ пожаръ.

Какъ я ни убѣждалъ, но главные вожаки думы не сходили съ своей ѳеократической почвы... Это было одно проявленіе нравовъ того первобытнаго общества и времени. Но другое проявленіе было еще характернѣе. Изъ разговоровъ съ губернаторомъ и съ купцами узналъ, что всѣ громадные лѣса въ краѣ были отданы за безцѣнокъ по контракту на эксплоатацію англійскимъ лѣсопромышленникамъ, наживавшимъ сотни тысячъ и эксплоатировавшимъ, кромѣ того, мѣстный крестьянскій трудъ,

какъ цари-монополисты, за безцѣнокъ... Весь край стоналъ подъ игомъ столь возмутительнаго контрагента, но голоса русскихъ людей никуда не доходили, и этотъ видъ *лѣсного грабежа* называли тогда управленіемъ государственными имуществами, *государственнымъ доходомъ* и лѣснымъ промысломъ! Выѣхалъ изъ Архангельска съ впечатлѣніемъ холода. Не забуду переѣзда черезъ Сѣверную Двину, когда ѣздилъ въ Соломбаны, предмѣстье города; ширина рѣки 4 версты; дулъ сѣверный вѣтеръ; я былъ одѣтъ въ полушубокъ, а сверху шуба, и то продрогъ до такой степени, что съ трудомъ могъ согрѣться въ теченіе цѣлаго часа.

Верстъ 400 южнѣе засталъ уже начало весны и ледоходъ на рѣкахъ; выѣхавъ изъ Архангельска въ саняхъ, въ Лодейномъ полѣ пересѣлъ въ телѣгу и на перекладныхъ благополучно прибылъ въ Петербургъ въ срединѣ апрѣля.

XXII.

(1862 годъ).

Весна.—Свиданіе съ Огрицко.—Кн. Долгоруковъ—шефъ жандармовъ.—Царское Село.—Приглашеніе на вечеръ во дворецъ.—Пожаръ въ Петербургѣ.—Толки.—Валуевъ.—Впечатлѣніе Наслѣдника.—Эпизодъ изъ придворной жизни.—Осень въ Царскомъ Селѣ.—Графъ Павелъ Шуваловъ.

Въ Петербургѣ снова окунулся, послѣ 3-хъ мѣсяцевъ затишья, въ омутъ столичной жизни, со всѣми его тогдашними дрязгами. Весна 1862 года явилась какъ бы преддверіемъ безпокойнаго лѣта... Отъ успокоившихся студенческихъ безпорядковъ остался какой-то подземный гулъ, и нѣтъ, нѣтъ, приходилось слышать какіе-то смутные намеки на подпольныя политическія интриги. Появлялись на Невскомъ какіе-то косматые парни и подозрительные фигуры, ходили толки про какія-то сходки и, вообще, чувствовалось что-то безпокойное въ воздухѣ.

Въ этой атмосферѣ родился «*Голосъ*» Краевскаго, про который говорили, что онъ пользуется протекціею извѣстныхъ либеральныхъ правительственныхъ сферъ.

Въ маѣ встрѣчаюсь подъ аркою главнаго штаба съ Огрицкою. Лицо у него сіяющее.

— Что это вы такой сіяющій,—спрашиваю я его,—должно быть, дѣла вашей партіи идутъ хорошо?

— Я сіяющій потому, что радуюсь,—отвѣтилъ мнѣ

боятся, но даютъ имъ возможность осуществлять свои, явно враждебные правительству, замыслы.

Валуевъ мнѣ на это, какъ это онъ всегда дѣлалъ въ щекотливыхъ вопросахъ, отвѣтилъ фразами.

— Qui sait,—сказалъ онъ,—c'est peut être un système comme un autre: préfrèr que les Ogrisko soient plutôt en évidence, que cachés.

— Да,—отвѣтилъ я,—но вѣдь эти Огрицки, пользуясь своимъ положеніемъ, даютъ смѣлость и силу подпольнымъ агитаторамъ.

— Laissez les faire,—спокойно отвѣчаетъ Валуевъ,—nous assistons à l'ébullition; et l'ébullition c'est la maladie qui sort (Пускай себѣ дѣйствуютъ. Мы присутствуемъ при эпохѣ высыпанія, а сыпь означаетъ выходящую наружу болѣзнь).

Вѣроятно, съ этою цѣлью Валуевъ разрѣшилъ А. А. Краевскому издавать «Голосъ», про который всѣ знали, что это органъ антиправительственный, создающійся подъ эгидою и протекціею восходившаго тогда яркою звѣздою на горизонтѣ Головнина.

Въ это лѣто я поселился въ Царскомъ Селѣ. Не скрою, что къ тому побудило меня пребываніе тамъ Двора.

Однажды вечеромъ, гуляя по Царскосельскому саду, вижу, какъ Государь и Императрица съ сыновьями гуляютъ по аллеѣ вдоль дворца. Я шелъ навстрѣчу по другой аллеѣ. Вдругъ вижу—черезъ траву ко мнѣ идетъ Великій Князь Александръ Александровичъ. Я направился къ нему.

— Государь приглашаетъ васъ сегодня вечеромъ къ

намъ въ Китайскую гостиную чай пить,—сказалъ Великій Князь.

Вечеръ, на который я столь милостиво былъ позванъ,—имѣлъ самый простой характеръ. Въ небольшой китайской гостиной Зубовскаго павильона дворца, гдѣ жили Ихъ Величества, накрытъ былъ круглый чайный столъ. Въ сосѣдствѣ былъ поставленъ карточный столъ. Въ четверть десятаго Ихъ Величества вошли вмѣстѣ съ Великими Князьями. Въ числѣ гостей были живущіе въ Царскомъ придворные приближенные. Изъ чужихъ былъ только азъ грѣшный. Императрица сѣла за чайный столъ и принялась разливать чай. Молодежь сидѣла за другимъ чайнымъ столомъ. Послѣ чая Государь съ графомъ Адлербергомъ, графомъ Перовскимъ и И. Н. Толстымъ сталъ играть въ ералашъ. Императрица съ работою вышиванія вела разговоръ съ окружавшими ее лицами, а молодежь занималась бесѣдою и такъ называемыми petits jeux. Собраніе продолжалось до половины двѣнадцатаго. Такъ какъ серьезныхъ разговоровъ за нашимъ столомъ молодежи не было, то и серьезныхъ впечатлѣній не пришлось испытать.

Такіе вечера стали повторяться. Въ другіе разы, когда ихъ не было, Великіе Князья ѣздили вечеромъ въ Павловскъ. Тамъ въ вокзалѣ игралъ оркестръ Іоганна Штрауса. Они садились въ отдаленіи на скамейку и слушали музыку. Павловская аллея у вокзала была въ то время мѣстомъ блестящаго rendez-vous для царскосельскаго highlife, или, вѣрнѣе, для петербургскаго, такъ какъ большая часть петербургскаго большого свѣта переѣзжала на лѣто въ Царское Село, любимо[illegible]мѣстопребываніе Государя. Пѣшеходы подходили [illegible] съ канцлеромъ княземъ Горчак[illegible]ски и

ходили оживленныя бесѣды, въ родѣ тѣхъ, которыя происходили раннею весною на Елагинской стрѣлкѣ. Съѣздъ этотъ продолжался до 10 часовъ вечера.

Въ понедѣльникъ, въ Духовъ день, прибывшій изъ Петербурга поѣздъ принесъ извѣстіе о страшномъ пожарѣ на Толкучемъ рынкѣ. Это былъ первый день тѣхъ ужасныхъ пожаровъ, которые поразили всѣхъ своею неожиданностью и своими размѣрами. На другой день пожаръ продолжался: онъ вспыхивалъ въ разныхъ мѣстахъ и никакія пожарныя команды не могли его остановить. Какъ онъ подкрался къ каменному громадному дому министерства внутреннихъ дѣлъ, — никто не могъ понять, но горѣлъ архивъ, горѣлъ второй этажъ, и тысячи бумагъ въ этомъ адскомъ вихрѣ летали по воздуху: общая картина ужаса не подлежала никакому описанію. Опасность угрожала государственному банку; на отстояніе его направлены были главныя силы пожарныхъ. На мѣстахъ пожара стоны и вопли прерывались подчасъ озлобленными криками: держи его, хватай его, и толпа хватала какихъ-то людей, тащила ихъ въ распоряженіе полиціи по подозрѣнію въ поджигательствѣ. Ихъ Величества посѣтили мѣсто пожара и обходили его съ грустнымъ, но величественнымъ спокойствіемъ.

На третій день стали ходить во всѣхъ сферахъ городского населенія толки о поджигательствѣ. Слово *нигилистъ* стало слышаться вездѣ и нигилисты невинно стали обвиняться, какъ поджигатели и какъ заговорщики. Жутко приходилось тогда студентамъ, которые должны были прятаться, такъ какъ въ простонародьѣ, благодаря [illegible]порядкамъ студенческимъ минувшей осени, состави[illegible]редставленіе о чемъ-то неблагонадежномъ въ лицѣ [illegible]въ, — и то здѣсь, то тамъ раздавались въ про-

стыхъ толпахъ обвинительные возгласы противъ студентовъ, какъ противъ поджигателей и какъ противъ нигилистовъ.

Было-ли что-либо основательное въ этой народной молвѣ, я не могъ узнать ни тогда, ни послѣ, и не слыхалъ ни объ одномъ фактѣ пойманнаго студента.

Но въ томъ, что этотъ небывалый по своимъ размѣрамъ пожаръ, вспыхивавшій въ разныхъ мѣстахъ, былъ дѣломъ поджога организованной какой-то шайки поджигателей, въ этомъ никто не могъ сомнѣваться.

Но кто были эти поджигатели—мы не знали. Потомъ стали говорить о слѣдствіи, но что открыло оно—также осталось неизвѣстнымъ.

Долженъ сказать, что этотъ пожаръ явился, увы, грустно-важнымъ событіемъ въ исторіи политическихъ безпорядковъ, предстоявшей развернуться въ видѣ цѣлой эпохи. Я говорю это, связывая дальнѣйшіе эпизоды этой печальной эпохи съ тѣмъ ужаснымъ пожаромъ, и связываю потому, что долго послѣ этого пожара приходилось слышать не разъ сужденія о томъ, что причиною и началомъ той разнузданности и смѣлости, которыя проявлять стали подпольныя партіи преступниковъ, признавали ту слабость, которая проявлена была правительствомъ въ минуты ужаса, охватившаго всѣхъ въ лѣто 1862 года. Поступи правительство тогда съ подобавшею событію строгостью, порази оно строгостью наказанія, можетъ быть, дѣйствіе репрессалій было бы на столько сильно, что остановило бы сразу пропаганду подпольной крамолы и многихъ удержало бы страхомъ. Такъ говорили нѣсколько лѣтъ спустя, и мнѣ казалось тогда, что такія разсужденія были вѣрны. Къ э[illegible]ости взывали въ самый разгаръ минуты разыгр[illegible]ъ,

въ средѣ лавочниковъ и купцовъ, пострадавшихъ отъ пожара, но этому настроенію не соотвѣтствовало настроеніе властей, правившихъ въ то время порядкомъ въ Петербургѣ, гдѣ главнымъ начальникомъ былъ генералъ-губернаторъ князь Суворовъ. Онъ кричалъ, кипятился, но не измѣнялъ своему характеру добряка и несерьезнаго человѣка.

Общее впечатлѣніе при ближайшемъ взглядѣ на высокія правящія сферы было такое, что онѣ были слишкомъ похожи на наши сферы и не давали намъ ничего, что мы въ правѣ были отъ нихъ ожидать: мы были растеряны, мы были удручены, и тамъ, на верхахъ, отзывалось растерянностью и какимъ-то состояніемъ недоумѣнія отъ страха. Вотъ это-то именно и производило скверное деморализирующее дѣйствіе во всѣхъ средахъ общества и, такъ сказать, на время.

Я записалъ тогда въ «Дневникъ» мой нѣсколько минутъ свиданія съ Валуевымъ. Хотя тогда главнымъ отвѣтственнымъ лицомъ за явленія въ мірѣ безпорядковъ политическихъ былъ шефъ жандармовъ, но все же нельзя было представлять себѣ министра внутреннихъ дѣлъ совсѣмъ внѣ этой отвѣтственности, хотя бы потому, что онъ былъ главнымъ начальникомъ полиціи оффиціальной и внѣшней. А между тѣмъ, Валуевъ мнѣ показался тогда растеряннымъ и я записалъ это впечатлѣніе. Никакой энергичной мысли о необходимости поступать строго и этою строгостью успокоить умы я въ немъ не нашелъ.

Валуевъ оказался совсѣмъ погруженнымъ въ вопросъ о разлетѣвшихся по вѣтру бумагахъ и дѣлахъ министерства, и насъ всѣхъ запрегъ въ работу сбиранія подбихся остатковъ. Я ему сказалъ очень наивно, что л хорошо, если бы отыскивали виновниковъ пожара

такъ же усердно, какъ отыскиваютъ les papiers épargillés du ministère.—Да,—отвѣтилъ онъ по-французски, выпуская граціозно по воздуху дымъ своей ароматной сигары,—но я очень боюсь, чтобы наши милые князья (князь В. А. Долгоруковъ, шефъ жандармовъ, и князь Суворовъ генералъ-губернаторъ) не употребляли больше времени на возню въ пространствѣ (dans le vide), чѣмъ на выясненіе дѣла. Эта фраза Валуева получила свое историческое оправданіе, ибо, что эти милые князья открыли и открыли ли что-нибудь по поводу пожара, осталось для насъ всѣхъ тайною.

Съ Наслѣдникомъ мнѣ приходилось мало говорить—и то урывками только, потому что въ обстановкѣ Китайской гостиной и Павловскаго вокзала было не до серьезныхъ разговоровъ. Слышалъ, однако, отъ него однажды при встрѣчѣ въ Павловскомъ вокзалѣ и записалъ въ «Дневникъ» скептическія размышленія.—У насъ очень любятъ популярность,—говорилъ Великій Князь по поводу того, что ничего не раскрывалось по дѣлу о поджогахъ,—но очень не любятъ дѣло дѣлать.

Мысль эту Наслѣдникъ высказалъ по поводу князя Суворова, который, въ числѣ особенностей, имѣлъ ту, что до комизма проявлялъ свой культъ популярности. Онъ иначе не говорилъ, какъ: mon ami Чернышевскій, mon ami Михайловъ, и не было того негодяя, съ которымъ князь Суворовъ не становился любезнымъ и не разсыпался передъ нимъ, если только этотъ негодяй ему скажетъ: вы самый популярный человѣкъ въ Петербургѣ. Мало того, князь Суворовъ пріобрѣлъ своего рода знаменитость въ Петербургѣ своими рекомендаціями. Дѣйствительно, каждый съ улицы приходившій къ нему замухрышка или самый подозрительный на видъ ниги-

листъ—получали отъ него собственноручную записку на имя тѣхъ министровъ, которымъ князь рекомендовывалъ этихъ лицъ, какъ заслуживающихъ *особаго* вниманія. Со временемъ эти рекомендаціи стали производить обратное дѣйствіе и полученіе Суворовскихъ рекомендацій аттестовывало рекомендуемыхъ лицъ, какъ ненадежныхъ.

Въ Царскомъ Селѣ жизнь вѣяла полною тишиною...

Нигдѣ не была замѣтна грань предосторожности, отдалявшая жизнь Царственныхъ Хозяевъ Царскаго Села отъ простыхъ смертныхъ... Утромъ, въ 8 часовъ, Государь съ Императрицею выходили гулять вмѣстѣ со своими дѣтьми и обходили озеро, предшествуемые чернымъ сетеромъ Милордомъ. Къ этому же времени выходили на ту же прогулку всѣ тѣ, которымъ хотѣлось лишній разъ встрѣтить Ихъ Величества, а къ колоннадѣ, у которой выходили они для прогулки, сбирались люди съ прошеніями. Государь, выходя съ Императрицею, принималъ прошенія и передавалъ ихъ дежурному флигель-адъютанту. Но, кромѣ того, ему случалось и на прогулкѣ встрѣчаться съ просителями, и всегда ласково и привѣтливо онъ выслушивалъ подходившаго къ нему. Такая милая картина у меня до сихъ поръ свѣтится передъ глазами. Государь подъ руку съ Императрицею останавливались привѣтливо, выслушивали просителя, кругомъ Ихъ стояли всѣ дѣти, а впереди, тоже остановившись, ждалъ Милордъ терпѣливо, когда ему можно будетъ пуститься въ путь. При встрѣчѣ съ знакомыми Государь непремѣнно скажетъ нѣсколько ласковыхъ словъ. Послѣ завтрака, около 2 часовъ, Ихъ Величества выѣзжали въ колескѣ и гуляли или въ Павловскомъ, или въ Царскосельскомъ паркѣ; затѣмъ до обѣда Государь со своимъ рейткнехтомъ позади ѣздилъ верхомъ. Издалека можно было узнать приближеніе Го-

такъ же усердно, какъ отыскиваютъ les papiers éparpillés du ministère.—Да,—отвѣтилъ онъ по-французски, выпуская граціозно по воздуху дымъ своей ароматной сигары,—но я очень боюсь, чтобы наши милые князья (князь В. А. Долгоруковъ, шефъ жандармовъ, и князь Суворовъ генералъ-губернаторъ) не употребляли больше времени на возню въ пространствѣ (dans le vide), чѣмъ на выясненіе дѣла. Эта фраза Валуева получила свое историческое оправданіе, ибо, что эти милые князья открыли и открыли ли что-нибудь по поводу пожара, осталось для насъ всѣхъ тайною.

Съ Наслѣдникомъ мнѣ приходилось мало говорить—и то урывками только, потому что въ обстановкѣ Китайской гостиной и Павловскаго вокзала было не до серьезныхъ разговоровъ. Слышалъ, однако, отъ него однажды при встрѣчѣ въ Павловскомъ вокзалѣ и записалъ въ «Дневникъ» скептическія размышленія.—У насъ очень любятъ популярность,—говорилъ Великій Князь по поводу того, что ничего не раскрывалось по дѣлу о поджогахъ,—но очень не любятъ дѣло дѣлать.

Мысль эту Наслѣдникъ высказалъ по поводу князя Суворова, который, въ числѣ особенностей, имѣлъ ту, что до комизма проявлялъ свой культъ популярности. Онъ иначе не говорилъ, какъ: mon ami Чернышевскій, mon ami Михайловъ, и не было того негодяя, съ которымъ князь Суворовъ не становился любезнымъ и не разсыпался передъ нимъ, если только этотъ негодяй ему скажетъ: вы самый популярный человѣкъ въ Петербургѣ. Мало того, князь Суворовъ пріобрѣлъ своего рода знаменитость въ Петербургѣ своими рекомендаціями. Дѣйствительно, каждый съ улицы приходившій къ нему замухрышка или самый подозрительный на видъ ниги-

листъ—получали отъ него собственноручную записку на имя тѣхъ министровъ, которымъ князь рекомендовывалъ этихъ лицъ, какъ заслуживающихъ *особаго* вниманія. Со временемъ эти рекомендаціи стали производить обратное дѣйствіе и полученіе Суворовскихъ рекомендацій аттестовывало рекомендуемыхъ лицъ, какъ ненадежныхъ.

Въ Царскомъ Селѣ жизнь вѣяла полною тишиною...

Нигдѣ не была замѣтна грань предосторожности, отдалявшая жизнь Царственныхъ Хозяевъ Царскаго Села отъ простыхъ смертныхъ... Утромъ, въ 8 часовъ, Государь съ Императрицею выходили гулять вмѣстѣ со своими дѣтьми и обходили озеро, предшествуемые чернымъ сетеромъ Милордомъ. Къ этому же времени выходили на ту же прогулку всѣ тѣ, которымъ хотѣлось лишній разъ встрѣтить Ихъ Величества, а къ колоннадѣ, у которой выходили они для прогулки, сбирались люди съ прошеніями. Государь, выходя съ Императрицею, принималъ прошенія и передавалъ ихъ дежурному флигель-адъютанту. Но, кромѣ того, ему случалось и на прогулкѣ встрѣчаться съ просителями, и всегда ласково и привѣтливо онъ выслушивалъ подходившаго къ нему. Такая милая картина у меня до сихъ поръ свѣтится передъ глазами. Государь подъ руку съ Императрицею останавливались привѣтливо, выслушивали просителя, кругомъ Ихъ стояли всѣ дѣти, а впереди, тоже остановившись, ждалъ Милордъ терпѣливо, когда ему можно будетъ пуститься въ путь. При встрѣчѣ съ знакомыми Государь непремѣнно скажетъ нѣсколько ласковыхъ словъ. Послѣ завтрака, около 2 часовъ, Ихъ Величества выѣзжали въ колескѣ и гуляли или въ Павловскомъ, или въ Царскосельскомъ паркѣ; затѣмъ до обѣда Государь со своимъ рейткнехтомъ позади ѣздилъ верхомъ. Издалека можно было узнать приближеніе Го-

сударя по шагу галопа его лошади. Государь ѣздилъ только галопомъ, и этотъ галопъ, средній между тихимъ и скорымъ, былъ по темпу всѣмъ извѣстенъ. Вечеромъ Ихъ Величества снова гуляли или въ экипажѣ или пѣшкомъ. Въ лѣтнемъ пребываніи Ихъ Величествъ въ Царскомъ былъ лагерный красносельскій перерывъ, послѣ котораго они снова вернулись въ Царское.

Къ этому времени относится очень интересный эпизодъ изъ придворной жизни, въ которомъ милая Татьяна Борисовна Потемкина играла главную и прекрасную роль. Не задолго до 26-го августа, дня Коронованія Ихъ Величествъ, Татьяна Борисовна напомнила, въ разговорѣ съ Императрицею, о томъ, какъ ей больно и досадно, что Ихъ Величества, по какому-то странному обычаю, не присутствуютъ на чудномъ молебствіи, которое служатъ объ Нихъ въ дни восшествія на Престолъ и Коронованія, такъ какъ и эти молебствія служатся, какъ другія, до обѣдни—по придворному этикету.

— Кому же слушать этотъ молебенъ, какъ не вамъ?— сказала Татьяна Борисовна,—и теперь, когда Богъ посѣщаетъ васъ печалями, тѣмъ болѣе? Оказалось, что Императрица не знала, что въ эти два дня въ году служатъ тотъ молебенъ, который она слушала въ день Коронованія. Императрица сказала это Государю, и 26-го августа они дали приказаніе молебенъ служить послѣ обѣдни, но сказали это прямо протопресвитеру Бажанову, не предупредивъ никого.

Не забуду этого эпизода, столько заключавшаго въ себѣ сердечнаго. Ихъ Величества съ Дѣтьми слушали обѣдню вверху, а внизу, во второй половинѣ церкви, стояли придворные, публика... Первая часть, ближе къ алтарю, была пуста. По заведенному обычаю, когда на-

чалось пѣніе «Отче нашъ», графъ Шуваловъ, началъ суетиться и по знаку, отъ него исходившему, всѣ главныя придворныя особы и имѣющіе представляться Государю выходили изъ церкви и поднимались наверхъ въ гостиную, гдѣ ожидался выходъ Ихъ Величествъ изъ церкви. Такъ было и 26-го августа.

Но каково было всеобщее изумленіе, а въ особенности графа Шувалова, совсѣмъ растерявшагося отъ такого отступленія отъ этикета и обычая, когда послѣ литургіи все духовенство выходитъ на амвонъ... Но этого мало... Удивленіе ихъ болѣе усилилось, когда Ихъ Величества сошли внизъ и вмѣстѣ съ дѣтьми стали въ первой половинѣ церкви.

Начали раздаваться прекрасныя слова этого молебна... И когда протодіаконъ возгласилъ слова «Да услышитъ Его Господь Богъ въ день печали», Государь и Императрица, въ глубокомъ молитвенномъ порывѣ, преклонили колѣна и слезы потекли по лицу Императрицы... Минута была трогательная и прекрасная. У многихъ брызнули слезы. Но рядомъ съ этимъ на нѣкоторыхъ лицахъ придворнаго закала можно было прочитать комическое смущеніе. По обычаю, эти лица становились на колѣни тогда, когда Государь становился на колѣни при возгласѣ *со страхомъ Божіемъ*; тутъ явилось колѣнопреклоненіе неожиданное, не по уставу, такъ сказать, и они не знали, на что рѣшиться... Одинъ изъ нихъ, приподнимаясь, изрекъ чистосердечно: c'est un extra...

Во всякомъ случаѣ, этотъ эпизодъ получилъ свое значеніе потому, что съ тѣхъ поръ всегда молебствія въ день восшествія на Престолъ и въ день Коронованія служились не до обѣдни, а послѣ обѣдни, въ присутствіи Ихъ Величествъ.

Въ этомъ году Дворъ совершилъ выѣздъ въ Новгородъ на празднованіе тысячелѣтія Россіи.

Осенью Ихъ Величества на недѣлю переѣхали въ Гатчино, воскресить, какъ тогда говорилось, обычай, соблюдавшійся при Николаѣ I-мъ, который вставлялъ гатчинскій сезонъ въ осень до зимняго петербургскаго. Пріѣхалъ ко мнѣ на дачу скороходъ съ извѣщеніемъ, что я приглашенъ въ Гатчино, во время Высочайшаго пребыванія. Эта гатчинская недѣля носила свой особенный характеръ. Онъ заключался въ томъ, что велась тамъ la vie de chateau, то-есть жизнь сообща, начинавшаяся съ завтрака. Мѣстомъ собраній былъ такъ называемый арсеналъ, огромная зала въ два свѣта, гдѣ и завтракали, и обѣдали, и ужинали и гдѣ была, кромѣ того, театральная сцена. Въ промежуткахъ между собраніями всякій дѣлалъ, что хотѣлъ, а вечеромъ вся молодая часть общества занималась играми и импровизированными дивертисментами. Графъ Фредро, талантливый и веселый поэтъ и авторъ миленькихъ пьесъ, устраивалъ изъ насъ цѣлый персоналъ для оперетокъ его сочиненія.

Ставились и живыя картины. Помню мой конфузъ и мой протестъ, когда въ одной картинѣ, имѣвшей изобразить юстицію, меня посадили на возвышенное сидѣніе въ роли Немезиды, а Наслѣдникъ принялъ на себя роль колѣнопреклоненнаго подсудимаго, надъ которымъ съ сѣкирою стоялъ палачъ въ лицѣ Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго. Мой протестъ, съ цѣлью измѣнить постановку распредѣленія ролей, не былъ уваженъ и картина была представлена. На обѣды и вечера приглашались пріѣзжіе гости изъ Петербурга, такъ что вечеромъ собраніе было многолюдное. Отличительною ихъ чертою было необыкновенное радушіе и простота Хозяевъ Гатчинскаго

Дворца и общее веселіе, царившее во всѣхъ гостяхъ. Одною изъ звѣздъ этихъ собраній была совсѣмъ необыкновенная красавица, молодая княжна Мещерская, дочь князя Элима Мещерскаго, извѣстнаго французскаго поэта. Она принята была Императрицею во фрейлины и потомъ, какъ извѣстно, была первою женою знаменитаго Павла Демидова.

Въ министерствѣ у Валуева въ это время начала кипѣть работа реформъ. Разрабатывался проектъ полицейской реформы въ Россіи и началась работа по разработкѣ положенія о земскихъ учрежденіяхъ. Явились у него новые дѣятели по министерству: для хозяйственнаго департамента Шумахеръ, для департамента общихъ дѣлъ Н. П. Мансуровъ, бывшій прежде самарскимъ губернаторомъ. На этотъ постъ до Мансурова Валуеву пришла мысль назначить графа Павла Андреевича Шувалова (нынѣ варш. генералъ-губернатора). Назначеніе на должность директора департамента военнаго человѣка, никогда инымъ дѣломъ, какъ строевымъ, не занимавшагося, удивило всѣхъ, и самого графа Шувалова больше другихъ. По этому поводу мною записано было въ «Дневникъ» слѣдующее: «видѣлъ новаго директора департамента общихъ дѣлъ графа Шувалова въ его кабинетѣ. Онъ говоритъ про себя съ добродушною улыбкою, что его призваніе быть *ногою Валуева*. Оказывается, что Валуевъ просилъ графа взять на себя эту должность, pour avoir un pied dans le monde». Графу Шувалову, однако, это призваніе быть ногою Валуева въ свѣтѣ наскучило и онъ вскорѣ вернулся къ военной службѣ. Назначеніе Мансурова вскорѣ всѣми въ министерствѣ было привѣтствовано. Это былъ одинъ изъ идеальнѣйшихъ директоровъ департамента, которыхъ когда-либо приходилось встрѣчать: способный,

быстро схватывающій, добрый и привѣтливый, терпѣливый, порядочный до тончайшихъ оттѣнковъ, самостоятельный и всегда ровный въ обращеніи и въ настроеніи.

XXIII.

(1862 годъ).

Проектъ полицейской реформы въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.—Роковое совпаденіе питейной реформы съ крестьянскою.—Русскій богъ.—Мысли Огрицко.—Его роль.—Начало польскаго мятежа.—Роль Вел. Кн. Константина Николаевича.—Его ошибка.

Я говорилъ выше о проектѣ полицейской реформы для провинціи.

Фактъ, что объ этой реформѣ подумали 2 года спустя послѣ освобожденія крестьянъ,—не служилъ ли убѣдительнымъ доказательствомъ того, что порядокъ въ Россіи охранялся только русскимъ богомъ, то есть какою-то невидимою силою, въ которой, всего менѣе, участвовали: людской разумъ и людская воля...

Разскажите любому иностранцу, что величайшая соціальная революція въ Имперіи съ 70-милліоннымъ населеніемъ, имѣвшая цѣлью дать свободу десяткамъ милліоновъ необразованнаго народа, съ надѣленіемъ ихъ землею и съ прекращеніемъ крѣпостныхъ отношеній къ сословію земельнаго дворянства, была подготовлена и примѣнена и пошла безъ прибавки хотя бы одного человѣка полицейскаго на всю необъятную ширь Русской земли и при условіяхъ самой первобытной полиціи,—ни одинъ иностранецъ не повѣрилъ бы этому сказу и задалъ бы вопросъ: да какъ же вы могли избѣгнуть, чтобы рево-

люція, государственная и правительствомъ сдѣланная, не обратилась въ кровавую и народную анархію?

А между тѣмъ, этотъ замѣчательный историческій фактъ совершился въ Россіи... Легендарный капитанъ-исправникъ съ своими становыми былъ единственнымъ представителемъ полиціи въ уѣздѣ, гдѣ тысяча крестьянъ проходила черезъ коренную соціальную реформу, и гдѣ никакого не было основанія не предвидѣть какого угодно проявленія своеволія и безпорядка со стороны крестьянскихъ массъ, со дня на день послѣ вѣкового подчиненія помѣщичьей власти—объявленныхъ отъ этой власти освобожденными.

И тѣмъ не менѣе, этотъ невѣроятный фактъ совершился. Когда же въ департаментѣ полиціи исполнительной началось обсужденіе полицейской реформы, явился курьезный, хотя и естественный вопросъ: какъ совершить полицейскую реформу? En grand, то есть въ размѣрахъ ли государственныхъ потребностей, имѣя въ виду перспективу дальнѣйшаго развитія внутренней жизни въ государствѣ, или *en petit*, измѣнивъ только принципъ избранія и замѣнивъ его принципомъ назначеній отъ правительства, и придерживаясь масштаба существующей полиціи?

Курьезъ заключался въ вопросѣ: казалось непонятнымъ, какъ можно было сомнѣваться въ томъ, что реформа полицейская требовалась *en grand*, сообразная новымъ жизненнымъ потребностямъ, и въ предвидѣніи усложненій этой новой жизни...

Но еще крупнѣе курьезъ былъ въ томъ, что главные составители проекта полицейской реформы, съ Валуевымъ во главѣ, рѣшили дѣлать реформу *en petit*, и оставаться при масштабѣ прежней—до комизма неудовлетворительной

по количеству—полиціи, и самую эту реформу признать *временною*, имѣя въ виду ее примѣнить въ видѣ опыта... И вотъ, все свелось къ переименованію земскихъ исправниковъ въ уѣздные исправники, къ упраздненію поста городничаго, къ замѣнѣ его должностью помощника исправника, къ учрежденію полицейскаго управленія, вмѣсто прежняго земскаго суда, и къ сохраненію становыхъ приставовъ. Итакъ, по уѣзду полицейская сила изображалась однимъ исправникомъ и двумя, тремя становыми и, затѣмъ, при извѣстномъ количествѣ сотскихъ, оставленныхъ въ распоряженіи становыхъ приставовъ...

Словомъ, вся полицейская реформа того времени была направлена къ тому, чтобы полиція въ уѣздѣ явилась приличною *иллюзіею*, и такою именно она явилась.

Это былъ, какъ я сказалъ, курьезъ.

Но что сказать о томъ, что эта реформа, признанная въ 1862 году временною и опытомъ, сохранилась *доселѣ*, и что съ населеніемъ, увеличившимся милліоновъ на 50, и съ условіями жизни весьма усложнившимися, мы пребываемъ доселѣ съ однимъ исправникомъ и съ 2—3 становыми на уѣздъ и, какъ будто, находимъ этотъ порядокъ вещей нормальнымъ. Русскій богъ вводится въ искушеніе нашею изумительною безпечностью, но, тѣмъ не менѣе, Россія живетъ.

Но въ то время имѣло мѣсто явленіе, еще болѣе поразительное, какъ искушеніе русскаго бога. Это вводившаяся питейная реформа, имѣвшая двѣ цѣли: 1) удешевить водку и 2) улучшить ея качества.

Я помню, какъ въ то время люди, серьезно относившіеся къ вопросамъ государственной жизни, говорили съ негодованіемъ о томъ, насколько несвоевременна питейная

люція, государственная и правительствомъ сдѣланная, не обратилась въ кровавую и народную анархію?

А между тѣмъ, этотъ замѣчательный историческій фактъ совершился въ Россіи... Легендарный капитанъ-исправникъ съ своими становыми былъ единственнымъ представителемъ полиціи въ уѣздѣ, гдѣ тысяча крестьянъ проходила черезъ коренную соціальную реформу, и гдѣ никакого не было основанія не предвидѣть какого угодно проявленія своеволія и безпорядка со стороны крестьянскихъ массъ, со дня на день послѣ вѣкового подчиненія помѣщичьей власти—объявленныхъ отъ этой власти освобожденными.

И тѣмъ не менѣе, этотъ невѣроятный фактъ совершился. Когда же въ департаментѣ полиціи исполнительной началось обсужденіе полицейской реформы, явился курьезный, хотя и естественный вопросъ: какъ совершить полицейскую реформу? En grand, то есть въ размѣрахъ ли государственныхъ потребностей, имѣя въ виду перспективу дальнѣйшаго развитія внутренней жизни въ государствѣ, или *en petit*, измѣнивъ только принципъ избранія и замѣнивъ его принципомъ назначеній отъ правительства, и придерживаясь масштаба существующей полиціи?

Курьезъ заключался въ вопросѣ: казалось непонятнымъ, какъ можно было сомнѣваться въ томъ, что реформа полицейская требовалась *en grand*, сообразная новымъ жизненнымъ потребностямъ, и въ предвидѣніи усложненій этой новой жизни...

Но еще крупнѣе курьезъ былъ въ томъ, что главные составители проекта полицейской реформы, съ Валуевымъ во главѣ, рѣшили дѣлать реформу *en petit*, и оставаться при масштабѣ прежней—до комизма неудовлетворительной

по количеству—полиціи, и самую эту реформу признать *временною*, имѣя въ виду ее примѣнить къ видѣ опыта... И вотъ, все свелось къ переименованію земскихъ исправниковъ въ уѣздные исправники, къ упраздненію поста городничаго, къ замѣнѣ его должностью помощника исправника, къ учрежденію полицейскаго управленія, вмѣсто прежняго земскаго суда, и къ сохраненію становыхъ приставовъ. Итакъ, по уѣзду полицейская сила изображалась однимъ исправникомъ и двумя, тремя становыми и, затѣмъ, при извѣстномъ количествѣ сотскихъ, оставленныхъ въ распоряженіи становыхъ приставовъ...

Словомъ, вся полицейская реформа того времени была направлена къ тому, чтобы полиція въ уѣздѣ явилась приличною *иллюзіею*, и такою именно она явилась.

Это былъ, какъ я сказалъ, курьезъ.

Но что сказать о томъ, что эта реформа, признанная въ 1862 году временною и опытомъ, сохранилась *доселѣ*, и что съ населеніемъ, увеличившимся милліоновъ на 50, и съ условіями жизни весьма усложнившимися, мы пребываемъ доселѣ съ однимъ исправникомъ и съ 2—3 становыми на уѣздъ и, какъ будто, находимъ этотъ порядокъ вещей нормальнымъ. Русскій богъ вводится въ искушеніе нашею изумительною безпечностью, но, тѣмъ не менѣе, Россія живетъ.

Но въ то время имѣло мѣсто явленіе, еще болѣе поразительное, какъ искушеніе русскаго бога. Это вводившаяся питейная реформа, имѣвшая двѣ цѣли: 1) удешевить водку и 2) улучшить ея качества.

Я помню, какъ въ то время люди, серьезно относившіеся къ вопросамъ государственной жизни, говорили съ негодованіемъ о томъ, насколько несвоевременна питейная

реформа, вводимая какъ разъ въ то время, когда крестьянскія массы проходятъ черезъ столь соблазнительную реформу, какъ освобожденіе ихъ отъ крѣпостного состоянія. Отъ присоединенія къ присущему этой реформѣ соблазну воли, соблазна *дешевки* не надо ли было предвидѣть серьезныхъ послѣдствій, въ смыслѣ вреда для нравственнаго быта крестьянъ? Но голосамъ этихъ серьезныхъ людей пришлось раздаться въ пустынѣ. Ихъ не слушали и питейная реформа сошла, какъ по маслу.

Для меня лично именно этотъ фактъ совпаденія крестьянской реформы съ питейною, имѣлъ значеніе весьма чувствительнаго тезиса для размышленій и для зловѣщихъ, такъ сказать, впечатлѣній, ибо пока другіе этотъ вопросъ обсуждали скорѣе принципіально и имѣли дѣло съ представителями оффиціальнаго міра министерства финансовъ, на видъ благонадежными, я имѣлъ дѣло съ одною изъ тайныхъ пружинъ этого міра, съ знаменитымъ зловѣщимъ Огрицкою. Я уже говорилъ здѣсь объ его мысляхъ спаивать донскихъ казаковъ, а затѣмъ, что касается самаго проекта питейной реформы, то Огрицко, какъ вице-директоръ департамента акцизныхъ сборовъ, дѣлалъ все, что могъ своимъ умомъ, своею энергіею и своими подпольными связями, чтобы это дѣло вести tambour battant, ибо имъ руководила мысль именно сдѣлать то, чего опасались серьезные и порядочные люди, подставить крестьянину въ первыхъ порахъ его освобожденія *дешевый кабакъ*.

Именно эту перспективу—соблазнить мужика дешевою водкою и, затѣмъ, его споить,—споить въ смыслѣ раззоренія матеріальнаго, споить въ смыслѣ нравственнаго растлѣнія, Огрицко лелѣялъ, какъ мечту дорогую и сладкую для его ненавидѣвшей Россію души. Если я это зналъ отъ

самаго Огрицко, то, значитъ, онъ не скрывалъ своихъ затаенныхъ мыслей, и кромѣ меня знали и другіе, поэтому понятно, что мнѣ представлялось замѣчательнымъ, какъ при этихъ условіяхъ могъ быть Огрицко вице-директоромъ департамента въ министерствѣ финансовъ и какъ *никого* не безпокоилъ ни этотъ курьезъ, ни осуществленіе замысла соединить освобожденіе крестьянъ съ питейною реформою, признанною нужнѣе и безотлагательнѣе полицейской? Точно какая то таинственная сила спѣшила, не теряя ни одной минуты, создать для народа роковое искушеніе, а для правительства угрожающее положеніе...

И дѣйствительно—если представить себѣ, что могло бы случиться въ то время на Руси, если то, что предвидѣлъ и желалъ Огрицко (и его таинственные союзники и покровители), какъ послѣдствіе совпаденія питейной реформы съ освобожденіемъ крестьянъ бы, осуществилось, и народныя толпы, пользуясь фактическимъ отсутствіемъ полиціи въ Россіи, набросились на кабаки со стихійною безшабашностью?

Богъ хранилъ Россію совершенно чудотворно, ибо совершенно такъ-же, какъ случилось съ крестьянскою реформою, обманувшей всѣ разсчеты тѣхъ, которые ожидали отъ нея разгула мужицкой свободы и увидѣли тихое и спокойное время, по поводу котораго даже мало говорилось въ столичныхъ образованныхъ кружкахъ,—тоже, говорю я, повторилось съ питейною реформою: она примѣнялась тихо и спокойно, и стихійнаго разгула народныхъ страстей около кабака, изъ-за кабака, и въ кабакѣ, на который такъ разчитывали тайные враги порядка и правительства, никакого не случилось...

— Этимъ Русскій народъ обманываетъ всѣ наши

разсчеты,—сказалъ мнѣ однажды Огрицко, съ выраженіемъ искренняго разочарованія...

Въ это время, то есть въ концѣ 1862 года, Огрицко имѣлъ еще другое дѣло, и Огрицко, нисколько не скрываясь говорилъ мнѣ, что онъ работаетъ одновременно для торжества революціи въ Россіи и для польскаго повстанія въ ближайшемъ будущемъ. Повторяю, если я это зналъ отъ него, то всякій это зналъ, и никто не мѣшалъ ему для этихъ «благихъ» дѣлъ работать... А въ тоже время въ Петербургъ приходитъ извѣстіе, какъ Назимова въ Вильнѣ начинаютъ травить иниціаторы польскаго жонда, и какъ онъ былъ непростительно слабъ, давая плевать на русскихъ солдатъ на улицахъ.

Исторія польскаго мятежа, начавшагося въ концѣ 1862 года въ видѣ отдѣльныхъ попытокъ къ проявленію безпорядковъ, была любопытнымъ этюдомъ тогдашней политической эпохи.

Принято говорить, что его подготовили и совершили, этотъ мятежъ, поляки. Но историческая правда требуетъ исправленія этой мысли: мятежъ 1863 года подготовили мы, а воспользовались имъ для своихъ глупыхъ бредней— поляки.

Начало этого печальнаго событія надо искать въ общемъ тогда политическомъ настроеніи нашего интеллигентнаго общества, коего отличительною чертою была распущенность; мы жили тогда въ какой-то мягкой атмосферѣ уступчивости и слабости относительно всего, что было принципомъ порядка и дисциплины. Эта-то мягкость, эта-то терпимость всего, что проявляло духъ послабленія дисциплины, составляли одни[illegible] главныхъ признаковъ политическаго
тораго я часто ссылаюсь

факта его прямой измѣны, для меня, по крайней мѣрѣ, былъ самымъ рельефнымъ выразителемъ тогдашняго либеральнаго настроенія умовъ—съ одной стороны, а съ другой стороны — самымъ полнымъ воплощеніемъ того практическаго употребленія, которое тогда могли дѣлать политическіе дѣльцы изъ этой мягкой и слабой, относительно принциповъ, атмосферы для своихъ цѣлей. Огрицко съ своими союзниками одновременно эксплоатировалъ тогдашнюю атмосферу распущенности для двухъ цѣлей: для революціоннаго дѣла въ Россіи вообще, и для польскаго дѣла—въ особенности.

И вотъ почему я такъ утвердительно говорю, что польскій мятежъ 1863 года явился послѣдствіемъ не польской работы, но общей политической атмосферы того времени у насъ, въ нашихъ интеллигентныхъ и общественныхъ сферахъ. За эту разслабленность въ дѣлѣ принциповъ порядка стояли одинаково и Герценъ и Краевскій въ своемъ «Голосѣ», и довели они ее до требованій пассивности и терпимости въ вопросахъ даже національныхъ. Это дѣлалось во имя культа къ либеральному Западу. Служеніе этому культу предъявляло, между прочимъ, къ правительственнымъ агентамъ власти требованіе извѣстной политики laissez faire и laissez passer рѣшительно во всемъ, гдѣ сталкивался какой-нибудь представитель элемента либерализма и даже самоволія съ элементомъ правительственной власти.

Культъ либерализма одновременно ободрялъ и, такъ сказать, бралъ подъ свою протекцію—идею національнаго сепаратизма на столько, на сколько они его прикрывали измомъ, и обязывали и понуждали каждаго пред- правительственной власти быть снисходитель-

ше по всякимъ проявленіямъ либерализма, даже въ области національнаго сепаратизма и не заявлять о необходимости строгихъ мѣръ противодѣйствія и дисциплины даже тамъ, гдѣ либерализмъ переступалъ границы и входилъ въ область и правительственныхъ, и національныхъ интересовъ. Идея Огрицки повторялась въ разныхъ видахъ и степеняхъ вездѣ: Россія слишкомъ варварское, и по своему *самодержавію* и по своему *православію*, государство, чтобы имѣть право требовать во имя единодержавія подчиненія ея національностей болѣе цивилизованныхъ и болѣе либеральныхъ. Вотъ что говорилъ тогда Огрицко, и, повторяю, съ разными видоизмѣненіями ту же мысль повторяли и пускали въ обращеніе въ тогдашнее русское общество Герценъ и Краевскій.

Но отголоски или отклики этого либеральнаго космополитизма были не только слышны, но и вліятельны въ тогдашнихъ высшихъ политическихъ сферахъ. Валуевъ былъ очень убѣжденный ихъ представитель въ то время въ своей сферѣ. Не скажу, чтобы Валуевъ былъ въ области вопросовъ внутренней политики изъ передовыхъ либеральныхъ государственныхъ людей; онъ видѣлъ очень ясно эксессы этой партіи въ государственныхъ сферахъ и не только не сочувствовалъ имъ, но вездѣ, гдѣ не требовалось une lutte corps á corps, онъ противопоставлялъ умѣренность неумѣренности; но въ вопросѣ національностей онъ былъ несомнѣнно космополитъ и взялъ на душу грѣхъ не малый, когда и Назимова въ Вильнѣ, и князя Илларіона Васильчикова въ Кіевѣ не вдохновлялъ къ энергичному образу дѣйствій противъ дерзостей поляковъ-безумцевъ, —на землѣ, гдѣ не только не могло быть спора польской національности съ русскою, но гдѣ о первой не могло быть рѣчи,—и даже одобрялъ своимъ авторитетомъ

министра внутреннихъ дѣлъ ихъ генералъ-губернаторскія бездѣйствіе и пассивность.

И вотъ почему для насъ въ то время было ясно, что польскій мятежъ зажгли, своею политикою *непротивленія* и *непротиводѣйствія*, въ центрѣ управленія — Валуевъ, а въ Вильнѣ, Кіевѣ и въ Варшавѣ—представители русской власти. Будь въ 1862 году въ центрѣ твердый и строгій отпоръ польскимъ бреднямъ, и повторись этотъ отпоръ неумолимо строго въ Кіевѣ, въ Вильнѣ и въ Варшавѣ,—никакого мятежа не было бы и въ поминѣ. Валуевъ допустилъ политику заигрыванія съ поляками, и она-то и привела къ мятежу 1863 года, замѣчательному столько же своею глупостью, сколько своею дерзостью; а дерзость эта явилась послѣдствіемъ политики заигрыванія съ поляками, принявшей характеръ непростительной слабости.

Объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствовали размѣры, которые принялъ мятежъ и которые превзошли своею дерзостью размѣры 1831 года, ибо въ Кіевѣ и подъ Кіевомъ въ 1863 году образовалась банда польскихъ инсургентовъ, чего не смѣли думать поляки въ разгаръ революціи 30-хъ годовъ.

Эту слабость въ отстаиваніи прерогативъ и принциповъ власти и дисциплины можно было назвать тогда болѣзнью времени. Назимовъ, виленскій генералъ-губернаторъ, былъ прекраснѣйшій и честнѣйшій старикъ, до мозга костей Николаевскаго времени, а между тѣмъ, я помню, какъ приходившіе изъ Вильны въ то время отголоски повѣствовали о томъ, какъ Назимовъ терялся и считалъ своимъ *долгомъ* стушевывать себя, какъ русскаго генералъ-губернатора, передъ всякими уличными проявленіями польской дерзости. Онъ былъ болѣе озабоченъ тѣмъ

какъ бы не оказаться слишкомъ строгимъ и какъ бы не прослыть недостаточно снисходительнымъ, чѣмъ думалъ о своемъ серьезномъ призваніи передъ Россіей, и о силѣ, съ которою онъ могъ бы истребить сѣмя мятежа въ зародышѣ. То же самое думалъ князь Илларіонъ Васильчиковъ въ Кіевѣ. Какъ князь Васильчиковъ—онъ былъ рыцарь чести и честности. Какъ человѣкъ—онъ былъ и добръ и честенъ, но какъ генералъ-губернаторъ того времени—онъ былъ болѣнъ тою же болѣзнью, какъ многіе тогда,—болѣзнью воли, болѣзнью энергіи, болѣзнью русскаго чувства долга и достоинства. Онъ боялся энергіи и строгости и вѣрилъ въ какую-то теорію примиренія и взаимнаго соглашенія, которая на практикѣ выражалась въ согласованіи дерзости поляковъ съ добродушною слабостью русскихъ представителей и агентовъ власти. Въ Варшавѣ же эта же политика laissez faire доходила до мечтаній какого-то польскаго представительства. А въ Зимнемъ дворцѣ князь Суворовъ, съ свойственными ему распашкою въ рѣчи и безцензурностью выраженій кричалъ во всеуслышаніе о необходимости этимъ *бѣднымъ полякамъ* дать вздохнуть свободнѣе и облегчить имъ ненавистное иго русскаго чиновника.

Такимъ образомъ, Герценъ въ заграничной печати Краевскій въ «Голосѣ», князь Суворовъ во дворцѣ, Валуевъ, какъ министръ внутреннихъ дѣлъ, генералъ-губернаторы на мѣстахъ броженія умовъ и Огрицки въ подпольныхъ сферахъ—каждый по своему, но все же всѣ вмѣстѣ, въ 1862—1863 гг. дѣлали изъ польскаго вопроса, какъ политическаго, порохъ, а что полякъ взялъ да зажегъ его первой попавшеюся спичкою, — что же было удивительнаго?

Вотъ, при какихъ условіяхъ и при какой духовной

атмосферѣ политической родился на Страстномъ бульварѣ, въ редакторѣ «Русскаго Вѣстника» и «Московскихъ Вѣдомостей», протестъ противъ этой политики и пробудился геній Каткова.

Назначеніе Великаго Князя Константина Николаевича намѣстникомъ въ Варшаву было въ то время комментировано во всѣхъ политическихъ сферахъ, какъ признакъ желанія правительства идти на встрѣчу ожиданіямъ поляковъ чего-либо новаго. Какъ я говорилъ выше, поляки имѣли своихъ ходатаевъ при дворѣ въ лицѣ Валуева, князя Суворова и самого генералъ-адмирала, который относился къ польскому вопросу съ общей либеральной точки зрѣнія. Къ нимъ присоединился и князь Горчаковъ, министръ иностранныхъ дѣлъ, находившій либеральную политику внутреннюю болѣе согласною съ интересами нашей иностранной политики, гдѣ въ то время извѣстнымъ престижемъ пользовался Наполеонъ III, до минуты, когда онъ его испортилъ своимъ прямымъ вмѣшательствомъ въ польскія дѣла.

Характерною чертою того времени было то, что поляки въ Варшавѣ ожидали и даже почти требовали чего-то для себя новаго, и въ Петербургѣ правительство думало о дарованіи полякамъ чего-то, но ни въ Варшавѣ, ни въ особенности въ Петербургѣ никто не могъ опредѣлить въ точности и сколько-нибудь ясно, что именно могло входить въ планъ возможныхъ уступокъ въ пользу польскихъ національныхъ интересовъ и плана дѣйствія при назначеніи Великаго Князя намѣстникомъ въ Варшаву на мѣсто князя Горчакова,—никто не зналъ, ни отправлявшійся въ Варшаву новый намѣстникъ, ни отправлявшее его правительство въ Петербургѣ.

Но обстановка, въ которой признано было нужнымъ

отправить Великаго Князя въ Варшаву, объяснялась желаніемъ правительства сдѣлать кое-что для того, чтобы польстить польскому самолюбію и потѣшить ихъ декораціями, имѣвшими цѣлью напомнить въ Царствѣ Польскомъ либеральныя времена намѣстничества Великаго Князя Константина Павловича. Позаботились о томъ, чтобы создать великолѣпный дворъ въ Варшавѣ, и для усиленія блеска и престижа сдѣлали то, что было при Константинѣ Павловичѣ: отправили двѣ гвардейскія дивизіи, одну пѣхоты, другую кавалеріи, въ Варшаву.

Поляки, со свойственною имъ легкостью увлекаться, увидѣли въ этихъ желаніяхъ правительства — обставить особымъ блескомъ явленіе брата Государя въ Варшаву— признаки политики уступокъ, поспѣшили перейти къ мечтамъ національнаго сепаратизма, и едва Великій Князь успѣлъ прибыть въ Варшаву, какъ уже въ этой Варшавѣ была организована цѣлая партія политическихъ дѣятелей польскаго лагеря, которая хотѣла независимо отъ намѣстника взять въ руки движеніе умовъ въ Царствѣ Польскомъ, и, такимъ образомъ, рядомъ съ правительственною политикою русскою, создать особую національную партію дѣйствія.

Съ этого началось недоразумѣніе, превратившееся въ мятежъ.

Недоразумѣніе это родилось въ ту минуту, когда Великій Князь, прибывъ въ Варшаву, первою своею заботою проявилъ желаніе, такъ сказать, опираться на національныя симпатіи въ краѣ, гдѣ онъ былъ совсѣмъ новый человѣкъ, и всего менѣе зналъ нравы и характеры интеллигентной среды, его окружавшей. У него явилась мысль сдѣлать свое правительство популярнымъ. Въ этомъ и была его первая и главная ошибка. Польскихъ магна-

товъ, явившихся къ нему съ изъявленіями готовности содѣйствовать его миссіи, новый намѣстникъ bona fide признавалъ за польское, такъ сказать, высшее общество и за представителей національной интеллигенціи, и въ этомъ жестоко заблуждался. Вѣрные своему политическому прошлому, едва только поляки стали легче дышать при Александрѣ II, они перешли къ тому умственному состоянію, которое тогда такъ мѣтко Государь охарактеризовалъ словомъ *rêveries*, и какъ только затѣмъ они перешли въ эту область rêveries, и создали нѣчто вродѣ національной политической жизни, такъ немедленно они раздѣлились на партіи съ различными цѣлями и задачами, вслѣдъ затѣмъ явилась между ними рознь, развивавшаяся такъ скоро и такъ сильно, что пока Великій Князь съ одною польскою партіею вступалъ, такъ сказать, въ переговоры, соображаясь съ ея мыслями для своей будущей политики, разладъ этой партіи съ другими доходилъ до того, что уже крайнія партіи образовывали комитеты возстанія противъ русскаго правительства.

Ошибка Великаго Князя, такимъ образомъ, обнаружилась съ самаго начала. Онъ могъ сдѣлать совсѣмъ другое. Онъ могъ явиться сразу представителемъ твердой русской власти, сразу же обозначить предѣлы своей терпимости и затѣмъ энергично мѣшать всякому проявленію требованій и мечтаній иныхъ, чѣмъ тѣ, которыя онъ признавалъ возможными. Ставши сразу хозяиномъ почвы, онъ могъ бы повести съ умными русскими людьми политическую жизнь по своему направленію, но, какъ я сказалъ, не зная почвы и не сдѣлавшись ея хозяиномъ, онъ сразу перешелъ къ политикѣ примиренія и соглашеній; а такъ какъ плана политики выработано не было при его назначеніи въ Варшаву, то вслѣдствіе этого главное впечатлѣ-

ніе, которое получили въ Царствѣ Польскомъ отъ новаго Великокняжескаго режима, была неопредѣленность, дававшая право однимъ—всего желать, а другимъ—все смѣть.

И не прошло мѣсяца съ назначенія Великаго Князя въ Варшаву, какъ въ Петербургѣ стали ходить самые разнообразные толки о томъ, что поляки, пользуясь либеральною терпимостью новаго намѣстника, переходятъ уже въ наступательное противъ него національное движеніе.

Какъ бы то ни было, но въ началѣ 1863 года мы знали, что польскій мятежъ разыгрался не только въ Царствѣ Польскомъ, но и въ Западномъ краѣ, въ губерніяхъ Ковенской, Виленской, Гродненской и даже Могилевской. Какъ тогда, такъ и теперь, 33 года спустя, остается неразъяснимымъ, какъ могло что-либо похожее на вооруженныя банды инсургентовъ, не то, что образоваться и дѣйствовать въ краяхъ, гдѣ столько было войскъ и гдѣ все управленіе было русское, но даже зародиться; другого объясненія, какъ изумительная слабость правительства въ мѣстахъ вспыхнувшаго въ то время мятежа, не находили. А что оно было вѣрно, это доказала та быстрота, съ которою Муравьевъ въ Вильнѣ и графъ Бергъ въ Варшавѣ, въ томъ же 1863 году назначенные, подавили мятежъ, прибѣгая не къ репрессаліямъ, а только замѣнивъ слабую власть сильною, капризную власть твердою.

Но прежде чѣмъ дойти до этихъ результатовъ, пока въ Западномъ краѣ и въ Царствѣ Польскомъ бездѣйствовала власть и своею слабостью давала плоть и духъ безумнымъ бреднямъ поляковъ, въ петербургскихъ политическихъ сферахъ слышались ноты растерянности и деморализаціи до того сильныя, что [illegible] назначенъ былъ именно подъ вліяніемъ [illegible] Муравьевъ съ

правами диктатора въ Вильну и онъ по этому случаю представлялся передъ отъѣздомъ Императрицѣ, то Она съ волненіемъ и скорбью на лицѣ обратилась къ нему съ моленіемъ отстоять хотя бы Западный край. Слова эти характеризовали тотъ духъ, въ которомъ приближенные къ Ихъ Величествамъ поясняли Имъ событія.

Весною же 1863 года моя тетка Карамзина (бывшая Демидова, у мужа которой Огрицко когда-то былъ домашнимъ секретаремъ) обратилась къ Огрицко съ вопросомъ: а вы, Іосафатъ Петровичъ, въ банды не собираетесь?

— Пока я не заплачу вамъ послѣднюю часть моего долга, я не свободенъ,— отвѣтилъ онъ.

Мѣсяцъ спустя онъ внесъ моей теткѣ свой долгъ.

— Теперь вы свободны?—спросила его моя тетка.

— Теперь я свободенъ дѣлать то, что мнѣ велитъ долгъ.

Черезъ 3 дня мы узнали, что вице-директоръ департамента акцизныхъ сборовъ Огрицко бѣжалъ въ виленскія банды.

XXIV.

(1863 годъ).

Моя командировка въ Смоленскъ. — Тогдашніе [illegible] волости государственныхъ крестьянъ. — Волостны[illegible] нилъ порученіе. — Въ Москвѣ познакомился [illegible] вымъ. — Моя аудіенція у митрополита Филарет[illegible] бургѣ съ К. П. Побѣдоносц[illegible]

Доказательствомъ того, какъ пр[illegible] Петербургѣ представленія о польс[illegible] стыду надо признаться, и страхи [illegible] жившіе причиною тѣхъ словъ, съ [illegible] обратилась къ Муравьеву въ минуту [illegible] можетъ по служить эпизодъ моей [illegible] мая Валуевъ присылаетъ за мно[illegible]

— У васъ револьверъ есть? — [illegible] въ видѣ вступленія.

— Нѣтъ, у меня нѣтъ рево[illegible]

— Ну, такъ заведите ихъ [illegible] ленно въ Смоленскъ; тамъ вы [illegible] офицера и, затѣмъ, вы отправи[illegible] ской губерніи устраивать нар[illegible] шему повелѣнію, которое вы [illegible]

Сборы были коротки. Я к[illegible] деньги и, затѣмъ, инструкці[illegible]

Оказалось, что въ [illegible] пре[illegible]

извѣстіе о томъ, что образовавшіяся въ Западномъ краѣ шайки инсургентовъ собираются, будто бы, переступить границы и идти въ Смоленскую губернію, и, между прочимъ, главнѣйшая шайка Н. Топора, въ Могилевской губерніи. Объ этихъ опасеніяхъ говорили самымъ серьезнымъ образомъ, точно рѣчь шла о какой-то арміи, угрожающей безопасности Россіи. И вотъ, въ виду этого командировались по Высочайшему повелѣнію чиновники министерства внутреннихъ дѣлъ, съ тѣмъ, чтобы по всей границѣ Смоленской и Могилевской губерній составить народную стражу, то-есть отряды крестьянъ, подъ командою офицеровъ, вооруженные, чѣмъ попало. Назначеніе этой стражи заключалось въ томъ, чтобы препятствовать вторженію инсургентскихъ бандъ въ Смоленскую губернію.

По прибытіи въ Москву, я нашелъ умы еще болѣе встревоженными, чѣмъ въ Петербургѣ. Тутъ уже прямо говорили о томъ, что Смоленску грозитъ опасность, изъ чего самые боязливые и смущенные старички англійскаго клуба выводили заключеніе, что и Москвѣ, пожалуй, грозитъ опасность отъ новаго нашествія на нее ляховъ.

Въ Москвѣ я взялъ коляску и съ курьерскою подорожною поскакалъ въ Смоленскъ. На пути къ Смоленску, чѣмъ ближе я къ нему подъѣзжалъ, все усиливались паническіе страхи и басни насчетъ польскихъ бандъ. Заставалъ станціонныхъ смотрителей, буквально дрожавшихъ отъ страха подъ гнетомъ слуховъ и толковъ о какой-то *арміи* инсургентовъ, подступающей штурмовать Смоленскъ. Къ вечеру на другой день я началъ подъѣзжать къ Смоленску. Было темно; я заснулъ въ коляскѣ. Вдругъ пробуждаюсь отъ голосовъ. Коляска моя стоитъ; слышу какіе-то перегеворы. Смотрю, предо мною какіе-то вооруженные люди. Въ просонкахъ пришла въ голову мысль: не

инсургентскіе-ли аванпосты? Оказалось, что это были городскіе патрули, сформированные на случай приближенія къ Смоленску инсургентовъ. Подвергнувшись опросу и удовлетворивъ любопытство начальника патруля изъ унтеръ-офицеровъ, я поѣхалъ далѣе и прибылъ въ Смоленскъ благополучно.

Смоленскъ засталъ, судя по губернатору Бороздину, умному и пріятному старику, несравненно спокойнѣе, чѣмъ Москву. Получивъ своего компаніона офицера, я отправился въ Порѣцкій уѣздъ, на Могилевскую границу. Поѣздка эта доставила мнѣ возможность близко познакомиться съ образцовымъ состояніемъ, въ которомъ тогда находились государственные крестьяне.

По просьбѣ губернатора, прежде чѣмъ выѣхать въ уѣздъ, я просидѣлъ три дня въ Смоленскѣ, такъ какъ нужно было послать гонцовъ во всѣ волости и созвать волостные сходы. Прибылъ я въ первое волостное правленіе и засталъ всю громаду собранною. Встрѣтилъ меня волостной голова, бѣлый старикъ, въ золотомъ кафтанѣ, съ бесчисленнымъ множествомъ медалей и орденскихъ лентъ на груди, до андреевской включительно. По возложенной на меня инструкціи, я долженъ былъ прочитать волостному сходу Высочайшее повелѣніе или, воззваніе, въ которомъ предлагалось крестьянамъ избрать изъ себя охотниковъ, а буде таковыхъ не окажется, то поставить десятокъ человѣкъ для составленія пограничной стражи и разставить ее по линіи цѣпью, вооруживъ ее, чѣмъ угодно, отъ ружья до палки включительно. Для приданія моей фигурѣ болѣе значенія въ глазахъ громады, я надѣлъ камеръ-юнкерскій галунный мундиръ и, ставъ на крыльцо, сталъ громогласно читать воззваніе.

Затѣмъ, когда я кончилъ, я спросилъ крестьянъ: поняли-ли они?

— Поняли,—отвѣчали они.

— Охотники есть?—спрашиваю я.

Молчаніе.

Я спрашиваю второй разъ.

Опять молчаніе. Кое-кто мнется, а говорить никто не говоритъ.

Тогда подходитъ ко мнѣ старикъ-голова.

— Ваше сіятельство,—говоритъ онъ мнѣ въ видѣ à parte,—не потрудитесь-ли войти на минуту въ правленіе, а я съ мужичками тѣмъ временемъ потолкую? Можетъ и найдутся охотники.

Я исполнилъ его желаніе. Минутъ черезъ пять входитъ въ контору голова.

— Извольте вызвать охотниковъ,—сказалъ онъ мнѣ.

Я вернулся на крыльцо, и—каково было мое изумленіе, когда въ отвѣтъ на мое вторичное предложеніе, охотниковъ оказалось втрое больше, чѣмъ было нужно по Высочайшему повелѣнію.

Такова была сила авторитета этого старика-головы.

Замѣчательно, что, буквально та же сцена повторилась во всѣхъ 5 волостяхъ, мною посѣщенныхъ. Вездѣ я нашелъ головъ того же прекраснаго типа, вездѣ отвѣтомъ на мною прочитанное воззваніе было молчаніе громады, и затѣмъ, послѣ нѣсколькихъ словъ головы съ громадою, вездѣ являлось охотниковъ болѣе, чѣмъ нужно. А между тѣмъ составленіе такихъ пограничныхъ стражъ являлось въ самую горячую для крестьянъ рабочую пору и, слѣдовательно, не могло не быть тяжелымъ для нихъ бременемъ.

Я воспользовался посѣще

составленныхъ изъ государственныхъ крестьянъ, чтобы познакомиться ближе съ ихъ бытомъ. Два года уже въ другихъ мѣстахъ помѣщичьи крестьяне пользовались свободою, а государственные крестьяне еще продолжали находиться при прежнемъ своемъ управленіи; а между тѣмъ, какая огромная была разница въ бытѣ между государственными крестьянами и бывшими помѣщичьими: первые въ полномъ смыслѣ слова благоденствовали,—избы глядѣли весело и всѣ были цѣльныя и просторныя; крестьянскій дворъ имѣлъ среднимъ числомъ 2 лошади и до 5 штукъ рогатаго скота. Въ каждой волости было нѣсколько тысячъ крестьянскаго общественнаго капитала, запасный хлѣбный магазинъ былъ засыпанъ, недоимокъ въ платежахъ я нигдѣ не нашелъ, и на мои вопросы: какъ имъ живется?—вездѣ крестьяне говорили мнѣ, что живется имъ, слава Богу, хорошо.

Прекрасный типъ представляли эти старики-головы, выбранные громадами изъ лучшихъ крестьянъ волостей; въ нихъ столько было сознанія своей силы, своего авторитета и своего достоинства, что пріятно было съ ними бесѣдовать, и невольно при этомъ приходилось испытывать уваженіе къ этимъ нравственно честнымъ и крупнымъ личностямъ изъ крестьянъ. Власть ихъ была буквально неограниченна, но не по закону, а въ силу ихъ нравственнаго авторитета и уваженія къ нимъ крестьянъ, каждаго отдѣльно и сообща. Рядомъ съ этимъ бытомъ у помѣщичьихъ крестьянъ начинали раздаваться сѣтованія на то, что крестьяне въ матеріальномъ отношеніи опускаются и слабѣютъ. Именно это ослабленіе матеріальнаго быта было

ымъ послѣдствіемъ освобожденія крестьянъ, первымъ

ихъ свободной жизни. Отчасти это происходило

къ проявленій распущенности, какъ перваго

признака и перваго преимущества воли, а отчасти отъ начавшихся уже семейныхъ раздѣловъ, которые, кромѣ того, что ослабляли матеріальную состоятельность семьи, происходили отъ извѣстнаго уже ослабленія уваженія къ родительской власти и къ авторитету главы семьи. У государственныхъ же крестьянъ о раздѣлахъ и помину не было.

Окончивъ въ 3 дня свое порученіе и поставивъ вдоль Могилевской границы крестьянскій кордонъ, я вернулся въ Смоленскъ, не встрѣтивъ въ порѣцкихъ лѣсахъ ни одного инсургента. Въ Смоленскѣ нашелъ уже извѣстіе о пораженіи, нанесенномъ шайкѣ Топора при Горахъ въ Могилевской губерніи.

Петербургъ засталъ въ воинственномъ настроеніи. Двинули гвардію въ Западный край въ распоряженіе Муравьева. Наполеонъ III начиналъ кампанію дипломатическую за поляковъ. Валуева засталъ не въ духѣ отъ полновластія Муравьева. Въ Москвѣ я познакомился съ Катковымъ.

Доступъ въ кабинетъ Каткова былъ изъ самыхъ курьезныхъ. Жилъ онъ въ казенномъ университетскомъ домѣ, на Страстномъ бульварѣ; но если бы вамъ, чтобы видѣть Каткова, пришла естественная мысль подойти къ парадному подъѣзду, позвонить и, вышедшему на звонокъ лакею, сказать: я желаю видѣть г. Каткова,—на васъ взглянулъ бы онъ какъ на помѣшаннаго. Надо было пройти дворомъ, зайти въ маленькую темную дверь, и по узенькой черной лѣстницѣ добраться до старенькой, разорванной клеенкою обитой двери, затѣмъ очутиться въ темненькой какой-то коморкѣ, тамъ наткнуться на какого-то сторожа, и отъ него узн
эту экскурсію вы совершили утр

неизмѣнно вамъ отвѣчалъ: «еще спятъ», такъ что видѣть Каткова можно было только вечеромъ.

Съ Катковымъ я уже былъ заочно знакомъ, какъ съ издателемъ «Русскаго Вѣстника», и отчасти черезъ его брата Мефодія Никифоровича, съ которымъ былъ сослуживцемъ по должности полицейскаго стряпчаго.

Это заочное знакомство представляло мнѣ Каткова умнымъ и страстнымъ англоманомъ—съ одной стороны и чисто европейскимъ политическимъ мыслителемъ—съ другой. Личное же знакомство мое началось съ Катковымъ въ минуту его жизни, когда два вопроса сразу его ставили на исключительно русскую государственную почву и создали совсѣмъ новаго Каткова: Герценъ и польскій мятежъ.

Въ этомъ отношеніи исторія Каткова—весьма интересное и поучительное явленіе. Молодой, даровитый доцентъ московскаго университета Катковъ, гегеліанецъ—какъ мыслитель, англійскій парламентаристъ—какъ политикъ,—стоялъ ли онъ въ сущности далеко отъ чисто-европейскаго либерала-доктринера Герцена, или отъ мечтаній о польской автономіи? Само собою разумѣется, что нѣтъ. Въ обоихъ вопросахъ, пока Катковъ стоялъ на европейской почвѣ, онъ не только могъ быть ближе къ Герцену и къ теоріи польскаго парламента, чѣмъ къ политическимъ началамъ русской жизни, но онъ былъ даже въ концѣ пятидесятыхъ годовъ и въ самомъ началѣ шестидесятыхъ политическимъ противникомъ московскихъ славянофиловъ и даже такого прямого и чисто русскаго направленія, какого въ то время былъ представителемъ
ь университетѣ Шевыревъ. Уже тогда
я съ Катковымъ во-едино П. М. Ле-
оворилъ о Шевыревѣ, какъ съ пѣною

у рта и какъ о зломъ духѣ. Таковъ былъ первоначальный Катковъ.

Но въ 1863 году, когда мнѣ пришлось съ нимъ познакомиться лично, я увидѣлъ передъ собою съ умнымъ и выразительнымъ лицомъ человѣка, всецѣло охваченнаго, даже горѣвшаго русскими чувствами и мыслями, до такой степени, что все остальное, очень видимо, для него перестало существовать.

Послѣ приходилось слышать отъ враговъ Каткова сомнѣніе въ искренности его обращенія. Но для меня, скажу по совѣсти, не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія не только въ искренности, но и въ энтузіазмѣ этого обращенія. Это было подобіемъ обращенія Савла въ Павла подъ вліяніемъ сильнаго внезапнаго наитія, и то безпредѣльное и постоянное увлеченіе, то вдохновеніе, съ которымъ Катковъ тогда говорилъ о политической злобѣ дня, не позволяли ни на минуту сомнѣваться въ томъ, что эти вопросы русской чести, русскаго достоинства и русскаго быть или не быть—заполонили всю душу Каткова. Въ немъ говорила ревность именно новообращеннаго, и оттого, мнѣ кажется, получили такую обаятельную и могучую силу его слова публициста въ передовыхъ статьяхъ «Московскихъ Вѣдомостей».

О П. М. Леонтьевѣ, съ которымъ познакомился въ то же время, до конца съ нимъ знакомства я не могъ составить себѣ ни яснаго, ни точнаго представленія, подчинилъ ли онъ свое «я» безаппеляціонно авторитету Каткова, и, браня Герцена столь же сильно, какъ бранилъ прежде Шевырева, былъ ли онъ искрененъ въ своей метаморфозѣ,—я не могъ себѣ уяснить. Помню, что въ 1863 году Катковъ на меня произвелъ сильное впечат-

лѣніе своею огненною и негодующею рѣчью, но Леонтьевъ на меня не произвелъ никакого впечатлѣнія.

Въ то же время я имѣлъ случай увидѣть вблизи митрополита Филарета. Я къ нему отправился однажды утромъ и просилъ служку о себѣ доложить. Меня ввели въ довольно большую, просто убранную и украшенную Царскими портретами гостиную и сказали, что владыка выйдетъ.

Черезъ нѣсколько минутъ дверь отворяется, и я вижу небольшую черную тѣнь. Худой, блѣдный, тихими шагами вошелъ владыко, въ черномъ подрясникѣ и въ маленькой скуфьѣ на головѣ. Я подошелъ подъ благословеніе, поцѣловалъ его руку, и затѣмъ на заданный мнѣ вопросъ: какой я Мещерскій—далъ ему отвѣтъ. Владыко сѣлъ на диванъ и предложилъ мнѣ возлѣ себя сѣсть.

Въ началѣ голосъ старца едва издавалъ звуки; взглядъ его казался мнѣ потухшимъ. Но минуты черезъ три эти потухшіе глаза ожили; въ нихъ явился блескъ проснувшейся мысли, и голосъ сталъ совсѣмъ слышенъ. Онъ заговорилъ о времени со злобами. Съ первыхъ же словъ онъ произнесъ имя моего дѣда Карамзина, высказавши сожалѣніе, что столько лѣтъ прошло, и опять является какъ бы споръ о томъ, гдѣ такъ ясно и неоспоримо Карамзинъ указалъ Государю права Россіи въ польскомъ вопросѣ. Въ разговорѣ митрополитъ похвалилъ Каткова, и высказалъ опасеніе, какъ бы его *слишкомъ русскія* статьи не навлекли на него гнѣвъ петербургскихъ космополитовъ. Вспомнилъ, впослѣдствіи, когда Валуевъ началъ свой походъ противъ Каткова, какъ правъ былъ въ своихъ предвидѣніяхъ Филаретъ. Говорилъ Филаретъ не длинными фразами, но каждая фраза заключала въ себѣ законченную мысль. Мысли эти были и ясны и просты! Польскій

мятежъ онъ приписывалъ, какъ многіе тогда, отсутствію твердой правительственной программы вообще, а это отсутствіе программы приписывалъ дѣйствію въ Петербургѣ разнородныхъ политическихъ и партійныхъ вліяній.

Вынесъ послѣ 20 минутъ бесѣды благоговѣйное впечатлѣніе отъ этого знаменитаго старца. Вотъ ужъ былъ полное олицетвореніе бодраго духа въ немощной плоти. Осенью я слышалъ, что Филаретъ написалъ Государю письмо по польскому вопросу настолько сильное и убѣдительное, что оно побудило Государя къ рѣшительному повороту въ политикѣ по польскому вопросу и къ отозванію Великаго Князя Константина Николаевича изъ Варшавы, коего присутствіе онъ не признавалъ нужнымъ съ той минуты, какъ признано было необходимымъ отъ политики примирительной перейти къ политикѣ твердой и неумолимой строгости.

Въ Петербургѣ около того же времени познакомился съ К. П. Побѣдоносцевымъ. Онъ произвелъ на меня очень симпатичное впечатлѣніе своимъ оригинальнымъ костическимъ умомъ, постоянно сливавшимся съ добродушіемъ и съ веселостью, своею простотою и увлекательною рѣчью и начитанностью. То были дни прекрасной весны его политической жизни. Призванный учить Цесаревича Николая Александровича, онъ всею душою отдавался этому дѣлу, ибо находилъ въ своемъ Ученикѣ такую благодарную и богатую почву для прививанія къ Его молодой душѣ мыслей и знанія. Этимъ наслажденіемъ отъ отзывчивости и даровитости Цесаревича наполнилась жизнь К. П. Побѣдоносцева въ то время, и оно давало ему столько свѣтлаго, столько доброжелательнаго, столько свѣжаго и бодраго въ мысляхъ и въ проявленіи чувствъ.

Онъ готовился тогда къ большому путешествію по

Россіи, которое долженъ былъ совершить Цесаревичъ по плану, разработанному графомъ Строгоновымъ.

Вернувшись въ Петербургъ, послѣ исполненной командировки, засталъ Валуева еще болѣе страннымъ относительно польскаго вопроса. Странность эта заключалась въ томъ, что онъ, какъ министръ внутреннихъ дѣлъ, гораздо болѣе сердился на партію *русскихъ*, коихъ представителями тогда были—Муравьевъ и Катковъ, чѣмъ на поляковъ въ польскомъ вопросѣ.

XXV.

(1863 годъ).

Мои бесѣды въ Царскомъ Селѣ съ Цесаревичемъ.—Отъѣздъ Цесаревича въ путешествіе по Россіи.—Мое постоянное сближеніе съ Вел. Кн. Александромъ Александровичемъ. — Письма Наслѣдника. — Его письмо съ Дону.—Оцѣнка путешествія Цесаревича.--Мой инцидентъ съ орденомъ.

Въ началѣ лѣта, видясь ежедневно, по вечерамъ, на Павловской музыкѣ, я сблизился съ Цесаревичемъ и съ двумя Великими Князьями, его братьями, болѣе, чѣмъ за цѣлые минувшіе полтора года, и вслѣдствіе этого сталъ лелѣять мечту, какъ бы попасть въ составъ счастливцевъ, имѣющихъ сопровождать Наслѣдника въ Его путешествіи по Россіи. Дѣйствительно, было о чемъ мечтать.

Однажды, при нашемъ свиданіи въ Павловскѣ, Великій Князь Александръ Александровичъ говоритъ мнѣ по поводу этого путешествія: проситесь ѣхать съ Никсой, а Наслѣдникъ поддержалъ его, сказавши: попытка не пытка; и сталъ я съ той минуты мечтать объ этомъ еще сильнѣе; но, разумѣется, просить кого бы-то ни было не рѣшился. Потомъ я узналъ, что, по иниціативѣ Наслѣдника, зашла рѣчь о моемъ участіи въ путешествіи, но она опоздала, ибо все распредѣленіе лицъ на пароходахъ было уже сдѣлано и, весьма естественно, предпочтеніе передо мною было дано младшему сыну гр. Строгонова и сыну гр. Перовскаго.

Тѣмъ не менѣе, этотъ самый инцидентъ передъ отъѣздомъ Цесаревича получилъ для меня особенное историческое, такъ сказать, значеніе въ моей жизни и именно особенный психическій смыслъ. Наслѣдникъ, какъ бы желая утѣшить меня за несуществовавшуюся мечту, держалъ меня подъ обаяніемъ особенно ласковаго и деликатнаго со мною обращенія. Онъ посѣтилъ меня на моей дачѣ и предложилъ прогулку вмѣстѣ въ шарабанѣ въ Павловскъ; этотъ откликъ душевнаго міра меня глубоко тронулъ, но еще болѣе произвели на меня впечатлѣніе слова Наслѣдника, наканунѣ отъѣзда его, когда, обращаясь ко мнѣ, онъ мнѣ сказалъ при своемъ братѣ полушутя: пожалуйста, не тужите, что съ нами не ѣдете, я вамъ поручаю Сашу, сблизьтесь съ нимъ, и вы увидите, что это интереснѣе, чѣмъ наша поѣздка. «Да, какъ не такъ», съ насмѣшливымъ своимъ лаконизмомъ отвѣтилъ Великій Князь Александръ Александровичъ.

Слова эти мною записаны были тогда въ «Дневникъ» и, дѣйствительно, оправдались! И странно, именно тотъ фактъ, что я остаюсь въ Царскомъ, а не поѣхалъ, какъ мечталъ, съ Наслѣдникомъ, и былъ главною именно причиною, совершившей сближеніе мое съ нимъ отъ той поры до конца его жизни.

Цесаревичъ уѣхалъ, а я, по предложенію графа Перовскаго, сталъ бывать у Великихъ Князей, его братьевъ, ежедневно, а такъ какъ въ это лѣто они оставались все время въ Царскомъ, то само собою установилось сближеніе... Мы фехтовались утромъ, вмѣстѣ завтракали, гуляли, обѣдали, вмѣстѣ совершали ежедневную прогулку въ Павловскъ; при этомъ я имѣлъ возможность удостовѣриться, что довѣріе свое Великій Князь Александръ

Александровичъ давалъ не сразу: онъ какъ будто въ началѣ присматривался ко мнѣ и только постепенно сталъ проявлять уже самостоятельно свою симпатію, что, разумѣется, придавало ей лишь бóльшую цѣну. Эта постепенность въ сближеніи съ нимъ точно также постепенно открывала его духовную личность, и съ каждою развертывавшеюся складкою его внутренняго существа отрадно было знакомиться съ новою, симпатичною въ немъ чертою, и убѣдиться, какъ правъ былъ Наслѣдникъ тогда, говоря о «*своемъ Сашѣ*», какъ о «*чудномъ человѣкѣ*». Съ своей стороны Великій Князь Александръ Александровичъ питалъ къ своему старшему брату самое нѣжное обожаніе и въ началѣ, въ особенности, центромъ нашихъ разговоровъ бывалъ всегда его «*Никса*». Главная прелесть въ Великомъ Князѣ Александрѣ Александровичѣ заключалась въ немъ, въ его бившей, какъ родникъ воды, правдивости, отстранявшей всякія попытки собесѣдника къ придворнымъ или дипломатическимъ разговорамъ, во-первыхъ, потому, что ихъ терпѣть не могъ Великій Князь, а, во-вторыхъ, потому, что отъ нихъ онъ всегда инстинктивно отталкивался. Уже тогда его душа напоминала тотъ лиловый цвѣтокъ, въ видѣ колокольчика, который при соприкосновеніи къ нему затворяется; такъ затворялась и душа Великаго Князя Александра Александровича при малѣйшемъ прикосновеніи къ ней рѣчи придворной... При этой правдивости его натуры—выступали наружу и ея недостатки. Но ихъ было такъ мало, что невольно, кромѣ симпатическаго влеченія къ честной натурѣ, приходилось испытывать и удивленіе... Немного лѣни и много упрямства — вотъ были единственные его недостатки. Ломить прямо его упрямство было невозможно и безполезно: оно только усиливалось отъ противодѣйствія; но

такъ какъ онъ былъ необыкновенно добръ и мягокъ сердцемъ весьма деликатенъ, и надъ всѣмъ этимъ главною чертою его души царила высокая и чистая честность, то можно было тогда побѣждать его упрямство обходными путями, именно прибѣгая къ дѣйствію на его сердце, на его честность и прямоту.

Очень рельефно въ немъ проявлялась антипатія къ *придворному* міру, въ особенности къ духовному. Тому главною причиною, весьма естественною, была прямая и ненавидѣвшая лжи натура Великаго Князя; а затѣмъ, какъ я уже имѣлъ случай убѣдиться, въ томъ же поддерживалъ его скептицизмъ и очень тонкое пониманіе людей въ придворномъ смыслѣ Наслѣдника и, затѣмъ, воспитательная атмосфера. Тонъ ей давалъ графъ Перовскій, рыцарь чести и правды, не имѣвшій въ себѣ оттѣнка придворнаго яда, и затѣмъ этой главной нотѣ подчинялись воспитатели и учителя. Въ то же время всѣ вмѣстѣ вносили въ воспитательную атмосферу много простой людской жизни, такъ что въ эту пору, несмотря на ихъ молодость, я засталъ Великихъ Князей совсѣмъ не на Олимпѣ, а просто на землѣ, знающими и понимающими многое, какъ понималъ каждый изъ насъ, простыхъ смертныхъ.

Наслѣдникъ просилъ меня ему писать изъ Царскаго Села и сообщать подробности о житьѣ-бытьѣ братьевъ. Въ первомъ письмѣ къ нему я далъ волю своимъ мыслямъ и чувствамъ, говоря о томъ, какъ мнѣ хотѣлось передъ его отъѣздомъ поговорить съ нимъ задушевно о вопросахъ, волновавшихъ тогда русскую жизнь... На это посланіе онъ мнѣ прислалъ съ Волги прелестное письмо, первое его письмо ко мнѣ.

Вотъ это письмо.

Донъ. Пароходъ *Атаманъ*.

Воскресенье, 4-го августа 1863 года.

«Любезный князь!

«Вы хорошо сдѣлали, что послѣдовали совѣту Шекспира и не поддались мыслямъ, ослабляющимъ, какъ вы говорите, ваше первое желаніе. Надѣюсь, что въ отношеніи ко мнѣ эти мысли васъ не будутъ болѣе безпокоить.

«Какъ я жалѣю, что не былъ при присягѣ Николая Максимиліановича и не могъ провести съ нимъ день его рожденія. Я даже не зналъ, что онъ будетъ присягать. Вѣроятно, это было рѣшено послѣ моего отъѣзда. Никто меня даже объ этомъ не предупредилъ, такъ что я его съ этимъ не поздравилъ въ моемъ письмѣ съ Волги.

«Завидую Вашему мирному житью-бытью на *берегахъ Финскаго залива*, въ скромной фермѣ. Завидую не потому, что недоволенъ своимъ путешествіемъ, а потому, что вездѣ хорошо, а дома лучше *).

«Что Вамъ сказать про мое путешествіе? Вы, вѣроятно, уже имѣете о немъ нѣкоторое понятіе. Скажу только, что трудно было бы выбрать болѣе удачное время для такой поѣздки. Причина слишкомъ ясна, чтобы объ ней распространяться. До сихъ поръ все намъ удавалось какъ нельзя лучше, какъ бы только не сглазить. Если хотите знать нѣкоторыя подробности, то попросите моихъ братьевъ

*) Проведя нѣсколько дней на фермѣ Сергіевской дачи Великой Княгини Маріи Николаевны, въ гостяхъ у Ея старшаго сына Герцога Николая Максимиліановича Лейхтенбергскаго, я описывалъ это пребываніе въ письмѣ къ Наслѣднику.

Издатель.

прочесть вамъ ихъ изъ моихъ писемъ. Астрахань и ея окрестности особенно были любопытны. Теперь мы плаваемъ по тихому Дону, берега котораго очень живописны. Въ Цымлянской станицѣ мы просто наслаждались: горы, степь, сады, виноградники, отличныя прогулки верхомъ, маленькій уютный домикъ у подошвы горы. Хозяинъ попался радушный и весьма неглупый. Онъ много намъ передалъ любопытнаго. Скажите Николаю Максимиліановичу, что мы пили въ Цымлянской станицѣ отличное вино здѣшняго издѣлія: хозяинъ имѣетъ погребъ и подчивалъ насъ разными сортами. Тутъ было и 40-лѣтнее, и 20-лѣтнее, и красное и бѣлое, сладкое и не сладкое.

«Въ прекрасный, теплый вечеръ, сидимъ мы на ступенькахъ широкаго и чистаго крыльца, и тутъ же пробуемъ вина, принесенныя хозяиномъ. Николай Максимиліановичъ, какъ любитель поэзіи, оцѣнитъ эту сцену; я вспомнилъ о немъ невольно, и надѣюсь, что онъ не обидится, узнавъ, что праздникъ Бахуса соединился въ моемъ воображеніи съ воспоминаніемъ объ немъ. Теперь мы всѣ сдѣлались здѣсь болѣе или менѣе поклонниками виннаго бога, хотя, конечно, въ *скромныхъ* размѣрахъ.

«Слѣдовавшій за этимъ вечеромъ день былъ одинъ изъ самыхъ пріятныхъ во время путешествія. Мы встали въ 5 часовъ, напились чаю и отправились верхомъ цѣлымъ обществомъ. Утро было чудное, прохладное; горизонтъ былъ подернутъ тою лѣтнею мглою, которая обыкновенно предвѣщаетъ жаркій день. Мы ѣхали берегомъ Дона; трудно было-бы выбрать болѣе красивое мѣсто. Налѣво Донъ, съ его красивыми изгибами и темною далью, направо горы, покрытыя садами и виноградниками, впереди цѣлая перспектива съ раз ми и
ными колоритами. Мы ѣхали

и прогулкою. Добрые кони осторожно ступали по каменистой дорогѣ; изрѣдка раздавался въ воздухѣ ударъ нагайки, напоминавшей лошади, что она несетъ ѣздока и и не должна оступаться.

«Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сады подходятъ къ самой дорогѣ, такъ что ѣдешь по тѣнистой аллеѣ, устроенной безъ помощи человѣка. Отъѣхавъ верстъ 10, мы слѣзли у одного виноградника, чтобы дать лошадямъ отдохнуть; солнце начинало уже печь. Старикъ казакъ-садовникъ принесъ намъ простого, но добраго вина, которое мы съ удовольствіемъ выпили. Вернулись мы шибче, чтобы солнце не слишкомъ палило, но не избѣгли его палящихъ лучей. Домой мы явились запрѣлые, покрытые потомъ и пылью.

«День былъ одинъ изъ самыхъ жаркихъ.

«Вообще Донъ всѣмъ намъ нравится; принимаютъ насъ, конечно, болѣе чѣмъ радушно.

«Однако, пора кончать и ложиться спать. Письмо вышло длиннѣе, чѣмъ я думалъ. Итакъ, любезный князь, вотъ вамъ мое первое посланіе. Благодарю васъ за ваше, оно было писано отъ души, что я всегда цѣню. Поклонитесь отъ меня, пожалуйста, братьямъ, Николаю Максиміліановичу и гр. Б. А. Перовскому.

Любящій Васъ Николай».

Это путешествіе по Россіи Наслѣдника Престола, на которое было посвящено все лѣто 1863 года, по своему плану, а въ особенности по подробностямъ своимъ составило одну изъ блестящихъ страницъ исторіи воспитанія графомъ Сергѣемъ Григорьевичемъ Строгановымъ своего питанника...

въ этихъ подробностяхъ мы узнавали изъ писемъ,

печатавшихся въ «*Моск. Вѣд.*» Конст. П. Побѣдоносцевымъ и составившихъ потомъ цѣлый большой томъ, и изъ разсказовъ послѣ путешествія всѣхъ лицъ, сопровождавшихъ Цесаревича.

Въ планѣ графа Строганова имѣлись всегда въ виду двѣ главныя цѣли: доставить возможность Цесаревичу знакомиться съ каждою достопримѣчательностью мѣстности, и въ то же время дать ему возможность знакомиться съ людьми... Для этой второй цѣли графомъ Строгановымъ было заранѣе такъ устроено, что отъ одного пункта до другого приглашаемы были мѣстныя лица для сопровожденія Великаго Князя; лицами этими были губернаторы, предводители дворянства, извѣстные фабриканты, выдающіеся сельскіе хозяева-помѣщики, выдающіеся профессора и т. д... Въ каждой мѣстности они составляли кружокъ собесѣдниковъ Цесаревича во все время плаванія по Волгѣ и по Дону, и лозунгомъ этихъ бесѣдъ была *правда* обо всемъ...

Я запомнилъ одинъ эпизодъ, доказывающій, какъ сердечно относился Великій Князь къ своимъ мѣстнымъ гостямъ-собесѣдникамъ, и какъ они сердечно относились къ Царственному Путешественнику... Прощаясь на Волгѣ съ однимъ изъ помѣщиковъ, Великій Князь ласково ему сказалъ: когда будете въ Петербургѣ, меня не забудьте, буду всегда радъ васъ видѣть. Зимою этотъ помѣщикъ, принявъ за чистую монету эти слова Цесаревича, дѣйствительно, явился къ Наслѣднику и поручилъ камердинеру доложить: помѣщикъ такой-то...

— Вѣроятно, одинъ изъ нашихъ спутниковъ по Волгѣ,—сказалъ Цесаревичъ и велѣлъ его принять. Онъ принялъ его въ своемъ кабинетѣ, и пробесѣдовалъ съ

нимъ полчаса. И надо было видѣть, съ какимъ восторгомъ вышелъ отъ этого свиданія помѣщикъ...

Но самое интересное было то волшебное дѣйствіе, которое произвело на Великаго Князя это путешествіе въ смыслѣ образовательномъ. Объ этомъ волшебномъ дѣйствіи говорилъ онъ самъ. «Эти три мѣсяца путешествія научили меня большему»,—говорилъ Великій Князь,—«чѣмъ три года ученія за книгами». И оно дѣйствительно такъ было: не только Великій Князь значительно обогатился познаніями, но проявлялъ замѣчательное развитіе въ своемъ умственномъ мірѣ, въ смыслѣ расширенія кругозора и пріобрѣтенія новыхъ взглядовъ на русскую жизнь... Главное, что въ немъ замѣтно было, это пріобрѣтеніе знаній изъ практической жизни Россіи, и что еще важнѣе, теплыя чувства къ провинціальной жизни и къ ея разнообразнымъ русскимъ людямъ...

Вотъ почему, убѣдившись на дѣлѣ, какое дѣйствіе производитъ не только на умъ, но и на сердце путешествіе по Россіи, основанное на желаніи узнать жизненную правду, молодой Цесаревичъ совершенно вѣрно упрекалъ нашихъ въ то время государственныхъ людей въ томъ, что они въ такое время, когда такъ нужно ближе знакомиться съ разными вопросами жизни въ провинціи, сидятъ въ Петербургѣ и по Россіи не ѣздятъ...

Я сообщилъ Валуеву о размышленіи Великаго Князя; онъ улыбнулся и сказалъ: мысль эта совершенно вѣрна, но, къ сожалѣнію, для ея осуществленія недостаетъ главнаго для министра,—времени! Слова эти тоже не лишены интереса и пикантности... Съ тѣхъ поръ прошло 33 года; я полагаю, что въ эти 33 года значительно умножились въ Россіи причины и поводы знакомиться съ разными вопросами и сторонами русской жизни на мѣстѣ, но за

ліями всей космополитической и всей либеральной партіи въ Петербургѣ, былъ однимъ изъ важнѣйшихъ по своимъ печальнымъ послѣдствіямъ политическихъ событій этого времени, ибо отсутствіе симпатій и полнаго довѣрія къ Муравьеву сверху подорвало довѣріе и къ плану и къ программѣ этого великаго государственнаго человѣка, какъ разъ въ минуту, когда то и другое надо было упорно и энергично продолжать въ Западномъ краѣ, и создало порядокъ вещей—неопредѣленный, перемѣнчивый и шаткій, въ зависимости отъ личныхъ соображеній и интересовъ генералъ-губернаторовъ, отъ заботы согласовать польскую политику со вкусами и взглядами въ петербургскихъ вліятельныхъ кружкахъ. Эта неопредѣленность, къ сожалѣнію, существуетъ доселѣ.

Въ этомъ исторически-роковомъ недоразумѣніи значительная доля вины принадлежитъ Валуеву; хотя надо сказать и то, что всякій, знавшій близко Валуева, не могъ ни злиться, ни негодовать на Валуева за это: la plus jolie femme ne peut donner que ce qu'elle a; Валуевъ не могъ давать государственнымъ вопросамъ того, чего у него не было; а у него не было ни русскаго духа, ни русскаго чувства, или было того и другого такъ мало, что весь онъ отдавался въ распоряженіе какихъ угодно—европейскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ—вѣяній культуры и политики, съ полнѣйшимъ подобострастіемъ, но русскаго духа, русскаго разума стыдился и стыдился потому, что не зналъ ихъ, и не имѣлъ ихъ.

Кто тогда не принадлежалъ къ партіи анти-русской трудно было опредѣлить. Одно несомнѣнно: факты—какъ прямое участіе офицера генеральнаго штаба Сѣраковскаго и вице-директора департамента въ министерствѣ финансовъ Огрицки въ мятежѣ—доказывали, что этимъ измѣн-

никамъ легче было, повидимому, въ Петербургѣ проводить свою крамолу, чѣмъ русской партіи, съ Муравьевымъ во главѣ, побѣждать крамолу.

Здѣсь умѣстно вспомнить, что когда Огрицко былъ въ Западномъ краѣ схваченъ на мѣстѣ преступленія, и Муравьевъ послалъ одного изъ своихъ жандармскихъ полковниковъ, завѣдывавшихъ розысками въ Петербургѣ, произвести обыскъ у Огрицки въ его квартирѣ, онъ *не былъ допущенъ* произвести этотъ обыскъ внезапно, а ему назначили часъ, когда онъ долженъ былъ явиться съ представителями мѣстной полиціи и депутатомъ отъ министерства финансовъ; онъ явился и ничего, кромѣ папиросныхъ окурковъ, не нашелъ...

Тѣмъ не менѣе, Огрицко былъ приговоренъ наравнѣ съ Сѣраковскимъ къ смертной казни. Но Огрицко отъ казни спасся благодаря моей тетушкѣ, А. К. Карамзиной, которая просила о помилованіи лично Государя и получила его, такъ что Огрицкѣ смертная казнь была замѣнена ссылкою въ Сибирь на пожизненную каторгу.

Осенью 1863 года Великій Князь Константинъ Николаевичъ былъ уже въ Павловскѣ, бросивъ Варшаву, гдѣ ничего не получилъ, отъ благодарныхъ поляковъ, кромѣ выстрѣла въ эполету. Мѣсто его занялъ графъ Бергъ несмотря на преклонныя лѣта, отличавшійся энергіею, свѣжимъ умомъ и распорядительностью. Онъ повелъ дѣло круто и могъ многое сдѣлать потому, что пользовался, въ отличіе отъ Муравьева, симпатіею и большимъ довѣріемъ Государя.

Въ началѣ августа я побывалъ въ имѣніи жены моего дяди, В. Н. Карамзина, въ Курской губерніи, Обоянскаго уѣзда, въ с. Ивнѣ. Это было въ полномъ смыслѣ слова великолѣпное имѣніе. Огромныя дубовыя рощи, велико-

лѣпныя поля пшеницы, громадный сахарный заводъ составляли финансовую прелесть имѣнія; затѣмъ въ паркѣ великолѣпный дворецъ, съ терассою изъ бѣлаго мрамора во всю длину дома, изображали собою полнѣйшій комфортъ, и передъ домомъ красивая каменная церковь, гдѣ въ красивыхъ облаченіяхъ, при домашнихъ пѣвчихъ изъ дворовыхъ старой памяти, совершалось чинное и прекрасное Богослуженіе; все это вмѣстѣ составляло полную картину вельможеской деревенской роскоши. Жили въ нихъ мой дядя съ женою вдвоемъ, съ глухонѣмымъ старикомъ изъ угасшаго мелкопомѣстнаго рода, который изображалъ собою, несмотря на свои природные недостатки, самый оживленный элементъ въ этомъ царствѣ однообразной тишины. Второго такого глухонѣмого я никогда послѣ не встрѣчалъ. Онъ съ утра до вечера готовъ былъ болтать не то звуками, не то жестами, не то безконечнымъ разнообразіемъ въ игрѣ своей физіономіи. Источникъ разговоровъ у него былъ безконечный: во-первыхъ, весь міръ дворянскихъ интригъ и сплетень Курской губерніи, который тогда изображалъ собою цѣлый океанъ; во-вторыхъ, цѣлый ореолъ воспоминаній и, въ-третьихъ, всѣ сплетни дома, такъ какъ этотъ глухонѣмой съ ранняго утра шлялся по дому, съ изумительною способностью все подсматривать и замѣчать до мельчайшихъ подробностей, съ тѣмъ, чтобы потомъ дѣлать выводы и догадки, какъ будто онъ все подслушалъ...

Я сказалъ о курскихъ сплетняхъ. Тогда это былъ курьезный міръ. Курское дворянство и доселѣ считается самымъ многолюднымъ; но тогда оно изображалось чуть ли не тысячью отдѣльныхъ Монтекки и Капулетти, и все это воевало другъ съ другомъ, сплетничало и ссорилось, разумѣется, съ губернаторомъ. Пріѣзду моему въ деревню къ

дядѣ предшествовали нѣсколько дней моего пребыванія въ Курскѣ, гдѣ Валуевымъ мнѣ дано было щекотливое и дипломатическое порученіе выяснить войну дворянъ съ губернаторомъ.

Губернаторомъ былъ свитскій генералъ Владиміръ Ивановичъ Денъ, очень умный, энергичный и, по моему, пріятный человѣкъ. Разумѣется, потому, что онъ былъ энергиченъ и строго честенъ, противъ него была вся та партія дворянъ, которая энергіи и честности не любитъ, и, какъ вездѣ это бываетъ, эта-то партія дѣйствовала и интриговала противъ губернатора, а партія порядочныхъ людей, вмѣсто того, чтобы поддерживать губернатора, держалась политики пассивности и лозунга: моя хата съ краю... Это было мое первое знакомство съ міромъ дворянства въ губерніи и съ исторіею войны губернатора съ дворянствомъ; послѣ я имѣлъ случай видѣть въ другихъ губерніяхъ тѣ же войны и убѣдился, что вездѣ главная причина одна: шумитъ и орудуетъ только дурная партія дворянъ, а партія порядочныхъ людей бездѣйствуетъ и безмолвствуетъ; и если губернаторъ порядочный человѣкъ и хорошій губернаторъ, то на него всегда сыплется дождь доносовъ въ Петербургъ, исходящихъ изъ лагеря дворянской дряни, а партія хорошихъ людей не поддерживаетъ... Это было тогда и съ Деномъ...

— Что же вы даете волю этимъ негодяямъ?—спрашивалъ я отдѣльныхъ порядочныхъ людей изъ дворянъ.— Отчего вы не поддерживаете Дена; вѣдь вы сами говорите: они негодяи, а Денъ порядочный человѣкъ...

— Стоитъ ли связываться съ этою сволочью?—отвѣчаютъ мнѣ.

Послѣ я понялъ, какой печальный смыслъ доказательствъ въ мою пользу имѣли эти дворянскія войны въ

губерніяхъ, когда я принялся говорить объ отсутствіи въ нашемъ дворянствѣ солидарной сословности и объединенія, для работы самосохраненія, послѣ переворота 19 февраля 1861 года.

Я пишу о 1863 годѣ; казалось бы, именно въ эту пору, два года послѣ манифеста 1861 года, дворянству слѣдовало бы сплачиваться, чтобы сообща, по разработанному плану, устраивать свой новый экономическій бытъ, съ цѣлью самосохраненія для будущаго, но именно въ эту-то пору, въ Курской сегодня, въ Смоленской завтра, въ Орловской послѣ-завтра и т. д.—дворянство губерній всецѣло занято было междоусобною войною и распрями съ губернаторами, совсѣмъ забывая свои экономическія задачи.

Дядя, у котораго я гостилъ, былъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ по оригинальности и крупныхъ по цѣльности типовъ, мною когда-либо встрѣчаемыхъ. Онъ былъ младшій сынъ Карамзина. Высокій, статный, великолѣпно сложенный, съ красивымъ и умнымъ лицомъ, онъ обращалъ на себя вниманіе своимъ наружнымъ видомъ, и такъ какъ онъ никогда не сгибался и имѣлъ необыкновенно гордый видъ, то можно было подумать, съ перваго взгляда, что онъ самый безсердечный и самодовольный человѣкъ. Но на дѣлѣ—это была маска, Богъ вѣсть почему навсегда имъ надѣтая. Въ этомъ-то оригинальность его и заключалась. Замѣчательно умный и даровитый человѣкъ, онъ всегда искалъ поводовъ спорить со всякимъ, кто говорилъ не глупо, а, напротивъ, умно; добрый сердцемъ, онъ всегда искалъ только повода дѣлать и говорить людямъ непріятности и отличаться отъ другихъ проявленіями безсердечія... Его главная потребность заключалась

въ томъ, чтобы быть съ кѣмъ-нибудь или съ чѣмъ-нибудь въ противорѣчіи. Съ молодости онъ былъ уже представителемъ постояннаго возстанія противъ придворнаго этикета, служебной дисциплины, противъ традицій гостиныхъ. Еще студентомъ петербургскаго университета, при Николаѣ I, онъ игралъ въ вольнодумца, и когда его за это бранили, онъ усиливалъ свое вольнодумство. Разъ онъ появился на балу дворянскаго собранія, въ присутствіи Двора, въ синемъ галстухѣ. Николай Павловичъ, любя карамзинскую семью, какъ родную, просилъ вдову Карамзину прислать къ нему своего шалуна-сына. Онъ явился. Императоръ принялся его отечески журить, ласково, но строго. Когда онъ кончилъ, молодой Карамзинъ отвѣтилъ Ему, что не стоило за нимъ посылать, чтобы высказывать ему такія извѣстныя истины. Даже Николай I разсмѣялся отъ вида, съ которымъ гордый бунтовщикъ Карамзинъ Ему отвѣтилъ, и сказалъ, отпуская его: видно, на тебя надо махнуть рукою.

Въ семьѣ разсказывали, что единственный разъ, когда онъ измѣнилъ своему *принципу* не сгибать шеи, чуть не стоилъ ему жизни. Онъ былъ женихомъ и гулялъ съ своею невѣстою по горѣ въ Ревелѣ, на берегу моря; въ разговорѣ, ни съ того, ни съ сего, чтобы показать свою неустрашимость, онъ бросился съ горы внизъ и разбилъ себя такъ, что пролежалъ между жизнью и смертью двѣ недѣли. Въ разговорахъ онъ позволялъ себѣ дерзости, иногда непостижимыя, и мы всегда удивлялись, какъ онѣ ему сходили, а сходили онѣ ему потому, что его не ненавидѣли, а только боялись; напротивъ, у него были друзья и вездѣ онъ пользовался уваженіемъ. Въ разговорахъ политическихъ онъ былъ рѣзокъ и нецензуренъ до крайности, и чѣмъ приближеннѣе ко Двору была персона,

съ которою онъ говорилъ, тѣмъ нецензурнѣе были его отзывы...

Съ любымъ демагогомъ могъ поспорить онъ въ подборѣ антиправительственныхъ и антипридворныхъ выраженій. Мало того, зная, что письма проходятъ черезъ перлюстрацію, онъ забавлялся тѣмъ, что писалъ на почтѣ самыя нецензурныя политическія вещи, съ цѣлью компрометировать то лицо, которому онъ писалъ, и всегда выбиралъ лицо, очень дорожившее своею репутаціею политической благонадежности, и Карамзинъ потѣшался видомъ ужаса этого лица, получавшаго по почтѣ такія компрометирующія письма. При мнѣ однажды въ гостиной, полной гостями высшаго калибра, онъ говоритъ одной очень бойкой на языкъ фрейлинѣ по французски: il faut être femme de chambre, comme vous, pour dire ce que vous dites (надо быть горничною, что вы и есть, чтобы говорить такія вещи). Одной великосвѣтской матронѣ изъ самыхъ блестящихъ онъ говоритъ опять-таки при всѣхъ: вы не рожаете, вы щенитесь каждые шесть мѣсяцевъ... Въ одну фешенебельную гостиную онъ сталъ являться по вечерамъ съ своимъ чаемъ подъ мышкою, и требовалъ себѣ чайникъ, говоря хозяйкѣ: у васъ такой скверный чай, что я предпочитаю пить свой собственный... Онъ никогда не бывалъ въ обществѣ, гдѣ были великіе міра сего—только потому, *чтобы не сгибать шеи.* При всѣхъ этихъ странностяхъ легко понять, что онъ, несмотря на свой свѣтлый умъ и даровитость,—карьеры на службѣ не сдѣлалъ. Онъ дальше сенатора въ кассаціонномъ департаментѣ не пошелъ; но на этомъ мѣстѣ составилъ себѣ имя; онъ работалъ, какъ волъ, и въ кружкѣ своихъ товарищей-сенаторовъ пріобрѣлъ авторитетъ лидера. Въ области религіи, какъ и въ другихъ, онъ былъ, то есть, вѣр-

нѣе, игралъ роль вольнодумца; но въ деревнѣ, чтобы не смущать народъ и служить ему примѣромъ, онъ не только не пропускалъ ни единаго богослуженія, но строго соблюдалъ всѣ посты. Во всякомъ случаѣ, это былъ типъ, богатый оригинальностью.

XXVII.

(1863 годъ).

Мое сближеніе съ Герцогомъ Николаемъ Максимиліановичемъ Лейхтенбергскимъ.—Лекціи у него.—Земская реформа.—«Голосъ» и Валуевъ.—Валуевъ и «Московскія Вѣдомости».—Новый правительственный органъ «Сѣверная Почта».—Князь Горчаковъ.

Я говорилъ въ началѣ своихъ воспоминаній о томъ, насколько, въ смыслѣ политическаго образованія, мы, правовѣды, выходили изъ нашей alma mater круглыми невѣждами. Мы понятія не получали о государственномъ правѣ въ европейскихъ государствахъ. Вотъ почему, когда въ эту зиму воспитатель герцога Н. М. Лейхтенбергскаго, К. Г. Ребиндеръ, предложилъ мнѣ слушать лекціи профессора М. И. Куторги о европейскихъ конституціяхъ, я съ благодарностью вступилъ въ число аккуратныхъ слушателей.

Лекціи эти читались весьма оживленно и, слѣдовательно, интересно. На нихъ Куторга познакомилъ насъ съ образцами всѣхъ конституцій европейскихъ, отъ англійскаго парламентаризма начиная. Какъ жаль, подумалъ я 16 лѣтъ спустя, что устроители судебъ освобожденной Болгаріи не слушали съ нами увлекательныя, умныя и поучительныя лекціи Куторги, ибо они узнали бы изъ нихъ, что конституція съ одною палатою есть такое политическое устройство, гдѣ никогда не можетъ быть ни

порядка въ управленіи, ни безопасности отъ равновѣсія между главными двумя политическими стремленіями: консервативнымъ и либеральнымъ, и что рано или поздно государства съ одною палатою сдѣлаются жертвою анархіи. Послѣ одной изъ лекцій, кто-то изъ слушателей обратился къ Куторгѣ съ вопросомъ, очень для него щекотливымъ: что лучше, по его мнѣнію, конституціонное или самодержавное управленіе? Куторга очень умно отвѣтилъ, что то государство сильно, гдѣ управленіе есть исторически сложившійся порядокъ: Англія не потому крѣпка, что у нея конституція, а потому, что ея управленіе, есть исторически сложившійся порядокъ; про Россію можно сказать тоже самое; неизвѣстно — будетъ ли Россія сильнѣе отъ конституціи; но несомнѣнно — ея сила заключается въ томъ, что ея управленіе есть исторически развившійся въ ней порядокъ.

Я въ тоже время, пока слушалъ эти лекціи, внимательно читалъ знаменитую книгу Токвиля: «L'ancien régime et la révolution», гораздо раньше во мнѣ уложились въ порядкѣ мои политическія міровоззрѣнія послѣ чтенія «Discours sur l'histoire universelle», Бассюэта, и сильное вліяніе на меня книги Токвиля я приписывалъ тому, что порядокъ, установившійся въ головѣ отъ воспринятаго міровоззрѣнія Боссюэта, не только не поколебался отъ Токвиля, но какъ бы упрочился, ибо при чтеніи Токвиля стало ясно, что монархія пала и революція перешла въ торжество анархіи по тѣмъ же причинамъ, изъ которыхъ главнѣйшая была поруганіе тѣхъ основъ христіанской нравственности, коихъ сила и необходимость такъ превосходно изображены въ геніальномъ твореніи Боссюэта.

Въ ту же зиму, пока мы учились у Куторги исторіи

европейскихъ конституцій, старый, николаевскаго времени, вельможа, князь Долгорукій, ужасно сердился на затѣи Валуева: создавать *какое-то земство*. Онъ восклицалъ съ негодованіемъ: qu'est ce qu'ils ont avec leur semska, — не желая даже знать, какъ это революціонерное слово произносится. Впрочемъ, не одинъ этотъ старикъ-вельможа имѣлъ смутное понятіе о готовившейся реформѣ; онъ, въ своемъ смутномъ представленіи о земствѣ, прямо и безъ хитрости называлъ его дѣломъ якобинцевъ, но въ разныхъ другихъ интеллигентныхъ сферахъ Петербурга, болѣе близкихъ къ реформаторской кухнѣ, представленія о будущемъ земствѣ были тоже не менѣе смутны. Одно было несомнѣнно: съ этимъ представленіемъ о земствѣ соединилось ожиданіе чего то очень либеральнаго. Одни радовались тому, что крестьянинъ вводился въ политическую, такъ сказать, жизнь равноправнымъ съ дворяниномъ-помѣщикомъ. Это была радость либерально-демократической партіи, съ «*Голосомъ*» во главѣ.

Но затѣмъ радовались тоже либералы-аристократы. Въ то время начала создаваться и такая партія въ аристократическихъ сферахъ петербургскаго общества. Назывались тогда уже нѣкоторыя грансиньерскія имена и политическіе салоны, гдѣ на будущее земство смотрѣли, какъ на арену для политической роли дворянства, думали о будущихъ политическихъ рѣчахъ, о будущихъ петиціяхъ, — и пока либералы-демократы предвкушали близкое наступленіе торжества всесословія, слѣдовательно, окончательнаго пораженія дворянства, либералы-аристократы мечтали о руководящей политической роли дворянства посредствомъ земства.

Валуевъ смотрѣлъ на разрабатываемое подъ его главенствомъ земское положеніе скорѣе академически, чѣмъ

съ точки зрѣнія какой-либо политической доктрины. Какъ во многихъ мысляхъ Валуева, и въ этомъ академическомъ взглядѣ на созидавшееся земство была доля наивнаго.

Валуевъ исходилъ изъ мысли, что, создавая въ губерніяхъ цѣлую область земскихъ, то-есть хозяйственныхъ заботъ, онъ этимъ давалъ умамъ сферу дѣятельности, которая могла бы ихъ оживлять, занять и отвлечь отъ политическихъ мечтаній въ общей, такъ сказать, *сферѣ*.

Развѣ это не было наивно?

А затѣмъ, говоря о земствѣ, какъ о всесословномъ органѣ хозяйства въ губерніи, онъ не менѣе наивно представлялъ его себѣ какимъ то оркестромъ, въ которомъ будутъ *гармонично* разыгрываться всѣ мотивы земскаго Self government, всѣ *инструменты* провинціальной жизни, и гдѣ дирижеромъ въ каждой губерніи будетъ губернаторъ.

Все это было очень идиллично и мило, но дѣло въ томъ, что либералы того времени интересовались будущимъ земствомъ вовсе не потому, что хозяйство въ губерніи и въ уѣздѣ переходило изъ рукъ губернской администраціи къ земскимъ собраніямъ и управѣ, а исключительно тѣмъ, что созданіе губернскаго земства неизбѣжно должно повлечь за собою центральное земство, то есть, по мнѣнію однихъ, земскій соборъ, а по мнѣнію другихъ—земскую палату. Но о палатѣ лордовъ, или о второй палатѣ, консервативной—надо это прибавить для характеристики того времени—въ этихъ кружкахъ интеллигенціи считалось даже преступленіемъ и думать.

Тогда руководящею интеллигенціею и въ особенности чиновническою интеллигенціею силою былъ органъ Краев-

скаго «*Голосъ*». Онъ былъ всемогущъ въ оффиціальномъ мірѣ, онъ пользовался особенною протекціею восходившаго тогда во всемъ блескѣ своего могущества Головнина, новаго министра народнаго просвѣщенія, а такъ какъ этотъ же «*Голосъ*» воспѣвалъ будущее земство, то и Валуевъ ему покровительствовалъ, не взирая на то, что называлъ его демократическое направленіе *антипатичнымъ*.

Это было тоже характернымъ курьезомъ. Валуевъ покровительствовалъ «*Голосу*» и самымъ искреннимъ образомъ являлся врагомъ политическимъ Каткова. Въ то время умный и ловкій Головнинъ, не желая себя ставить въ фальшивое положеніе относительно общественнаго мнѣнія и боговъ популярности, цензуру сдалъ Валуеву и первое употребленіе, которое изъ нея сдѣлалъ Валуевъ, скопировавъ и переведя для примѣненія къ нашей печати правила наполеоновскаго режима съ его системою предостереженій, было преслѣдованіе Каткова. Катковъ, чувствуя совершенно основательно свою нравственную силу въ то время, не хотѣлъ склоняться передъ Валуевымъ въ польскомъ вопросѣ, и кончилось это тѣмъ, что Валуевъ далъ «Московскимъ Вѣдомостямъ» третье предостереженіе, думая газету на время прекратить. Но Катковъ не подчинялся; онъ сталъ все-таки выпускать «Московскія Вѣдомости» и платить штрафы. Валуевъ потерпѣлъ фіаско. Государь лично вмѣшался въ это дѣло, и бывши въ Москвѣ, протянулъ Каткову руку, и благодарилъ его за его патріотическія статьи и снялъ запреты съ газеты его.

Отъ этого рикошетомъ выигралъ «Голосъ», ибо Валуевъ, изъ ненависти къ Каткову, давалъ волю Краевскому, который ею воспользовался, между прочимъ, для

того, чтобы въ угоду Валуеву, при всякомъ случаѣ, ругать Каткова.

Но Валуевъ издалъ свой собственный органъ. Это была оффиціальная газета «*Сѣверная Почта*», изъ которой онъ замыслилъ сдѣлать нѣчто вродѣ французскаго «Moniteur Universel». Но и эта мечта Валуева оказалась наивностью. Валуевъ создалъ особый отдѣлъ полуоффиціальный, гдѣ думалъ помѣщать руководящія и даже полемическія статьи по вопросамъ внутренней политики. Онъ даже самъ писалъ для газеты статьи.

Но, разумѣется, ничего не вышло кромѣ комичнаго, ибо всѣ знали, что Валуевъ за слишкомъ усердную полемику противъ «Сѣверной Почты» могъ отвѣчать предостереженіями, а потому никто о «Сѣверной Почтѣ» не говорилъ въ печати и она глохла.

Однажды Валуевъ предложилъ мнѣ писать статьи въ «Сѣверной Почтѣ» политическаго характера по поводу того или другого, газетами освѣщаемаго, факта. Я попробовалъ было написать и пришелъ ему показать мой первый опытъ.

— Это хорошо,—отвѣтилъ Валуевъ,—но я бы измѣнилъ вступленіе и держался, вообще, для вступленія въ статьи, характера англійскихъ газетъ. Я бы началъ статью (рѣчь шла о земствѣ), напримѣръ, такъ: однажды Питтъ гулялъ съ своимъ другомъ Фоксомъ по берегу Темзы... Какъ грязна вода,—сказалъ Питтъ и т. д. Такое вступленіе даетъ вамъ широкую свободу для дальнѣйшаго вашего изложенія.

Я не пропустилъ ни одного звука. По этому маленькому эпизоду можно судить, какъ часто [illegible]енъ бывалъ Валуевъ.

Въ этомъ году мнѣ пришлось нѣскол

близко, въ интимной, такъ сказать, его жизни, нашего тогдашняго канцлера, министра иностранныхъ дѣлъ князя Александра Михайловича Горчакова...

Знакомъ я съ нимъ былъ уже съ 1856 года, съ зимы, но тогда я былъ кончающимъ курсъ правовѣдомъ, и только присматривался къ нему, поднимая на него глаза съ низменности моего ничтожества на высоту его величія. Онъ бывалъ тогда по вечерамъ въ кабинетѣ моей тетушки, Авроры Карамзиной, которая, несмотря на свои 50 лѣтъ, была еще въ то время стройною красавицей, и къ которой князь Горчаковъ питалъ культъ. И вотъ, онъ пріѣзжалъ къ ней по вечерамъ, сѣсть въ свое кресло, ногу положить на ногу и, отпивая по глоткамъ свой стаканъ воды съ клюквою, говорить и слушать музыку своихъ словъ. Улыбка самодовольства никогда не слетала съ его розовыхъ, слегка чувственныхъ губъ, изъ-подъ золотыхъ очковъ блисталъ всегда оживленный и выразительный взглядъ, лобъ его не зналъ, что значитъ морщина заботы или задумчивости, и когда онъ сердился, тогда у него слегка краснѣли пухленькія щечки, и онъ изливалъ безъ остатка весь свой гнѣвъ въ огненномъ словоизліяніи. Семь лѣтъ спустя мнѣ пришлось видѣть князя Горчакова уже у него дома за завтракомъ, въ черной бархатной шапочкѣ, и въ халатѣ, въ роли идола обожанія. Прежде я его видѣлъ обожателемъ у насъ прекрасной женщины. Тутъ я сталъ видѣть божество въ его храмѣ.

И вотъ, съ этого угла зрѣнія онъ былъ весьма интересный типъ тогдашней эпохи. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова блестящій баловень фортуны. Во время
ской войны онъ былъ нашимъ посланникомъ въ Вѣнѣ.
ло думать, что та развязность, съ которою
я въ эту войну дѣлать относительно Россіи

свои гадости—составлявшія цѣлый планъ коварнаго предательства относительно насъ—не будетъ служить особенно блестящею рекомендаціею для того нашего дипломата, который давалъ всему этому плану въ Вѣнѣ составляться и осуществляться; но невзирая на то, именно на князя Горчакова палъ выборъ Александра II, когда, по вступленіи на престолъ, Онъ принялъ отставку графа Нессельроде, и сталъ искать ему преемника. Впрочемъ, тогда говорили, что выбору этому помогла не мало сестра Государя, тогдашняя принцесса Ольга Николаевна Виртембергская, которая всегда дружески относилась къ князю Горчакову, и вотъ онъ сталъ министромъ, и съ этой минуты особая милость къ нему фортуны заключалась въ томъ, что никто не наслаждался такъ министерствомъ, какъ онъ, и никто такъ не обожалъ въ себѣ министра, и въ министрѣ себя съ такимъ упоеніемъ, съ такимъ вкусомъ и съ такимъ умѣньемъ, какъ онъ. Это не былъ банальный типъ элегантнаго фата, или еще болѣе банальный типъ самодовольнаго выскочки; нѣтъ, это былъ оригинальный, и именно художественный типъ человѣка безспорно умнаго, безспорно остроумнаго, безспорно блестящаго, который умѣлъ, что называется, donner du cachet и отчасти du chic своему самому искреннему обожанію къ самому себѣ.

Мои близкіе пріятели тогда были изъ числа близкихъ подчиненныхъ князя-канцлера; слѣдовательно, соединивъ мои личныя впечатлѣнія съ ихними, я могъ составить себѣ довольно ясное понятіе объ этомъ интересномъ историческомъ типѣ. Съ этимъ культомъ къ самому себѣ, вступивъ во главу министерства, князь Горчаковъ составилъ себѣ понемногу изъ ближайшихъ сотрудниковъ цѣлый Sacerdoce жрецовъ-обожателей не только его оффиціальной

личности, но его собственнаго къ себѣ культа. Покойный Тютчевъ назвалъ князя Горчакова, коего онъ былъ самымъ безкорыстнымъ пріятелемъ le narcisse de l'écritoire. Вѣрнѣе нельзя было охарактеризовать автора дипломатическихъ нотъ того времени: диктуя ихъ и перечитывая ихъ, князь Горчаковъ любовался ими, какъ любуется граціозный нарциссъ склоненный надъ водою, своими красивыми формами. Но этимъ нарциссомъ князь Горчаковъ былъ не только надъ своею чернильницею, но вездѣ и во всемъ: за круглымъ столомъ его столовой, гдѣ онъ передъ такими слушателями, какъ мы, ронялъ свои блестящія слова, какъ Венера свои улыбки толпѣ профановъ; за столомъ своего кабинета передъ послами и политиками, когда онъ говорилъ Европѣ; за столомъ у Государя въ кабинетѣ, когда онъ излагалъ свои политическіе виды; въ государственномъ совѣтѣ, когда онъ высказывалъ свое мнѣніе, и еще болѣе въ будуарѣ любой красавицы большого свѣта, когда онъ говорилъ, чтобы нравиться, и ставилъ въ затрудненіе кокетливую слушательницу передъ вопросомъ: чѣмъ болѣе любуется ея блестящій обожатель: собою или ею.

Я иногда слышалъ сравненіе князя Горчакова съ Валуевымъ. И сравнивать было что, ибо дѣйствительно между этими двумя типами—хотя и рѣзко отличными—были точки подобія. Оба носили въ себѣ культъ фразы; оба прежде всего любили себя слушать. Но здѣсь разница была въ оттѣнкахъ. Валуевъ любилъ мѣрную музыку своихъ изреченій, онъ къ ней прислушивался, какъ поэтъ къ журчанію ручейка. Князь Горчаковъ любилъ потоки, фейерверки своихъ словъ, любилъ ихъ ураганы, любилъ ихъ бряцанье, любилъ въ нихъ тотъ эффектъ, который онъ себѣ живо представлялъ и которымъ упивался. Затѣмъ оба не любили углубляться въ предметъ и разбираться въ под-

робностяхъ. И оба не любили этого потому, что такая работа ихъ слишкомъ отдаляла отъ самослушанья.

Но личность Горчакова была крупнѣе Валуева, интереснѣе и, если можно такъ выразиться, благодарнѣе и живописнѣе. Въ Валуевѣ впечатляло утомительное однообразіе. Въ Горчаковѣ, напротивъ, все плѣняло разнообразіемъ вдохновенія, взглядовъ, впечатлѣній, тоновъ, оттѣнковъ и т. д. Но за то не легокъ былъ культъ обожанія князя Горчакова для его приближенныхъ: съ утра до вечера на нихъ лежала обязанность обожать владыку и исправлять въ то же время служебное дѣло: восторгаться и благоговѣть передъ инспираціями князя, и въ то же время что-нибудь да значить въ его глазахъ собственнымъ умомъ, ибо надо сказать, что князь Горчаковъ умѣлъ себя окружать замѣчательно умными и способными людьми. И всегда чувствовалось, что въ этихъ святилищахъ иностранныхъ дѣлъ шли двѣ работы, и обѣ кипѣли: работа собственно министерства иностранныхъ дѣлъ, и затѣмъ совсѣмъ оригинальная работа, но весьма важная, постоянное держаніе равновѣсія съ обѣихъ сторонъ, между собственнымъ умомъ и между обожаніемъ къ уму канцлера. И всѣ эти жрецы—обожатели канцлера, относительно умѣнья держать равновѣсіе, были мастера своего дѣла.

Они воздавали божіе—богу своему, и свое—себѣ съ замѣчательнымъ искусствомъ и тактомъ. Никогда князь не чувствовалъ въ своихъ жрецахъ противорѣчія себѣ, никогда они его не сводили съ престола вс[illegible]ующаго божества, но, въ то же время, нерѣдко это [illegible]говорило ихъ мыслями. Но искусно [illegible] велъ [illegible]равновѣсія самъ канцлеръ во всем[illegible]

Тысячи людей въ его по[illegible]
цѣлаго сонма жрецовъ, и [illegible]

будуаровъ, прежде всего потеряли бы сперва равновѣсіе, а потомъ и голову, и были бы только смѣшны. Князь Горчаковъ никогда и ни на одну минуту не терялъ равновѣсія; онъ давалъ себя всего на обожаніе всѣмъ, онъ отдавалъ себя всего на самообожаніе, но, тѣмъ не менѣе, онъ всегда былъ блестящъ и великолѣпенъ вездѣ тѣмъ, что онъ входилъ въ каждое положеніе, въ каждую минуту, въ каждый вопросъ—не какъ богъ, а какъ умный человѣкъ, никому не навязывая и никому не импозируя ни свое самообожаніе, ни свое значеніе божества для цѣлаго вѣдомства. Этотъ царь слова, этотъ богъ своего вѣдомства никогда не оскорблялъ чье-либо самолюбіе, никогда не осмѣивалъ чье-либо убѣжденіе, никогда не являлся деспотомъ своего великозначущаго я! Вотъ въ какомъ смыслѣ я сказалъ о томъ искусствѣ, съ которымъ князь Горчаковъ умѣлъ держать равновѣсіе между явленіями обожанія его окружавшихъ и между его личными проявленіями такта и разума въ сношеніяхъ съ людьми. Словомъ, роль божества въ министерствѣ и героя въ гостиной—онъ проводилъ мастерски, никогда не теряя голову, никогда не давая противъ себя оружія и не дѣлаясь смѣшнымъ.

Но у него были секунды, не лишенныя комизма.

Тогда въ кругу подчиненныхъ князя-канцлера разсказывался слѣдующій весьма характеристичный и глубококомичный эпизодъ.

Обходя утромъ въ своемъ халатѣ канцелярію, князь Горчаковъ наткнулся на стоявшаго у окна Катакази, молодого человѣка, не вылѣзавшаго изъ числа несчастли-

въ на какую либо должность по дипло-

еляріи и, за неимѣніемъ протекціи, пред-

заглохнуть... У него въ видѣ капитала

имѣлся только бойкій и злой языкъ, а съ этимъ, какъ извѣстно, далеко не уйдешь, такъ какъ необыкновенно злой языкъ безъ протекціи мѣшаетъ карьерѣ.

Увидя Катакази, князь на него ни съ того ни съ сего напустился, укоряя въ ничего недѣланіи, и кончилъ свою нотацію словами: Vous vous perderez (вы пропадете).

Только этихъ словъ и нужно было молодому Катакази. Едва они слетѣли съ сіятельнѣйшихъ устъ, какъ Катакази сосредоточился въ почтительную позу, благоговѣйно наклонилъ голову и, дѣлая поклонъ, сказалъ послѣ мгновенія молчанія, придавшаго инциденту еще болѣе краснорѣчія: Oui, mon prince, mais dans la foule de vos adorateurs (да, ваше сіят—ство, но въ толпѣ вашихъ обожателей).

Слова эти, какъ звонкое алали, красиво прозвучали по воздуху и полетѣли прямо въ цѣль. Князь поднялъ голову, обернулъ ее къ Катакази, улыбка довольства на его розовыхъ губахъ.

— Bien répondu,—сказалъ князь.

Въ тотъ же день князь велѣлъ своему начальнику канцеляріи Вестману принять Катакази, а затѣмъ онъ сталъ его двигать...

Въ развитіи историческаго, такъ сказать, характера князя Горчакова сыгралъ очень рѣшительную и важную роль тогдашній графъ Бисмаркъ, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ бывшій прусскимъ посланникомъ въ Петербургѣ. Бисмаркъ не потерялъ ни одной минуты даромъ на своемъ дипломатическомъ посту въ Петербургѣ, послужившемъ ему преддверіемъ и очень полезною школою для его будущей всемірной карьеры.

Онъ очень подружился съ Гор[illegible] и раскусить

хитрому Бисмарку совсѣмъ не хитраго Горчакова ровно ничего не стоило... Онъ понялъ, что главная нравственная струна Горчакова, на которой можно разыгрывать какіе угодно мотивы,—это самообожаніе, и вотъ, играя на этой струнѣ виртуозомъ, Бисмаркъ увѣрилъ Горчакова въ томъ, что умнѣе и сильнѣе его нѣтъ дипломата въ Европѣ, и что Европу ведетъ онъ, Горчаковъ... Эта музыка Бисмарка, какъ Эолова арфа, совсѣмъ отдала Горчакова въ его власть, дружбѣ своей къ Бисмарку онъ отдавался съ полнымъ добродушіемъ, и что было замѣчательно, когда Бисмаркъ оставлялъ Петербургъ съ зачатками своихъ грандіозныхъ замысловъ въ головѣ, онъ оставилъ Горчакова въ полной увѣренности, что онъ дѣлаетъ изъ Бисмарка, что онъ хочетъ; внушить князю Горчакову это убѣжденіе было постоянною заботою хитраго Бисмарка, и вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ ничего не упустилъ изъ того, что было нужно для охлажденія того же Горчакова относительно Наполеона III, къ которому одно время въ Горчаковѣ стала довольно замѣтна извѣстнаго рода Schwärmerei.

Этой части задачъ Бисмарка какъ нельзя болѣе кстати помогъ и случай по поводу польскаго вопроса. Наполеонъ имѣлъ глупость послушаться внушеній англійской политики и сунулся въ союзѣ съ нею съ своею нотою въ защиту поляковъ, будто бы притѣсняемыхъ русскимъ правительствомъ... Ничто такъ не послужило интересамъ Бисмарка, какъ эта безтактная нота Наполеона III, она дала Бисмарку право торжествующе сказать Горчакову: вы видите, почтенный другъ, я былъ правъ, предостерегая васъ отъ коварства Наполеона III, и Горчаковъ сталъ въ 1863 году врагомъ Франціи и болѣе чѣмъ когда либо другомъ Бисмарка. Въ 1870 году

Наполеонъ III поплатился за свою ноту 1863 года, въ этомъ ни малѣйшаго нѣтъ сомнѣнія...

За то этотъ 1863 годъ былъ огромнымъ козыремъ въ рукахъ Горчакова. Вдохновляемый великолѣпными статьями Каткова, [illegible] подстрекаемый Бисмаркомъ изъ Берлина и [illegible] собственнымъ чутьемъ угадывая важность минуты и современность заговорить голосомъ твердымъ, Горчаковъ создалъ себѣ золотую страницу своимъ [illegible] державамъ на польскую ноту. Отвѣтъ этотъ былъ сочиненъ имъ самимъ. Прежде чѣмъ его [illegible] въ нѣсколькихъ редакціяхъ [illegible] секретарями, писавшими подъ [illegible] и когда онъ появился въ [illegible] Россія, полный величія и достоинства, [illegible] въ Петербургѣ, и англійскій [illegible] «ура» привѣтствовали князя-[illegible] ему похвалою, и вся [illegible] единодушнымъ трепетомъ восторга [illegible] было видѣть, какъ былъ [illegible] Горчаковъ и съ какимъ упоеніемъ онъ виталъ [illegible] современниками и наслаждался ощу-[illegible]

[illegible] удачномъ выборѣ княземъ Гор-[illegible] сотрудниковъ. Дѣйствительно, его окру-[illegible] и даровитые люди. Самыми [illegible] сотрудниками были Жомини [illegible] Сатуновъ, его родственникъ, [illegible] департаментовъ, одинъ изъ [illegible] и подъ ними уже кишѣла и ра-[illegible] составленная изъ подбора спо-[illegible] изъ хорошихъ дворянскихъ [illegible] Тогда канцелярія Горчакова носила извѣстный

отпечатокъ элегантности и была дѣйствительно подготовительною школою для дипломатической службы.

Впрочемъ, все окружавшее тогда князя-канцлера, имѣло оригинальный отпечатокъ. Начать съ того, что входя въ святилище министерства иностранныхъ дѣлъ, вы забывали, что есть русскій языкъ въ Россіи. Всѣ говорили только по французски... Затѣмъ, всѣ высшіе сателиты Горчакова, про которыхъ я сейчасъ говорилъ, русскимъ языкомъ владѣли слабѣе, чѣмъ французскимъ: Жомини—тотъ плохо говорилъ по русски; затѣмъ Жеребцовъ, Хельскій и даже Гамбургеръ предпочитали говорить по французски. И надо сказать, что въ то время владѣніе французскимъ языкомъ и обращеніе съ нимъ доведены были въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ до совершенства и до своего рода виртуозности, а между младшими, то-есть между чинами канцеляріи завелся даже своеобразный французскій языкъ, отчасти академическій, отчасти style sévigné.

Въ Лондонѣ тогда былъ нашимъ посломъ баронъ Брунновъ, старый оригиналъ, нѣмецъ-эгоистъ, даже не понимавшій, что значатъ русскія чувства, но очень умный человѣкъ; онъ считался профессоромъ французскаго стиля въ перепискѣ между русскими дипломатами, и чтобы характеризировать тогдашнія отношенія нашихъ агентовъ къ Горчакову, достаточно привести слѣдующій, напримѣръ, образецъ стиля Бруннова въ письмѣ къ Горчакову. Несогласіе съ мнѣніемъ князя, своего начальника, онъ выражалъ такъ: et si mon audace à contredire votre excellence pouvait ègaler le dévouement sans bornes que je lui porte, je me permettrais... (и если дерзость противорѣчить вашему сіятельству могла равняться моей къ вамъ преданности, то я бы позволилъ себѣ и т. д.).

Такимъ языкомъ теперь уже не пишутъ.

Запомнилъ также образецъ Горчаковскаго французскаго стиля. Какъ-то разъ приходитъ ко мнѣ одинъ изъ пріятелей моихъ, одинъ изъ секретарей канцеляріи князя, а разсказываетъ, какъ сегодня ему диктовалъ князь одну конфиденціальную ноту въ Вѣну.

«Я сижу,—разсказываетъ мнѣ пріятель,—а князь ходитъ по комнатѣ и диктуетъ... Затѣмъ пауза... Я думаю, что конецъ... хочу встать; не тутъ-то было... attendez...—говоритъ князь,—maintenant le mot de la fin... (подождите теперь заключительное слово), и вдругъ я вижу, какъ мой князь начинаетъ скользить по паркету, точно на конькахъ по льду».

«Enfin,—говоритъ онъ,—pour vous exprimer à quel point ma position se trouve être difficile... je suis le patineur qui glisse sur une glace fragile... и говоря это, князь продолжалъ скользить по паркету... Я думалъ было, что онъ шутитъ, но оказалось, что это былъ придуманный княземъ ловкій оборотъ для своей ноты, и я цѣликомъ имъ заключилъ письмо».

Князь Горчаковъ, какъ извѣстно, началъ свою министерскую карьеру знаменитою фразою, съ которой началась первая его европейская нота послѣ войны 1855 года; la Russie ne boude pas, mais se cueille! Это историческое и умное слово дало характеръ всей послѣдующей эпохѣ.

Князь Горчаковъ, какъ я говорилъ, любилъ культъ женской красоты.

Про этотъ фазисъ своихъ подвиговъ онъ говорилъ: le succés de mes galanteries m'est agrèable, quand à l'Europe il est utile, car je la tiens dans ma bonne humeur... (Успѣхъ моихъ галантерей для меня пріятенъ, а для Европы полезенъ, ибо я держу ее въ моемъ хорошемъ настроеніи).

Во всякомъ случаѣ, подводя итоги воспоминаніямъ о князѣ Александрѣ Михайловичѣ Горчаковѣ, слѣдуетъ причислить его къ числу блестящихъ личностей царствованія Александра Второго. Какъ личность, онъ имѣлъ свои недостатки, свои слабости, но всѣ они охотно предавались тогда забвенію, при сравненіи съ нѣкоторыми свѣтлыми чертами этой личности. Во главѣ этихъ свѣтлыхъ сторонъ была его нравственная, такъ сказать, самостоятельность и та вельможеская стараго закала самобытность, которая не позволяла ему нигдѣ и никогда унижаться до какихъ-либо интригъ или заискиваній. Умное лицо его носило отпечатокъ извѣстной гордости. Съ подчиненными и съ низшими я не запомню когда-либо князя Горчакова гордымъ, но при Дворѣ, гдѣ такъ естественно гнется шея и дрожатъ, какъ выразился Пушкинъ, икры ногъ, я часто любовался Горчаковымъ. Всегда однимъ изъ самыхъ приближенныхъ къ Государю и къ Императрицѣ, онъ впечатлялъ изяществомъ своего грансиньерства, и не только стоялъ головою выше надъ міркомъ придворныхъ сплетень и никогда не стихавшихъ интригъ,—но ни разу не воспользовался своимъ исключительнымъ положеніемъ, чтобы кому-нибудь повредить языкомъ, который у него былъ остеръ и уменъ, или даже кому-нибудь отплатить за дурное слово, противъ него сказанное. Онъ презиралъ все, что было недостойно настоящаго вельможи, и рядомъ съ этимъ онъ былъ рабомъ потребности быть любезнымъ.

Какъ государственный человѣкъ и какъ министръ иностранныхъ дѣлъ, онъ уже потомъ, послѣ 1865 и 1866 годовъ, сталъ проявлять слишкомъ большое значеніе роли Европы относительно Россіи и при немъ создался тотъ неизмѣнный лозунгъ, который потомъ повторялся до са-

[illegible] que dira l'Europe. Этом [illegible] заключалась въ обаяніи, кото[illegible] Горчакову Бисмаркъ, а другая в[illegible] сотрудниковъ. Говоря о нихъ, [illegible] и иныхъ даровитыми, и дѣй[illegible] но общій характеръ это[illegible] на канцлера, былъ именн[illegible] къ Европѣ, иногда доходивші[illegible] страха. Тогда это была черт[illegible] князь Горчаковъ самъ этог[illegible] въ 1863 году онъ это доказалъ очен[illegible] былъ преклоняться передъ Евро[illegible] его чуялся и слышался отчаст[illegible] отчасти духъ поклоненія Европѣ [illegible] въ этой то средѣ, какъ Руслан[illegible] князь Горчаковъ мало-по-малу стал[illegible] какъ русскій, и утрачивать [illegible] противодѣйствію Бисмарку въ его [illegible] властолюбивыхъ замыслахъ. Этимъ [illegible] колоссальный успѣхъ замыслов[illegible] Горчакова среда сотрудниковъ болѣ[illegible] на высотѣ 1863 года и не дал[illegible] свой первый шагъ въ 1864 году [illegible] Вотъ тогда то симпатіи франко-русскі[illegible] историческое значеніе, если, вмѣсто [illegible] среда, окружавшая Горчакова, влекл[illegible] интересахъ къ союзу съ Наполеономъ III [illegible] замысловъ Бисмарка.

XXVIII.

(1863 годъ).

Князь Суворовъ. — Корифеи Мраморнаго дворца. — Головнинъ, Зарудный и Рейтернъ.

Рядомъ съ княземъ Горчаковымъ въ числѣ самыхъ близкихъ къ Государю лицъ былъ князь Суворовъ. Это былъ оригинальный типъ чудака, и относительно умѣнья себя держать при Дворѣ вельможей онъ былъ совсѣмъ антиподъ князя Горчакова. Князь Суворовъ съ утра до вечера оглашалъ Петербургъ громкими возгласами о своихъ придворныхъ связяхъ. Не разбирая никогда, съ кѣмъ онъ говорилъ—съ полицейскимъ ли, съ сановникомъ ли, съ женою ли своею, или съ Чернышевскимъ, — онъ всегда третьимъ словомъ вставлялъ: l'Empereur! l'Empereur m'a dit cela, я сегодня видѣлъ Государя, Государь мнѣ сказалъ это, я скажу Государю и т. д., такъ что болѣе *индискретнаго* болтуна, какъ князь Суворовъ, въ Петербургѣ въ то время не было. Но этого мало. Онъ былъ въ то же время очень мелоченъ и щекотливъ въ своихъ придворныхъ ощущеніяхъ: обижался и дулся за всякій пустякъ, и тогда опять-таки, не разбирая своей аудиторіи, всякому начиналъ изливать свою огорченную душу и жаловаться на обиды, причиненныя ему Государемъ. Государь, съ свойственною ему добротою и дели-

катностью, мирился съ выходками и капризами своего друга, а князь Суворовъ ими пользовался въ странномъ заблужденіи, что такая манера себя держать дѣлаетъ его популярнымъ человѣкомъ.

Не запомню на своемъ вѣку кого-нибудь изъ государственныхъ дѣятелей, который такъ комично и въ то же время такъ безшабашно эксплоатировалъ популярность, какъ князь Суворовъ.

Понять его, найти въ немъ что-либо похожее на послѣдовательность, или осмысленную причину его образа дѣйствій было невозможно. Когда онъ былъ въ Риге остзейскимъ генералъ-губернаторомъ, объ немъ говорили, какъ о главномъ шампіонѣ остзейскихъ барономъ. Эти бароны его боготворили, и о либерализмѣ Суворова тамъ никто и во снѣ не видалъ. Имя Суворова тогда означало не только самое фанатичное нѣмцефильство, но даже какое то анти-русское и тоже фанатичное политическое настроеніе.

Этотъ же Суворовъ переселяется въ Петербургъ, на должность генералъ-губернатора, и не прошло года, какъ этотъ самый шампіонъ барономъ въ Остзейскомъ краѣ дѣлается самымъ воодушевленнымъ покровителемъ всѣхъ либеральныхъ идей эпохи, до антидворянской включительно. И все это шутя, школьнически—такъ сказать, и исключительно посредствомъ языка.

А между тѣмъ, шутя — поставивъ себѣ странную задачу *быть* въ одно время другомъ Государя и самымъ популярнымъ въ общественномъ мнѣніи человѣкомъ, называя для смѣха своимъ другомъ и Чернышевскаго, и Михайлова, князь Суворовъ очень много надѣлалъ вреда своимъ неукротимымъ чудачествомъ. Около него образовалась какая то атмосфера распущенности въ языкѣ

сперва, а потомъ въ принципахъ и дѣйствіяхъ, какого то духовнаго переимства относительно служебнаго долга, обязанностей, принциповъ, которые многихъ сбивали съ толку, и разными окольными путями отражались иногда и въ иныхъ сферахъ общества, и въ средѣ учащейся молодежи. Съ рекомендаціями князя Суворова толкались по Петербургу, ища занятій, всевозможные косматые нигилисты: князь Суворовъ любилъ съ ними заигрывать. Я видѣлъ его въ пріемной, болѣе любезничающимъ съ ними, чѣмъ съ какимъ нибудь почтеннымъ генераломъ. А между тѣмъ, всѣми этими шутками и чудачествами пробавлялся князь Суворовъ одинъ, а возлѣ него должностныя лица относились ко всему, къ чему Суворовъ относился балагуромъ, серьезно, а въ области серьезнаго Суворовъ всегда былъ безгласенъ, и пока шутя съ разными нигилистами и называя Михайлова и К⁰ mes amis, князь Суворовъ невольно ободрялъ ихъ шалить, тотъ же Суворовъ не умѣлъ быть серьезнымъ, не умѣлъ мѣшать и не могъ мѣшать, чтобы то здѣсь, то тамъ не попадались эти юные шалуны, входя въ категорію политическихъ преступниковъ.

Гостиная князя Суворова была интереснымъ зрѣлищемъ...

Гости были самые разнообразные! И когда въ нее входилъ самъ хозяинъ, послѣ ряда самыхъ энергичныхъ и дружескихъ рукопожиманій со знакомыми и незнакомыми, и садился въ кресло, тогда княгиня-хозяйка смолкала, смолкали и гости, и князь Суворовъ начиналъ свою болтовню, непремѣнно произнося разъ десять имя Государя, при чемъ въ упоеніи своихъ разсказовъ или своихъ декламацій, онъ никогда не разбиралъ, кто его слушаетъ.

И всѣ его считали *добрякомъ*... Да, пожалуй, онъ

былъ добрякъ, то-есть то, что принято называть добрым человѣкомъ; но это качество въ немъ было отрицатель ное. Именно въ это время я его помню далеко не доб рымъ, ибо никто не шелъ такъ зло, такъ пристрастн противъ Муравьева и противъ русскаго народнаго чув ства, какъ Суворовъ. Пользуясь своею близостью к Двору и снисходительностью Царя къ его языку, онъ н останавливался ни передъ какою сплетнею, ни перед какою клеветою, чтобы чернить Муравьева въ глазах Государя; мало того, онъ дѣлалъ изъ симпатій къ Му равьеву какое-то политическое, будто бы, вредное на строеніе умовъ вездѣ, гдѣ могъ, мѣшалъ всякому про явленію уваженія и симпатій къ Муравьеву, и не мал содѣйствовалъ тому, чтобы въ глазахъ Государя дискре дитировать ту единственную, вѣрную и мудрую политик въ Западномъ краѣ, которую создалъ Муравьевъ и кото рая кончилась въ Вильнѣ не потому, что Муравьев ушелъ, а потому, что сама политика была подорвана в своемъ главномъ—въ довѣріи къ ней Царя.

Одною изъ характерныхъ чертъ того времени был то, что тогда, подъ вліяніемъ царившаго въ политиче ской атмосферѣ стремленія къ прогрессу, то-есть къ ре формамъ по всѣмъ отраслямъ управленія, искались люди своего рода спеціалисты,—то для одной, то для друго отрасли.

Прежде всего искали спеціалиста для финансовъ, ов считались и дѣйствительно были разстроенными посл Крымской войны, и первыя попытки къ ихъ починк порученныя старику Княжевичу, не особенно считалис удачными. Изъ Мраморнаго дворца, какъ я говорил выше, вылетали извѣстныя имена, особенно рекоменд вавшіяся какъ личности, какъ молодыя и способныя сил

а между ними вылетѣло имя Рейтерна. Его признали годнымъ быть спеціалистомъ по части финансовъ, отправили за-границу, и чуть-ли даже не въ Америку, съ задачею готовиться быть министромъ финансовъ. Рейтернъ поѣхалъ за-границу; какъ способный старательный и добросовѣстный нѣмецъ, онъ дѣйствительно употребилъ свою поѣздку для изученія финансовыхъ вопросовъ, и когда онъ вернулся, ему отдали русскіе финансы въ управленіе.

Помню, что въ то время, не безъ основанія, серьезные люди недоумѣвали, почему бы будущему министру финансовъ не посвятить два годика на путешествіе по Россіи, для ея изученія въ экономическомъ отношеніи, что было бы, несомнѣнно, полезнѣе путешествія за-границею, но въ то же время эта простая мысль не пришла никому изъ заправилъ въ голову. На «*заграницу*» тогда смотрѣли съ благоговѣніемъ ученика передъ учителемъ, маленькаго человѣка передъ большимъ, и когда Рейтернъ вернулся изъ-за границы, передъ нимъ преклонились, какъ передъ избранникомъ и сосудомъ мудрости и знанія, неизбѣжно имѣющимъ сдѣлать Россію богатою.

Изъ того же Мраморнаго дворца вылетѣло другое имя, спеціалиста-педагога,—это имя Александра Васильевича Головнина. Министерство народнаго просвѣщенія не клеилось. Назначеніе Ковалевскаго, почтеннаго, добраго, умнаго человѣка не давало никакихъ результатовъ въ смыслѣ приведенія въ порядокъ учебнаго мира, расшатаннаго и деморализованнаго послѣ Уварова, и въ особенности послѣ періода безпорядковъ 61 и 62 годовъ. Всѣ понимали и сознавали, что нуженъ энергичный и твердый человѣкъ во главѣ министерства народнаго просвѣщенія, но въ высшихъ сферахъ тогда взглянули иначе:

тамъ подумали, что нуженъ популярный человѣкъ, и тогда-то вылетѣло имя Головнина.

Въ консервативныхъ кружкахъ Петербурга это имя было не любимо; всѣ знали, что Головнинъ — главный вдохновитель крайнихъ либеральныхъ тенденцій, и потому съ большимъ недовѣріемъ и разочарованіемъ отнеслись къ факту признанія Головнина спеціалистомъ по части педагогіи, и самымъ надежнымъ кандидатомъ на должность министра народнаго просвѣщенія. Во всякомъ случаѣ, это было странное назначеніе: всѣ знали Головнина какъ либерала, но никто никогда не слышалъ о Головнинѣ, какъ о человѣкѣ, имѣющемъ какія-либо отношенія къ педагогическому дѣлу, и тѣмъ паче какую-нибудь подготовку, или хоть какія-нибудь по этой спеціальности свѣдѣнія. Иные сомнѣвались даже въ достаточной степени его образованія. А глядя на его маленькую, неуклюжую и нестройную фигуру, съ несоразмѣрною туловищу головою, и съ лицомъ, гдѣ читались сухость и что-то непривѣтливое, всѣ спрашивали про Головнина: да имѣетъ ли этотъ человѣкъ довольно сердца, чтобы любить учащуюся молодежь?

Первымъ дѣломъ Головнина, по вступленіи въ должность министра народнаго просвѣщенія, была выходка съ цѣлью сдѣлаться популярнымъ; онъ отказался отъ казенной министерской квартиры и обратилъ ее въ помѣщеніе для новой гимназіи. Затѣмъ, что касается дѣла, то про Головнина въ то время можно было сказать, что онъ заботился объ одномъ: какъ бы заручиться симпатіями либеральной части общества, и съ этою цѣлью онъ поставилъ себѣ задачею разрушать Уваровскую систему образованія и воевать противъ классицизма. Но такъ какъ Уваровская система была стройнымъ, цѣльнымъ и гар-

моничнымъ учрежденіемъ, Головнинъ, несмотря на свой умъ, не имѣлъ никакого ни яснаго, ни опредѣленнаго плана новой системы, а бродилъ умомъ въ какихъ то дебряхъ общаго образованія, то само собою разумѣется, что онъ могъ только развинчивать старое, но создать что-либо стройное и цѣльное новое онъ никакъ не могъ. Всѣ серьезные люди это тогда видѣли ясно и съ прискорбіемъ указывали на то, что въ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія—и въ высшихъ и среднихъ—еще сильнѣе расшатывается дисциплина, еще замѣтнѣе царитъ безтолковщина, но на эти сѣтованія серьезныхъ людей не обращали вниманія; Головнинъ былъ признанъ спеціалистомъ-педагогомъ, его возвели въ спеціалисты, и вся русская гражданская школа отдана была ему въ полное распоряженіе для проявленія въ ней Головнинскихъ способностей спеціалиста.

Затѣмъ искать принялись третьяго рода спеціалистовъ: спеціалистовъ по судебной реформѣ. И нашелся тогда очень оригинальный или, вѣрнѣе, странный, который и сыгралъ свою историческую роль, несмотря на то, что опять-таки серьезные люди недоумѣвали, почему именно онъ попалъ въ спеціалисты.

Спеціалистъ этотъ былъ маленькій въ іерархіи чиновничьей человѣкъ, Сергѣй Ивановичъ Зарудный. Онъ кончилъ курсъ въ университетѣ кандидатомъ, если не ошибаюсь, *естественныхъ* наукъ, ни раньше, ни послѣ не думая, что ему будетъ суждено играть роль спеціалиста по судебной реформѣ. Братъ его Митрофанъ былъ моимъ товарищемъ по училищу и пріятелемъ, и черезъ него я имѣлъ свѣдѣнія объ Одиссеѣ его брата... Онъ направился за границу, побывалъ во Франціи, побывалъ въ Италіи, и привезъ съ собою находку: судебные итальянскіе уста-

ны, какъ извѣстно, скопированные съ французскихъ [illegible] но съ большимъ оттѣнкомъ либерализма. [illegible] всѣ [illegible] [illegible], какое [illegible] по дураки и не подозрѣвали, и сразу [illegible] Сергѣя Зарудного взяли да и пожаловали въ [illegible] [illegible] для Россіи по судебной реформѣ... [illegible] носиться... У Замятниныхъ въ домѣ я сталъ [illegible] ним. Мнѣ тогда было 25 лѣтъ: лѣта не почтенныя, но все-таки несмотря на нихъ, я позволялъ себѣ [illegible] кое о чемъ свое сужденіе, и помню, что именно по вопросу о судебной реформѣ, бывая у Замятнина, который тогда былъ министромъ юстиціи, и въ своихъ пріятельскихъ кружкахъ я высказывалъ недоумѣніе, почему для судебной реформы не берутъ въ основу весь строй старыхъ учрежденій, очень мудро созданныхъ Екатериною II, съ примѣненіемъ этого стараго основного учрежденія къ новымъ потребностямъ времени, вмѣсто того чтобы брать цѣликомъ все иностранное, быть можетъ, для русской жизни непригодное. Я доказывалъ тогда, что въ старыхъ учрежденіяхъ были два прекрасныя начала, которыя надо было сохранить: во-первыхъ, три степени суда для апелляціоннаго порядка, какъ наилучшая гарантія для интересовъ подсудимаго или тяжущагося—уѣздный судъ, палата и сенатъ; а во-вторыхъ—выборное начало судей...

Но мои мысли не имѣли никакого успѣха и бѣдный Замятнинъ, какъ и многіе, смѣло вѣрили, что вся премудрость въ откровеніяхъ, привезенныхъ съ Запада Зарудным... Я съ нимъ познакомился и долженъ признаться, что очень добродушно удивился, почему судьба такого обыкновеннаго по уму и столь мало юридически образованнаго человѣка избрала въ апостолы судебной реформы для Россіи, и почему именно совсѣмъ юридически не-

образованный кандидатъ-математикъ или естественникъ былъ признанъ спеціалистомъ по судебной реформѣ. Можно было подумать, что главное, что составляло таинственную прелесть Заруднаго въ то время, было его фанатическое обожаніе къ иностраннымъ судебнымъ порядкамъ и полное презрѣніе къ русскимъ порядкамъ, а обожаніе иностранныхъ порядковъ, въ свою очередь, происходило отъ мысли, что они проникнуты либерализмомъ.

Я помню, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, англійскимъ посломъ былъ очень умный человѣкъ лордъ Нэпиръ. Онъ еще до Крымской войны былъ секретаремъ посольства въ Петербургѣ и очень усердно занимался изученіемъ Россіи и любилъ Россію, что для англичанина составляетъ рѣдкость. Нэпиръ былъ близкимъ пріятелемъ нашей семьи. Я у нихъ бывалъ по выходѣ изъ училища, и частенько бесѣдовалъ съ Нэпиромъ. Изъ этихъ бесѣдъ у меня осталось одно живое воспоминаніе, доселѣ подчасъ возвращающееся на память, — это мысли наблюдательнаго ума Нэпира по поводу страннаго явленія, имъ подмѣченнаго въ Россіи. «Отчего, — говорилъ онъ, — у васъ такъ мало изучаютъ Россію, и такъ много интересуются Европою: вѣдь въ Европѣ мало что годится для Россіи, а въ Россіи у васъ такъ много умнаго и прочнаго устроила ваша исторія въ видѣ учрежденій и принциповъ. Вы, какъ будто, не только всѣ эти историческія сокровища не цѣните, но стыдитесь ихъ передъ Европою. И умныхъ людей у васъ много, но вы, какъ будто, болѣе ищете обезьянъ по отношенію къ Европѣ, чѣмъ русскихъ самородныхъ умныхъ людей»...

XXIX.

(1863 годъ).

Типы: И. С. Мальцевъ, А. Н. Муравьевъ, графъ Комаровскій, Ѳ. И. Тютчевъ и А. Ѳ. Тютчева.

Выше я говорилъ о томъ, какъ искали кандидата въ министры финансовъ, и какъ его заказали и нашли въ лицѣ Рейтерна.

Невольно по этому поводу припоминается мнѣ одинъ изъ близкихъ пріятелей нашей семьи, пожилой, въ высшей степени оригинальный типъ, съ которымъ въ воспоминаніяхъ моей молодости всегда соединялся вопросъ, ему часто задававшійся: отчего вы не министръ финансовъ?

По странному капризу судьбы, этотъ оригинальный человѣкъ, которому всѣ его знавшіе близко задавали этотъ вопросъ, былъ въ то время русскимъ дипломатомъ, или подобіемъ, по крайней мѣрѣ, его въ должности члена совѣта при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ.

Его звали Иванъ Сергѣевичъ Мальцевъ.

Какъ я сказалъ, это былъ замѣчательно интересный типъ... Все въ немъ было оригинально и все было типично, начиная съ его большого ума и кончая его феноменальнымъ скряжничествомъ.

По воспоминаніямъ и разсказамъ въ семьѣ я зналъ, что этотъ человѣкъ ни разу ничего не просилъ и ничего не искалъ для себя, и только изъ миролюбія давалъ себя вести тѣмъ, которые его толкали по чиновнической лѣст-

ницѣ снизу кверху... и довели его до этой одной изъ высшихъ должностей въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, гдѣ всего менѣе его интересовали иностранныя дѣла... А интересовали его только финансовые вопросы Россіи; когда о нихъ заговаривали, у него зажигался взглядъ, у него прояснялось лицо и онъ говорилъ о нихъ такъ, какъ не говорилъ ни о чемъ другомъ, съ отзвукомъ душевнаго участія, съ отголоскомъ любви къ Россіи... Обо всемъ остальномъ онъ говорилъ, роняя слова, и то неохотно, и перемѣшивая ихъ то саркастическою усмѣшкою, то скептическимъ словомъ, то остроумною эпиграммою въ прозѣ и производилъ впечатлѣніе скептика, на все глядѣвшаго съ добродушнымъ, хотя и презрительнымъ равнодушіемъ.

Князь Горчаковъ былъ не только его министромъ, но и его пріятелемъ. Оттого мнѣ приходилось слышать, что знавшіе Мальцева близко упрекали Горчакова за то, что онъ никогда не воспользовался своимъ голосомъ, чтобы рекомендовать Мальцева Государю, какъ кандидата для министерства финансовъ: хотя, съ другой стороны, можно было предвидѣть, что даже Государю, если бы Онъ лично сдѣлалъ Мальцеву предложеніе министерскаго портфеля, Мальцевъ отвѣтилъ бы то, что говорилъ у насъ въ гостиной: «гдѣ намъ, дуракамъ, чай пить», или: «въ калачный рядъ съ суконнымъ рыломъ не лазь», или: «я слишкомъ старъ».

А между тѣмъ, что насъ всѣхъ впечатляло, когда Мальцевъ говорилъ о финансовыхъ вопросахъ, — это ясность его взглядовъ, простота его мыслей и мѣткость его обвиненій. Впрочемъ, можетъ быть, и другое помѣшало бы карьерѣ Мальцева, какъ финансиста, именно въ это время,—это направле[illegible] финансовой политики. Хотя

финансовыхъ головъ никто тогда не встрѣчалъ, но направленіе финансовой политики чуялось въ атмосферѣ довольно отчетливо и оно было, какъ все въ то время, строго либеральное, т.-е. склонное къ доктринѣ свободной мѣны и недовѣрчивое къ протекціонизму. А Мальцевъ былъ глубоко убѣжденный протекціонистъ. Его любимою темою для размышленій было доказывать необходимость усиленія внутренней производительности — во чтобы то ни стало.

Его финансовыя убѣжденія въ немъ складывались подъ вліяніемъ двухъ точекъ зрѣнія: во-первыхъ, фабриканта, такъ какъ онъ былъ однимъ изъ крупныхъ производителей въ стеклянномъ дѣлѣ, и, во-вторыхъ—государственнаго человѣка.

Но въ то время, если съ нимъ совѣтовались для формы и оффиціально по дипломатическимъ дѣламъ, за то никто не совѣтовался съ нимъ, какъ съ финансистомъ умнымъ и знающимъ.

Скромность и извѣстнаго рода застѣнчивость, не взирая на года, удерживали этого человѣка во всю его жизнь въ самомъ отдаленномъ отъ свѣта уединеніи; онъ избѣгалъ свѣтскихъ отношеній и вездѣ всегда сторонился отъ людей. Владѣя огромнымъ состояніемъ, онъ жилъ, какъ пассажиръ на станціи, не зная ни домашняго очага, ни, еще менѣе, своего дома. Часть зимы онъ жилъ старымъ холостякомъ въ одной комнаткѣ въ домѣ своего двоюроднаго брата, а другую часть проводилъ за границею, гдѣ нанималъ маленькій номерокъ и жилъ, какъ бѣднякъ, отказывая себѣ во всемъ, что не было крайнею нуждою. Это былъ скупѣйшій изъ скупыхъ людей, но не изъ тѣхъ, которые скупы по обожанію къ деньгамъ, изъ

страсти скопить,—нѣтъ, онъ былъ скупой скорѣе изъ ненависти къ проявленіямъ богатства въ видѣ роскоши и комфорта, въ видѣ людского культа къ богатству и во всемъ отказывая себѣ, онъ, какъ говорили тогда, былъ очень широкъ въ своихъ затратахъ на фабричное дѣло и на самихъ рабочихъ. Во всякомъ случаѣ, онъ былъ оригиналенъ тѣмъ, что издерживалъ на себя только самую ничтожную часть своихъ доходовъ и гордился этимъ. И, надо думать, что если онъ никогда не женился, то, вѣроятно, по той же причинѣ, по которой онъ отказался бы отъ какого-нибудь высокаго поста, чтобы не имѣть дома и не издерживать на ненужное деньги. Жизнь философа и анахорета посреди людей ему нравилась, онъ ею наслаждался, она давала ему здоровье, спокойствіе и своего рода счастье.

Въ это время я познакомился съ другимъ оригинальнымъ типомъ анахорета въ шумномъ и суетливомъ Петербургѣ... Это былъ тайный совѣтникъ Мозовской... Онъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе своимъ аскетизмомъ, доведеннымъ, съ самою полною естественностью и простотою, до идеала. Онъ служилъ, кажется, у принца Ольденбургскаго, былъ однимъ изъ учениковъ и почитателей Андрея Николаевича Муравьева, но пока его учитель жилъ въ страстномъ желаніи попасть въ оберъ-прокуроры святѣйшаго сѵнода, — Мозовской свою глубокую вѣру довелъ до признанія, что человѣку ничего не нужно на землѣ, кромѣ чистой и спокойной совѣсти. Отдавая ему визитъ на Пантелеймонской, гдѣ онъ жилъ въ меблированныхъ комнатахъ, я засталъ у него въ комнатѣ кровать, два стула, столикъ, полотенце и маленькій комодъ...

— А гдѣ же ваши вещи?—спроси[illegible] удивленно.

— Какія вещи, — отвѣтилъ онъ мнѣ удивленно:—у меня вещей нѣтъ.

— И ни одной книжки?

— Ни одной: все это лишнее, все это балластъ; я давно съ вещами развязался на землѣ: надо жить налегкѣ, чтобы легко умирать было,—сказалъ онъ самымъ естественнымъ тономъ.—Часъ пробьетъ, готовъ, ничѣмъ не окажусь связаннымъ!..

И въ то же время это былъ пріятный и веселый собесѣдникъ, интересовавшійся всѣмъ, что вокругъ него жило, безъ малѣйшихъ признаковъ суроваго аскетизма въ словахъ или во взглядахъ и, что цѣннѣе всего было въ немъ, — никогда никого не осуждавшій во имя своей строгой нравственности, а на всѣхъ глядѣвшій съ любезностью, съ добродушіемъ и снисходительностью. Все жалованье свое онъ раздавалъ нуждающимся, а какъ и кому никто не зналъ.

Послѣ я никогда второго такого человѣка не встрѣчалъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова человѣкъ евангельскаго міра, переселенный въ Петербургъ въ XIX вѣкѣ, для котораго людской свѣтъ былъ обстановкою для жизни, но въ то же время ни въ чемъ онъ не былъ связанъ съ жизнью.

Онъ жилъ и наслаждался жизнью развязанный отъ нея совсѣмъ.

Я упомянулъ объ Андреѣ Николаевичѣ Муравьевѣ. Вотъ тоже замѣчательно типичная личность. Громаднаго роста, съ курчавыми прекрасно сохранившимися густыми волосами, съ бритымъ лицомъ, небольшими чертами лица, онъ напоминалъ собою скорѣе типъ шотландскаго лорда, чѣмъ русскаго человѣка. Это былъ пріятный, остроумный и богатый начитанностью собесѣдникъ.

Онъ писалъ умно и красиво и составилъ себѣ имя лучшаго знатока нашей церковной исторіи, нашего Востока и нашей церковной догматики, но какъ всѣ Муравьевы, онъ не могъ похвастаться, не смотря на доброе сердце, своимъ характеромъ,—отчасти тяжелымъ, отчасти капризнымъ и весьма часто неуживчивымъ.

Его жизнь была драматическая въ томъ отношеніи, что цѣлью ея онъ себѣ намѣтилъ быть оберъ-прокуроромъ сунода, подходилъ къ ней близко, все время тогда, когда я его зналъ, вращался около нея, но не достигъ ея. Тѣмъ не менѣе, имя его для русскаго духовенства было не только извѣстно, но звучало какимъ-то страшилищемъ. Всякій архіерей и всякій петербургскій священникъ знали, что Андрей Николаевичъ вхожъ къ высшимъ іерархамъ и боялись его. Въ церковь онъ ходилъ и молиться, и повѣрять чинъ богослуженія; за чинонарушеніе онъ бранилъ священника и я думаю, что главною причиною, почему А. Н. Муравьевъ никогда не достигъ своей жизненной цѣли, былъ именно страхъ его имени между попами, и хотя Филаретъ московскій его жаловалъ своимъ расположеніемъ и давалъ ему помѣщеніе, чуть-ли не свои покои, въ домѣ Троицкаго подворья, на Фонтанкѣ, но надо полагать, что онъ первый подалъ бы голосъ противъ назначенія Муравьева на оберъ-прокурорское въ сунодѣ мѣсто—по той причинѣ, по которой у насъ такъ много способныхъ людей отстранялось отъ высшихъ постовъ на службѣ: онъ былъ безпокойный человѣкъ.

Я помню А. Н. Муравьева [illegible] нашей приходской церкви, у Симеона, въ алтарѣ [illegible] онъ. ни священникъ не забывалъ [illegible] ча ея [illegible] дить [illegible] кій

разъ, какъ стоялъ въ алтарѣ Муравьевъ, служба была куда строже, чѣмъ безъ него...

Въ этой церкви бывалъ другой замѣчательно типичный старикъ, графъ Комаровскій — сѣдой и тоже рослый старикъ. Онъ стоялъ за амвономъ и раза три за обѣднею вспоминалъ позабытыхъ имъ въ поминальныхъ запискахъ, которыя приносилъ священнику въ алтарь для вынутія просфоры, и всякій разъ бѣгалъ въ алтарь для дополнительнаго поминовенія. Муравьевъ называлъ эту троекратную бѣготню графа Комаровскаго троекратными путешествіями капитана Кука и говорилъ, когда кто опаздывалъ въ церковь: какъ не стыдно, капитанъ Кукъ уже свершилъ второе путешествіе.

Я упомянулъ имя графа Комаровскаго.

Вотъ тоже была оригинальная и типичная личность.

Я съ нимъ часто видался у пріятельницы его, одной изъ умнѣйшихъ женщинъ того времени, моей тетушки, княжны С. И. Мещерской, и послѣ никогда не встрѣчалъ подобнаго ему образованнаго и начитаннаго человѣка. Своимъ образованіемъ онъ воспользовался, чтобы лично воспитать и обучить всѣхъ своихъ дѣтей — а у него ихъ было много, — и въ тоже время онъ успѣвалъ, какъ цензоръ иностранной печати, прочитывать массу книгъ, и не взирая на старость, онъ все читалъ съ увлеченіемъ юноши, и отчетливо помнилъ все то многое и разнообразное, что читалъ.

Подъ конецъ жизни съ нимъ случилось курьезное явленіе. Какъ цензоръ, онъ такъ много долженъ былъ читать книгъ противъ христіанства, что, какъ тогда говорили, онъ сталъ колебаться и сомнѣваться въ своей давнишней твердой вѣрѣ. Это сомнѣніе стало его озабочивать и мучить до такой степени, что онъ къ каждому

близкому человѣку обращался съ своими вопросами сомнѣнія. Покойный Тютчевъ, бывши тогда предсѣдателемъ того комитета иностранной цензуры, гдѣ гр. Комаровскій былъ членомъ, разсказывалъ, что бѣдный графъ Комаровскій даже къ экзекутору комитета обращался съ теологическими вопросами, и уходилъ отъ него смущенный тѣмъ, что этотъ экзекуторъ признавалъ такіе вопросы до него не касавшимися. По этому поводу Тютчевъ сказалъ прелестное слово: ce pauvre Komaroffsky,—сорвалось у него однажды съ языка, какъ всегда, какъ будто нечаянно,—il veut décider la question de l'immortalité de l'ame par le suffrage universel (бѣдный Комаровскій, онъ хочетъ рѣшить вопросъ о безсмертіи души посредствомъ всеобщаго голосованія).

Семью Тютчевыхъ я помню съ дѣтства, какъ одну изъ самыхъ близкихъ къ нашей семьѣ и прежде къ карамзинской семьѣ. Душой и сердцемъ этой семьи была прелестная Эрнестина Ѳедоровна, вторая жена Ѳ. И. Тютчева, поэтичная и высокая женщина, въ которой умъ, сердце, и прелесть женщины сливались въ одно гармоничное и граціозное цѣлое... Самъ Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ былъ чѣмъ-то въ родѣ витающаго духомъ въ своей семьѣ... Онъ всюду казался случайно залетѣвшею птичкою и дома въ своей прекрасной и симпатичной семьѣ тоже... Изъ многихъ оригинальныхъ типовъ той епохи, мною видѣнныхъ, Ѳ. И. Тютчевъ помнится мнѣ какъ самый оригинальный.

Онъ былъ олицетвореніемъ и осуществленіемъ поэта въ жизни: реальная проза жизни для него не существовала... Онъ жизнь свою дѣлилъ между поэтическими и между политическими впечатлѣніями и, отдаваясь имъ, онъ могъ забывать врем[illegible]сто и подавно такія прозаи-

ческія вещи, какъ ѣду, сонъ или такія стѣсняющія свободу вещи, какъ аккуратность, дисциплина, придворный этикетъ... Про него разсказывали два характерныхъ эпизода. Одинъ,—когда, будучи временно начальникомъ миссіи гдѣ-то въ Италіи, онъ забылъ о ней, по разсѣянности ключъ отъ ея дверей засунулъ въ карманъ и отправился гулять по Европѣ, никого не спросивши и никого не предупредивши. Пришлось искать ключъ отъ квартиры миссіи и самого Тютчева, пропавшаго безъ вѣсти, искать, пока недѣли черезъ три онъ самъ не вспомнилъ, что брошенная имъ миссія, вѣроятно, его ищетъ... Другой эпизодъ,—когда гдѣ-то за гроницею онъ до того занемогъ, что долженъ былъ слечь въ постель и послать за докторомъ, который обнаружилъ, что Тютчевъ собирался умереть съ голода, потому что въ политическихъ волненіяхъ того времени совсѣмъ забылъ, что надо ѣсть... Эта необходимость стѣсняться образомъ жизни на дипломатической службѣ заставила его ее бросить, и продолженіемъ его служебной карьеры оказалось то мѣсто предсѣдателя комитета иностранной цензуры, на которомъ онъ и остался до кончины, и гдѣ одно время при Тютчевѣ было царство поэзіи: Тютчевъ—предсѣдатель, и А. Н. Майковъ и Полонскій—члены...

Свои прелестные стихи, какъ и свои прелестныя слова Тютчевъ ронялъ, какъ цвѣты мгновеннаго вдохновенія... Онъ не зналъ, что значитъ сочинять стихи; они создавались въ ту минуту какъ созвучіемъ нужно было высказать мысль или чувство, наскоро онъ набрасывалъ ихъ на клочкѣ бумаги, и затѣмъ ронялъ, позабывая о нихъ, на полъ, а жена его подбирала; или онъ вдругъ импровизировалъ, а жена его записывала выливавшіяся изъ души его мысли и чувства въ стихахъ. Какъ-то разъ,

вернувшись домой подъ проливнымъ дождемъ, Тютчевъ стоялъ въ своемъ кабинетѣ, терпѣливо глядя, какъ камердинеръ подъ надзоромъ жены снималъ замоченный сюртукъ... Стоитъ и съ устъ его падаютъ тѣ прелестные стихи: «Слезы людскія», которыя онъ такъ поэтично уподоблялъ каплямъ дождя.

Точно также падали съ устъ его умныя слова.... Онъ говорилъ медленно, изящно и спокойно... Но тогда, когда его задѣвали за живое русское чувство, или когда кто нибудь его раздражалъ своими сужденіями, онъ выходилъ изъ себя и говорилъ съ огнемъ... Образецъ первой рѣчи: одного изъ сановниковъ при немъ бранили, Тютчевъ, когда смолкли рѣчи, сказалъ медленно и спокойно: oui, c'est un lion, je dis lion, pour dire que c'est le roi des animaux. Образецъ второй рѣчи, оживленной: Тютчевъ слушаетъ одного князя, говорящаго либеральныя глупости, слушаетъ, и я вижу, что его коробятъ глупыя слова, онъ ежится, ворочается въ креслѣ, морщится и, наконецъ, когда ему стало не въ мочь, онъ вскакиваетъ... и, обращаясь къ собесѣднику, восклицаетъ: ah, cher prince, si vous pouviez apprècier la sottise de vos inspirations, vous nous en feriez grace... (О, дорогой князь, если бы вы могли оцѣнить глупость вашего вдохновенія, вы бы насъ пощадили). Бѣдный князь-ораторъ долженъ былъ проглотить этотъ возгласъ старика Тютчева.

Когда князь Вяземскій написалъ свое прелестное стихотвореніе «Русскій Богъ», Тютчевъ сказалъ: il faut avouer pourtant que les fonctions du Русскій Богъ ne sont pas une sinécure. Тютчевъ любилъ солнце; помню какъ вчера его живописную позу, на Невскомъ проспектѣ, лѣтомъ, въ сильнѣйшій зной, онъ сидитъ развалившись на скамейкѣ дворника, у дома армянской церкви, гдѣ

онъ жилъ, на панелѣ, и читаетъ газеты. Помню тоже, какъ, уходя отъ меня однажды вечеромъ, онъ беретъ первую попавшуюся шубу и говоритъ лакею: все равно, скажите хозяину этой шубы, что я ее принялъ за свою. Его камергерскій мундиръ былъ очень поношенъ; ему говорятъ по-французски: да сшейте себѣ новый мундиръ, Государь васъ замѣтитъ и обидится.

— Mais l'Empereur m'a deja vu dans cet uniforme,— отвѣчаетъ Тютчевъ.

— Et il ne vous a rien dit?

— Rien, il m'a seulement regardé avec mélancholie.

Тютчевъ былъ глубоко русскій человѣкъ въ своихъ политическихъ убѣжденіяхъ, и въ тоже время глубоко искренный. Оттого онъ ненавидѣлъ либерализмъ того времени, потому что считалъ его космополитизмомъ и совсѣмъ не русскимъ; а въ силу его глубокой искренности онъ не зналъ, что значитъ неискренняя рѣчь... При Дворѣ, гдѣ Императрица Марія Александровна его очень цѣнила, онъ говорилъ такъ же мало стѣсняясь въ своей искренности, какъ у себя дома...

Въ этомъ отношеніи его три старшія дочери, а въ особенности старшая Анна Ѳедоровна, вышедшая потомъ за И. С. Аксакова, были достойными его дѣтьми. Императрица Марія Александровна, когда она была Цесаревною, выбрала себѣ двухъ замѣчательныхъ по уму и по качествамъ фрейлинъ, княжну А. С. Долгорукову, потомъ вышедшую замужъ за Альбединскаго, и А. Ѳ. Тютчеву; второй потомъ поручено было воспитаніе Великой Княжны Маріи Александровны. Искренность и правдивость этой умной женщины была замѣчательна. Чадъ, чары и ядъ Двора до нея не только не касались, но не доходили близко. Не то что словами, но улыбкою, глазами она и

умѣла выразить то, что не думала, а зато, что думала, она высказывала всегда и вездѣ прямо и безбоязненно. Сколько разъ я помню въ мои молодые годы приходилось на царскосельскихъ вечернихъ собраніяхъ слышать, какъ говорила А. Ѳ. Тютчева; бывало она, склонивъ голову и глядя на скатерть, такія вещи высказывала въ правдивой рѣчи, что съ одной стороны и страхъ бралъ, ибо Государь слышалъ эти рѣчи, и смѣхъ бралъ при видѣ испуганныхъ этою правдою физіономій царедворцевъ; но Государь искренно любилъ и уважалъ Анну Ѳедоровну Тютчеву и не стѣснялъ ея свободы рѣчи; я не замѣчалъ, чтобы онъ сердился, хотя иногда онъ отвѣчалъ ей колкости. У Государя было то, что французы называютъ la repartie vive, и въ долгу Онъ передъ Анною Ѳедоровною никогда не оставался... Но Анна Ѳедоровна была чудною личностью не этимъ, а тѣмъ, что черезъ нея, черезъ ея теплое благородное сердце проходило и доходило до Царей столько жизненной правды въ видѣ людскихъ несчастій, что нельзя было ее не любить и не благословлять какъ добраго генія при Дворѣ... Сколькимъ она помогла! Сколькихъ она спасла...

XXX.

(1863 годъ).

Князь В. А. Долгоруковъ, графъ А. К. Толстой и графиня А. Д. Блудова.

Достойно вниманія лѣтописца то обстоятельство, что когда душою III отдѣленія былъ такой страшный человѣкъ, какъ Дубельтъ, тогда оно было страшно и устрашало настолько, что бороться съ нимъ рѣшались немногіе изъ либераловъ.

Когда же во главѣ этого III отдѣленія очутился такой человѣкъ, какъ генералъ-адъютантъ князь Василій Андреевичъ Долгоруковъ, тогда оно приняло окраску чего-то мягкаго и любезнаго, какимъ былъ самъ князь, и перестало быть страшнымъ. Надъ домомъ шефа жандармовъ пересталъ мерещиться грозный образъ Дубельта, съ поднятымъ угрожающимъ кулакомъ, и смѣнило его сладкое видѣніе — добраго съ милою улыбкою лица князя Василія Андреевича. И тогда, во исполненіе печальнаго закона человѣчества, всѣ крайніе либералы воспользовались этою доброю и честною личностью, чтобы храбро свершать свои походы въ область соціализма и записываться въ политическіе дѣятели.

Личность этого государственнаго человѣка, сдѣлавшаяся главнымъ въ первый періодъ царствованія Императора Александра II, во многихъ отношеніяхъ заслуживала самаго сочувственнаго вниманія. Онъ былъ полнѣйшимъ олицетвореніемъ не только вельможи стараго

благороднаго закала, но необыкновенно деликатнаго человѣка. Нѣкоторые говорили про него, что онъ былъ простъ умомъ, но этого никакъ нельзя было про него сказать; напротивъ, у него былъ тонкій и быстро охватывавшій умъ, но главный недостатокъ этого ума былъ тотъ, что онъ не умѣлъ сосредоточиваться и углубляться въ предметы, а предпочиталъ скользить по поверхностямъ вопросовъ. Это былъ общій, такъ сказать, недостатокъ его ума; а затѣмъ, для шефа жандармовъ умъ его имѣлъ тотъ недостатокъ, что онъ слишкомъ подчинялся его доброму сердцу и той деликатности, про которую я сейчасъ писалъ.

Привѣтливая, добрая и благородная улыбка никогда не покидала князя Василія Андреевича, даже тогда, когда отъ него требовали, чтобы онъ являлся грознымъ представителемъ своего страшнаго вѣдомства. А улыбка эта была отраженіемъ его постоянно свѣтлаго и привѣтливаго настроенія духа. Изъ разговора съ нимъ получалось впечатлѣніе, что умъ князя Василія Андреевича никакъ не могъ усвоить себѣ представленіе о какомъ-либо подлецѣ, или о какомъ-нибудь зломъ политическомъ преступникѣ. Онъ не понималъ ни нравственнаго уродства, ни жизни, посвященной преступному замыслу. Онъ не вѣрилъ ни въ полноту преступнаго замысла, ни въ полноту испорченности человѣка, и все, что до него доходило, онъ торопился относить насчетъ увлеченія, на счетъ заблужденія, и гораздо больше боялся строгости на своемъ мѣстѣ, чѣмъ опасности отъ политическихъ злоумышленниковъ, и ни разу—это можно навѣрное сказать—не останавливался на мысли, что будь онъ строгъ въ извѣстныхъ случаяхъ, или допусти онъ строгость, — онъ, вѣроятно, спасъ бы Россію отъ ужасной послѣдующей эпохи политическаго

растлѣнія. На бѣду тогда былъ цѣлый тріумвиратъ мягкости, коего центръ былъ князь В. А. Долгоруковъ: онъ, министръ внутреннихъ дѣлъ Валуевъ и министръ юстиціи Замятинъ. Передъ этимъ тріумвиратомъ Муравьевъ въ Вильнѣ и графъ Бергъ въ Варшавѣ являлись какими то страшными звѣрями Апоколипса, Валуевъ былъ помѣшанъ на своей idée fixe, что полнота оркестра требуетъ и рѣзкихъ звуковъ того или другого инструмента (это были будущіе анархисты). Замятинъ все говорилъ: «надо помягче, надо помягче», а тогдашній шефъ жандармовъ усовѣщевалъ Огрицко во имя порядочности. И какъ будучи военнымъ министромъ при Императорѣ Николаѣ, князь Василій Андреевичъ Долгорукій никакъ не могъ себѣ представить мысли о возможности пользоваться войною, чтобы набивать себѣ карманы, и, вслѣдствіе этого, кражи и хищенія интендантства доходили до невѣроятныхъ размѣровъ, такъ и въ царствованіе Алекрандра II онъ никакъ не могъ себѣ представить, чтобы люди захотѣли воспользоваться добротою и довѣріемъ Государя къ либерализму для обращенія его въ оружіе противъ самого Государя, и этимъ именно пользовались люди, чтобы работать смѣло и дружно противъ власти и порядка.

И на бѣду, врагъ по своему характеру всякихъ энергическихъ мѣръ противъ начавшейся тогда заразы соціализма, князь Василій Андреевичъ Долгоруковъ являлся въ то же время союзникомъ Валуева въ его борьбѣ противъ Муравьева и русской партіи въ польскомъ вопросѣ; это было неизбѣжное послѣдствіе его кроткаго и миролюбиваго характера: не одобряя крутыхъ мѣръ противодѣйствія, какъ шефъ жандармовъ, въ области политическихъ дѣлъ, князь В. А. Долгоруковъ не симпатизировалъ и крутымъ мѣрамъ Муравьева въ Вильнѣ, какъ бы разумны онѣ ни

были, и какъ бы ни были и очевидны благіе ихъ результаты. Этимъ Валуевъ и пользовался, чтобы въ своемъ ратоборствѣ противъ Муравьева окрылиться поддержкою князя Долгорукова, и благодаря именно этому сталъ возможенъ фактъ, что такъ скоро, послѣ блестящихъ успѣховъ Муравьева, Валуеву удалось ему сломать шею. Этому же тогда помогъ и начинавшій выступать въ роли государственнаго человѣка графъ Петръ Андреевичъ Шуваловъ. Онъ былъ въ роли Дубельта при князѣ Долгоруковѣ. Потомъ мнѣ стало казаться, что по отношенію политической терпимости князя Долгорукова, какъ шефа жандармовъ, графъ Шуваловъ держался принципа laisser faire, ибо съ тонкимъ и дальновиднымъ умомъ онъ, вѣроятно, отлично понималъ, что прійдетъ часъ, когда доброта князя Долгорукова окажется слабостью, и вызоветъ нужду въ человѣкѣ болѣе энергичномъ, чѣмъ князь Долгоруковъ, на постѣ шефа жандармовъ, и тогда онъ могъ быть на готовѣ; но относительно Муравьева и польскаго вопроса, несомнѣнно, Валуевъ потому находилъ въ князѣ Долгоруковомъ такого могущественнаго протектора и союзника, что за спиною князя стоялъ энергичный, умный и даже страстный въ этомъ вопросѣ противникъ Муравьева въ лицѣ графа Шувалова.

При Дворѣ тогда, какъ я говорилъ, это мягкое направленіе очень сильно брало верхъ надъ тѣмъ, которое въ Муравьевѣ находило геніальнаго борца за русскую народность и за русское единодержавіе. Борьба была неровная, ибо за Муравьева въ то время были только двѣ женщины, Анна Федоровна Тютчева и графиня Блудова, послѣ [illegible]чины отца пожалованная въ камеръ-фрейлины и пер[illegible]ля во дворецъ. Императрица, не смотря [illegible]тихъ дв[illegible]ихъ къ ней [illegible]щинъ, была поколе-

блена сильными вліяніями придворныхъ политикановъ противъ Муравьева. Я назвалъ князя Суворова, но онъ былъ недостаточно уменъ, чтобы имѣть сильное вліяніе; онъ только громко кричалъ и ругался, а тутъ же были люди умные, коихъ космополитическое вліяніе было гораздо сильнѣе Суворовскаго. Два графа Шувалова, отецъ графъ Андрей Петровичъ и сынъ его графъ Петръ, затѣмъ князь Василій Андреевичъ Долгоруковъ, затѣмъ Мраморный дворецъ; тутъ же Иванъ Матвѣевичъ Толстой, баронъ Ливенъ, постоянные habitué Государя, графъ Віельгорскій, затѣмъ, съ своими острыми шутками князь Вяземскій и, наконецъ, графъ Алексѣй Толстой, одинъ изъ друзей Государя, имѣвшій за собою право всегда правдиваго и всегда смѣлаго и откровеннаго голоса. Еще ближе подходило вліяніе вступившей тогда въ положеніе приближенной Императрицы, женщины умной и живой, Анастасіи Николаевны Мальцевой, урожденной княжны Урусовой, и вотъ всѣ эти лица вмѣстѣ представляли при Дворѣ силу, противодѣйствовавшую съ одной стороны общественному мнѣнію, крѣпко поддерживавшему, съ Катковымъ во главѣ, Муравьева, а съ другой стороны, такимъ одинокимъ представителямъ русскаго настроенія, какъ были графиня Блудова и А. Ф. Тютчева.

Я назвалъ графа Алексѣя Толстого. Я съ нимъ тогда познакомился. Это былъ интересный и очаровательный типъ, но въ то же время, съ перваго дня, когда я съ нимъ познакомился, я чувствовалъ полную невозможность свои карамзинскія убѣжденія примирять съ мыслями и убѣжденіями графа А. К. Толстого.

Это былъ идеалъ благородства, правды и искренности; объ его честности и говорить нечего; но именно вслѣдствіе этихъ высокихъ нравственныхъ качествъ, какъ

тогда, такъ и послѣ, никто, ни одинъ изъ его друзей и никакіе уроки событій не могли совладать съ его оригинальными историческими міровоззрѣніями, которыя онъ любилъ, какъ культъ поэта и какъ вѣроисповѣданіе своего собственнаго политическаго катехизиса, съ фанатизмомъ горячей души и съ убѣжденіемъ, что въ нихъ отражаются всѣ идеалы нравственности, и что идеалы эти другихъ проявленій, какъ именно такихъ политическихъ убѣжденій имѣть не могутъ и перестаютъ быть идеалами, какъ только соединяются съ узкими, по его понятіямъ, задачами народности, православія и т. д. Его главною духовною стихіею была свобода, опять-таки въ идеальномъ значеніи этого слова, и въ этомъ культѣ свободы онъ, когда переходилъ на почву практическую, самымъ искреннимъ и теплымъ образомъ предпочиталъ многое на Западѣ Европы многому русскому только потому, что тамъ находилъ больше уваженія къ свободѣ, чѣмъ у насъ. Съ молодости его свобода перестала мириться съ мундиромъ. Онъ оставилъ блестящую карьеру флигель-адъютанта и оставилъ Дворъ, хотя остался при Государѣ и при Императрицѣ на положеніи друга.

Я назвалъ графиню Блудову.

Графиня Антонина Дмитріевна Блудова была одною изъ замѣчательныхъ русскихъ женщинъ своего времени. При жизни ея отца, графиня была душою Блудовской гостиной, гдѣ собирались всѣ тѣ русскіе люди, которые мало интересовались свѣтскими салонными сплетнями или чиновничьими вопросами. Кромѣ того, дверь Блудовской гостиной была широко открыта для братьевъ-славянъ, и спеціально, разумѣется, для то [illegible] нофиловъ.

Графъ Дмитрій Никола[illegible] ро
помню, былъ мало сооб[illegible]

паче всего свой рабочій кабинетъ, свои кабинетныя работы, и въ промежутки между многочисленными дѣлами не любилъ вставлять свѣтскую жизнь. Вотъ почему душею его гостиной была его дочь. Богъ далъ ему прекрасную старость и прекрасный конецъ. Онъ скончался тихо и безболѣзненно и непостыдно мирно, если не ошибаюсь, 19 февраля, годъ спустя послѣ великаго 19 февраля, славословя и благословляя этотъ день своею русскою, благолюбивою душою.

Какъ я говорилъ, послѣ кончины своего отца, графиня Антонина Дмитріевна переѣхала на жительство въ Зимній Дворецъ... Тамъ ея жилище стало средоточіемъ для всѣхъ живыхъ русскихъ людей, и для всѣхъ жизненныхъ вопросовъ. Странное впечатлѣніе испытывалъ тотъ, кто попадалъ въ это жилище жизненной правды... въ одномъ изъ коридоровъ Зимняго Дворца... Кругомъ въ этомъ Дворцѣ все жило и волновалось злобами дня міра придворнаго; крошечные вопросики его тутъ казались громадными вопросами; интрига и сплетня, какъ культъ, имѣли свои храмы въ разныхъ углахъ громаднаго Зимняго Дворца и вдругъ, посреди всего этого вѣчно бушующаго моря, вы входите въ гостиную графини Блудовой и тамъ вы сразу видите и слышите, что тутъ все кипитъ самыми животрепещущими вопросами русской жизни, между которыми нѣтъ мѣста для малѣйшей сплетни, для малѣйшей интриги. Съ утра до поздняго вечера эта гостиная графини Блудовой была открыта для каждаго, кому нужно было подѣлиться русскими чувствами... Всѣхъ помню въ этой гостиной, но не запомню встрѣчи съ дипломатами, съ поляками и съ нѣмцами... Помню я тамъ встрѣчи съ умными москвичами, славянофилами и съ профессорами; помню я тамъ хъ славянъ, помню встрѣчи съ мировыми по-

средниками, помню русскихъ дѣятелей изъ Западнаго края, помню офицериковъ и генераловъ, помню священниковъ, помню въ особенности ту живую и никогда не истощавшуюся бесѣду о вопросахъ тогдашняго времени, гдѣ каждый говорилъ, давая волю своей душѣ своему сердцу; помню чистодушную улыбку милой графини-хозяйки, отражавшую радость, когда она, какъ русская, чему-нибудь радовалась, чѣмъ-нибудь гордилась, помню и эти чудныя слезы, которыя подчасъ катились по ея лицу отъ состраданія къ чужому горю, отъ боли за русскую бѣду; помню, какъ, побывавъ въ этой гостиной, уносилъ съ собою въ душѣ впечатлѣнія о чемъ то ободряющемъ и вдохновляющемъ добромъ для жизни.

Да, это была замѣчательная въ петербургскомъ свѣтѣ русская женщина. Она жила только любовью къ Россіи. Всякій день эта любовь создавала для нея новыхъ духовныхъ братьевъ, новыхъ духовныхъ дѣтей, новыхъ друзей, и все, гдѣ ея отзывчивое сердце находило русскій вопросъ чести или пользы, она принимала къ сердцу и переносила въ свою гостиную, какъ свою собственную душевную заботу.

Она вѣрила въ русскаго человѣка, душою никогда не лгавшею ни себѣ, ни людямъ, ни Богу, и что удивительнаго, если вслѣдствіе этого честные труженики русскаго дѣла чувствовали себя у нея, какъ дома, а нечестные вслѣдствіе этого же ее обманывали. Быть обманутымъ— это удѣлъ такихъ прекрасныхъ личностей. Никого такъ часто не обманывали, какъ Татьяну Борисовну Потемкину; никого такъ часто не обманывали, какъ графиню Блудову; но нельзя было не благоговѣть передъ [illegible] женщинами, потому именно, что эти об[illegible] разочаровывали и не охлаждали

ненному дѣлу; они помнили, что грѣшно изъ-за одного обманувшаго недовѣрить десяти обращающимся къ нимъ искренно.

Я сказалъ, что не помню въ гостиной графини Блудовой поляковъ, нѣмцевъ и дипломатовъ. Это не полная характеристика, для полности ея надо прибавить, что тамъ нельзя было найти свѣтскаго пустомелю и тогдашнихъ нашихъ hommes d'état. Имъ гостиная графини Блудовой была не по вкусу своею откровенностью въ обращеніи съ государственными вопросами, а потому они избѣгали ее, сколько помню; избѣгали ее тоже и наши владыки, изъ *мудраго* опасенія показаться начальству слишкомъ преданными православію и недостаточно преданными оберъ-прокурорству.

Какъ счастлива была милая и добрая Татьяна Борисовна Потемкина, когда Богъ ей послалъ увидѣть осуществленіе ея главной мечты: возсозданія и возрожденія во всей славѣ и красѣ его свято-горской обители, этого огромнаго пріюта молитвы и труда въ Харьковской губерніи; помню тоже, какъ счастлива была графиня Антонина Дмитріевна Блудова тѣмъ, что Богъ ей далъ въ Острогѣ Волынской губерніи, осуществить святую мечту и создать кирилло-меѳодіевское братство, во славу русскаго дѣла и православной церкви.

Наши великосвѣтскіе скептики, все смѣялись надъ ней: la comtesse Bloudoff avec son братство, подшучивали они; однако, какое прекрасное, живое и живительное учрежденіе она одна, своею энергіею, своею любовью, и своею вѣрою сумѣла и на другой день повстанія создать, оставить, повести и вдохновить на Волыни, привлекая дниковъ не орденами и чинами, а только сочувъ къ дѣлу и вѣрою къ себѣ.

Запомнилъ одинъ моментъ на вечерѣ въ Китайской гостиной у Ихъ Величествъ въ эту осень, вызвавшій во мнѣ глубокія впечатлѣнія, и гдѣ главнымъ страдательнымъ лицомъ была бѣдная и милая графиня Блудова. Она только что вернулась изъ своего имѣнія въ Смоленской губерніи, и полна была впечатлѣніями отъ новаго крестьянскаго житья-бытья, на которое она глядѣла очами своей прекрасной души. Сидѣла она за главнымъ чайнымъ столомъ, неподалеку отъ Императрицы, и въ извѣстную минуту съ нею рядомъ сѣлъ Государь.

Государь началъ ее разспрашивать про ея поѣздку въ деревню, и я вижу, какъ во время разговора лицо графини какъ бы озаряется какимъ-то вдохновеніемъ сердца, и какъ затѣмъ капнули изъ глазъ двѣ, три слезинки умиленія, то была минута, когда она говорила Государю о благодарности къ нему народа.

Государь слушалъ ее, потомъ я вижу, какъ Его свѣтлое и доброе лицо вдругъ отуманилось и съ грустью въ глазахъ и на челѣ, смѣнившей улыбку, онъ говоритъ графинѣ Блудовой: ah chère comtesse, c'est de l'idylle.

Графиня смутилась, и даже испугалась.

— Comment de l'idylle, c'est la pure vérité, pouvez vous douter de la reconnaissance du peuple russe?

— Helas,—съ тою же грустью отвѣчаетъ Государь,— je ne crois plus à la reconnaissance humaine.

Бѣдная графиня, собиравшаяся обрадовать, тронуть, утѣшить Государя, въ этотъ годъ не мало пострадавшаго, была въ этотъ вечеръ какъ убитая словами Государя. Ее мучила мысль, сколько же долженъ былъ перестрадать бѣдный Государь, если т и такъ скоро онъ могъ прійти къ такому ра дѣйствительно, во многомъ оп многое должно

было его глубоко огорчить, если вспомнить, что два года передъ тѣмъ, сіяя восторженною радостью, онъ сказалъ 19 февраля 1861 г. Аннѣ Федоровнѣ Тютчевой: aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie.

Я остановился долго на графинѣ Блудовой.

Дѣло въ томъ, что, войдя въ ея гостиную, я, несмотря на свою молодость, почувствовалъ и понялъ, что эта гостиная имѣла въ то время историческое значеніе. Въ тогдашнемъ водоворотѣ мыслей, стремленій, увлеченій, проектовъ, партій, интригъ—гостиная эта имѣла характеръ мирной пристани, въ которой люди изъ разныхъ концовъ Россіи, разныхъ положеній, разныхъ взглядовъ встрѣчались и сближались во имя высшихъ государственныхъ идей, во имя идеаловъ, и получали извѣстныя впечатлѣнія, дававшія мыслямъ направленіе, вопросамъ—разрѣшеніе. Не разъ мнѣ приходилось убѣждаться, что благодаря гостиной графини Блудовой, благодаря ей, люди изъ провинціи чувствовавшіе себя совсѣмъ одинокими, совсѣмъ потерянными, находили въ этой гостиной нѣчто въ родѣ родного дома, и тамъ получали самое дорогое благо для жизни труженика—бодрость духа и сердечную теплоту...

И дѣйствительно, когда какой-нибудь пріѣзжій въ Петербургъ русскій дѣятель изъ провинціи, объѣхавъ всѣ департаменты и канцеляріи съ ихъ ледниками равнодушія и квіэтизма, разочарованный, усталый, вдругъ находилъ въ корридорѣ Зимняго двора гостиную, гдѣ не смѣялись надъ его мечтами служить Россіи, надъ его порывами молодой любви къ этой Россіи, но гдѣ встрѣчали его отрадно, съ ласкою и ободреніемъ, гдѣ онъ оправлялся и снова начиналъ вѣрить въ людей; а случалось это много разъ,—то, понятно, что онъ такую русскую женщину благословлялъ.

XXXI.

(1863 годъ).

6 декабря 1863 года.—Цесаревичъ, графъ С. Г. Строгановъ и графъ Б. А. Перовскій.—Два брата.

Утро 6 декабря было для меня памятно.

Наканунѣ я видѣлъ Цесаревича на катаньи въ Таврическомъ саду и спросилъ его: когда можно будетъ его на другой день поздравить.

— Приходите утромъ ко мнѣ кофе пить, — отвѣтилъ Цесаревичъ,—запросто; вамъ пріятнѣе будетъ въ нашемъ маленькомъ кругу.

Въ 8 часовъ утра я явился. За столомъ были только братья Цесаревича и воспитатели.

Тутъ Цесаревичъ мнѣ сказалъ: если хотите побесѣдовать, приходите вечеромъ послѣ 10; если я не въ театрѣ, то я дома...

Цесаравичъ жилъ въ павильонѣ между Эрмитажемъ и главнымъ зданіемъ Зимняго Дворца и занималъ три комнаты, весьма скромно обставленныя, посрединѣ была большая гостиная, направо кабинетъ, а налѣво спальня. День его проходилъ въ извѣстномъ порядкѣ. Вставалъ онъ [illegible]но; въ 8 часовъ былъ уже одѣтъ и пилъ кофе. Затѣмъ, [illegible]тро дѣлилось между занятіями съ профессорами и [illegible]емъ въ иные дни докладовъ министровъ у Госу- [illegible]мъ шелъ завтракъ и прогулка до обѣда. Послѣ

обѣда занятія, чай вечерній у Императрицы, или вечеръ въ театрѣ.

Приглашеніемъ Цесаревича я воспользовался раза четыре. Бесѣдовали мы втроемъ: Цесаревичъ, Его Братъ Александръ Александровичъ и я грѣшный...

Предметомъ бесѣдъ была политика. Прелесть ихъ заключалась въ томъ, что всякій вопросъ живо интересовалъ обоихъ собесѣдниковъ, и взгляды Цесаревича на русскіе вопросы всегда отражали въ немъ такой образъ мыслей, гдѣ никогда не звучалъ ни одинъ диссонасъ, гдѣ никогда не слышалось ни сомнѣнія, ни шаткости, ни вліянія тогда сильнаго космополитизма.

Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ объ умственной личности Цесаревича. Развитіе его было, какъ всѣ тогда замѣчали, въ умственномъ отношеніи замѣчательное, а тогда ему было всего 20 лѣтъ. Главною причиною этого изумительнаго развитія была, разумѣется, его даровитость, соединенная съ тонкимъ умомъ и очень воспріимчивою натурою. Кромѣ того, онъ умѣлъ слушать, а эта способность столь же цѣнная и рѣдкая, какъ даровитость...

Правда, и воспитаніе его, въ послѣдніе годы въ особенности, велось благодаря графу Строганову въ полной гармоніи съ его дарованіями и въ полное удовлетвореніе высокихъ требованій, предъявлявшихся къ Наслѣднику Престола, какъ ихъ понималъ такой свѣтлый и живой умъ, какъ графа Строганова...

Воспитательная школа Цесаревича, насколько я съ нею познакомился изъ разсказовъ самого Великаго Князя въ то время и изъ другихъ источниковъ, была весьма разнообразна.

Первыми воспит[illegible]ями его были генералъ-адъютантъ

Николай Васильевичъ Зиновьевъ, съ двумя помощниками, генераломъ Гоголемъ и генераломъ Казнаковымъ. Зиновьевъ принялъ Цесаревича на воспитаніе вмѣстѣ съ двумя его братьями, изъ рукъ очень почтенной и хорошей женщины Скрипицыной, къ которой они сохранили сердечное чувство привязанности... Зиновьевъ изображалъ собою идеалъ честнаго человѣка, преданнѣйшаго слуги Государю и вельможи стараго закала... Но въ немъ недоставало двухъ вещей: онъ не имѣлъ педагогическаго ума и въ то же время не имѣлъ способности выбирать людей. Вслѣдствіе этого воспитательное дѣло въ тотъ первый періодъ шло случайно, въ сущности, никѣмъ не веденное и, такъ сказать, вдохновленное только тѣмъ дѣтскимъ уваженіемъ, котораго Царственные Воспитанники не могли не питать къ такому золотому человѣку, какъ Н. В. Зиновьевъ. Какъ разъ въ 1863 году я имѣлъ случай познакомиться съ бывшими помощниками генерала Зиновьева по воспитанію царскихъ дѣтей. Н. Г. Казнаковъ былъ въ то время кіевскимъ губернаторомъ. Въ немъ я нашелъ прекраснаго и симпатичнаго человѣка, но долженъ сказать, что воспитательнаго элемента въ немъ не нашелъ; еще менѣе можно было его найти въ генералѣ Гоголѣ. Это былъ типъ прямолинейнаго, мало культурнаго генерала, въ которомъ съ перваго же раза бросалось въ глаза отсутствіе малѣйшихъ даже признаковъ какого бы то ни было духовнаго разнообразія.

Затѣмъ, въ извѣстный моментъ генералъ Зиновьевъ призналъ нужнымъ создать спеціальную воспитательную часть—учебную. Почему-то ему указали на молодого профессора русской словесности Якова Карловича Грота. Ему поручена была учебная часть. Какъ человѣкъ замѣчательно добросовѣстный, онъ принялся за свою дѣятель-

ность всею своею душой и всѣми своими дарованіями. Онъ составилъ цѣлый учебный планъ для двухъ старшихъ Великихъ Князей, сумѣлъ внушить къ себѣ ихъ довѣріе, и дѣло начало было идти. Но Гротъ, въ свою очередь, имѣлъ существенные недостатки. Онъ совсѣмъ былъ чуждъ той среды, въ которой онъ началъ дѣйствовать; его среда была—ученая среда, и кромѣ того съ молодежью въ этомъ возрастѣ онъ не имѣлъ воспитательныхъ отношеній, такъ что внѣ уроковъ ему было трудно поддерживать живыя воспитательныя связи съ своими учениками. Да и не тотъ былъ нравъ. Гротъ былъ до извѣстной степени педантъ и философъ. Его характеръ и вся его личность не имѣли той оживленной веселости и откровенности, которыя въ молодые годы приманиваютъ къ воспитателю питомцевъ. Какъ бы то ни было, онъ повелъ, какъ я сказалъ, дѣло свое замѣчательно добростѣстно. Но затѣмъ Императрица признала нужнымъ во главѣ ученія Великихъ Князей поставить человѣка съ болѣе высокимъ и авторитетнымъ положеніемъ, и выборъ Ея остановился на одномъ изъ нашихъ дипломатовъ, Владимірѣ Павловичѣ Титовѣ. Это былъ одинъ изъ друзей Карамзинской и нашей семьи. Титовъ былъ пріятнымъ собесѣдникомъ, начитаннымъ и умнымъ человѣкомъ, но воспитательнаго элемента и у него не оказалось ни атома. Но такъ какъ онъ былъ самолюбивъ, то захотѣлъ сразу оправдать павшій на него выборъ, и потому принялся за то, что всего хуже въ воспитательномъ дѣлѣ, за сочинительство проектовъ воспитанія, и первымъ послѣдствіемъ Титовской диктатуры въ учебномъ дѣлѣ въ классной Великихъ Князей было то, что скромный и смиренный Гротъ долженъ былъ лишиться той самостоятельности, которую онъ имѣлъ, и подчиниться смутнымъ и с - Титова.

Идеи эти Титовъ бралъ отовсюду, не имѣя ихъ въ себѣ, то въ нѣмецкой педагогіи, то во французской, то въ разныхъ вѣяніяхъ современной жизни, а такъ какъ вѣянія въ то время были исключительно либеральныя, а прежде всего проникнуты неуваженіемъ къ преданіямъ старой дисциплины, то время титовскаго учебнаго періода для Великихъ Князей и отразилось извѣстною путаницею въ учебномъ дѣлѣ. Дошла эта путаница до того, что Титовъ, искренно представляя себѣ, что онъ изобрѣлъ геніальную вещь и дошелъ до апогеи въ пониманія вѣка, сочинилъ проектъ особаго учебнаго заведенія—не то гимназіи, не то лицея, въ которомъ Великіе Князья должны были учиться вмѣстѣ съ дворянскими и сановными дѣтьми и и чрезъ это получить общечеловѣческое образованіе. Очевидно, Титовъ эту идею взялъ отчасти и изъ Англіи, отчасти изъ лѣтописей германскихъ университовъ, совсѣмъ забывъ, что такое воспитаніе для Наслѣдника Престола у насъ, по нашимъ нравамъ, во многомъ съ ними не могло согласовываться. И самый переходъ отъ воспитательнаго режима при 3 генералахъ къ воспитанію въ штатской гимназіи — не долженъ ли былъ казаться скорѣе чудачествомъ, какъ фантазія, чѣмъ серьезною мыслію.

Во всякомъ случаѣ, этотъ странный проектъ, какъ и слѣдовало ожидать, не нашелъ ни малѣйшаго сочувствія ни въ Государѣ, ни въ Императрицѣ, и послужилъ только одною изъ причинъ для дискредитированія В. П. Титова, какъ педагога, въ глазахъ избравшей его Императрицы. Ему пришлось думать объ уходѣ, но прежде ушелъ и Гротъ, не сумѣвши, при всей своей уживчивости,—приниться къ фантазіямъ и капризамъ Титова...

Послѣдній отошелъ отъ своей должности съ почетомъ

и повышеніемъ, получивъ званіе члена государственнаго совѣта... Послѣ Титова явился Гриммъ, бывшій когда-то инспекторомъ классовъ при Великомъ Князѣ Константинѣ Николаевичѣ. Говорили, что отъ него изошло это указаніе въ то время, когда стали искать преемника Титову... Дѣло въ томъ, что Гриммъ для молодого Константина Николаевича былъ однимъ, а призванный къ Цесаревичу и къ Его брату 20 лѣтъ спустя, послѣ долгаго пребыванія въ Германіи, гдѣ онъ жилъ богатымъ русскимъ пансіономъ, онъ оказался другимъ, и явился съ программою, пожалуй, еще болѣе странною, чѣмъ Титовская, основанной на призваніи всего русскаго негоднымъ для школы Великихъ Князей, какъ педагогическій матеріалъ, вслѣдствіе чего въ основу школы было принято все нѣмецкое: русское онъ называлъ чуть ли не варварствомъ, а нѣмецкое высоко культурнымъ. Такимъ образомъ, Гриммъ началъ съ разрушенія всего Титовскаго и Гротовскаго въ классахъ Великихъ Князей, но царство его продолжалось недолго. Гриммъ не сумѣлъ достичь главнаго: ни привязанности, ни довѣрія, ни уваженія отъ своихъ учениковъ, и послѣ всѣхъ этихъ періодовъ начинавшихся и не кончавшихся системъ воспитанія выборъ Государя палъ, наконецъ, на графа Сергѣя Григорьевича Строганова, котораго сдѣлали полнымъ хозяиномъ въ дѣлѣ воспитанія Цесаревича. Затѣмъ Его два брата были отдѣлены и, взамѣнъ прежнихъ воспитателей, назначенъ былъ къ нимъ графъ Борисъ Алексѣевичъ Перовскій...

Съ назначеніемъ графа Строганова попечителемъ Цесаревича, а потомъ графа Перовскаго къ Его двумъ Братьямъ, кромѣ непосредственной пользы воспитательной, отъ личностей новыхъ воспит[illegible]й, достигалось и то существенное благо, что съ п[illegible]лся навсегда

періодъ педагогическихъ надъ молодыми натурами Великихъ Князей опытовъ. Установился правильный, спокойный и прочный порядокъ вещей.

Объ этихъ опытахъ Цесаревичъ говорилъ съ юморомъ.

— Слава Богу, — говорилъ онъ, — всѣ эти опыты и перемѣны лицъ проходили надъ нами довольно поверхностно; мы не успѣвали ни серьезно привязываться къ личностямъ, ни подчиняться ихъ вліянію; однимъ, какъ, напримѣръ, Гроту, — мы симпатизировали, къ другимъ были равнодушны, и слава Богу.

И дѣйствительно, слава Богу, ибо трудно себѣ представить, какія могли бы быть послѣдствія, въ видѣ отраженія на молодыхъ характерахъ Великихъ Князей, если всѣ эти перемѣны въ личномъ составѣ воспитателей и педагогическіе опыты производили бы на нихъ глубокое вліяніе—въ томъ возрастѣ, когда натура такъ воспріимчива и податлива на впечатлѣнія.

В. П. Титовъ, напримѣръ, призвалъ себѣ на помощь Кавелина, знаменитаго тогда цивилиста и политическаго публициста. Безспорно, Кавелинъ былъ почтенный авторитетъ въ наукѣ законовѣдѣнія, онъ могъ быть и прекраснымъ человѣкомъ, но всѣ мы знали въ то время, что этотъ же Кавелинъ, по своимъ политическимъ убѣжденіямъ, принадлежалъ къ категоріи самыхъ ультра-передовыхъ мыслителей, и изъ того, что говорилъ объ этомъ выборѣ самъ Титовъ, можно было легко понять, что остановился-то онъ на немъ изъ-за популярности этого имени; а популярно это имя было именно въ лагерѣ либеральномъ! Теперь представимъ себѣ, если бы не было такъ, какъ мѣтко характеризовалъ покойный Цесаревичъ

актеръ вліянія на нихъ этихъ пробныхъ періодовъ во-

анія, и Кавелину удалось бы получить сильное влія-

ніе на воспріимчиваго и впечатлительнаго юнца-Цесаревича, врядъ-ли изъ этого вышло что-либо хорошее, и во всякомъ случаѣ въ юные его годы положено было бы въ его умъ либеральной фальши на столько, чтобы произвести въ немъ путаницу; а при путаницѣ въ умѣ очень трудно правильное его развитіе и прочное усвоеніе себѣ ясныхъ государственныхъ взглядовъ.

Графъ же Строгановъ былъ замѣчателенъ тѣмъ, что если были какіе-нибудь элементы путаницы въ головѣ его воспитанника какъ остатокъ прежняго періода опытовъ, или если не путаницы, то все же неурядицы, онъ своимъ яснымъ и твердымъ авторитетомъ, уничтожилъ въ зародышѣ всѣ эти элементы неурядицы или сомнѣнія и поставилъ своего воспитанника въ умственномъ отношеніи съ одной стороны такъ твердо на собственныя ноги, а съ другой стороны такъ ясно познакомилъ его со всѣми теченіями политическихъ, такъ сказать, мыслей, что ничего тайнаго, недосказаннаго, или неяснаго, не могло подкрасться въ его душу и колебать втихомолку главные основы мышленія.

Увѣренный въ истинѣ, полновластный хозяинъ въ томъ педагогическомъ мірѣ, который онъ создалъ для Цесаревича, графъ Строгановъ не сомнѣвался ни въ своемъ правѣ имѣть вліяніе, ни въ силѣ своего вліянія, какъ не сомнѣвался онъ и въ невозможности, при ясномъ представленіи, имъ даваемомъ Цесаревичу о бѣломъ и чертомъ, чтобы онъ въ чемъ либо черное принялъ за бѣлое, и доктринѣ или теоріи изъ области тогдашнихъ ходячихъ увлеченій въ области либерализма далъ поколебать основные взгляды или идеалы. Въ этомъ была безмѣрная и неоцѣнимая заслуга графа Строганова; онъ создалъ для Великаго Кн[illegible]акой спокойный, такой ясный умствен-

ный міръ, и въ тоже время такой широкій, что онъ могъ получать въ немъ умственное развитіе не только богатое и полное, но твердое и совсѣмъ застрахованное отъ опасностей вліянія со стороны или изподтишка.

Ничего не скрывая отъ ума Великаго Князя изъ того, что тогдашнія увлеченія времени и моды противопоставляли всему, что графъ Строгановъ считалъ основными истинами въ политическомъ вѣроученіи, онъ умѣлъ такъ убѣждать своего воспитанника въ истинѣ, и такъ опровергать всѣ покушенія на нее, что правильное умственное воспитаніе Цесаревича дѣлалось безъ малѣйшихъ усилій, совсѣмъ естественно, незамѣтно и въ тоже время прочно.

То серьезною рѣчью—гдѣ логика, опытъ и знаніе были въ графѣ Строгановѣ такъ тѣсно слиты и такъ богаты, то—шуткою, ироніею, сарказмомъ, мѣтко и кстати сказанными, онъ свершалъ свою ежедневную воспитательную задачу, и обращался съ Великимъ Княземъ такъ, что вызывалъ въ немъ и полное довѣріе, и полную откровенность. Между воспитателемъ и воспитанникомъ былъ постоянный обмѣнъ мыслей, и благодаря этому міръ, въ которомъ воспитывалъ графъ Строгановъ вмѣстѣ съ своими помощниками-професорами Цесаревича, былъ замѣчательно живой.

Графъ Борисъ Алексѣевичъ Перовскій, воспитатель двухъ Великихъ Князей, Александра и Владиміра, былъ человѣкъ совсѣмъ иного рода, чѣмъ графъ Строгановъ. Онъ никогда не былъ педагогомъ и долго отказывался отъ предложеннаго ему дѣла, говоря Государю, что признаетъ себя для воспитательнаго дѣла совсѣмъ не подготовленнымъ. Но Государь настоялъ на своемъ выборѣ и былъ правъ, ибо врядъ ли лучшій выборъ онъ могъ сдѣлать; въ то время второго графа Строганова не было, но

за то много было генераловъ, которые взялись бы за это дѣло очень охотно, не имѣя, какъ графъ Перовскій, педагогическй подготовки или способности, но за то не имѣя той замѣчательной души графа Перовскаго, которой, очевидно, Государь зналъ цѣну, настаивая на своемъ выборѣ. Душа эта была идеально честная, рыцарски благородная, теплая и открытая, и въ то же время глубоко русская, въ самомъ лучшемъ значеніи этого слова, горѣвшая ко всему доброму и хорошему и ненавидѣвшая все лживое, все нечестное... Благодаря этому, графъ Перовскій создалъ тоже въ мірѣ своихъ питомцевъ спокойный и ясный духовный міръ; въ этомъ мірѣ атмосфера была чистая, здоровая и благородная; она пришлась по душѣ Царскимъ Дѣтямъ, въ ней, подъ начальствомъ опытнаго руководителя московскаго профессора А. И. Чевелева, классное дѣло пошло правильно, а такъ какъ графъ Перовскій горячо полюбилъ и своихъ воспитанниковъ, и рядомъ съ ними Цесаревича, который тоже его полюбилъ, то само собою установилось, что любимый другъ Цесаревича Великій Князь Александръ Александровичъ сталъ вдвойнѣ воспитываться: отдѣльно, подъ руководствомъ своего воспитателя и, рядомъ съ этимъ, посредствомъ дружбы съ своимъ Старшимъ Братомъ, съ которымъ все ближе и тѣснѣе входилъ въ общеніе. Этой двойной, такъ сказать, школѣ Великаго Князя Александра Александровича графъ Перовскій содѣйствовалъ всѣми силами своей любящей и прекрасной души, и она-то, какъ потомъ мы всѣ поняли сыграла свою великую историческую роль.

Графъ Строгановъ готовилъ Цесаревича къ Престолу, а Цесаревичъ готовилъ своего друга и брата къ Его судьбѣ.

Все, что я говорилъ о прекрасныхъ сторонахъ воспи-

тательной школы графа Строганова, сказывалось въ той прелести, которую имѣли такія бесѣды съ Цесаревичемъ, какъ тѣ, которыя мнѣ пришлось съ нимъ имѣть въ зиму 1863—1864 года.

Не то въ нихъ интересно было, не то составляло ихъ прелесть, что онъ такъ бойко владѣлъ своимъ большимъ умомъ, а именно то, что его взгляды на жизнь дышали такою правдою и такимъ ея знаніемъ. Путешествіе по Россіи, совершенное Цесаревичемъ лѣтомъ, въ обстановкѣ небывалой для Наслѣдника Престола, кромѣ того, что открыло ему, что есть люди, и охарактеризовало жизненное различіе между Петербургомъ и провинціею, сдѣлало въ любви его къ Россіи извѣстную метаморфозу, которую можно было выразить такъ: оно изъ абстрактной сдѣлало ее конкретною, и къ разнымъ вопросамъ приблизило его сердце тамъ, гдѣ прежде былъ только умъ. И эти ноты молодого сердца, получившаго во время путешествія по Россіи цѣлый новый контингентъ, такъ сказать, предметовъ для любви и составляли одну изъ главныхъ прелестей нашихъ зимнихъ бесѣдъ. Онъ сталъ къ извѣстнымъ вопросамъ роднымъ и многое изъ русской жизни стало ему роднымъ. Прежде, до путешествія, бывали вопросы, по которымъ если заговоришь, получались отвѣты отъ молодого Цесаревича, въ которыхъ слышалось, что это отзывался его умъ и только, а послѣ его путешествія однимъ умомъ Цесаревичъ пересталъ говорить: во всемъ слышалось біеніе сердца.

Въ эту зиму, присматриваясь ближе къ положенію Цесаревича, которое со всѣхъ сторонъ на первый взглядъ казалось да и было, яркимъ блестящимъ, — я понялъ, насколько въ то же время оно было труднымъ, и какую нравственную выдержку оно отъ него требовало.

Впервые я уразумѣлъ ту трудность въ его положеніи, которая исходила изъ факта, что онъ Наслѣдникъ Престола. Тутъ, при ближайшемъ къ его положенію, къ его внутреннему и внѣшнему мірамъ вниманіи — открывался цѣлый тайникъ самыхъ тонкихъ и едва замѣтныхъ духовныхъ оттѣнковъ, съ которыми надо было ему считаться, и изъ соблюденія коихъ онъ долженъ былъ создавать своимъ чутьемъ и тактомъ цѣлый планъ поведенія. Этотъ міръ оттѣнковъ заключался въ его отношеніяхъ къ Государю. При дворѣ сложилось мнѣніе, что любимымъ сыномъ Государя былъ второй его сынъ, любимцемъ Матери считался Цесаревичъ... Хотя, долженъ признаться, я не видѣлъ въ это время подтвержденія этой первой мысли въ какихъ-либо проявленіяхъ особаго обращенія Государя съ тѣмъ или другимъ изъ Его сыновей; мнѣ казалось, что Государь былъ со всѣми одинаковъ, но въ то же время инстинктивно я сталъ чуять, что блестящее положеніе, создавшееся для Цесаревича всѣми его качествами — и внѣшними и внутренними, обязывало его, какъ Наслѣдника, именно въ массѣ оттѣнковъ избѣгать всего, что могло бы быть комментируемо, какъ замыселъ играть роль, получить значеніе, привлечь къ себѣ популярность. Я чуялъ, что если бы это стало проявляться, то неизбѣжно оно задѣло бы извѣстныя струны деликатности въ Государѣ, и отношенія могли бы отъ этого пострадать въ искренности. Съ своимъ тонкимъ и воспріимчивымъ чутьемъ Цесаревичъ понималъ этотъ міръ не обязанностей, а оттѣнковъ обязанностей— яснѣе, чѣмъ кто-либо, и нельзя было не преклониться передъ тою старательностью и строгостью къ себѣ сердца Цесаревича, съ которымъ онъ себя держалъ вездѣ: дома, въ придворныхъ кружкахъ, въ свитѣ, въ военныхъ

кружкахъ. Нигдѣ никто не видѣлъ Его иначе, какъ скромнымъ, и въ то же время совершенно естественнымъ. А между тѣмъ, припоминая то время и тотъ ореолъ, который его окружалъ, — и провѣряя свои долголѣтнія воспоминанія до сего дня, я долженъ сказать, что никого послѣ него не встрѣчалъ, кто бы имѣлъ такое право именно блистать и доминировать своимъ положеніемъ. А между тѣмъ, именно этого Цесаревичъ себѣ тогда никогда не дозволялъ.

Эта естественная, а въ то же время осмысленная и, такъ сказать, элегантная скромность происходила отъ его внутренняго смиренія, а смиреніе это въ немъ было не дѣланное, не напускное, а естественное, какъ отголосокъ его утонченной порядочности.

И что при этомъ въ его натурѣ было замѣчательно, что при этомъ смиреніи Онъ любилъ съ извѣстнымъ кокетствомъ нравиться и въ то же время, будучи остроуменъ,—Онъ любилъ играть то сарказмомъ, то иронією. Все это вмѣстѣ дѣлало его очаровательнымъ, а когда личность при такихъ чарахъ поставлена на высоту Наслѣдника Престола въ 22 года, то легко понять, сколько искушеній со всѣхъ сторонъ подкрадывалось къ нему отъ людского обожанія, и какою силою нравственною надо было обладать, чтобы ни единому изъ этихъ многихъ искушеній не поддаваться, и оставаться хозяиномъ своего скромнаго положенія.

Цесаревичъ, съ свойственнымъ ему смиреніемъ, отрицалъ всякія въ себѣ заслуги и все объяснялъ тѣмъ, что у него, какъ онъ выражался, рыбій темпераментъ, но на дѣлѣ главною причиною его заслугъ былъ избытокъ его порядочности.

Въ этомъ отношеніи, видя вмѣстѣ обоихъ братьевъ,

XXXII.

(1864 годъ).

Поѣздка въ Кіевъ. — Генералъ-губернаторъ Анненковъ. — Старикъ Юзефовичъ.—Впечатлѣніе при объѣздѣ края.

Въ февралѣ 1864 года Валуевъ далъ мнѣ порученіе объѣздить Юго-Западный край, съ цѣлью познакомиться съ мѣстными крестьянскими учрежденіями. Когда я явился откланяться, онъ счелъ нужнымъ мнѣ сказать маленькую напутственную рѣчь по французски слѣдующаго приблизительно содержанія:

— Вы увидите, — сказалъ онъ, — великолѣпный край, гдѣ къ сожалѣнію, политическія страсти мѣшаютъ спокойному развитію народнаго благосостоянія. Вы знаете мой взглядъ на несчастный польскій вопросъ. Я не одобряю ни поляка-мятежника, ни поляка-мечтателя, но не могу также сочувствовать тѣмъ руссофиламъ, которые хотятъ подъ предлогомъ обрусѣнія, посадить мужика въ барскіе хоромы, въ видѣ представителя русской народности. Подавлять мятежъ не значитъ разрушать преданія и цивилизацію, какой бы національности она не была. Избыткомъ цивилизаціи мы хвастаться не можемъ, а потому, мнѣ кажется, что вездѣ, гдѣ она есть, ее надо уважать. Vous trouverez á Kieff le general Annenkoff (генералъ-губернаторъ) c'est un brave homme, et son merite consiste à ne pas etre Mouravieff...

образовываться что нибудь похожее на польскій мятежъ. Но по мѣрѣ того, какъ я знакомился съ этими разсказами изъ разныхъ источниковъ, я понялъ, что дѣло, издали казавшееся невѣроятнымъ, на мѣстѣ объяснилось очень печально, но очень просто въ то же время. Суть дѣла и успѣхъ его были не въ полякахъ и не въ ихъ силѣ, а въ какой то совсѣмъ непостижимой слабости, доходившей до потворства полякамъ во всѣхъ русскихъ сферахъ, не исключая и правительственной. Во главѣ ея въ 1863 году стоялъ честный рыцарь, князь Васильчиковъ, но его рыцарствомъ и его добротою всѣ пользовались для того, чтобы довести правящія и интеллигентныя сферы до невообразимой распущенности. Этою распущенностью этою деморализаціею, какъ покровомъ, воспользовалась горсть безумцевъ-поляковъ. Никто не мѣшалъ имъ доходить до безумія въ дерзости, и они дошли до этой безумной дерзости.

Въ Кіевѣ я познакомился съ почтеннымъ старикомъ Юзефовичемъ. Его домъ, или, вѣрнѣе, его домикъ, сколько уже лѣтъ былъ средоточіемъ всей кіевской русской интеллигенціи; къ нему послѣ генералъ-губернатора являлся на поклонъ всякій пріѣзжій. Такъ и я сдѣлалъ.

Это былъ симпатичный типъ. Михаилъ Владиміровичъ Юзефовичъ оффиціально былъ и въ то время, кажется, ничѣмъ инымъ, какъ скромнымъ и тихимъ предсѣдателемъ археографической комиссіи, но неоффиціально, какъ я сказалъ, онъ былъ тѣмъ кіевскимъ старожиломъ, котораго считали душою русскаго Кіева. Въ мое время быть въ этой роли не представляло ни затрудненій, ни неудобствъ, но годомъ раньше, когда въ Кіевѣ царили два духа: духъ либерализма и духъ полонизма, представлять собою душу русскаго, да притомъ консервативнаго общества — было

дѣломъ не легкимъ и, во всякомъ случаѣ, неблагодарнымъ и непроизводительнымъ. Къ нему тогда въ его кабинетъ русскіе сбирались на шепотъ, какъ заговорщики, на шепотъ печали и негодованія, а вокругъ этого домика оффиціальная и общественная жизнь шумными волнами смѣялась надъ этимъ могиканомъ, плакавшимъ надъ настоящимъ и благоговѣйно вызывавшимъ свѣтлый образъ Бибикова и его времени во обличеніе нагло воцарившагося полонизма...

Много отъ этого старика-могикана я слышалъ разсказовъ о старомъ свѣтломъ и о свѣжемъ прошломъ...

Добродушно, по поводу этого свѣжаго прошлаго, я исповѣдывалъ свое непониманіе того, какъ это могло случиться, и столь же добродушно старикъ мнѣ говорилъ, по своему обыкновенію, минорнымъ шепотомъ, что случилось все это потому, что русскіе либералы давали руки полякамъ, и помогали имъ постепенно выходить изъ колеи. И что всего было курьезнѣе, что тутъ же приходилось слышать толки про хохломановъ... И они, какъ мнѣ разсказывали, стали подъ сѣнью университета и въ то время, пробуждали въ себѣ національныя грезы и, подобно полякамъ, держались враждебно относительно всего русскаго... Хохломаны сходились съ поляками въ этомъ чувствѣ глухого антагонизма къ Россіи, расходясь съ ними, разумѣется, въ существѣ національныхъ мечтаній и стремленій; и тѣ и другіе затѣмъ сходились съ разными либералами на почвѣ антагонизма къ правительству, и такимъ образомъ русскій элементъ, не либеральный и правительственный, оказывался въ началѣ шестидесятыхъ годовъ совсѣмъ изолированнымъ, тогда какъ всѣ антирусскіе элементы, при симпатіяхъ къ нимъ либераловъ,

имѣли общею почвою свою вражду къ правительственному русскому началу...

Я же засталъ старика Юзефовича уже съ благовѣстною и милою добродушною улыбкою на губахъ... Онъ жилъ въ радостномъ ощущеніи разсвѣта послѣ тяжелой тьмы, весны послѣ суровой зимы, и благословлялъ свои надежды увидѣть наконецъ русскую зарю надъ бѣднымъ Юго-Западнымъ краемъ...

Семьею Анненковыхъ, вполнѣ и сердечно русскою, онъ былъ принятъ какъ свой, онъ могъ тамъ изливать свою наболѣвшую душу, и настоящимъ русскимъ людямъ можно было глядѣть наверхъ съ поднятыми главами— уже не во имя либерализма, а во имя Русской вѣры, Русскаго Самодержавія и Русскаго народа...

Рядомъ съ этимъ старикомъ, добродушнымъ и добрымъ, всегда жившимъ сердцемъ, и притомъ совсѣмъ молодымъ сердцемъ, былъ въ Кіевѣ другой русскій, о которомъ многіе говорили. Русскій этотъ—былъ Воронинъ. Это былъ Милютинъ Юго-Западнаго края. Съ перваго же знакомства съ нимъ увидѣлъ въ немъ уже совсѣмъ другой типъ. Это былъ почти молодой человѣкъ, тяжелый на подъемъ и неповоротливый, очень умный, представлявшій изъ себя главнаго воротилу крестьянскаго дѣла...

Его главная психическая струна была полонофобія; но при этомъ онъ всего сильнѣе ненавидѣлъ польскаго пана, польскаго помѣщика, а такъ какъ русскихъ помѣщиковъ тогда въ краѣ почти не было, то само собою разумѣется, что его полонофобія имѣла двойной политическій оттѣнокъ: оттѣнокъ ненависти къ поляку и оттѣнокъ ненависти къ помѣщику.

Послѣ уже, нѣсколько лѣтъ спустя, побывавши опять въ Юго-Западномъ краѣ, я понялъ, какое сильное вліяніе

несчастный Русскій народъ, гдѣ же эти вѣковые страдальцы? И, грѣшный человѣкъ, на половинѣ моего объѣзда, хотя я рѣдко придавалъ серьезное значеніе мыслямъ Валуева,—я долженъ былъ сознавать, что въ его напутственныхъ словахъ, тогда, когда они были сказаны, казавшихся мнѣ смѣшными, оказалась доля серьезной правды... Я слышалъ, я чувствовалъ вездѣ мужика царящимъ владыкою... Я понялъ изъ разговоровъ съ мужиками, что имъ привитъ былъ очень бойкій аппетитъ къ разнымъ земельнымъ вкуснымъ правамъ, и что по закону человѣческихъ инстинктовъ этимъ крестьянамъ дано было уже настолько много, что всѣ они хотѣли гораздо болѣе...

Хотя мое порученіе по службѣ ограничивалось только знакомствомъ съ волостными правленіями, но почему-то о пріѣздѣ какого-то чиновника изъ Петербурга прошелъ слухъ въ селахъ, гдѣ я останавливался, и, къ крайнему моему удивленію, въ иныхъ селахъ крестьяне собирались чуть-ли не сходомъ и обступали меня своими не то что просьбами, но *требованіями*. Въ одной волости я даже очутился почти въ опасномъ положеніи, такъ какъ цѣлая громада меня обступила и требовала, не давая мнѣ прохода, чтобы я принялъ ихъ ходатайство. Всѣ эти ходатайства и требованія, само собою разумѣется, относились къ правамъ на лѣсъ, на пастбища, на водоемы и т. д. Мировые посредники, съ которыми я имѣлъ случай знакомиться, въ большинствѣ показались мнѣ людьми порядочными, иные даже симпатичными, но всѣхъ, съ которыми видѣлся, нашелъ настроенными, какъ я говорилъ выше, по камертону Воронина, то-есть враждебно противъ помѣщичьяго элемента. Въ Острогѣ, Волынской губ., я нашелъ маленькій рай: это — расцвѣтшее учрежденіе братства Кирилла и Меѳодія графини Блудовой. Я за-

сталъ и въ ея семьѣ: дѣти, учитель, священникъ, а надъ ними она—все въ этомъ гнѣздѣ дышало духомъ любви и вѣры, такъ было тепло, такъ свѣтло въ этомъ уголкѣ, что не хотѣлось разставаться съ нимъ. Замѣтилъ при объѣздѣ еще одно характерное явленіе—это прекрасныя церковно-приходскія школы. Это были двухклассныя народныя училища, учрежденныя духовенствомъ, которыя содержались на счетъ крестьянъ и отчасти на счетъ церкви.

Я посѣтилъ нѣсколько такихъ школъ, съ контингентомъ до 50 учениковъ, и вездѣ нашелъ обученіе, лучше котораго нельзя было желать. Опять курьезъ: въ этомъ забитомъ будто-бы поляками помѣщиками краѣ я нашелъ церковныя училища, ведомыя священниками, о которыхъ въ то время въ самой Россіи не имѣли и понятія. Духовенство въ краѣ мнѣ показалось болѣе образованнымъ и гораздо обезпеченнѣе великорусскаго. Вообще, какъ я сказалъ, край поразилъ меня своимъ великолѣпіемъ.

Въ то время въ Юго-Западномъ краѣ были хорошіе губернаторы: это обстоятельство не мало помогло генералу Анненкову въ его задачѣ успокоенія края. Въ Кіевѣ былъ симпатичный генералъ Н. Г. Казнаковъ, бывшій воспитателемъ молодыхъ Великихъ Князей; въ Житомирѣ молодой и блестящій генералъ М. И. Чертковъ, а въ Каменцѣ — Брауншвейгъ, умный и серьезный человѣкъ. Красою губернаторовъ былъ генералъ Чертковъ; онъ имѣлъ всѣ качества администратора: онъ былъ уменъ, твердъ, ясенъ и быстръ, и въ то же время красивъ, представителенъ, изященъ и привѣтливъ. И если ко всему этому прибавить отзвуки прямой и благородной души въ каждомъ его словѣ, то получался въ итогѣ образъ рѣдкаго типа.

Во время моихъ странствованій по большимъ дорогамъ, со мною случился маленькій эпизодъ, очень характерный по отношенію ко взглядамъ высшей политики въ польскомъ вопросѣ Валуева. На одной изъ почтовыхъ станцій мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ, какъ два польскіе пана самымъ безцеремоннымъ образомъ на дворѣ станціи ругали по польски станціоннаго смотрителя при ямщикахъ. Между тѣмъ, по всему краю было объявлено предписаніе генералъ-губернатора въ публичныхъ мѣстахъ по польски не говорить. Увидя эту сцену, я позволилъ себѣ самымъ мирнымъ и вѣжливымъ образомъ замѣтить этимъ двумъ молодцамъ, что, во-первыхъ, по польски говорить съ должностнымъ лицомъ не подобаетъ, и во-вторыхъ, — не слѣдуетъ позволять себѣ такое непочтительное обращеніе съ русскимъ чиновникомъ въ присутствіи ямщиковъ въ особенности.

Они сдѣлали видъ, что успокоились. Но, когда, мѣсяцъ спустя, я вернулся въ Петербургъ и представлялся Валуеву, оказалось, что первое, о чемъ онъ заговорилъ, былъ этотъ эпизодъ съ двумя поляками на станціи. Два эти нахала оказались какими-то ясновельможными панами, которые не только признавали себя въ правѣ ругать русскаго чиновника и нарушать распоряженіе генералъ-губернатора, но вломились въ амбицію на меня, что я *смѣлъ* имъ сдѣлать замѣчаніе, и пожаловались Валуеву. Валуевъ, къ изумленію моему, принялъ ихъ сторону и высказалъ при этомъ, что онъ находитъ распоряженіе генералъ-губернатора относительно польскаго языка *варварствомъ* и *насиліемъ*. Какъ бы мелокъ ни былъ этотъ эпизодъ, но онъ весьма характерно и живописно иллюстрируетъ тогдашніе политическіе нравы: министръ внутреннихъ дѣлъ называетъ варварствомъ распоряженіе генералъ-губернатора

въ двухъ краяхъ и культъ польскаго пана доводитъ до признанія за нимъ права, на другой годъ послѣ мятежа, на польскомъ языкѣ ругать русскаго станціоннаго смотрителя публично.

Три года спустя, уже при Тимашевѣ, со мною былъ въ томъ же Юго-Западномъ краѣ эпизодъ еще характернѣе и еще курьезнѣе. Пробылъ я нѣсколько дней въ Острогѣ, въ отведенномъ мнѣ помѣщеніи. Въ этомъ помѣщеніи мнѣ пришлось написать два письма въ Петербургъ: одно я послалъ, другое я разорвалъ вслѣдствіе сдѣланнаго клякса на мелкіе кусочки. Возвращаюсь въ Петербургъ.

Первое, что говоритъ мнѣ Тимашевъ, когда я къ нему представился, были слѣдующія слова: я вамъ дамъ добрый совѣтъ: когда вы хотите уничтожить письмо, которое вы пишете извѣстнымъ лицамъ, тогда жгите ихъ, а не рвите на клочки, потому что эти клочки могутъ подобрать и возстановить, что и было сдѣлано съ вашимъ письмомъ въ Острогѣ; какой-то жидъ подобралъ мелкіе кусочки письма, составилъ письмо, и оно дошло до шефа жандармовъ, и *оттуда* пошло дальше и выше, и я не думаю, что Потаповъ былъ доволенъ тѣми разсужденіями, которыя вы въ началѣ письма ему посвящаете. (Потаповъ былъ тогда виленскимъ генералъ-губернаторомъ).

Русскихъ помѣщиковъ въ Юго-Западномъ краѣ я видѣлъ при объѣздѣ, одного. Это былъ старикъ графъ Бобринскій, котораго я посѣтилъ въ его великолѣпномъ имѣніи Смѣла. Засталъ тамъ и графиню, супругу его, когда-то знаменитую красавицу, прелестную умомъ и живостью старушку, жившую безвыѣздно въ деревнѣ. Рѣдко такъ наслаждался умственно, какъ въ тѣ два дня, которые я провелъ между этими двумя стариками. Оба

читали въ своемъ уединеніи все, что писалось въ то время замѣчательнаго, оба были умны и полны жизни, и просиживать съ ними часы было истинное наслажденіе.

Недалеко отъ Кіева заѣзжалъ въ великолѣпную столицу Браницкихъ, Бѣлую Церковь. Тамъ любовался чуднымъ дворцомъ, великолѣпнымъ паркомъ, подобіемъ царскосельскаго; тамъ же посѣтилъ прекрасную гимназію и великолѣпную православную церковь. По поводу церкви я наткнулся на курьезное явленіе. Мнѣ совѣтовали въ церковь не ѣздить.

— Отчего,—спрашиваю я.

— Оттого, что васъ заѣдятъ блохи!..

Я засмѣялся и принялъ это предостереженіе за гиперболическую фигуру.

Вошелъ я въ великолѣпную церковь, сіявшую своею яркою бѣлизною снаружи и внутри и началъ ее осматривать.

Минутъ черезъ пять я началъ чувствовать по всему тѣлу укусы, еще пять минутъ и эти укусы становятся до того невыносимыми, что я долженъ былъ бѣжать изъ церкви и вернуться въ свой номеръ; тамъ я съ ужасомъ увидѣлъ, что я покрытъ блохами. Оказывается, что эти миріады блохъ будто бы зарождаются отъ свойства этого бѣлаго камня; правда ли это, я не могъ провѣрить, но во всякомъ случаѣ это курьезное явленіе до такой степени было ужасно, что священникъ мнѣ тутъ же говорилъ, что ему приходилось прекращать богослуженіе, до такой степени онъ былъ заѣдаемъ блохами.

Проѣзжалъ я мѣстечко Шпола. Тамъ мнѣ разсказывали любопытный траги-комическій историческій эпизодъ о томъ, какими стихійными явленіями сопровождался послѣдній пріѣздъ Николая I подъ Шполою, на послѣд-

ней почтовой станціи. Зданіе станціи было въ ремонтѣ. За дворомъ станціи была степь. На дворѣ станціи было 3 зданія: одно—станція, другое—домъ, въ которомъ жило нѣсколько лицъ и, между прочимъ, внизу одинъ отставной и больной маіоръ, а третье зданіе было временное помѣщеніе для станціи. Ямщику Императора Николая I дано было приказаніе подъѣхать къ третьему зданію. Подъѣзжаетъ коляска съ Императоромъ и графомъ В. Ф. Адлербергомъ въ ней. Станціонный смотритель стоитъ на крыльцѣ перваго зданія и дѣлаетъ усиленные знаки ямщику, изъ которыхъ ямщикъ выводитъ заключеніе, что ему, въ отмѣну прежняго приказанія, слѣдуетъ остановиться не у третьяго дома, а у второго, и вотъ коляска останавливается у этого дома, и въ немъ, о, ужасъ! — сидитъ у открытаго окна бѣдный маіоръ въ своемъ халатѣ и куритъ трубку.

Перекладка длилась менѣе двухъ минутъ; но въ эти двѣ минуты произошло страшно много событій. Императоръ Николай вышелъ изъ коляски, чтобы размять ноги, и прямо подошелъ къ окну, гдѣ сидѣлъ отставной маіоръ. Вѣроятно, онъ хотѣлъ съ нимъ поговорить, и сказалъ ему два, три слова, на которыя вдругъ оторопѣвшій маіоръ ничего не отвѣтилъ. Затѣмъ, отойдя отъ него, Николай Павловичъ увидѣлъ два жидовскіе силуэта, выглядывавшіе изъ-за угла зданія; жидамъ было строжайше запрещено показываться на глаза Императору. Увидѣвъ эти силуэты, Императоръ направился къ нимъ; они въ мигъ исчезли. Въ тотъ же моментъ лошади были запряжены, раздалось: «*готово*», Николай Павловичъ сѣлъ въ коляску и уѣхалъ. Но что же произошло на томъ мѣстѣ, гдѣ Онъ пробылъ двѣ минуты? Отставной маіоръ, при приближеніи Государя къ окну, отъ испуга не только

ничего не могъ отвѣтить Императору на его слова, но пришелъ въ такое состояніе, что получилъ нервный ударъ, и отвезенъ былъ въ больницу; станціонный смотритель, увидѣвъ, что ямщикъ не туда подвезъ Императорскую коляску, бѣжалъ черезъ весь дворъ съ такою быстротою и въ такомъ взволнованномъ состояніи, что заболѣлъ нервною горячкою; два еврея, увидя направившагося къ нимъ Государя, испугались, пришли въ истерическое состояніе, и пустились бѣжать по степи, и бѣжали до тѣхъ поръ, пока не свалились оба, одинъ сраженный параличемъ сердца, мертвымъ, а другой въ трудномъ состояніи.

Приказаніе не допускать евреевъ къ Царскому проѣзду состоялось вслѣдствіе ночного эпизода съ Государемъ въ Бердичевѣ. Государь въ колескѣ спалъ. Шепотъ собравшихся жидовъ разбудилъ его; Императоръ разсердился и сдѣлалъ два постановленія: одно — чтобы отнынѣ Бердичевъ ставилъ двухъ рекрутъ, вмѣсто одного; второе — чтобы никогда евреевъ не допускать къ мѣсту Царскаго проѣзда.

Въ тѣ дни мы были сильнѣе нервами и мускулами, чѣмъ нынѣшніе молодые люди, приходящіе въ изнеможеніе отъ одной безсонной ночи, отъ одного проѣзда по желѣзной дорогѣ.

Чтобы попасть въ Петербургъ, я избралъ самый скорый и ужасный путь: 800 съ чѣмъ-то верстъ по шоссе до Острова, а оттуда остатокъ пути по желѣзной дорогѣ. Экипажъ мой былъ перекладная. Храбро выѣхалъ въ среду изъ Кіева, разсчитывая въ Петербургѣ быть на Вербную субботу; но для это надо было ѣхать безостановочно круглыя сутки, и нигдѣ не спать, вплоть до Острова.

Программа была строго и исправно выполнена. Но, задавшись ею, я не подозрѣвалъ, на какую шелъ я пытку. Шоссе оказалось въ неремонтированномъ послѣ зимы состояніи, и сказать, что пришлось костямъ переиспытать въ телѣгѣ, скача по этому шоссе,— невозможно. Это были пытки адскія. Не менѣе сильно было мученіе отъ борьбы со сномъ. Заснуть въ телѣгѣ нельзя: упадешь назадъ; пріѣдешь на станцію ночью, сядешь на нижнее крыльцо и начинаешь чувствовать, какъ идетъ и захватываетъ сонъ, особливо на вторую ночь, и сейчасъ вскакиваешь, чтобы не уснуть во время перекладки.

И вотъ прибылъ въ Островъ въ субботу послѣ полудня. Пришелъ поѣздъ; я думалъ: ну, просплю, какъ убитый, до Петербурга; ничуть не бывало: проспалъ два часа, и затѣмъ явился въ Петербургъ до того бодрый, что весь вечеръ просидѣлъ въ превеселой бесѣдѣ у родителей.

XXXIII.

(1864 годъ).

Возвращеніе въ Петербургъ.—Пасха.—Весна.—Первые признаки болѣзни Цесаревича. — Его отъѣздъ за границу. — Моя заграничная поѣздка.— Свиданіе съ Цесаревичемъ въ Скевенингѣ.—Лондонъ.—Парижъ.—Второе и послѣднѣе свиданіе съ Цесаревичемъ въ Дармштадтѣ.—Его помолвка.

На другой день, вечеромъ, по обычаю, послѣ 10 часовъ, пріѣхалъ къ Цесаревичу: прождалъ минутъ десять; Великіе Князья были у родителей; затѣмъ явился Цесаревичъ съ братомъ Александромъ, и первое, что я получилъ отъ обоихъ, было—выговоръ за то, что я не явился въ вечеръ своего пріѣзда. Побесѣдовали мы почти до часа; Цесаревичъ велѣлъ подать шампанскаго въ честь моего возвращенія, и такъ до часу ночи мы просидѣли въ бесѣдѣ, гдѣ главную роль пришлось играть мнѣ, такъ какъ Цесаревичъ требовалъ отъ меня самаго подробнаго повѣствованія.

Этотъ вечеръ былъ началомъ послѣдняго періода въ моихъ отношеніяхъ къ Цесаревичу, въ теченіе котораго мы видѣлись почти ежедневно, и съ котораго, увы, вскорѣ соединились первыя впечатлѣнія отъ нездоровья Цесаревича. Прошла Пасха, прошла Святая; Цесаревичъ казался здоровъ и былъ веселъ; затѣмъ наступила пора переѣзжать въ Царское Село: и какъ разъ, когда Дворъ переѣхалъ, Цесаревичъ впервые занемогъ и долженъ былъ

наблюденій.

врачебными сторонами, затѣмъ привыкаетъ глазомъ къ ней до того механически, что никогда, разумѣется, не имѣетъ свѣжаго взгляда на своего постояннаго паціента и не замѣчаетъ тѣхъ перемѣнъ въ немъ, которыя не рѣзки, а затѣмъ, по какому то инстинкту политики, старается всякому болѣзненному явленію давать значеніе случайнаго, преходящаго недуга, никогда не дозволяя себѣ дѣлать догадокъ о какомъ-либо хроническомъ недугѣ. Такая политика для него тѣмъ болѣе удобна и тѣмъ легче осуществляется, что онъ встрѣчаетъ полное сочувствіе ей со стороны постояннаго паціента придворнаго врача, который врежде всего не любитъ ни оскультацій, ни изслѣдованій, ни приставаній къ нему съ извѣстными требованіями режима, и на должность своего врача смотритъ, какъ на веселую синекуру.

Увы!—буквально все такъ было относительно Цесаревича и его врача Шестова. Это былъ любезный и веселый человѣкъ, но серьезнымъ врачемъ представить его себѣ было невозможно.

А затѣмъ, во все время, которое пробылъ Цесаревичъ въ Царскомъ Селѣ до отъѣзда за границу, хотя Онъ и былъ, какъ сказано выше, на видъ здоровъ, но не одинъ разъ въ это время мнѣ пришлось слышать отъ него самого, что онъ чувствуетъ себя *неважно*. И единственное, что было рѣшено по совѣту Шестова сдѣлать для здоровья Цесаревича, былъ планъ морского лѣченія въ Скевенингѣ, планъ роковой, ибо это морское лѣченіе оказалось началомъ его гибели.

Планъ путешествія Цесаревича за границею былъ разработанъ графомъ Строгановымъ въ смыслѣ научно-образовательномъ, а затѣмъ главная цѣль была доставленіе

возможности Цесаревичу сдѣлать по сердцу выборъ невѣсты.

Въ видѣ ближайшихъ сверстниковъ-спутниковъ Цесаревичъ выбралъ себѣ двухъ молодыхъ людей, изъ прежнихъ товарищей дѣтскихъ игръ, кирасира П. А. Козлова и преображенца В. В. Барятинскаго. Выборъ этотъ намѣчалъ, такъ сказать, первыхъ адъютантовъ Цесаревича и всѣмъ понравился своею симпатичностью. Козловъ, племянникъ перваго главнаго воспитателя Цесаревича Н. В. Зиновьева, былъ однимъ изъ привлекательныхъ и выдающихся молодыхъ людей своего времени. Кромѣ рыцарски-благородной и юношески-пылкой натуры, онъ былъ уменъ, даровитъ, боекъ умомъ и идеалъ порядочности. Князь Барятинскій съ перваго на него взгляда казался тѣмъ, кѣмъ онъ былъ,—человѣкомъ, къ которому сразу лежитъ сердце; а лежало къ нему сердце каждаго, потому что онъ былъ добръ, привѣтливъ, а главное, какъ и Козловъ, рыцарски благороденъ. Кромѣ этихъ двухъ спутниковъ, графомъ Строгановымъ былъ приглашенъ и Б. Н. Чичеринъ, преподаватель Цесаревича по государственному праву и слывшій за авторитетъ въ дѣлѣ искусства.

Въ это лѣто вся Царская Семья поѣхала за границу, кромѣ Великаго Князя Александра Александровича. Императоръ и Императрица съ младшими Дѣтьми поѣхали въ Дармштадтъ. Великій Князь Владиміръ Александровичъ въ Штутгартъ для лѣченія. Цесаревичъ направился прямо на морскія купанья въ Скевенингенъ, въ Голландію.

Въ Царскомъ передъ отъѣздомъ Онъ меня пригласилъ пріѣхать навѣстить его въ Скевенингенѣ.

— Вамъ непремѣнно нужно [illegible] за границею,— сказалъ Цесаревичъ,—и [illegible]й соеди[illegible] пріятное съ полезнымъ [illegible]е и

тельнѣе ко мнѣ отнесся, сказавши, что я останусь неучемъ и варваромъ, если не поѣду за границу, и наказалъ мнѣ безъ разсужденій исполнить желаніе Цесаревича. Валуевъ, давая мнѣ разрѣшеніе ѣхать за границу, при этомъ сказалъ: но съ условіемъ, чтобы вы поѣхали въ Лондонъ, познакомились тамъ съ полиціею, и привезли мнѣ книжку «Pearage» (своего рода альманахъ Гота). Герцогъ Николай Максимиліановичъ Лейхтенбергскій пригласилъ меня пріѣхать къ нему въ Англію въ С.-Леанардъ на купанье. Дѣла оказалось много. Это былъ мой первый выѣздъ за границу.

Итакъ, впервые въ моей жизни я отправился за границу...

Первымъ мѣстомъ назначенія было Скевенингенъ возлѣ Гааги, гдѣ, какъ я сказалъ, находился для морскихъ купаній Цесаревичъ. Впечатлѣніе отъ новаго для меня вида благоустроенной виллегіатуры въ Пруссіи усилилось, когда я увидѣлъ голландскую деревню съ ея полями и лугами, гдѣ, казалось мнѣ, работали какіе-то художники-пахари. Въ Гаагѣ я пробылъ полтора дня, чтобы познакомиться съ городомъ, и вынесъ два впечатлѣнія: одно—изумленіе отъ поразительной чистоты города, гдѣ все чуть ли не ежедневно мылось мыломъ, начиная со стѣнъ домовъ и кончая панелью; а второе—скуку. Послѣ объѣзда другихъ городовъ воспоминаніе объ этой скукѣ врѣзалось въ память еще сильнѣе. Скукою этою, казалось мнѣ, дышало и вѣяло кругомъ рѣшительно все; скучно, казалось мнѣ, говорили голландцы, скучно они ходили и глядѣли, скукою дышало отъ домовъ и садовъ, скука гнѣздилась во всѣхъ складкахъ жизни. И въ то же время, Гаага предлялась мнѣ городомъ добродѣтели и нравственности.

ставившись милому старику, генералъ-адъютанту Ман-

сурову, бывшему тогда нашимъ посланникомъ въ Гаагѣ, я отправился въ Скевенингенъ. Въ большомъ отелѣ на берегу моря я досталъ себѣ номеръ, а затѣмъ отправился на виллу Цесаревича. Хозяинъ виллы принялъ меня очень любезно, высказалъ мнѣ удовольствіе по поводу моего пріѣзда, и приказалъ мнѣ немедленно переѣхать изъ гостинницы къ нему на виллу, гдѣ я получилъ прелестную комнату наверху, съ видомъ на море.

Колонію Великаго Князя составляли графъ Строгановъ, флигель-адъютантъ Рихтеръ, Борисъ Николаевичъ Чичеринъ, преображенецъ князь Барятинскій и кирасиръ Козловъ въ должности адъютантовъ, въ должности секретаря Ф. А. Оомъ и докторъ Шестовъ; сверхъ того, постоянно находился при Цесаревичѣ адъютантъ король, очень симпатичный, но неизбѣжно скучный капитанъ.

Въ тотъ же день мы совершили вдвоемъ съ Цесаревичемъ прогулку пѣшкомъ по берегу моря. Великій Князь еще разъ мнѣ сказалъ: какъ я радъ, что вы пріѣхали; я люблю съ вами бесѣдовать откровенно, и признаться, здѣсь очень скучно. Увы, во время этой первой прогулки я вынесъ впечатлѣніе скорѣе грустное отъ задушевной бесѣды съ Цесаревичемъ. Я нашелъ его похудѣвшимъ, блѣднымъ, и отъ него слышалъ, что онъ чувствуетъ себя вообще не хорошо, и часто хандритъ.

— Давно ли я выѣхалъ, — говорилъ мнѣ Цесаревичъ,—а ужъ тянетъ домой, тоска по родинѣ, безъ Саши какъ-то скучно.

На другое утро послѣ купанья, и на слѣдующее за нимъ утро, когда я сталъ видѣть Цесаревича гуляющимъ до чая — совсѣмъ почти синимъ отъ дѣйствія купанья, и слышалъ отъ него, какъ ему было холодно, и какъ онъ не могъ согрѣться, несмотря на ходьбу, я невольно по-

чувствовалъ на сердцѣ безпокойство. Правда, что погода была скверная и холодная, но все-же я не могъ преодолѣть въ себѣ ощущенія или предчувствія, что купанье приносило Великому Князю скорѣе вредъ, чѣмъ пользу. Это предчувствіе во мнѣ стало затѣмъ убѣжденіемъ, ибо на четвертомъ купаньи я сталъ испытывать и на себѣ вредное его дѣйствіе, и совершенно такое же дѣйствіе испытывалъ и Козловъ. Оказалось въ нашей колоніи трое, которые отъ скевенингенскаго моря чувствовали себя хуже, Цесаревичъ, Козловъ и я; а остальные члены колоніи, напротивъ, чувствовали себя лучше; значитъ, ясно было, что сильное морское купанье, да еще въ холодную погоду — дѣйствовало на одинъ организмъ вредно, а на другой благотворно. Вслѣдствіе этого я ограничился четырьмя купаньями, и прекратилъ ихъ, и когда прекратилъ ихъ, сталъ себя чувствовать гораздо бодрѣе и лучше. Я посовѣтовалъ Цесаревичу послѣдовать моему примѣру и, независимо отъ сего, спросилъ доктора Шестова, не видитъ ли онъ, что Цесаревичу морское купанье вредно, и не слѣдуетъ ли его прекратить, но рокъ безпощаденъ для великихъ міра сего въ лицѣ медиковъ, состоящихъ при нихъ Шестовъ не только не призналъ нужнымъ остановиться на этомъ вопросѣ, чтобы надъ нимъ призадуматься, но отвѣтилъ мнѣ такъ, какъ будто онъ хотѣлъ мнѣ сказать: не ваше дѣло, я одинъ въ этомъ дѣлѣ понимаю. А бѣдный Цесаревичъ—на мой совѣтъ бросить купанье — отвѣтилъ мнѣ, что на то есть воля его эскулапа. Въ бесѣдѣ съ графомъ Строгановымъ я снова высказалъ мое опасеніе насчетъ вреда отъ морского купанья для Цесаревича, но графъ Строгановъ не придалъ вопросу никакого значенія, говоря, что дѣйствіе морского купанья оказывается благотворнымъ не во время купанья, а послѣ-

Потомъ я понялъ тотъ роковой психическій міръ, въ которомъ этотъ вопросъ находился.

Простой смертный, если онъ видитъ, что нѣтъ ему пользы отъ купанья, или что купанье ему вредитъ, беретъ и бросаетъ это купанье и конецъ; но для Цесаревича вопросъ являлся въ сложной обстановкѣ цѣлаго государственнаго дѣла: рѣшенію ѣхать въ Скевенингенъ предшествовалъ медицинскій придворный консиліумъ: Шестовъ явился только исполнителемъ его рѣшенія и уполномоченнымъ, такъ сказать, отъ этого консиліума при Цесаревичѣ. Вслѣдствіе этого какъ допустить, чтобы вдругъ весь маршрутъ былъ измѣненъ, чтобы рѣшеніе докторовъ было признано никуда негоднымъ и отмѣненнымъ какимъ то Шестовымъ, какъ взять и бросить купанье по собственному почину на мѣстѣ. Все это представлялось чѣмъ то немыслимымъ, чѣмъ то преступнымъ и крайне вольнодумнымъ противъ традицій какого то этикета, и вотъ мы съ Козловымъ ежедневно призваны были другъ-другу повѣрять свои печальныя впечатлѣнія, при видѣ того, какой несомнѣнный вредъ приносило это проклятое морское купанье Великому Князю.

Жизнь наша протекала совсѣмъ мирно. Утромъ, послѣ прогулки, всѣ собирались къ утреннему чаю въ столовой Цесаревича, затѣмъ собирались къ завтраку, къ обѣду и къ вечернему чаю. Въ промежутки всякій занимался своимъ дѣломъ, а вечеромъ я сопровождалъ Великаго Князя въ Его прогулкѣ пѣшкомъ; мы садились гдѣ-нибудь на скамейку и бесѣдовали, подъ отдаленные звуки курзальной музыки, или подъ шумъ морской волны, когда она поднималась. Бывали дни, когда Цесаревичъ веселъ и въ духѣ, но бывали вечера, когда онъ опечаливалъ меня своимъ всеобщимъ физически

ственнымъ недомоганіемъ. Иногда предпринимались поѣздки по окрестностямъ. Ѣздили на поклоненіе воспоминаніямъ Петра Великаго въ Сардамѣ, ѣздили въ Роттердамъ на ярмарку, ѣздили въ Амстердамъ. Всѣ эти поѣздки Великій Князь предпринималъ въ строгомъ инкогнито туриста. Кромѣ визитовъ вдовствующей королевѣ Аннѣ Павловнѣ въ ея замкѣ и одного обѣда у короля, Цесаревичъ строго избѣгалъ всякой оффиціальности.

Въ то время много говорили о принцѣ Оранскомъ. Добродѣтельная и нравственная Голландія съ ужасомъ видѣла въ своемъ будущемъ королѣ «донъ-жуана» и самаго отчаяннаго mauvais sujet. Ему было слишкомъ 30 лѣтъ; наружности онъ былъ если не красивой, то элегантной, и вся его жизнь отдавалась удовольствіямъ, романическимъ похожденіямъ, оргіямъ и безумнымъ тратамъ, заставлявшимъ его при умѣренности его личныхъ средствъ входить въ неоплатные долги. Репутація его до такой степени стала ужасна, что намъ приходилось слышать отъ добродѣтельныхъ голландцевъ, что иные избѣгали встрѣчъ съ принцемъ и боялись публично компрометировать себя его сообществомъ. Но принцъ на все это плевалъ и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ свою эпикурейскую жизнь, смѣясь даже надъ тѣмъ, что иные благочестивые государственные люди Голландіи громко стали говорить объ устраненіи принца за порочное поведеніе отъ престолонаслѣдія.

Наше мирное житье-бытье было нарушено однимъ печальнымъ эпизодомъ въ жизни графа Строганова. О. Б. Рихтеръ получилъ телеграмму, извѣщавшую его о
и старшаго сына графа Строганова, графа
евича, и заключавшую въ себѣ просьбу
ту несчастію стараго графа.

Здѣсь я еще сильнѣе почувствовалъ благоговѣніе къ Цесаревичу, увидавъ не только его доброе сердце, но глубокіе оттѣнки его нѣжной деликатности. Рихтеръ пришелъ съ этою телеграммою къ Цесаревичу. Онъ сказалъ Рихтеру, что возьметъ на себя подготовить графа на другое утро, дабы не огорчить его извѣстіемъ вечеромъ, передъ сномъ.

Я запомнилъ этотъ вечеръ всѣмъ сердцемъ. Мы вышли вдвоемъ гулять, и Цесаревичъ все время мучился при мысли, какъ огорчитъ это извѣстіе бѣднаго старика графа Строганова. Тутъ я понялъ, какъ глубоко онъ былъ привязанъ къ своему попечителю и насколько въ этой привязанности имѣло значеніе то, что такъ рѣдко въ жизни встрѣчается, въ особенности между молодыми людьми,— это благодарность. Во время разговора у Цесаревича сорвались слова, которыя, подъ вліяніемъ темноты вечера, шумящаго уныло моря, и грустнаго настроенія, въ которомъ онъ находился, на меня суевѣрно подѣйствовали до такой степени, что я вернулся къ себѣ въ какомъ то совершенно грустномъ настроеніи.

— Я иногда думаю о смерти, — сказалъ мнѣ вдругъ Цесаревичъ,—развѣ она такая страшная вещь? Мнѣ кажется, что она должна быть переходомъ отъ чего то тяжелаго къ чему то легкому.

— Не вамъ объ этомъ думать,—отвѣтилъ я,—когда впереди столько причинъ любить жизнь.

— А я думаю потому, что иногда мнѣ кажется, что я недалекъ отъ смерти.

Я упрекнулъ Великаго Князя въ чатлительности, перевелъ разговоръ на др
ствовалъ холодъ на душѣ от

На другое утро Цесаревичъ исполнилъ свою тяжелую миссію.

Бѣдный графъ Строгановъ ему помогъ своимъ удивительнымъ стоицизмомъ.

Стоицизмъ этотъ удивилъ даже Великаго Князя, который ближе всѣхъ изъ насъ зналъ графа Строганова.

Едва Цесаревичъ началъ говорить ему о полученной депешѣ о болѣзни его сына, старикъ его остановилъ, и, взглянувъ въ упоръ Цесаревичу въ глаза, сказалъ: вы меня подготовляете, мой сынъ умеръ?

Цесаревичъ замолчалъ. Вотъ приблизительно, что произошло. Старикъ не пролилъ ни одной слезы; всю полноту удара онъ перенесъ и скрылъ въ себѣ съ изумительною силою воли. Мнѣ показалось, что извѣстная гордость побуждала этого необыкновеннаго старика не показывать проявленія чувствъ. Это же впечатлѣніе онъ произвелъ на Цесаревича, который мнѣ сказалъ въ тотъ же день, насколько ему больно было слышать и видѣть какъ графъ Строгановъ играетъ комедію стоицизма въ такую ужасную минуту его жизни, разговаривая, какъ ни въ чемъ не бывало, обо всемъ.

Послѣ трехнедѣльнаго пребыванія въ Скевенингенѣ, наступила пора съ нимъ разстаться. Цесаревичу предстояло уѣхать для продолженія своего путешествія, мнѣ же предстояла поѣздка въ Англію.

Тяжелымъ камнемъ легъ мнѣ на душу послѣдній день моего пребыванія въ Скевенингенѣ. Во-первыхъ, я разставался съ Великимъ Княземъ, видя, какъ за эти 3 недѣли здоровье его несомнѣнно ухудшилось; во-вторыхъ, а эти 3 недѣли мы сблизились въ этой простой обстаѣ, какъ никогда нельзя было-бы сблизиться годами тановкѣ петербургской; проявилась потребность еже-

дневной задушевной бесѣды; а въ третьихъ—и это было самое мучительное впечатлѣніе—на душѣ осталось воспоминаніе нашего послѣдняго вечера, нашей послѣдней бесѣды передъ разлукою.

Эта бесѣда прозвучала для меня первымъ memento mori для Цесаревича, котораго такъ недавно я не могъ себѣ представить иначе, какъ въ свѣтломъ и яркомъ сіяніи долгаго будущаго. Тутъ впервые вдругъ померкъ этотъ свѣтившійся надеждами и мечтами горизонтъ, холодъ вошелъ въ душу, и сразу я очутился передъ страшнымъ привидѣніемъ, если не самой смерти, то чего-то мучительнаго, какъ страхъ, какъ тоска, какъ предчувствіе. Сразу какъ будто и прошедшее обрывалось въ его веселыхъ и улыбкою полныхъ воспоминаніяхъ: я почувствовалъ себя вдругъ стоящимъ надъ обрывомъ, за которымъ ничего не видать, кромѣ темной глубины, и сразу же будущее сдѣлалось темнымъ отъ злого предчувствія.

Какъ всегда, мы вышли вечеромъ гулять. Какъ помню, вечеръ былъ холодный и море шумѣло страшно и уныло.

Объ этой *предпослѣдней*—увы—на землѣ бесѣдѣ съ Цесаревичемъ записаны мною слѣдующія строки въ моихъ путевыхъ замѣткахъ.

«Уѣзжаю съ невыразимою грустью въ душѣ. Мы бесѣдовали съ Цесаревичемъ болѣе часа, и каждое Его слово звучитъ въ душѣ невыразимою болью. Несомнѣнно, что въ немъ, скрытая какая-то болѣзнь, которую доктора не видятъ и не подозрѣваютъ. Онъ ее чувствуетъ, но скрываетъ свои страданія. И если къ этому прибавить то, что Павликъ (Козловъ) и я мы замѣчаемъ, а другіе какъ будто не замѣчаютъ того, что [illegible] Князь то таетъ, какъ горящая свѣча, то ста [illegible] шнымъ.

«Никогда такъ нѣжно и ласково не говорилъ со мною Цесаревичъ.

«Вы не повѣрите, какъ я вамъ благодаренъ за то, что вы пріѣхали съ нами скучать въ такое захолустье. А когда я сказалъ, что благодарить ему меня не за что, ибо я ничего не испыталъ, кромѣ пріятнаго для души, то Цесаревичъ сказалъ мнѣ: если бы вы могли знать, что у меня подчасъ дѣлается на душѣ, вы бы поняли мою къ вамъ благодарность... Я васъ понялъ и понялъ, что и вы меня понимаете. Мнѣ становилось легче, когда я съ вами говорилъ откровенно... Взволнованный этими словами, я спросилъ Цесаревича: что онъ испытываетъ, чѣмъ онъ страдаетъ. На это онъ мнѣ отвѣтилъ: трудно передать; бываютъ минуты, когда я ужасно страдаю: наступаетъ безсонница, тоска гложетъ, не знаешь, куда дѣваться, выступаетъ холодный потъ, бредъ какой-то начинается въ головѣ, и когда это проходитъ, является предчувствіе смерти... Но это какъ будто легче,—прибавилъ Цесаревичъ.

— Отчего же вы ничего не говорите доктору: вѣдь тутъ есть хорошіе доктора...

— Не стоитъ: они скажутъ, что это нервы, дѣйствіе морскихъ купаній.

— Такъ позвольте, я поговорю съ Шестовымъ, съ Оттономъ Борисовичемъ.

— Нѣтъ, ни въ какомъ случаѣ. Вашъ долгъ быть конфидентомъ только моей души... Можетъ быть, это все и пройдетъ и я опять молодцомъ стану... Одно мнѣ тяжело въ такія минуты—быть безъ Саши; его чистая и спокойная душа такъ на меня хорошо дѣйствуетъ...

Я совершенно невольно сталъ ободрять Цесаревича, [illegible] мыслями, которыя мнѣ приходили въ голову, при-

дневной задушевной бесѣды; а въ третьихъ—и это было самое мучительное впечатлѣніе—на душѣ осталось воспоминаніе нашего послѣдняго вечера, нашей послѣдней бесѣды передъ разлукою.

Эта бесѣда прозвучала для меня первымъ memento mori для Цесаревича, котораго такъ недавно я не могъ себѣ представить иначе, какъ въ свѣтломъ и яркомъ сіяніи долгаго будущаго. Тутъ впервые вдругъ померкъ этотъ свѣтившійся надеждами и мечтами горизонтъ, холодъ вошелъ въ душу, и сразу я очутился передъ страшнымъ привидѣніемъ, если не самой смерти, то чего-то мучительнаго, какъ страхъ, какъ тоска, какъ предчувствіе. Сразу какъ будто и прошедшее обрывалось въ его веселыхъ и улыбкою полныхъ воспоминаніяхъ: я почувствовалъ себя вдругъ стоящимъ надъ обрывомъ, за которымъ ничего не видать, кромѣ темной глубины, и сразу же будущее сдѣлалось темнымъ отъ злого предчувствія.

Какъ всегда, мы вышли вечеромъ гулять. Какъ помню, вечеръ былъ холодный и море шумѣло страшно и уныло.

Объ этой *предпослѣдней*—увы—на землѣ бесѣдѣ съ Цесаревичемъ записаны мною слѣдующія строки въ моихъ путевыхъ замѣткахъ.

«Уѣзжаю съ невыразимою грустью въ душѣ. Мы бесѣдовали съ Цесаревичемъ болѣе часа, и каждое Его слово звучитъ въ душѣ невыразимою болью. Несомнѣнно, что въ немъ, скрытая какая-то болѣзнь, которую доктора не видятъ и не подозрѣваютъ. Онъ ее чувствуетъ, но скрываетъ свои страданія. И если къ этому прибавить то, что Павликъ (Козловъ) и я мы замѣчаемъ, а другіе какъ будто не замѣчаютъ того, что Великій Князь то таетъ, какъ горящая свѣча, то становится страшнымъ.

«Никогда такъ нѣжно и ласково не говорилъ со мною Цесаревичъ.

«Вы не повѣрите, какъ я вамъ благодаренъ за то, что вы пріѣхали съ нами скучать въ такое захолустье. А когда я сказалъ, что благодарить ему меня не за что, ибо я ничего не испыталъ, кромѣ пріятнаго для души, то Цесаревичъ сказалъ мнѣ: если бы вы могли знать, что у меня подчасъ дѣлается на душѣ, вы бы поняли мою къ вамъ благодарность... Я васъ понялъ и понялъ, что и вы меня понимаете. Мнѣ становилось легче, когда я съ вами говорилъ откровенно... Взволнованный этими словами, я спросилъ Цесаревича: что онъ испытываетъ, чѣмъ онъ страдаетъ. На это онъ мнѣ отвѣтилъ: трудно передать; бываютъ минуты, когда я ужасно страдаю: наступаетъ безсонница, тоска гложетъ, не знаешь, куда дѣваться, выступаетъ холодный потъ, бредъ какой-то начинается въ головѣ, и когда это проходитъ, является предчувствіе смерти... Но это какъ будто легче,—прибавилъ Цесаревичъ.

— Отчего же вы ничего не говорите доктору: вѣдь тутъ есть хорошіе доктора...

— Не стоитъ: они скажутъ, что это нервы, дѣйствіе морскихъ купаній.

— Такъ позвольте, я поговорю съ Шестовымъ, съ Оттономъ Борисовичемъ.

— Нѣтъ, ни въ какомъ случаѣ. Вашъ долгъ быть конфидентомъ только моей души... Можетъ быть, это все и пройдетъ и я опять молодцомъ стану... Одно мнѣ тяжело въ такія минуты—быть безъ Саши; его чистая и спокойная душа такъ на меня хорошо дѣйствуетъ...

Я совершенно невольно сталъ ободрять Цесаревича, тѣми мыслями, которыя мнѣ приходили въ голову, при-

писывая это мрачное настроеніе просто дѣйствію моря, тѣмъ болѣе, что и самъ его испытывалъ.

— Можетъ быть, и такъ,— отвѣтилъ Цесаревичъ,— но все-таки я предчувствую что-то нехорошее. Не браните меня за это: я говорю, что чувствую... А теперь поговоримъ о другомъ: вы увидите въ Англіи Колю (Николая Максимиліановича)»...

Цесаревичъ далъ къ нему порученія. Разговоръ сталъ какъ будто веселѣй. Но Боже, какъ въ душѣ было далеко отъ веселья и какъ томительны были эти послѣднія четверть часа прогулки, когда приходилось говорить обо всемъ, думая о другомъ.

Подойдя къ дому, Цесаревичъ остановился, протянулъ мнѣ руку и крѣпко ее пожалъ: «все-таки,—сказалъ онъ,— спасибо вамъ за дружбу, спасибо вамъ за скевенингенское свиданіе»... Какую мучительную ночь привелось провести, думая все о томъ же. И вѣтеръ какъ зловѣще вылъ.

Утромъ мы собрались, какъ ни въ чемъ не бывало, къ первому завтраку, всѣ веселые.

На прощаніи Цесаревичъ еще разъ выказалъ мнѣ прекрасную деликатность своей души. По поводу разговоровъ о цѣли моей поѣздки изучать въ городахъ полицію, графъ Строгановъ страшно на меня напустился за то, что я прежде всего не забочусь о своемъ образованіи путемъ изученія chef d'oeuvre'овъ искусствъ, чуть-ли не назвалъ меня варваромъ и т. д. Послѣ завтрака Цесаревичъ отвелъ меня въ сторону, подойдя къ окну, и съ такимъ ласковымъ голосомъ сказалъ мнѣ: я извиняюсь за нашего Сергѣя Григорьевича, вы знаете, какой онъ фанатикъ искусствъ, не сердитесь за него.

Затѣмъ, пришлось прощаться. Скверная была минута.

Разставаясь, Цесаревичъ мнѣ назначилъ пріѣхать къ нему въ Дармштадтъ, послѣ поѣздки его въ Данію.

Днемъ я уѣхалъ въ Брюссель.

Дорогою, одинъ въ вагонѣ, я отдался размышленіямъ и воспоминаніямъ.

Тогда я ничего не понималъ въ состояніи Цесаревича: меня давили болѣзненныя впечатлѣнія отъ предчувствія, что онъ нездоровъ, и что состояніе его должно внушать тревогу, воспоминаніе о его душевномъ состояніи лежало страшно тяжелымъ камнемъ на душѣ, все это было тревожно, мучительно, но въ то же время неясно, неопредѣленно, а потому мысль о грозящей опасности для его жизни не заходила въ душу. Я именно думалъ, что это нервное дѣйствіе воздуха, и предавался надеждѣ, что, когда кончится пребываніе его на берегу моря. Цесаревичъ поправится.

Потомъ, когда такъ скоро разыгралась ужасная драма, и когда вся послѣдовательная связь постепенныхъ явленій въ состояніи здоровья Цесаревича развернулась, только тогда, говорю я, можно было, увы, слишкомъ поздно, понять то роковое значеніе, которое имѣло въ исторіи болѣзни Цесаревича это пребываніе для морскихъ купаній въ Скевенингенѣ.

Тогда я понялъ ясно, что не даромъ на меня произвелъ такое впечатлѣніе таинственный припадокъ нѣсколькихъ дней болѣзни, весною въ Петербургѣ, когда такъ сильно Цесаревичъ перемѣнился въ лицѣ. Это, очевидно, было первое проявленіе наружное скрытаго недуга, которое потомъ назвали туберкулезнымъ процессомъ, позже, когда болѣзнь стала непобѣдима, и роковой исходъ сталъ неизбѣженъ. Весною и въ началѣ лѣта на царскосельскомъ

вездѣ Цесаревичъ поправился настолько, что перестали вовсе говорить о немъ, какъ о больномъ.

Но явилось фатальное морское купанье.

Очевидно, ни о чемъ не догадывавшiеся, ничего не подозрѣвавшiе и потому не обезпокоенные врачи—настаивали на морское купанiе, какъ на вѣрнѣйшее средство укрѣпить общее состоянiе организма, а для того, чтобы прiйти къ такому общему, такъ сказать, мѣсту, не понадобилось ни подробной и самой добросовѣстной аускультацiи, ни какихъ-либо изслѣдованiй и наблюденiй, никакой историческ[ой] провѣрки обстоятельствъ жизни послѣдняго времени Цесаревича, въ связи съ измѣненiями въ его состоянiи здоровья. Какъ оказалось потомъ, никому изъ врачей не пришла мысль составить дiагнозъ въ связи съ тѣмъ, о чемъ потомъ, послѣ его кончины, такъ много было говорено, съ эпизодомъ паденiя его съ лошади, сопровождавшимся ударомъ въ голову и, можетъ быть, сотрясенiемъ въ спинномъ или головномъ мозгу.

Наступило морское купанiе. Какъ я говорилъ выше, съ перваго же купанiя нельзя было не видѣть, что оно слишкомъ сильно для Великаго Князя, и никакъ не достигаетъ своей главной цѣли,—укрѣпленiя, ибо тамъ, именно въ Схевенингенѣ, явилось въ состоянiи Цесаревича то, чего у него никогда прежде не было: тревожная безсонница, прямой признакъ раздраженiя и возбужденiя вмѣсто укрѣпленiя, которое всегда должно сопровождаться успокоенiемъ нервовъ организма. Что же происходило въ эти роковыя 5 недѣль?.. Потомъ, въ разговорѣ съ умными врачами, пришлось понять роковую тайну морского лѣченiя: оно сразу начало усиливать не организмъ, а скрытую болѣзнь въ организмѣ, и способствовало быстрому и острому ея ходу. Вотъ что произвело скевен-

нингенское пребываніе: оно нанесло смертельный ударъ молодому организму, вызвавъ къ дѣйствію всѣ разрушительныя силы болѣзни. Въ бесѣдѣ съ этими врачами я задавалъ имъ вопросъ: а что было бы, если не было морского купанія? Они отвѣчали мнѣ: категоричести сказать ничего нельзя; но, судя по тому, что стало извѣстно изъ діагноза профессора Опольцера (Вѣнскаго), можно предположить, что если бы Великій Князь пробылъ два, три года въ ровномъ и умѣренномъ климатѣ, болѣзнь была бы пріостановлена, и онъ могъ бы, перейдя критическій періодъ, жить и окрѣпнуть. Повторяю, что сказалъ тогда: увы, высокіе міра сего призваны имѣть печальную привилегію предъ нами простыми смертными быть жертвами медицинскихъ недоразумѣній.

Я помню, какъ меня послали въ Франценсбаденъ лѣчиться отъ малокровія. Я поѣхалъ и началъ лѣчиться. На пятый день я почувствовалъ себя хуже. Докторъ сказалъ мнѣ: бросьте лѣченіе, оно вамъ не годится, и я бросилъ его, а въ Прагѣ, явившись къ тогдашней знаменитости въ медицинскомъ мірѣ и разсказавъ ему, что со мною случилось въ Франценсбаденѣ, выслушалъ отъ него резолюцію. Я очень радъ, что вы попали въ Франценсбаденѣ на честнаго врача, сказавшаго вамъ, бросьте лѣченіе; обыкновенно—бываетъ наоборотъ; мѣстные врачи говорятъ: умрите, но лѣчитесь.

Увы—такого простого обращенія врачей съ паціентами, высшіе міра рѣдко испытываютъ.

Изъ Брюсселя, гдѣ я пробылъ четыре дня, я отправился въ Остенде, чтобы оттуда добраться на пароходѣ до Дувра. Переходъ нашъ по Сѣверному морю былъ почти благополучный, но за два часа до Дувра пришлось перенесть качку, столь обычную въ Ламаншѣ. Дорогою я

замѣтилъ одну фигуру оригинальную: огромнаго роста, лѣтъ подъ пятьдесятъ человѣка, въ длинномъ плащѣ и въ тирольской шляпѣ, поглядѣвшаго на меня довольно внимательно и, какъ будто, съ любопытствомъ. У буфета въ Дуврѣ я снова увидѣлъ эту фигуру, но уже возлѣ себя и, потомъ, когда онъ подошелъ ко мнѣ, заговорилъ по-французски и спросилъ меня: не русскій-ли я? я отвѣтилъ нехотя, и представивъ себѣ, что имѣю дѣло съ какимъ-нибудь подозрительнымъ человѣкомъ, а можетъ быть и съ жуликомъ, постарался его избѣгать. Но каково мое было изумленіе, когда, выйдя на платформу вокзала, къ готовому для отхода поѣзду, я увидѣлъ, какъ кондукторъ почтительно поклонился этому таинственному великану, стоя у дверей отдѣленія 1-го класса. Едва онъ меня завидѣлъ, какъ подошелъ ко мнѣ, и пригласилъ сѣсть съ собою въ купэ; затѣмъ, онъ купилъ великолѣпныхъ персиковъ, предложилъ мнѣ и кондуктору далъ приказаніе это купэ считать за нимъ. Мы вошли, поѣздъ тронулся. Оказалось, что мой незнакомецъ былъ руссофилъ и говорилъ мнѣ о своихъ симпатіяхъ къ Россіи, о своей любви къ Москвѣ, гдѣ онъ былъ на послѣдней коронаціи; затѣмъ, онъ мнѣ сказалъ, что увидавъ меня, угадалъ во мнѣ русскаго хорошей семьи, по моимъ, будто бы, манерамъ, и въ заключеніе предложилъ мнѣ читать «Times», прибавивъ, что всякій порядочный человѣкъ, пріѣзжающій въ Англію, долженъ читать «Times». Говорилъ онъ о своей страсти къ охотѣ, о картинахъ, а я все не зналъ съ кѣмъ говорю, какъ и онъ не зналъ, съ кѣмъ онъ говоритъ. Наконецъ, передъ приближеніемъ къ Лондону, онъ отдаетъ мнѣ свою карточку, и я читаю на ней: Carl of Dudlay. Тогда и я ему далъ свою карточку.

Когда онъ прочелъ мою фамилію, онъ сказалъ: „О, какъ я радъ“, и сталъ еще любезнѣе со мною. Прежде всего онъ потребовалъ, чтобы я далъ ему слово пріѣхать къ нему въ Шотландію на охоту въ его замокъ, и затѣмъ, по пріѣздѣ въ Лондонъ, навѣстить его въ его домѣ въ Вестэнде. Зная, что изображаетъ собою шотландскій замокъ, какъ расходы, я ему слова не далъ, ограничившись обѣщаніемъ постараться пріѣхать, но обѣщался зайти къ нему въ Лондонѣ. Но вотъ поѣздъ остановился у Victoria Station, у громаднаго отеля Викторія.

Тутъ со мной мой новый пріятель сыгралъ ужасную штуку, желая мнѣ услужить. Я собирался остановиться въ этой гостинницѣ и пробыть въ Лондонѣ, тщательно скрывъ свой княжескій титулъ, изъ опасенія излишнихъ расходовъ, ибо въ то время больше чѣмъ теперь, титулъ князя въ Лондонѣ имѣлъ огромный престижъ, и обязывалъ англичанъ съ этимъ титуломъ соединять представленіе о богатствѣ.

Выходимъ мы изъ вагона. Едва я вышелъ, какъ ко мнѣ подлетѣли какіе-то мальчуганы въ красныхъ ливреяхъ. Но, о ужасъ, я слышу, какъ мой графъ Дэдлей громко говоритъ мальчуганамъ: «Возьмите вещи князя»,— указывая на меня. Въ мигъ на меня накинулись, взяли мои вещи, но прежде каждый мнѣ сотворилъ нижайшій поклонъ. Мой приговоръ, почти смертный, свершился. Съ той минуты я обреченъ былъ обанкротиться. Распростившись съ моимъ графомъ, я вошелъ въ гостинницу какимъ-то тріумфаторомъ: всѣ, конечно, кланялись и провожали меня до моего номера. Оказалось, это этотъ графъ Дэдлей былъ одинъ изъ богатѣйшихъ лордовъ Англіи, тотъ самый, который потомъ женился и имѣлъ приключеніе съ ожерельемъ своей молодой жены.

На другой день я отправился къ нему съ визитомъ. Въ Вестэнде у него оказался небольшой дворецъ. Войдя въ него, я ахнулъ отъ картины великолѣпія: никогда не видѣлъ такой богатой роскоши ни въ дворцахъ, ни въ частномъ домѣ. Кабинетъ его, въ два свѣта, представлялъ громадную залу. Потерянный въ немъ, мой великанъ-англичанинъ сидѣлъ у своего громаднаго, чернаго дуба, письменнаго стола. Онъ принялъ меня очень любезно, сперва послалъ купить большой планъ Лондона и принялся, когда его принесли, мнѣ объяснять этотъ планъ во всѣхъ подробностяхъ, а затѣмъ повелъ меня показывать свое жилище. Когда мы вошли въ его картинную галлерею, я остолбенѣлъ отъ изумленія и восторга. Чего-чего тамъ не было, начиная съ Рафаэля и Корреджіо. Онъ спокойно сказалъ мнѣ, какъ бы мимоходомъ, что купилъ галлерею картинъ кардинала Фэша, знаменитаго дяди Наполеона I, и въ ней-то и оказались всѣ эти chef d'oeuvre'ы стараго искусства... Разумѣется, вся роскошь мебели, бронзы, серебра, ковровъ, мрамора его дворца—показались мнѣ мизерными сравнительно съ этою восхитительною картинною галлереею...

Послѣ двухъ часовъ времени, я вышелъ изъ этой святыни сокровищъ искусства, какъ изъ волшебнаго замка. Но тутъ, въ заключеніе, очнувшись въ мірѣ реальномъ, я засмѣялся невольно, при встрѣчѣ съ характерною чертою нравовъ лорда-чудака... Я обратился къ нему съ вопросомъ: не знаетъ-ли онъ, гдѣ живетъ сэръ Ричардъ Мейнъ. Имя это извѣстно было во всей Европѣ. Уѣзжая изъ Петербурга, я получилъ отъ лорда Нэпира, британскаго посла, письмо на его имя, которое мнѣ нужно было для изученія лондонской полиціи. Сэръ Ричардъ Мейнъ былъ главный начальникъ полиціи въ Лондонѣ,

почтенный старикъ, назначенный на эту должность еще лордомъ Джономъ Россель, премьеромъ, знаменитымъ тѣмъ, что онъ создалъ и пустилъ въ ходъ новую лондонскую полицію въ томъ видѣ, въ какомъ она существуетъ доселѣ.—Могъ-ли не знать о немъ мой лордъ Дэдлей.

И что же?

— Сэръ Ричардъ Мейнъ?—спросилъ онъ.—И, взявши планъ Лондона и показавъ мнѣ на немъ на Сити, сказалъ съ пренебрежительнымъ тономъ: онъ, вѣроятно, живетъ гдѣ-нибудь здѣсь. Больше онъ ничего не могъ мнѣ сказать.

Я вышелъ на улицу и, увидя извозчика, спросилъ его, гдѣ живетъ сэръ Ричардъ Мейнъ?

— Сэръ Ричардъ Мейнъ, — отвѣтилъ извощикъ, — а вотъ...

И онъ указалъ мнѣ на домъ, въ шагахъ двадцати отъ палаццо лорда Дэдлей.

Какъ характерна эта черта нравовъ. Одинъ изъ богатѣйшихъ лордовъ Англіи живетъ десятки лѣтъ рядомъ съ сэромъ Ричардомъ Мейнемъ и думаетъ, что онъ живетъ гдѣ-нибудь въ Сити, изъ аристократическаго пренебреженія къ полицейскому люду.

Я пошелъ къ сэру Ричарду Мейну. Онъ принялъ меня очень любезно, прочиталъ письмо посла и сказалъ, что вся полиція въ Лондонѣ къ моимъ услугамъ.

— Прежде всего,—сказалъ мнѣ почтенный и умный старикъ, бѣлый какъ лунь, съ энергичнымъ лицомъ и врожденною порядочностью во всей фигурѣ,—я вотъ что сдѣлаю: я васъ поставлю въ Лондонѣ въ пріятное и удобное положеніе: хотя вы говорите по-англійски, но все же, я думаю, что вамъ удобнѣе будетъ имѣть такого чичероне, который говоритъ по-французски и по англій-

ски. Я вамъ назначу одного изъ моихъ континентальныхъ инспекторовъ состоять при васъ во все время вашего пребыванія въ городѣ. Онъ вамъ покажетъ весь Лондонъ оффиціальный и тайный, и съ нимъ вамъ будетъ очень легко познакомиться со всѣми пружинами нашей полиціи. И ручаюсь вамъ,—прибавилъ старикъ,—вы останетесь моимъ агентомъ довольны.

Сказавши сіе, серъ Ричардъ позвонилъ. Явился полицейскій.

— Дайте знать инспектору Миллеру, чтобы онъ немедленно явился ко мнѣ.

Въ получасовой бесѣдѣ со старикомъ, я узналъ главныя черты англійской полиціи. [illegible]

[illegible]

о томъ, чтобы его будущій полицейскій былъ поставленъ въ возможно лучшее матеріалное положеніе, дабы у него не могло быть искушенія наживаться насчетъ отступленія отъ своего долга. И вотъ, результаты его заботливости по этому вопросу оказались утѣшительными. Я убѣдился, что не только мы, начальники полиціи, но большая часть лондонскаго народонаселенія можетъ положиться на свою полицію и, дѣйствительно, ей довѣряетъ; а это главное: полиція, безъ довѣрія къ ней населенія, — это мертвая и непроизводительная сила. Впрочемъ, вы всего лучше убѣдитесь въ этомъ по личнымъ вашимъ наблюденіямъ. Я дамъ инструкціи инспектору Мюллеру васъ ставить въ возможность близко посмотрѣть на бытъ моихъ полицейскихъ и на отношенія ихъ къ населенію.

Я уѣхалъ очарованный этимъ энергичнымъ, умнымъ и милымъ старикомъ.

Ровно черезъ два часа явился ко мнѣ съ карточкою отъ сэра Ричарда Мейна Миллеръ. Онъ оказался молодымъ, очень симпатичнымъ и порядочнымъ на видъ человѣкомъ. Говорилъ онъ совсѣмъ свободно по-французски и, какъ онъ мнѣ сказалъ, его главныя занятія заключаются въ исполненіи секретныхъ розысковъ на континентѣ. Оффиціальное его званіе было: inspector of the det ctive policy (detective—это значитъ сыскная полиція). Съ того же дня онъ поступилъ ко мнѣ въ постоянные чичеронэ.

Съ перваго же дня я убѣдился во всемогуществѣ моего чичеронэ, ибо когда мы явились къ дверямъ British музея и намъ объявили, что входъ закрытъ, моему инспектору достаточно было показать и преподнести свою магическую палку, и двери музея сразу предо мною открылись, и я сталъ его осматривать самымъ удобнымъ образомъ. Тоже

самое чудодѣйственное вліяніе производила палка моего компаніона вездѣ. Не только всѣ двери разверзались, но при этомъ оказывалось особенное какое-то почтеніе.

Круглая палка, или вѣрнѣе жезлъ полицейскаго въ Лондонѣ поразилъ меня своею силою въ этомъ городѣ, гдѣ, казалось бы, у толпы, переполняющей всѣ улицы, такая громадная сила самостоятельности и противодѣйствія. На первыхъ порахъ это лондонское движеніе по такимъ улицамъ, какъ Piccadilly или въ Сити, поразило меня: голова стала кружиться, Парижъ мнѣ показался потомъ мало населеннымъ и тихинькимъ городомъ въ сравненіи съ Лондономъ.

Десятки рядовъ экипажей сплошь наполняютъ улицу, и какъ будто все время наѣзжаютъ одинъ на другой; смотришь со страхомъ: вотъ, вотъ сейчасъ зацѣпитъ, разобьетъ въ дребезги; ѣзда при этомъ быстрая—но нигдѣ, ни зацѣпки и ловкость, съ которой проскакиваютъ встрѣчные экипажи одинъ мимо другого, показалась мнѣ зрѣлищемъ въ высшей степени курьезнымъ.

Для насъ, русскихъ, главнымъ курьезомъ въ то время въ Лондонѣ было наше посольство. Вообще, съ посольствами нашими я тогда не былъ знакомъ. Пришлось начать знакомство съ лондонскаго, а лондонское въ смыслѣ экземпляра курьезности было своего рода левіафаномъ. Посломъ нашимъ тогда былъ знаменитый Брунновъ. Никогда послѣ не встрѣчалъ подобнаго типа. Знаменитымъ онъ былъ потому, что года сидѣлъ безвыѣздно въ Лондонѣ, отличался капризностью своего характера, съ княземъ Горчаковымъ былъ въ отношеніяхъ пикантріи, и паче всего извѣстенъ былъ тѣмъ, что ничего не признавалъ, кромѣ своей собственной особы.

Я къ нему явился въ качествѣ русскаго. Онъ меня

принялъ, и тогда я увидѣлъ передъ собою эту толстую и рослую фигуру, напоминающую неуклюжаго бегемота, съ большою головою, бритую, съ лицомъ ничего не выражающимъ, кромѣ полнѣйшаго безучастія,—я получилъ впечатлѣніе, какъ отъ зрѣлища чего-то курьезнаго въ какой-нибудь кунсткамерѣ, и больше ничего.

Первый вопросъ, который мнѣ задалъ знаменитый баронъ, былъ чисто брунновскаго цинизма.

— Надѣюсь,—сказалъ онъ мнѣ по-французски,—что вы не имѣете ко мнѣ никакой просьбы.

Я отвѣтилъ такъ же.

— Нѣтъ, баронъ, сознаюсь, въ предвидѣніи именно этого вопроса, я заручился уже въ Петербургѣ рекомендательными письмами лорда Нэпира.

— А для чего вы пріѣхали въ Лондонъ?

— Для изученія лондонской полиціи.

— Ну, вотъ видите, какъ это выходитъ кстати (comme cela se trouve bien), въ этомъ дѣлѣ я ровно ничего не смыслю, и ничѣмъ не могу быть вамъ полезнымъ.

Затѣмъ проявленія его цинизма шли crescendo.

Изъ разговора онъ узналъ, что я былъ въ Скевенингенѣ и видѣлся съ Цесаревичемъ.

Тогда онъ вдругъ перемѣнилъ свой тонъ; сталъ какъбы медовымъ, и не только обѣщалъ мнѣ пригласить къ себѣ къ обѣду, и *честь* быть представленнымъ à madame la baronne, но, какъ ни въ чемъ не бывало, предложилъ мнѣ тѣ самыя услуги, отъ которыхъ такъ цинично онъ отказалъ мнѣ въ началѣ, въ предвидѣніи моей просьбы о нихъ.

— Можетъ быть, вамъ нужна рекомендація къ министру внутреннихъ дѣлъ, или къ кому-нибудь другому: я въ Лондонѣ для всѣхъ свой человѣкъ.

Несмотря на такую вдругъ проявившуюся любезность, я соблюлъ свое достоинство и отвѣтилъ барону, что никакими просьбами его утруждать не буду.

На этомъ мы разстались. Я дѣйствительно былъ удостоенъ приглашенія обѣдать, и познакомился съ знаменитою баронессою, съ черными локонами, окаймлявшими толстое, безъ всякаго выраженія, лицо, и нашелъ ее совершенно одинаковаго типа съ мужемъ. Оба разговаривали, но я все время испытывалъ непріятное ощущеніе, что говорили они по необходимости, безъ малѣйшаго жизненнаго участія къ лицу и къ предметамъ разговора. Мнѣ казалось, что я провелъ два часа въ обществѣ говорящихъ мумій. Самымъ интереснымъ и характернымъ за весь обѣдъ эпизодомъ были слова Бруннова, мною записанные въ путевой дневникъ, какъ голосъ нашего дипломата, какъ квинтъ-эссенція его credo.

— Я всегда говорю моимъ дорогимъ соотечественникамъ, къ счастью ихъ въ Лондонѣ немного,—если вы имѣете наивность думать, что посольство служитъ для васъ, то вы жестоко ошибаетесь...

Въ этомъ отношеніи заслуга Бруннова заключалась пожалуй въ томъ, что онъ съ цинизмомъ высказывалъ то, что его милые коллеги практиковали, какъ и онъ но только подъ прикрытіемъ любезныхъ формъ и пустяшныхъ отговорокъ.

И это былъ Андреевскій кавалеръ.

Мнѣ говорили, что карьерою своею въ началѣ онъ былъ обязанъ своему красивому почерку, а затѣмъ своему стилю. Что онъ сдѣлалъ для Россіи полезнаго, я никогда не могъ узнать, но подъ конецъ его карьеры его могли цѣнить потому, что онъ годы высиживалъ въ Лондонѣ—и

пріучилъ къ своей фигурѣ и къ своему чудачеству чуть-ли не весь политическій міръ Англіи.

Вообще, какъ я сказалъ, такого оригинальнаго и самобытнаго типа цинизма, въ своемъ презрѣніи къ какимъ-то ни было нравственнымъ обязаностямъ по должности, и въ своемъ куртизантствѣ, я никогда не встрѣчалъ. Изъ куртизантскаго поклоненія и самоуниженія онъ дѣлалъ культъ, и находилъ въ его отправленіи какое-то циничное наслажденіе, какъ онъ самъ въ томъ сознавался.

Какой націи онъ былъ, какой вѣры, такъ я никогда не могъ узнать; но одно было всѣмъ извѣстно, это удивленіе каждаго, что столько лѣтъ могъ быть русскимъ посломъ въ Лондонѣ человѣкъ, который ничего не признавалъ, кромѣ заботы о своемъ здоровьѣ, и столько же любилъ Россію, какъ любилъ ее любой англичанинъ.

Познакомился я также съ священникомъ нашей церкви, отцомъ Е. И. Поповымъ. Это былъ умный и почтенный старикъ, съ сѣдыми обстриженными до воротника волосами, съ гладко выбритымъ лицомъ, и съ физіономіею и манерами англиканскаго пастора.

По этому поводу мнѣ пришлось замѣтить характерную черту въ нашемъ заграничномъ духовенствѣ: въ Берлинѣ русскій священникъ похожъ на пруссака, въ Лондонѣ—на англичанина, въ Парижѣ—на француза; но ни въ одномъ изъ этихъ трехъ городовъ мнѣ не пришлось увидѣть сберегшаго свою первобытную личность русскаго священника. Въ разговорѣ почтенный Евгеній Ивановичъ Поповъ жаловался мнѣ на три вещи: 1) на скуку въ Лондонѣ, 2) на дороговизну жизни: съ содержаніемъ въ 1,000 фунтовъ ему приходилось позволять себѣ мясныя блюда только два раза въ недѣлю, и 3) на полный индифферентизмъ къ русской церкви почтеннаго нашего посла...

Скука въ Лондонѣ происходила отчасти отъ отсутствія русскаго общества... Большинство русскихъ, находившихся въ Лондонѣ, составляли герценисты и бакунисты, которымъ, разумѣется, до русскаго священника и русской церкви не было ни малѣйшаго дѣла.

Мое изученіе полиціи въ Лондонѣ продолжалось около двухъ недѣль. Въ это время я успѣлъ также познакомиться съ учрежденіями и нравами, которые по своей оригинальности только и мыслимы въ такой странѣ оригинальности, какъ Англія. Поздно вечеромъ, мой инспекторъ повезъ меня въ кварталъ доковъ, знакомить съ *воровскими интернатами* или lodging house, какъ они тамъ называются. Двое мѣстныхъ инспекторовъ насъ встрѣтили, съ маленькимъ отрядомъ изъ 4 полисменовъ, и въ первомъ часу ночи мы начали осмотръ трехъ-этажнаго большого дома, гдѣ изволили ночевать лондонскіе воры. Жили они по нѣсколько человѣкъ въ одной комнатѣ, и кромѣ спаленъ имѣли свою общую столовую, свою умывальную и ванную комнату, свою читальню и даже свою курительную комнату, такъ какъ изъ *уваженія* къ старымъ традиціямъ—чтобы не безпокоить некурящихъ воровъ, курить не позволялось ни въ спальнѣ, ни въ столовой, ни въ читальнѣ... Въ домѣ царствовала полная тишина сна... Когда мы входили, и жильцы, просыпаясь, сквозь просонокъ видѣли фигуру знакомыхъ имъ инспекторовъ, они привѣтствовали ихъ любезнымъ: good night. Когда инспекторъ, увидѣвъ пустыя желѣзныя кровати спрашивалъ: гдѣ такой-то, на работѣ?—сосѣдъ преспокойно отвѣчалъ: да, на работѣ. Быть на работѣ означало заниматься воровствомъ... По словамъ моихъ чичероне оказывалось, что какъ только совершалась гдѣ-нибудь кража, прежде всего обыски концентрировались въ этомъ домѣ, и, въ случаѣ

нужды, на этотъ или другой кружокъ воровъ возлагалась полиціею обязанность розыскать во что-бы то ни стало украденныя вещи...

Я посѣтилъ въ томъ же кварталѣ ночное увеселительное мѣсто для рабочаго и матроскаго населенія домовъ. Это была громадная зала, гдѣ нѣсколько тысячъ человѣкъ мужчинъ и женщинъ— и какихъ женщинъ, страшно высказать—плясало, пѣло, гуляло, болтало; пили и ѣли съ нравами полнаго разгула... Въ иныхъ мѣстахъ этой громадной залы разгулъ былъ отвратительный.

— Это самое опасное мѣсто въ Лондонѣ, —сказалъ мнѣ инспекторъ,—это клубъ всѣхъ сорви-головъ Лондона; и если здѣсь страсти разгорятся, то бѣда... У насъ здѣсь до ста переодѣтыхъ полисменовъ каждую ночь, да на готовѣ столько же...

Какъ я сказалъ выше, съ минуты, какъ я былъ названъ княземъ въ моей гостинницѣ, я былъ приговоренъ къ банкротству. И дѣйствительно, счета, подававшіеся мнѣ въ гостинницѣ,—къ концу второй недѣли моего пребыванія въ Лондонѣ опустошили мою казну до такой степени, что я долженъ былъ телеграфировать въ Петербургъ просьбу о присылкѣ мнѣ денегъ, и спѣшить выѣздомъ изъ Лондона, какъ можно скорѣе. Прощальныя мои впечатлѣнія въ Лондонѣ были не изъ поэтичныхъ... Поѣхалъ я съ герцогомъ Лейхтенбергскимъ, въ знаменитый тогда Cremorn Garden, увеселительный садъ, въ родѣ парижскаго Mabile, но только съ тою разницею, что послѣдній показался мнѣ чуть ли не порядочнымъ и даже благоприличнымъ въ сравненіи съ лондонскимъ. Англичане, видно, не любятъ дѣлать вещей на половину: коли быть неприличнымъ, такъ ужъ совсѣмъ. И замѣчательно,

что послѣ этого я на своемъ вѣку нигдѣ не встрѣчалъ такого цинизма въ неприличіи, какъ въ Cremorn Garden. Большой садъ съ музыкою и шансонеточными пѣвицами, освященъ à giorno; нигдѣ не было темнаго уголка; садъ переполненъ замѣчательными красавицами; все лондонскія кокотки, и одна элегантнѣе другой. Но затѣмъ, что позволяютъ себѣ эти прелестныя дѣвы относительно мужчинъ при томъ яркомъ освѣщеніи, — не берусь описывать... Скажу только, хотите ли вы, или не хотите, никто васъ о томъ не спрашиваетъ, но въ любую минуту къ вамъ подходятъ двѣ-три красавицы и берутъ васъ въ плѣнъ. Всѣ подробности этого плѣненія, коего намъ приходилось быть свидѣтелями то направо, то налѣво, до того насъ испугали, что въ ту минуту, когда къ намъ подошли три красавицы, прося угощенья, мы бѣжали отъ ужаса изъ этого сада!..

Вторымъ прозаическимъ впечатлѣніемъ было знакомство на практикѣ съ лондонскою медициною. Не желаю ее врагу. Заболѣвъ отъ лондонской кухни гастрическимъ разстройствомъ, я обратился къ врачу. Врачъ, какъ оказалось, есть въ тоже время и аптекарь, онъ самъ готовитъ свое лекарство, и вотъ онъ мнѣ любезно предложилъ своего изобрѣтенія слабительное. Вспомнить объ этомъ смѣшно, но въ то время, когда я переживалъ дѣйствіе этого лекарства, я думалъ, что приходится прощаться съ жизнью. Ничего подобнаго никогда не испыталъ послѣ. Послѣ такого лѣченія я просто бѣжалъ изъ Лондона, чтобы сколько нибудь возстановить свои силы. Въ утѣшеніе мнѣ сказали, что англійскіе желудки по отношенію къ континентальнымъ все равно, что лошадиные сравнительно съ человѣческими.

Прибылъ наконецъ изъ Лондона въ Парижъ, который,

не смотря на лѣтнее время, показался мнѣ въ сравненіи съ Лондономъ раемъ земнымъ. Это былъ золотой вѣкъ Имперіи. Парижъ украшался и чистился великимъ чудодѣемъ Гаусманомъ. Полисмены въ треуголкахъ казались джентельменами. Войска двигались по улицамъ, трубили военныя трубы, билъ барабанъ; Булонскій лѣсъ былъ восхитителенъ своею роскошью въ чистотѣ. Всѣ интересы дня сосредоточивались около Тюльерійскаго дворца. Наполеонъ III въ немъ жилъ въ ореолѣ генія. Онъ считался тогда главною силою въ Европѣ, и будущій его страшный соперникъ Бисмаркъ, по возвращеніи своемъ изъ Петербурга, гдѣ былъ посланникомъ, начиналъ только зарождаться. Изъ бесѣдъ того времени съ герцогомъ Николаемъ Лейхтенбергскимъ и съ окружавшими Великую Княгиню Марію Николаевну я могъ составить себѣ представленіе о Наполеонѣ III. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова пріятный и даже съ обаятельнымъ умомъ человѣкъ. Онъ прелестно разговаривалъ, прелестно слушалъ, никогда не выходилъ изъ себя, никто не зналъ, какъ сердится Наполеонъ III. Въ такую критическую минуту, когда, казалось, послѣднее терпѣнье должно было быть въ немъ истощено, и всѣ ожидали грозы, Наполеонъ III говорилъ только: cela ne peut pas aller, comme cela. Про Императрицу Евгенію говорили, что она была очень добрая и милая женщина. Но про entourage тюльерійскихъ величествъ отзывы были куда менѣе благопріятны. За исключеніемъ двухъ-трехъ, и въ томъ числѣ Морни, про большинство говорили, что это были люди de sac et de corde. Въ числѣ нелюбимыхъ былъ знаменитый Plon Plon, двоюродный братъ императора, принцъ Наполеонъ. Онъ былъ олицетвореніемъ безтактности и циническаго самодурства; кромѣ того, онъ былъ при дворѣ главою антирусской

[illegible] трудно сочетаніе participe'овъ. [illegible] и сталъ доказывать, что ничего нѣтъ легче, какъ примѣненіе этихъ правилъ. Наполеонъ высказался за великую княгиню, и прибавилъ: я постараюсь вамъ доказать это на дѣлѣ. И вотъ, на слѣдующій день, послѣ обѣда, къ которому были приглашены всѣ знаменитѣйшіе знатоки французской словесности и литературы съ Villemain во главѣ, Наполеонъ III предлагаетъ всѣмъ гостямъ сѣсть за столъ, на которомъ уже были приготовлены бумага, перья и чернильница, и писать подъ его диктовку. Диктовка эта была имъ сочинена нарочно съ самыми трудными, относительно participe'овъ pasés фразами: въ ней было всего семь строкъ. Послѣ диктовки начался экзаменъ: оказалось, что ни одной диктовки не было написано безъ ошибокъ. Villemain сдѣлалъ три ошибки, императрица 7 ошибокъ, столько же Великая Княгиня. Вы видите, — заключилъ Наполеонъ, улыбаясь своимъ тонкимъ и добродушнымъ смѣхомъ,—что правила о participe'ѣ не совсѣмъ такъ легки.

Говорили тогда тоже объ англоманіи Наполеона III. Люди компетентные подтверждали этотъ слухъ, и его, то есть этою англоманіею, объясняли тогда, почему русскія симпатіи Наполеона III, которыя въ немъ были и правдивы и искренни, на самомъ дѣлѣ въ немъ оставались въ состояніи невоздѣланномъ и, имѣя скорѣе пассивный характеръ, оказывались непроизводительными. Наполеонъ III подчинялся, часто безъ участія въ томъ его воли, англійскому вліянію, къ которому имѣлъ какой то странный культъ. Разумѣется, и въ то время англичане ничего такъ не ненавидѣли, какъ чьи бы то ни было симпатіи къ Россіи, и тѣмъ паче симпатіи крымскаго ихъ союзника, и потому не упускали никакого случая, чтобы

противодѣйствовать стремленію Наполеона къ сближенію съ Россіею, и увѣрять его въ томъ, что единственный вѣрный союзникъ и другъ Франціи — это Англія.

Замѣчательно было, что, при несомнѣнномъ умѣ Наполеона III, онъ ни разу не задавалъ себѣ вопроса насчетъ степени довѣрія, котораго, послѣ столь поучительныхъ опытовъ исторіи, могло заслуживать увѣреніе англійской дружбы.

Совершивъ круговую поѣздку по Швейцаріи и отчасти по Германіи, я къ концу осени, уже на возвратномъ пути въ Россію, пріѣхалъ въ Дармштадтъ, гдѣ находилась вся Царская Фамилія, и куда прибылъ изъ Даніи, уже послѣ помолвки, Цесаревичъ.

Въ минуту моего пріѣзда маленькій Дармштадтъ показался мнѣ Царскимъ Селомъ, по сновавшимъ въ разныхъ направленіяхъ придворнымъ русскимъ лакеямъ, фельдъегерямъ и т. д.

Переночевавъ въ гостинницѣ, я отправился утромъ гулять по саду, и тамъ встрѣтилъ Государя, любезно меня остановившаго.

Я поздравилъ Государя съ помолвкою Цесаревича.

— И тебя поздравляю,—сказалъ мнѣ Государь, съ сіявшимъ отъ радости лицомъ.

Къ вечеру получилъ приглашеніе во Дворецъ на чай и на собраніе. Тутъ я свидѣлся съ Цесаревичемъ. Несказанно обрадовался увидѣть на лицѣ его, прежде всего, естественную радость и, затѣмъ, отраженіе свѣжести и отдыха.

— Вы меня днемъ не застали,—сказалъ онъ мнѣ,—приходите ко мнѣ послѣ собранія, мы побесѣдуемъ по старому...

Собраніе имѣло тотъ же характеръ, какъ въ царско-

сельской китайской гостиной. Императрица сидѣла у круглаго чайнаго стола и разливала чай. Государь игралъ въ ералашъ со своими партнерами: графомъ Адлербергомъ, И. М. Толстымъ и графомъ Шуваловымъ. Новыя были только лица дармштадтскаго дворца: великій герцогъ, почтенный и пожилой человѣкъ около 50 лѣтъ, великая герцогиня, принцъ Александръ, братъ Императрицы и принцесса, и молодые герцоги. Тутъ былъ и Великій Князь Владиміръ Александровичъ, предложившій мнѣ вмѣстѣ съ нимъ на другое утро вернуться въ Россію.

Послѣ собранія я отправился къ Цесаревичу.

Это была, увы, послѣдняя съ нимъ бесѣда. На другой день онъ долженъ былъ уѣхать на югъ, такъ какъ рѣшено было, что зиму онъ проведетъ или въ Италіи, или на югѣ Франціи. Когда я вошелъ, Цесаревичъ подошелъ къ дверямъ, заперъ ихъ и сказалъ:

— Теперь мы можемъ говорить по душѣ...

Не ожидая моихъ вопросовъ, Цесаревичъ сказалъ:

— Ну, Владиміръ Петровичъ, теперь вы будете мною довольны: я могу сказать, что предчувствую счастье...

Тутъ Цесаревичъ мнѣ передалъ свои новыя и прелестныя ощущенія жениха, очертилъ свое пребываніе въ Даніи, и чѣмъ больше онъ вводилъ меня въ свой новый міръ и расширялъ горизонтъ своихъ впечатлѣній, тѣмъ отраднѣе становилось на душѣ.

— Теперь я у берега,—говорилъ мнѣ Цесаревичъ,— Богъ дастъ, отдохну и укрѣплюсь зимою въ Италіи, затѣмъ свадьба, а потомъ новая жизнь, семейный очагъ, служба и работа... Пора... Жи[illegible]... Въ Скевенингенѣ все черныя [illegible] Даніи онѣ ушли и смѣнили [illegible] если скажу, что моя невѣст[illegible]

поръ я живу мечтами будущаго... Мнѣ рисуется нашъ домъ и наша общая жизнь труда и совершенствованія... И вы знаете, что я вамъ скажу: вѣроятно, это вамъ доставитъ удовольствіе,—однимъ изъ виновниковъ моего возрожденія будете вы; вы умѣли находить во мнѣ хорошія стороны и будили постоянно мою энергію. Помните, какъ вы меня журили въ Скевенингенѣ? Да, Владиміръ Петровичъ, мы съ вами пережили дурные дни, дастъ Богъ, начнемъ переживать лучшіе. Ну, что, каковы ваши путевыя впечатлѣнія? Изъ вашихъ писемъ я увидѣлъ, что вамъ менѣе всего понравилась Англія. Я даже думаю, что Англію любить могутъ только англичане.

Я передалъ Цесаревичу сущность моихъ впечатлѣній.

Передалъ я ихъ со смущеніемъ, ибо получилъ главное впечатлѣніе такое: вездѣ лучше чѣмъ у насъ въ смыслѣ порядка и людей. И совсѣмъ независимо отъ политическаго міра. Въ Англіи лучше при парламентѣ; во Франціи лучше при подобіи англійской конституціи, цезаризмѣ; въ Швейцаріи—при республикѣ.

— Да, это правда,—отвѣтилъ мнѣ Цесаревичъ,—хотя я гораздо меньше васъ видѣлъ чужіе края, но я испыталъ то же самое впечатлѣніе. Но я утѣшаю себя тѣмъ, что у насъ вся будущность впереди. Здѣсь, въ Европѣ лѣто, а у насъ въ Россіи весна, съ ея неурядицами, но за то и съ ея надеждами, съ ея первыми отпрысками пробуждающейся жизни. Вся работа впереди.

— Вы очень вѣрно сравнили Европу съ лѣтомъ и Россію съ весною,—отвѣтилъ я Цесаревичу,—но меня одно смущаетъ: люди, или безлюдіе: какіе у насъ государственные люди? Что они не геніи, это не бѣда, [illegible]ь и въ Европѣ нѣтъ; а бѣда въ томъ, мнѣ кажется, какъ будто вовсе не интересуются Россіею, а

здѣсь каждый интересуется своимъ дѣломъ потому, что интересуется своимъ государствомъ.

— И это правда,—сказалъ Цесаревичъ,—но до извѣстной степени, мнѣ кажется, что люди есть, но только ихъ не ищутъ. Сколько людей и дѣльныхъ и интересныхъ намъ пришлось видѣть въ прошломъ году во время нашего путешествія по Россіи. Я, напримѣръ, думаю, что если земскія учрежденія у насъ пойдутъ съ толкомъ, то получится отличная школа для выработки людей.

Вотъ дайте мнѣ только жениться... Какъ бы то ни было, а до сихъ поръ и я жилъ за китайскою стѣною... Мы выѣзжали въ свѣтъ, эту зиму, съ Сашею, а много ли толку было: все сплетни да сплетни... А когда я женюсь, и у меня будетъ свой домъ, китайская стѣна провалится, и мы будемъ искать и принимать людей...

Нѣкоторые говорятъ, что людей создаетъ конституціонный образъ правленія. Я объ этомъ не разъ думалъ и кое съ кѣмъ разговаривалъ. По моему врядъ ли это вѣрно... Посмотрите вѣкъ Екатерины... Вѣдь это былъ вѣкъ богатѣйшій людьми—не только у насъ, но сравнительно во всей Европѣ. Возьмите николаевскую эпоху... Сколько людей замѣчательныхъ онъ вокругъ себя создалъ... Во всякомъ случаѣ, это доказываетъ, что форма правленія тутъ не при чемъ. Это мое твердое убѣжденіе, и я надѣюсь, что никто меня въ этомъ отношеніи не разубѣдитъ. Мнѣ представляется, что неограниченный монархъ можетъ гораздо болѣе сдѣлать блага для своего народа, чѣмъ ограниченный, потому что въ каждой палатѣ гораздо болѣе [illegible]ресовъ личныхъ и партійныхъ, чѣмъ можетъ [illegible] самодержавномъ государѣ...

[illegible] записывалъ потомъ въ свой дневникъ [illegible]хъ впечатлѣніемъ. Скажу откровенно,

хотя я четырьмя годами былъ старше Великаго Князя, но они имѣли для меня авторитетное вліяніе, ибо въ то время, испытывая поневолѣ дѣйствіе сильно напиравшихъ на жизнь либеральныхъ стремленій, я иногда чувствовалъ себя колеблющимся и, во всякомъ случаѣ, твердымъ хозяиномъ своихъ политическихъ убѣжденій, какъ послѣ далеко еще себя не чувствовалъ... мнѣ подчасъ казалось, что авторитетнѣе и умнѣе меня тѣ люди, которые такъ смѣло вели пропаганду, противоположную убѣжденіямъ моимъ, привитымъ мнѣ съ дѣтства карамзинскою семьею.

Записалъ изъ этого разговора еще слѣдующее.

Говоря о людяхъ, Великій Князь сказалъ приблизительно слѣдующее: «Да и грѣшно мнѣ было бы не вѣрить въ то, что есть люди. Благодаря графу Строгонову я имѣлъ возможность сходиться съ такими почтенными и достойными людьми, что было бы съ моей стороны глупо отрицать фактъ, что люди есть; если въ ограниченномъ районѣ, графъ Строгановъ выбиралъ для меня профессоровъ, нашлись прекрасные люди, то, разумѣется, они имѣются въ обширномъ районѣ русскихъ людей... Во всякомъ случаѣ, на нихъ основана вся моя надежда на мое дальнѣйшее образованіе—въ будущемъ».

Былъ второй часъ ночи, когда мы какъ будто очнулись отъ бесѣды и вспомнили, что давно всѣ спятъ въ благочестивомъ замкѣ... Наступила минута разставанія...

Великій Князь меня обнялъ, со словами: до свиданія, до весны...

— Кланяйтесь брату (Великому Князю Александру Александровичу)—были его послѣднія слова,—скажите ему, что вы меня видѣли счастливымъ и вѣрящимъ въ счастье, и скажите ему, чтобы онъ мнѣ почаще писалъ; я васъ прошу мнѣ писать обо всемъ, и особливо о братѣ,

малѣйшая подробность о немъ меня интересуетъ, и, пожалуйста, будьте ему вѣрнымъ другомъ. Богъ съ вами...

На этомъ мы разстались.

Въ 8 часовъ утра я выѣхалъ изъ Дармштадта.

Черезъ три дня поѣздъ остановился на царскосельской станціи въ пятомъ часу вечера. Брата своего пріѣхалъ встрѣтить Великій Князь Александръ Александровичъ.

Великій Князь Владиміръ Александровичъ сѣлъ въ коляску съ графомъ Перовскимъ, а меня Великій Князь Александръ Александровичъ посадилъ въ свою коляску и повезъ къ себѣ. Глубоко тронуло меня то радушіе, съ которымъ онъ меня увидалъ неожиданно въ поѣздѣ.

XXXIV.

(1864—1865 года).

Возвращеніе изъ-за границы.—Князь В. А. Долгоруковъ.—Земскія броженія умовъ —Агитація и интриги противъ М. П. Муравьева —Уходъ Муравьева.—Князь С. Н. Урусовъ.

По возвращеніи въ Петербургъ, явился къ своему министру Валуеву и засталъ его въ розовомъ настроеніи. Вручилъ ему книжку, Peerage, которую онъ мнѣ поручилъ для него купить въ Лондонѣ, а на вопросъ, который онъ мнѣ задалъ: благополучно ли я съѣздилъ? — отвѣтилъ ему, что вернулся съ душею, ущемленною досадою отъ всего того хорошаго, что есть заграницею, и нѣтъ у насъ...

— Да,—сказалъ съ обычною emphase Валуевъ:—намъ недостаетъ очень многаго для того, чтобы имѣть право себя считать частью цивилизованной Европы; вотъ эта маленькая штучка,—сказалъ онъ, указывая на Peerage,—она, въ сущности, изображаетъ собою то главное, чего намъ недостаетъ: это поколѣнія людей, изъ рода въ родъ приготовляющихся къ великому дѣлу государственной службы; у насъ управляетъ чиновникъ, тамъ политическія традиціи. Это маленькая разница, — съ оттѣнкомъ иронiи прибавилъ Валуевъ.

Еще немного и Валуевъ пришелъ къ той мысли, что

здѣсь каждый интересуется своимъ дѣломъ потому, что интересуется своимъ государствомъ.

— И это правда,—сказалъ Цесаревичъ,—но до извѣстной степени, мнѣ кажется, что люди есть, но только ихъ не ищутъ. Сколько людей и дѣльныхъ и интересныхъ намъ пришлось видѣть въ прошломъ году во время нашего путешествія по Россіи. Я, напримѣръ, думаю, что если земскія учрежденія у насъ пойдутъ съ толкомъ, то получится отличная школа для выработки людей.

Вотъ дайте мнѣ только жениться... Какъ бы то ни было, а до сихъ поръ и я жилъ за китайскою стѣною... Мы выѣзжали въ свѣтъ, эту зиму, съ Сашею, а много ли толку было: все сплетни да сплетни... А когда я женюсь, и у меня будетъ свой домъ, китайская стѣна провалится, и мы будемъ искать и принимать людей...

Нѣкоторые говорятъ, что людей создаетъ конституціонный образъ правленія. Я объ этомъ не разъ думалъ и кое съ кѣмъ разговаривалъ. По моему врядъ ли это вѣрно... Посмотрите вѣкъ Екатерины... Вѣдь это былъ вѣкъ богатѣйшій людьми—не только у насъ, но сравнительно во всей Европѣ. Возьмите николаевскую эпоху... Сколько людей замѣчательныхъ онъ вокругъ себя создалъ... Во всякомъ случаѣ, это доказываетъ, что форма правленія тутъ не при чемъ. Это мое твердое убѣжденіе, и я надѣюсь, что никто меня въ этомъ отношеніи не разубѣдитъ. Мнѣ представляется, что неограниченный монархъ можетъ гораздо болѣе сдѣлать блага для своего народа, чѣмъ ограниченный, потому что въ каждой палатѣ гораздо болѣе интересовъ личныхъ и партійныхъ, чѣмъ можетъ ихъ быть въ самодержавномъ государѣ...

Слова эти я записывалъ потомъ въ свой дневникъ подъ глубокимъ ихъ впечатлѣніемъ. Скажу откровенно,

хотя я четырьмя годами былъ старше Великаго Князя, но они имѣли для меня авторитетное вліяніе, ибо въ то время, испытывая поневолѣ дѣйствіе сильно напиравшихъ на жизнь либеральныхъ стремленій, я иногда чувствовалъ себя колеблющимся и, во всякомъ случаѣ, твердымъ хозяиномъ своихъ политическихъ убѣжденій, какъ послѣ далеко еще себя не чувствовалъ... мнѣ подчасъ казалось, что авторитетнѣе и умнѣе меня тѣ люди, которые такъ смѣло вели пропаганду, противоположную убѣжденіямъ моимъ, привитымъ мнѣ съ дѣтства карамзинскою семьею.

Записалъ изъ этого разговора еще слѣдующее.

Говоря о людяхъ, Великій Князь сказалъ приблизительно слѣдующее: «Да и грѣшно мнѣ было бы не вѣрить въ то, что есть люди. Благодаря графу Строгонову я имѣлъ возможность сходиться съ такими почтенными и достойными людьми, что было бы съ моей стороны глупо отрицать фактъ, что люди есть; если въ ограниченномъ районѣ, графъ Строгановъ выбиралъ для меня профессоровъ, нашлись прекрасные люди, то, разумѣется, они имѣются въ обширномъ районѣ русскихъ людей... Во всякомъ случаѣ, на нихъ основана вся моя надежда на мое дальнѣйшее образованіе—въ будущемъ».

Былъ второй часъ ночи, когда мы какъ будто очнулись отъ бесѣды и вспомнили, что давно всѣ спятъ въ благочестивомъ замкѣ... Наступила минута разставанія...

Великій Князь меня обнялъ, со словами: до свиданія, до весны...

— Кланяйтесь брату (Великому Князю Александру Александровичу)—были его послѣднія слова,—скажите ему, что вы меня видѣли счастливымъ и вѣрящимъ въ счастье, и скажите ему, чтобы онъ мнѣ почаще писалъ; я васъ прошу мнѣ писать обо всемъ, и особливо о братѣ,

малѣйшая подробность о немъ меня интересуетъ, и, пожалуйста, судьте ему вѣрнымъ другомъ. Богъ съ вами...

На этомъ мы разстались.

Въ 8 часовъ утра я выѣхалъ изъ Дармштадта.

Черезъ три дня поѣздъ остановился на царскосельской станціи въ пятомъ часу вечера. Брата своего пріѣхалъ встрѣтить Великій Князь Александръ Александровичъ.

Великій Князь Владиміръ Александровичъ сѣлъ въ коляску съ графомъ Перовскимъ, а меня Великій Князь Александръ Александровичъ посадилъ въ свою коляску и повезъ къ себѣ. Глубоко тронуло меня то радушіе, съ которымъ онъ меня увидалъ неожиданно въ поѣздѣ.

XXXIV.

(1864—1865 года).

Возвращеніе изъ-за границы.—Князь В. А. Долгоруковъ.—Земскія броженія умовъ.—Агитація и интриги противъ М. П. Муравьева.—Уходъ Муравьева.—Князь С. Н. Урусовъ.

По возвращеніи въ Петербургъ, явился къ своему министру Валуеву и засталъ его въ розовомъ настроеніи. Вручилъ ему книжку, Peerage, которую онъ мнѣ поручилъ для него купить въ Лондонѣ, а на вопросъ, который онъ мнѣ задалъ: благополучно ли я съѣздилъ? — отвѣтилъ ему, что вернулся съ душею, ущемленною досадою отъ всего того хорошаго, что есть заграницею, и нѣтъ у насъ...

— Да,—сказалъ съ обычною emphase Валуевъ:—намъ недостаетъ очень многаго для того, чтобы имѣть право себя считать частью цивилизованной Европы; вотъ эта маленькая штучка,—сказалъ онъ, указывая на Peerage,—она, въ сущности, изображаетъ собою то главное, чего намъ недостаетъ: это поколѣнія людей, изъ рода въ родъ приготовляющихся къ великому дѣлу государственной службы; у насъ управляетъ чиновникъ, тамъ политическія традиціи. Это маленькая разница, — съ оттѣнкомъ иронiи прибавилъ Валуевъ.

Еще немного и Валуевъ пришелъ къ той мысли, что

и я: что у насъ паче всего ощущается недостатокъ въ *людяхъ*...

Это мнѣ показалось не лишеннымъ пикантности... Когда я, или другой кто-либо, сѣтовалъ на недостатокъ у насъ людей, то, между прочимъ, какъ доказательство этого недостатка людей непремѣнно должна была являться въ умѣ помпезная фигура Валуева, во свидѣтельство этого неурожая на людей, достойныхъ занимать высшія государственныя должности... Но чтобы самъ Валуевъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ говорилъ тоже самое, что мы, будучи министромъ самаго важнаго министерства въ самое важное время, это было именно пикантно потому, что, очевидно, не въ себѣ онъ видѣлъ торжество принципа неспособнаго, замѣняющаго мѣсто способнаго, а въ другихъ и, несомнѣнно, подъ словами: недостатокъ въ людяхъ — разумѣлъ недостатокъ въ себѣ подобныхъ: два, три Валуевыхъ,—думалъ вѣроятно онъ,—и мы имѣли бы вѣкъ славнѣй екатерининскаго!..

Потомъ этотъ пикантный qui pro quo я встрѣчалъ въ нашихъ государственныхъ людяхъ часто: сидишь передъ государственнымъ человѣкомъ, про котораго думалось одно: какими судьбами такой убогій человѣкъ могъ попасть въ государственные люди? И первое, что слышишь, какъ размышленіе, это фраза, сказанная какъ бы тономъ самого Юпитера съ Олимпа, тономъ пренебреженія и жалости къ простымъ смертнымъ: *людей нѣтъ*...

Покойный Ф. М. Тютчевъ въ то время, я помню, не веселѣе смотрѣлъ на недостатокъ въ людяхъ, но свою безотрадную мысль в ывалъ съ свойственнымъ ему остроуміемъ тогда, к огда являлся вакантный постъ, послѣ чьей- -а смѣна вызывала радость.

— Не торопитесь радоваться,—говорилъ онъ по французски,—можетъ быть придется плакать надъ преемникомъ.

Одинъ тогда былъ государственный человѣкъ, который никакими размышленіями пессимиста не отуманивалъ своего горизонта и всегда являлся въ сіяніи привѣтливой улыбки, это тогдашній шефъ жандармовъ князь Василій Андреевичъ Долгоруковъ.

Это одинъ изъ людей, про котораго, заглянувъ въ давно минувшую даль, пріятное воспоминаніе невольно сливается съ грустью.

Это былъ замѣчательный типъ олицетворенія порядочности, доброты и скромности: его здравый смыслъ питался этими качествами и создавалъ для него, какъ для шефа жандармовъ, какой-то его собственный міръ, гдѣ все было, начиная отъ всѣхъ оттѣнковъ и принциповъ настоящаго вельможи, и кончая всѣми тонкостями любезнаго человѣка, все, кромѣ міра государственнаго человѣка... Съ перваго же разговора съ нимъ можно было понять такого пріятнаго и привлекательнаго даже человѣка другомъ Государя, именно вслѣдствіе его благородства и симпатичности, но его физіономію государственнаго человѣка никакъ нельзя было постигнуть... Императоръ Николай I, когда князь Василій Андреевичъ Долгоруковъ былъ еще молоденькимъ, свѣженькимъ красавцемъ корнетомъ конно-гвардейскаго полка, взялъ его однажды въ свои могучія руки, приподнялъ и, поцѣловавъ, сказалъ: вотъ кто будетъ когда-нибудь моимъ маленькимъ военнымъ министромъ...

Пророчество сбылось, и, по замѣчательному капризу судьбы, князь В. А. Долгоруковъ сдѣлался *маленькимъ*

военнымъ министромъ Николая I въ труднѣйшую и великую годину крымской войны!

При Александрѣ II, послѣ князя Орлова, онъ сдѣлался шефомъ жандармовъ... Тихій, скромный, съ пріятною своею улыбкою кротости и честности, онъ вошелъ въ этотъ страшный домъ дубельтскихъ преданій, и сдѣлалъ изъ него жилище и отраженіе всѣмъ своихъ добродѣтелей... Вѣра въ честнаго человѣка и снисходительность къ дурному человѣку—стали девизомъ этого шефа жандармовъ, барометръ въ кабинетѣ его всегда стоялъ на ясной погодѣ, и не думаю, по крайней мѣрѣ, не могу себѣ представить, чтобы входившіе въ этотъ кабинетъ — будущіе Каракозовы—увидѣли когда-либо шефа жандармовъ выражавшимъ къ кому-либо негодованіе или презрѣніе...

Не думаю также, чтобы когда-либо стѣны этого страннаго кабинета могли увидѣть своего шефа жандармовъ сидящимъ въ креслѣ въ долгомъ раздумьи надъ будущимъ.

Тутъ опять виднѣлась игра капризной судьбы... На Малой Садовой въ то время, какъ я говорилъ, жилъ въ домѣ министерства юстиціи Д. Н. Замятинъ, человѣкъ самый недоступный для какого бы то ни было государственнаго творчества, даже самаго миніатюрнаго во всемъ судебномъ вѣдомствѣ; ему судьба поручила вводить самое громадное дѣло—судебной реформы... У Цѣпного моста, въ домѣ шефа жандармовъ, жилъ человѣкъ, которому судьба предназначала быть въ этой должности въ самое трудное, по броженіе и горячкѣ умовъ, время, когда рѣшительно во всѣхъ слояхъ образованнаго общества, чуть ли не въ каждой русской семьѣ, возлѣ человѣка, работавшаго для своего дневного дѣла, бушевалъ умъ для какой-нибудь лихорадочной дѣятельности, ломки или реформы. Всякій изъ насъ это сознавалъ въ это время.

Князь Долгоруковъ одинъ какъ будто этого именно безпокойнаго, тревожнаго міра въ русской жизни не подозрѣвалъ, какъ умственной работы эпохи... Свой умъ,— а его у него было не мало, было и тонкое остроуміе,— воспитанный въ преданіяхъ и въ атмосферѣ Николаевской эпохи, эпохи дисциплины и порядка, эпохи культа власти, онъ бы легко могъ употребить на то, чтобы сдерживать имъ черезъ-чуръ пылкій и стремительный напоръ на молодого Государя преобразовательныхъ, въ либеральномъ духѣ, стремленій; но именно этого онъ не дѣлалъ, по той простой причинѣ, что, какъ я говорилъ, онъ не сознавалъ или не понималъ характера наступившаго времени. Изъ отдѣльныхъ лицъ и изъ отдѣльныхъ фактовъ онъ никогда не допускалъ связи, и никогда не могъ дѣлать общей картины. И когда ему говорили объ этихъ отдѣльныхъ личностяхъ, или объ этихъ отдѣльныхъ фактахъ, онъ всегда съ милою улыбкою говорилъ: да, это увлеченіе, или, эта непростительная распущенность, и т. д.; но дальше этой оцѣнки добродушной или снисходительной, по поводу каждаго отдѣльнаго случая, онъ не шелъ.

И вотъ, грозное когда-то III отдѣленіе стало храмомъ улыбки...

Увы, гораздо позже мы должны были понять, что не въ этомъ было тогда его назначеніе, и превращеніе III отдѣленія въ оптимистическую обсерваторію, съ такимъ прекраснымъ и высоко честнымъ человѣкомъ, какимъ былъ князь Василій Андреевичъ Долгоруковъ, было, увы, одною изъ тѣхъ роковыхъ причинъ, которыя способствовали несчастью бѣднаго благолюбиваго Государя...

Въ этомъ избыткѣ деликатности, доброты и снисходительности, которымъ дышало тогда III отдѣленіе при

князѣ В. А. Долгоруковѣ—черпали смѣлость и наглость всѣ кривыя и горячія головы эпохи: Огрицко и Сѣраковскій стали не только мыслимы, они стали живыми, во плоти и въ костяхъ свидѣтелями, до чего можетъ дойти распущенность вольнодумца, и въ то же время родоначальниками или идеалами для будущихъ подростковъ политическихъ преступниковъ всякихъ категорій...

Мы тогда это смутно и слабо сознавали; къ тому же нельзя было, хоть разъ увидѣвъ такую пріятную по чистотѣ и честности личность, какою былъ князь В. А. Долгоруковъ, не полюбить его сразу, и слѣдовательно быть навсегда обезоруженнымъ противъ него, и вотъ почему время дѣлало свое, пока III отдѣленіе дѣлало свое, то есть противопоставляло духу тревоги и неудовольствія духъ кроткаго и сердобольнаго терпѣнія...

И потомъ, всѣ наружныя оболочки жизни казались такими розовыми, чистенькими и невинными... Онѣ такъ роднились съ Долгоруковскими улыбками...

Laissez les s'amuser, говорилъ князь Долгоруковъ про начинавшее тогда свое самоуправленіе земство.

Зима 1864—1865 года была, если можно такъ выразиться, политически оживленною...

Элементы этого оживленія заключались въ то время въ борьбѣ извѣстныхъ теченій мысли и мнѣній между собою...

Во-первыхъ, въ концѣ 64 года для насъ доходили отголоски перваго поднимавшагося земскаго шквала... Земское положеніе, произведеніе Валуева сообща съ кабинетными либералами-доктринерами, введено было въ 1864 году... Въ декабрѣ предстояли земскія собранія. И вотъ, какъ въ Петербургѣ, такъ и въ Москвѣ къ концу года стали обнаруживаться извѣстныя броженія умовъ

въ извѣстныхъ дворянскихъ кружкахъ, направленныя къ тому, чтобы отъ мѣстнаго или губернскаго земства перейти къ земству центральному.

Потомъ уже, съ болѣе зрѣлымъ взглядомъ на жизнь я понялъ, на сколько русскіе люди, составлявшіе тогда земство, легкомысленно относились къ своему новому дѣлу, и не сдѣлавши еще даже перваго шага на пути земской дѣятельности, ни на что не взглянувши въ области имъ предоставленнаго управленія внимательно и мало-мальски добросовѣстно, прямо перешли къ мечтаніямъ о земствѣ центральномъ, или о земской палатѣ, или о земской думѣ, какъ тогда говорилось въ нѣкоторыхъ кружкахъ... Послѣ для меня ясно стало, что это стремленіе къ центральному земству тогда, когда для мѣстнаго земства не было еще ничего положено въ основу, когда все переданное правительствомъ земское хозяйство въ 36-ти губерніяхъ земскимъ учрежденіямъ было въ полномъ безпорядкѣ, не могло не быть проявленіемъ съ одной стороны полнаго презрѣнія къ мѣстнымъ нуждамъ Россіи, а съ другой стороны, непростительнымъ ребячествомъ, побуждавшимъ серьезныхъ, повидимому, людей добиваться не пользы народной или общественной, а исключительно либеральныхъ игрушекъ.

Но, въ то время, всѣ эти броженія и вспышки либеральныхъ мыслей около либеральнаго вопроса о конституціи казались даже несочувствовавшимъ идеѣ и остававшимся отъ движенія въ сторонѣ людямъ, какъ будто, въ порядкѣ вещей, какъ неизбѣжныя принадлежности времени, и рѣшительно ни въ комъ не вызывали особенной тревоги. Говорилось объ нихъ въ гостиныхъ большого свѣта, на-ряду съ разными nouvelles du jour и разными сплетнями; одни восхищались этими талантами земскаго

слова, другіе называли ихъ глупостями и ребячествомъ, но какой-либо общей тревоги, или даже общей заботы въ то время, въ нашемъ обществѣ не замѣчалось. Какъ я говорилъ въ предыдущей главѣ, шефъ жандармовъ, князь В. А. Долгоруковъ называлъ земскія дѣла забавами и этимъ доказывалъ, что высшее правительство и самъ Государь въ то время не особенно безпокоились либеральными рѣчами новыхъ земскихъ ораторовъ. Въ Петербургѣ въ эту зиму ораторы открылись въ средѣ петербургскаго дворянства... Стали произноситься имена Безобразова, графа А. П. Шувалова, Платонова и нѣсколькихъ другихъ; дамы большого свѣта стали ѣздить на хоры въ дворянское собраніе слушать своихъ Питтовъ и Фоксовъ, и договорились эти Питты до того, что пришлось, въ одинъ печальный день, закрыть собраніе. Помню, что я въ этотъ день пришелъ къ Валуеву что-то спросить, и онъ, ставши въ позу, отвѣтилъ мнѣ: Comment voulez vous qu'un ministre de l'intérieur ait le temps de penser à vous répondre, quand il s'agit de fermer le земское собраніе.

Въ Москвѣ эти самыя броженія начались въ январѣ 65 года въ средѣ дворянскаго собранія. Тамъ изучали имена Самариныхъ, Голохвастова, князя Щербатова и другихъ. Не, сколько я помню, тамъ эти либеральныя стремленія были, какъ будто, компактнѣе и цѣльнѣе; въ то же время они были опредѣленнѣе. Я это говорю потому, что результатомъ всѣхъ этихъ стремленій и броженій въ московскомъ дворянскомъ собраніи было то, что довольно значительнымъ большинствомъ голосовъ былъ вотированъ адресъ на имя Государя, въ которомъ дворянство ходатайствовало о двухъ вещахъ, одинаково невозможныхъ, но весьма опредѣленныхъ: 1) о земскомъ центральномъ учрежденіи депутатовъ со всей Россіи, и

2) о спеціальномъ учрежденіи отъ дворянъ, или, другими словами, о палатѣ общинъ и о палатѣ лордовъ.

Разумѣется, эти amusements, какъ ихъ называлъ тогда шефъ жандармовъ, не привели ни къ чему другому, какъ къ строгому ихъ порицанію въ видѣ рескрипта Государя на имя министра внутреннихъ дѣлъ, Валуевымъ сообща съ шефомъ жандармовъ редактированнаго, въ которомъ строгими, но въ то же время спокойными выраженіями сказано было, чтобы отнюдь дворянство не позволяло себѣ вмѣшиваться въ дѣла другихъ сословій и не присвоивало себѣ иниціативы во внутреннихъ реформахъ, исключительно принадлежащей Государю.

Рескриптъ былъ принятъ съ полнымъ спокойствіемъ и съ искреннею покорностью какъ въ Москвѣ, такъ и въ Петербургѣ. Конституціоннымъ дѣломъ земства вновь учрежденнаго перестали заниматься, но начали-ли они заниматься серьезно своимъ дѣломъ, это тогда было для всѣхъ вопросомъ. Одно помню, что съ исчезновеніемъ и потерею пикантнаго и, такъ сказать, запрещеннаго, земство порученнымъ ему все-таки не интересовалось.

Другой предметъ если не для волненія умовъ, то все же для болѣе оживленнаго обмѣна мыслей — былъ западно-польскій вопросъ. Въ немъ я участвовалъ, такъ сказать, сознательнѣе и съ большей connaissance de cause, чѣмъ въ земскомъ вопросѣ. Тутъ сердце принимало участіе и я отчетливо помню, какъ оно сжималось и болѣло отъ тѣхъ *скверныхъ* вліяній, которыя тогда, къ сожалѣнію, усиливались. Объектомъ этой борьбы въ западно-польскомъ вопросѣ былъ, разумѣется, Муравьевъ. Какъ я писалъ раньше, Муравьеву сразу не посчастливилось въ Западномъ краѣ. Пока въ тѣхъ же условіяхъ реформатора и обрусителя дѣйствовалъ съ большимъ успѣхомъ въ

[illegible] русскими
[illegible] Чер-
[illegible] петер-
[illegible] пер-
[illegible] За-
[illegible] зло-
[illegible]

[illegible]
[illegible] И
[illegible] противъ
[illegible] съ этимъ
[illegible] Муравьевымъ
[illegible] Ва-
[illegible] сплетни
[illegible] стѣ-
[illegible] компа-
[illegible] какъ и
[illegible] въ
[illegible] съ По-
[illegible] и Огинскими
[illegible] петербургскаго
[illegible] Суворовъ не переставали
[illegible] тенденціозныя мысли съ ко-
[illegible] Муравьева, доходившими до того,
[illegible] Муравьева чуть-ли не диктато-
[illegible] на симпатіи къ нему Россіи, хо-
[illegible] самому Императору...
[illegible] агитацію *скверным* дѣломъ; дѣй-

ствительно, оно было скверно, и мы всѣ это тогда живо и горячо чувствовали. Они брали смѣлость въ томъ фактѣ, что всѣ знали съ самаго начала, что лично Государь не любилъ Муравьева и этимъ-то пользовались, чтобы не только мѣшать Муравьеву, но и вредить ему... Въ этомъ было что-то гадкое, въ смыслѣ неблагороднаго. Государь далъ всей Россіи ясное доказательство, что когда рѣчь идетъ о пользѣ государства, онъ не руководится личными ощущеніями, а напротивъ, забываетъ о нихъ и назначаетъ того, кого голосъ честнаго общественнаго мнѣнія ему указываетъ, какъ на достойнаго его довѣрія. Это онъ сдѣлалъ при назначеніи Муравьева, снабдивъ его и довѣріемъ и широкими полномочіями, и давши ему свою гвардію въ распоряженіе... И вотъ эту-то прекрасную заслугу Государя передъ Россіею и исторіею Валуевъ и Суворовъ, съ польскими панами въ соглашеніи, во чтобы то ни стало хотѣли, въ угоду своимъ мелкимъ инстинктамъ и въ угоду полонизму, — уничтожить... съ тѣмъ, чтобы направить Государеву волю относительно Муравьева въ полное подчиненіе его личныхъ чувствъ. Какъ змѣи, они то ползали, то приподнимали свои ядовитыя головы около Государя, чтобы на всякій отзывъ молвы о Муравьевѣ, какъ объ умиротворителѣ Западнаго края, отвѣчать какою-нибудь пошлою сплетнею, какою-нибудь выдумкою, направленной прямо къ возбужденію Государя лично противъ Муравьева.

Впрочемъ, для исторической правды слѣдуетъ сказать, что Петербургъ былъ почвою скорѣе благопріятною для враговъ Муравьева, чѣмъ для его благожелателей, во-первыхъ, по изобилію въ немъ равнодушія, а во-вторыхъ, по вліянію въ немъ рѣшительно на всѣ вопросы русскіе — космополитическаго духа, столь сильнаго въ Петербургѣ.

Въ минуту самаго сильнаго разгара польскаго вопроса въ 1863 году, пока Катковъ своими вдохновенными статьями будилъ русскія сердца по всей Россіи, въ Петербургѣ онъ имѣлъ мало слушателей его патріотической проповѣди... Гостиная Блудовыхъ, Тютчевыхъ, Батюшковыхъ (Помпея Николаевича, брата поэта и Софіи Николаевны), моихъ родителей и еще двѣ, три гостиныя, гдѣ русскіе вопросы понимались по-карамзински и, затѣмъ, нигдѣ больше. Когда наступила пора отвѣчать на дерзкія ноты европейскихъ державъ по польскому вопросу, вопросъ: какъ отвѣтить? — далеко не былъ предрѣшеннымъ вопросомъ. Во многихъ гостиныхъ тогда, съ точки зрѣнія миролюбія и страха Европы, говорилось о томъ, что необходимо отвѣчать чуть ли не покорно и почтительно, и что напрасно правительство такъ энергично поступаетъ съ польскимъ вопросомъ на другой день мятежа. Мало того, въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ — никто не имѣлъ увѣренности, что князь Горчаковъ отвѣтитъ Европѣ съ подобающимъ Россіи достоинствомъ, и достаточно было въ то время видѣть измученнаго страданіями и тоскою поэта и пріятеля канцлера Ф. И. Тютчева, чтобы догадываться, какъ не хорошо шли тогда дѣла въ смыслѣ русскихъ интересовъ. Мнѣ разсказывали, что наканунѣ дня, когда огласилась прекрасная отвѣтная нота петербургскаго кабинета, Тютчевъ вечеромъ заходилъ къ Блудовымъ и тамъ, сказавши, что *мы уступаемъ Европѣ*, разрыдался. Легко понять, какъ онъ обрадовался на другой день, прочитавъ вмѣстѣ съ нами полный достоинства и гордой твердости отвѣтъ Русскаго Государя на дерзкое вмѣшательство Европы въ польскія дѣла Россіи. Говорили, что дѣйствительно такъ было: еще наканунѣ ничего не было рѣшено, и Государь находился между нерѣши-

тельностью Горчакова и своимъ собственнымъ чутьемъ. Говорили тоже, что на помощь второму—именно въ тотъ вечеръ, когда отецъ Тютчевъ рыдалъ надъ ожидающимъ Россію срамомъ, доблестная дочь его Анна Федоровна умоляла Императрицу взять на себя инициативу и поддержать Государя въ его рѣшимости отвѣтить Европѣ достойно Россіи, и что голосъ Императрицы рѣшилъ побѣду русской чести. Изъ двухъ представленныхъ Горчаковымъ Государю проектовъ отвѣта, слабаго и сильнаго, Государь выбралъ второй. Говорили тогда, что главныя мысли этой ноты принадлежали перу Тютчева. Такъ было въ 1863 году. Въ 1864 году относительно подкоповъ подъ Муравьева было то же самое, но съ тою лишь разницею, что ни Блудовской гостиной, ни доблестной Аннѣ Федоровнѣ Тютчевой не удавалось быть сильными въ борьбѣ съ противниками Муравьева, добивавшимися его паденія. Императрица оставалась въ этомъ вопросѣ нейтральною, а къ противникамъ Муравьева подоспѣвала такая помощь, какъ, напримѣръ, слово одного изъ близкихъ Государю людей, графа А. К. Толстого. Тамъ, у Валуевыхъ и Суворовыхъ, былъ мелкій и низменный разсчетъ сломить крупную силу независимаго государственнаго дѣятеля. Здѣсь, въ лицѣ графа Толстого, было страстное, но честное убѣжденіе человѣка самыхъ искреннихъ и даже фанатичныхъ гуманно-космополитическихъ принциповъ и стремленій. Тютчевъ въ своемъ негодованіи на князя Суворова, по этому случаю, написалъ колкіе стихи, въ которыхъ назвалъ его «гуманнымъ внукомъ воинственнаго дѣда», но это слово «*гуманность*» не шло къ взбалмошному темпераменту князя Суворова. Онъ былъ только взбалмошнымъ и безшабашнымъ повѣсой въ серьезныхъ вопросахъ, и больше ничѣмъ; а гуманность въ этомъ

вопросѣ представлялъ собою такой искренній человѣкъ, какимъ былъ графъ А. К. Толстой. Его мечты требовали отъ Россіи не Муравьевской энергіи послѣ мятежа, а признанія въ полякахъ элемента культуры и европейской цивилизаціи выше нашихъ; отсюда у него естественно исходило требованіе гуманности вмѣсто строгости.

Какъ бы то ни было, но Муравьеву въ началѣ 65 года пришлось явиться въ Петербургъ и сослаться на свое болѣзненное состояніе, на свою старость и на свою усталость, чтобы просить Государя объ увольненіи. Государь принялъ просьбу Муравьева объ увольненіи отъ должности, но въ то же время, въ оцѣнку его заслугъ передъ Россіею, сдѣлалъ его графомъ и удостоилъ его прекраснаго рескрипта.

На грустныя размышленія наводило это событіе... Менѣе чѣмъ два года назадъ, этотъ же самый Муравьевъ явился во дворецъ, гдѣ къ нему обратились съ просьбою спасти Западный край, и гдѣ страхъ опасности, угрожавшей Россіи, былъ такъ великъ, что ему сказано было: хотя бы Западный край сохраните Россіи. Муравьевъ быстро и мудро прекратилъ мятежъ въ его корнѣ; Западный край сразу закипѣлъ первыми отпрысками русской жизни, и въ заключеніе, подъ давленіемъ враговъ, ставшихъ сильнѣе его, онъ долженъ въ томъ же дворцѣ просить о своемъ увольненіи отъ должности, гдѣ онъ усмирилъ цѣлый край и возрадовалъ Россію.

Нѣсколько человѣкъ тогда сдѣлали подписку, чтобы поднести Муравьеву образъ, и князь Суворовъ бѣшенно кричалъ по городу и во дворцѣ, что подносившіе Муравьеву образъ были врагами Государя и чуть ли не измѣнниками Россіи. Въ числѣ ихъ былъ и я грѣшный.

Выборъ Государя, для замѣстительства графа Му-

равьева, палъ на генерала - адъютанта Кауфмана Это былъ умный и очень хорошій человѣкъ. Какъ человѣка, лучшаго найти было трудно, но это былъ уже представитель иной идеи относительно политики въ Западномъ краѣ, идеи пониженнаго тона, и большей мягкости русской политики; правда, изъ всѣхъ представителей этихъ идей, самый лучшій, но все же въ улыбкѣ самодовольствія, съ которою говорилъ Валуевъ про этого преемника графа Муравьева: c'est le meilleur des choix, нельзя было не предугадывать надежды на новый режимъ въ Западномъ краѣ, нельзя было не предвидѣть бреши, сдѣланной въ твердынѣ муравьевской политики.

Энергія и твердость,—превосходныя вещи,—говорилъ мнѣ тогда князь Сергѣй Николаевичъ Урусовъ, маленькій человѣкъ, постоянно и равно для всѣхъ очень низко кланявшійся, но съ большимъ и необыкновенно пріятнымъ умомъ,—но не всякій ихъ имѣетъ, кто хочетъ. Я, напримѣръ, какъ бы ни желалъ, а не умѣю быть не сокрушимымъ, я гнусь передъ людьми и передъ обстоятельствами. Слова эти, какъ нельзя вѣрнѣе, характеризовали милаго покойнаго князя. То былъ одинъ изъ даровитѣйшихъ и способнѣйшихъ людей царствованія Александра II, которымъ оно не могло воспользоваться въ размѣрѣ этихъ способностей только потому, что онъ «гнулся передъ людьми и обстоятельствами» и имѣлъ честность въ этомъ сознаваться. Въ этихъ словахъ его о себѣ самомъ сразу обрисовывается его оригинальность. И дѣйствительно, это былъ оригинальный человѣкъ. Его первою потребностью, казалось, при встрѣчѣ человѣка было поразить его любезностью, и этимъ объясняется тотъ всенижайшій поклонъ, которымъ онъ привѣтствовалъ каждаго, причемъ, когда князь Урусовъ бывалъ при Дворѣ, я не замѣчалъ,

Въ минуту самаго сильнаго разгара польскаго вопроса въ 1863 году, пока Катковъ своими вдохновенными статьями будилъ русскія сердца по всей Россіи, въ Петербургѣ онъ имѣлъ мало слушателей его патріотической проповѣди... Гостиная Блудовыхъ, Тютчевыхъ, Батюшковыхъ (Помпея Николаевича, брата поэта и Софіи Николаевны), моихъ родителей и еще двѣ, три гостиныя, гдѣ русскіе вопросы понимались по-карамзински и, затѣмъ, нигдѣ больше. Когда наступила пора отвѣчать на дерзкія ноты европейскихъ державъ по польскому вопросу, вопросъ: какъ отвѣтить? — далеко не былъ предрѣшеннымъ вопросомъ. Во многихъ гостиныхъ тогда, съ точки зрѣнія миролюбія и страха Европы, говорилось о томъ, что необходимо отвѣчать чуть ли не покорно и почтительно, и что *напрасно* правительство такъ энергично поступаетъ съ польскимъ вопросомъ на другой день мятежа. Мало того, въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ — никто не имѣлъ увѣренности, что князь Горчаковъ отвѣтитъ Европѣ съ подобающимъ Россіи достоинствомъ, и достаточно было въ то время видѣть измученнаго страданіями и тоскою поэта и пріятеля канцлера Ф. И. Тютчева, чтобы догадываться, какъ не хорошо шли тогда дѣла въ смыслѣ русскихъ интересовъ. Мнѣ разсказывали, что наканунѣ дня, когда огласилась прекрасная отвѣтная нота петербургскаго кабинета, Тютчевъ вечеромъ заходилъ къ Блудовымъ и тамъ, сказавши, что *мы уступаемъ Европѣ*, разрыдался. Легко понять, какъ онъ обрадовался на другой день, прочитавъ вмѣстѣ съ нами полный достоинства и гордой твердости отвѣтъ Русскаго Государя на дерзкое вмѣшательство Европы въ польскія дѣла Россіи. Говорили, что дѣйствительно такъ было: еще наканунѣ ничего не было рѣшено, и Государь находился между нерѣши-

тельностью Горчакова и своимъ собственнымъ чутьемъ. Говорили тоже, что на помощь второму—именно въ тотъ вечеръ, когда отецъ Тютчевъ рыдалъ надъ ожидающимъ Россію срамомъ, доблестная дочь его Анна Федоровна умоляла Императрицу взять на себя инициативу и поддержать Государя въ его рѣшимости отвѣтить Европѣ достойно Россіи, и что голосъ Императрицы рѣшилъ побѣду русской чести. Изъ двухъ представленныхъ Горчаковымъ Государю проектовъ отвѣта, слабаго и сильнаго, Государь выбралъ второй. Говорили тогда, что главныя мысли этой ноты принадлежали перу Тютчева. Такъ было въ 1863 году. Въ 1864 году относительно подкоповъ подъ Муравьева было то же самое, но съ тою лишь разницею, что ни Блудовской гостиной, ни доблестной Аннѣ Федоровнѣ Тютчевой не удавалось быть сильными въ борьбѣ съ противниками Муравьева, добивавшимися его паденія. Императрица оставалась въ этомъ вопросѣ нейтральною, а къ противникамъ Муравьева подоспѣвала такая помощь, какъ, напримѣръ, слово одного изъ близкихъ Государю людей, графа А. К. Толстого. Тамъ, у Валуевыхъ и Суворовыхъ, былъ мелкій и низменный разсчетъ сломить крупную силу независимаго государственнаго дѣятеля. Здѣсь, въ лицѣ графа Толстого, было страстное, но честное убѣжденіе человѣка самыхъ искреннихъ и даже фанатичныхъ гуманно-космополитическихъ принциповъ и стремленій. Тютчевъ въ своемъ негодованіи на князя Суворова, по этому случаю, написалъ колкіе стихи, въ которыхъ назвалъ его «гуманнымъ внукомъ воинственнаго дѣда», но это слово «*гуманность*» не шло къ взбалмошному темпераменту князя Суворова. Онъ былъ только взбалмошнымъ и безшабашнымъ повѣсой въ серьезныхъ вопросахъ, и больше ничѣмъ; а гуманность въ этомъ

вопросѣ представлялъ собою такой искренній человѣкъ, какимъ былъ графъ А. К. Толстой. Его мечты требовали отъ Россіи не Муравьевской энергіи послѣ мятежа, а признанія въ полякахъ элемента культуры и европейской цивилизаціи выше нашихъ; отсюда у него естественно исходило требованіе гуманности вмѣсто строгости.

Какъ бы то ни было, но Муравьеву въ началѣ 65 года пришлось явиться въ Петербургъ и сослаться на свое болѣзненное состояніе, на свою старость и на свою усталость, чтобы просить Государя объ увольненіи. Государь принялъ просьбу Муравьева объ увольненіи отъ должности, но въ то же время, въ оцѣнку его заслугъ передъ Россіею, сдѣлалъ его графомъ и удостоилъ его прекраснаго рескрипта.

На грустныя размышленія наводило это событіе... Менѣе чѣмъ два года назадъ, этотъ же самый Муравьевъ явился во дворецъ, гдѣ къ нему обратились съ просьбою спасти Западный край, и гдѣ страхъ опасности, угрожавшей Россіи, былъ такъ великъ, что ему сказано было: хотя бы Западный край сохраните Россіи. Муравьевъ быстро и мудро прекратилъ мятежъ въ его корнѣ; Западный край сразу закипѣлъ первыми отпрысками русской жизни, и въ заключеніе, подъ давленіемъ враговъ, ставшихъ сильнѣе его, онъ долженъ въ томъ же дворцѣ просить о своемъ увольненіи отъ должности, гдѣ онъ усмирилъ цѣлый край и возрадовалъ Россію.

Нѣсколько человѣкъ тогда сдѣлали подписку, чтобы поднести Муравьеву образъ, и князь Суворовъ бѣшенно кричалъ по городу и во дворцѣ, что подносившіе Муравьеву образъ были врагами Государя и чуть ли не измѣнниками Россіи. Въ числѣ ихъ былъ и я грѣшный.

Выборъ Государя, для замѣстительства графа Му-

равьева, палъ на генерала-адъютанта Кауфмана Это былъ умный и очень хорошій человѣкъ. Какъ человѣка, лучшаго найти было трудно, но это былъ уже представитель иной идеи относительно политики въ Западномъ краѣ, идеи пониженнаго тона, и большей мягкости русской политики; правда, изъ всѣхъ представителей этихъ идей, самый лучшій, но все же въ улыбкѣ самодовольствія, съ которою говорилъ Валуевъ про этого преемника графа Муравьева: c'est le meilleur des choix, нельзя было не предугадывать надежды на новый режимъ въ Западномъ краѣ, нельзя было не предвидѣть бреши, сдѣланной въ твердынѣ муравьевской политики.

Энергія и твердость,—превосходныя вещи,—говорилъ мнѣ тогда князь Сергѣй Николаевичъ Урусовъ, маленькій человѣкъ, постоянно и равно для всѣхъ очень низко кланявшійся, но съ большимъ и необыкновенно пріятнымъ умомъ,—но не всякій ихъ имѣетъ, кто хочетъ. Я, напримѣръ, какъ бы ни желалъ, а не умѣю быть не сокрушимымъ, я гнусь передъ людьми и передъ обстоятельствами. Слова эти, какъ нельзя вѣрнѣе, характеризовали милаго покойнаго князя. То былъ одинъ изъ даровитѣйшихъ и способнѣйшихъ людей царствованія Александра II, которымъ оно не могло воспользоваться въ размѣрѣ этихъ способностей только потому, что онъ «гнулся передъ людьми и обстоятельствами» и имѣлъ честность въ этомъ сознаваться. Въ этихъ словахъ его о себѣ самомъ сразу обрисовывается его оригинальность. И дѣйствительно, это былъ оригинальный человѣкъ. Его первою потребностью, казалось, при встрѣчѣ человѣка было поразить его любезностью, и этимъ объясняется тотъ всенижайшій поклонъ, которымъ онъ привѣтствовалъ каждаго, причемъ, когда князь Урусовъ бывалъ при Дворѣ, я не замѣчалъ,

чтобы его поклонъ Государю былъ ниже, чѣмъ поклонъ столоначальнику. Однажды, въ бытность его помощникомъ оберъ-прокурора святѣйшаго синода, при графѣ А. П. Толстомъ, приходитъ къ нему одинъ азіатскій или греческій монахъ, чуть ли не въ сажень росту. Изложивъ свое ходатайство передъ княземъ Урусовымъ, который на него поглядывалъ со страхомъ снизу вверхъ, какъ на Монбланъ, монахъ заключилъ свои слова заявленіемъ, что, какъ монахъ, онъ обязанъ прежде всего смиреніемъ, и въ доказательство своего смиренія — бацъ, бросается въ ноги къ князю Урусову, и стоитъ на колѣняхъ, и головою на полу. Князь Урусовъ обомлѣлъ; онъ сталъ втупикъ отъ вопроса: что дѣлать, ибо монахъ его переще-голялъ любезностью. Затѣмъ, не долго думая, маленькій князь Урусовъ тоже бросается на колѣни, но очутился не на полу, а въ комической позѣ на спинѣ монаха.

Рѣдко съ кѣмъ въ бесѣдѣ испытывалъ такое наслажденіе, какъ съ княземъ Урусовымъ: онъ все, что можно было, читалъ, многое зналъ, и тонкимъ своимъ умомъ удивительно мѣтко и ясно, съ прелестнымъ юморомъ, дѣлалъ характеристики и опредѣленія. Одной изъ его оригинальностей было то, что, изъ страха казаться твердымъ, онъ чаще всего прибѣгалъ къ вопросительному обороту мысли и даже тону, съ которымъ онъ тоненькимъ голоскомъ выкрикивалъ: а?—послѣ фразы, какъ-бы указывая на его желаніе казаться не совсѣмъ настойчивымъ и увѣреннымъ; а между тѣмъ, съ его свѣтлымъ умомъ, съ его знаніемъ и съ его памятью, и въ особенности съ его справедливостью и отзывчивостью—ему-ли было не имѣть права говорить съ авторитетомъ. Мнѣ случалось слышать отъ князя Урусова умныя и правдивыя рѣчи передъ Императрицею, напримѣръ; но когда ему

говорили: да скажите это Государю,—онъ сейчасъ съеживался, принималъ испуганную фигуру, и торопился отвѣтить: извините, ужъ отъ этого увольте, куда намъ съ суконнымъ рыломъ да въ калачный рядъ соваться, а? И при этомъ непремѣнно самъ надъ собою усмѣхнется.

Я говорилъ о томъ, что царствованіе Александра II не воспользовалось этою одною изъ крупнѣйшихъ по способности личностью; и дѣйствительно, такъ и случилось. Всякій, знавшій лично князя Сергѣя Николаевича, — говорилъ про себя и громко: вотъ министръ юстиціи. Думаю, что впослѣдствіи ему и былъ предложенъ этотъ постъ; но разъ я помню, когда я ему это сказалъ, онъ сейчасъ же, согнувшись въ три погибели, отвѣтилъ: нѣтъ, покорно благодарю, ни за что, я главнаго для этого не имѣю: мужества и твердости, я бороться не умѣю, а тутъ главное, что нужно,—это бороться. А я струшу, непремѣнно струшу. И единственную должность, которую онъ принялъ потомъ, была спокойная и безстрашная должность, начальствованіе надъ II отдѣленіемъ, то-есть надъ арміею составителей свода законовъ.

теля и авторитета-юриста, стало произноситься имя К. П. Побѣдоносцева, какъ члена этой главной комиссіи. Дѣло это было послѣднимъ государственнымъ дѣломъ Буткова. Фактъ его назначенія въ предсѣдателя этой комиссіи былъ именно причиною, почему такъ скоро шла эта работа, ибо быстрота работы была отличительною чертою Бутковской дѣятельности, хотя въ тоже время могло казаться страннымъ предоставленіе первенствующей роли въ этомъ совсѣмъ новомъ дѣлѣ именно Буткову, который собою изображалъ идеалъ сановника стараго времени, воспитаннаго въ духѣ старыхъ бюрократическихъ преданій, и по образованію ничего общаго не имѣвшаго съ новыми восходившими людьми того времени.

Впрочемъ, и такой новый человѣкъ, какъ С. И. Зарудный, съ которымъ мнѣ пришлось въ одномъ законовѣдскомъ кружкѣ провести цѣлый вечеръ, показался мнѣ, откровенно говоря, очень задушевнымъ и симпатичнымъ человѣкомъ, но мало образованнымъ въ смыслѣ общекультурнаго образованія. Онъ показался мнѣ влюбленнымъ въ свои сардинскіе судебные идеалы, но въ тоже время внѣ ихъ онъ казался весьма безцвѣтнымъ, малознающимъ и относительно Россіи и русской жизни менѣе всего свѣдущимъ.

Къ этой третьей реформѣ, какъ и ко второй, земской,—Петербургъ былъ довольно равнодушенъ...

Не равнодушенъ лишь былъ нашъ правовѣдскій міръ. Въ немъ загорѣлись лучезарныя карьерныя надежды, надежды безъ конца... Но грѣшно было бы въ это время называть эти разгоравшіяся надежды—мечтами карьеристовъ... Какъ было бы невѣрно тоже сказать, что въ то время въ нашихъ правовѣдскихъ кружкахъ думали о политической роли новыхъ судебныхъ учрежденій... Поли-

тику въ судебныя учрежденія суда, по нашимъ тогдашнимъ впечатлѣніямъ, не правовѣды внесли въ эту область государственной жизни... Но въ правовѣдскихъ кружкахъ, по крайней мѣрѣ нашихъ, разгорѣлись очень хорошаго качества надежды,—надежды на свободную и благородную дѣятельность...

Загорался святой огонь для будущей судебной службы, разговоры и мечты вращались около святой идеи—честности и добра, посвящаемыхъ служенію ближняго...

Всего добродушнѣе и невиннѣе относился въ то время къ судебной реформѣ тогдашній почтенный и симпатично-прямодушный министръ юстиціи Д. Н. Замятинъ... Болѣе чѣмъ для кого-либо для него совсѣмъ была незнакома политическая подкладка судебныхъ уставовъ и, вообще, что-либо похожее на тенденцію...

Въ эпизодѣ съ однимъ изъ сенаторовъ онъ это обнаружилъ весьма краснорѣчиво. Въ числѣ ораторовъ петербургскаго земства оппозиціонныхъ произвелъ сенсацію своею либеральною рѣчью одинъ изъ сенаторовъ... Содержаніе этой рѣчи дошло до Государя, который немедленно велѣлъ этого сенатора уволить. Министръ юстиціи Замятинъ, которому Государь передалъ это приказаніе, сказалъ: слушаюсь, и, вернувшись домой, приказалъ своему директору департамента составить докладъ объ увольненіи, по волѣ Государя, сенатора такого-то отъ должности...

На это ему отвѣтилъ директоръ, что исполнить такое приказаніе затруднительно.

— Какъ!—съ изумленіемъ возразилъ министръ юстиціи,—да это воля Государя.

Директоръ департамента, съ судебными уставами 20-го ноября 1864 года въ рукахъ, почтительно объявляетъ ми-

нистру, что административнымъ порядкомъ члены судебнаго вѣдомства увольняемы отъ должности быть не могутъ.

— Да они же назначаются Высочайшимъ приказомъ, значитъ, могутъ быть и увольняемы? — робко замѣтилъ министръ юстиціи.

— Да, они назначаются, но увольняемы, по смыслу судебныхъ уставовъ, быть не могутъ.

Съ этимъ печальнымъ для себя извѣстіемъ Замятинъ явился къ слѣдующему докладу къ Государю.

А такъ какъ кривить языкомъ и душою Замятинъ не умѣлъ, то онъ прямо доложилъ Государю, что Онъ не имѣетъ права увольнять сенатора.

— Какъ!—будто бы сказалъ Государь, — Я не имѣю права увольнять сенатора?..

— На основаніи судебныхъ уставовъ не имѣете,— будто бы отвѣтилъ Замятинъ.

— Какъ, и Я такую нелѣпость подписалъ?—сказалъ Государь.

Замятинъ ничего не отвѣтилъ.

Но интересъ этого эпизода заключался въ томъ, что, прогуливаясь, затѣмъ, по городу въ видѣ характернаго и курьезнаго анекдота, онъ анекдотомъ и остался, и такъ названная самимъ Государемъ столь основательно нелѣпостью статья закона о неприкосновенности членовъ судебнаго вѣдомства оставалась въ силѣ долгое время послѣ.

Эпизодъ этотъ случился, кажется, годъ спустя послѣ введенія новыхъ судебныхъ учрежденій. Но въ то время, въ концѣ 1864 года, какъ я сказалъ, между нашимъ правовѣдскимъ кружкомъ о будущей несмѣняемости судей, и о судебныхъ уставахъ, какъ о политической хартіи, мало говорилось.

Валуевъ въ эту зиму началъ дѣлать опыты, какъ онъ говорилъ, сближенія провинціи съ Петербургомъ. Мысль была очень хорошая. Для этой цѣли онъ сталъ устраивать у себя разъ въ недѣлю рауты, на которые приглашались всѣ пріѣзжавшіе въ Петербургъ по его вѣдомству провинціалы и, затѣмъ, представители петербургскаго большого и чиновничьяго свѣта... Но прекрасная эта мысль оказалась на практикѣ непроизводительною... Первый же раутъ dans les salons du ministre de l'intèrieur оказался копіею ежегоднаго раута, дававшагося dans les salons du ministre des affaires etrangères, съ тою лишь разницею, что у Горчакова наѣзжала масса дипломатовъ, а у Валуева масса провинціаловъ, но у обоихъ царила скука и взаимный индифферентизмъ между гостями... Гости съ трудомъ протискивались въ двери гостинныхъ, нигдѣ не находили удобнаго мѣста для разговора, и разъѣзжались безъ всякихъ впечатлѣній... У Горчакова все толпилось около Особъ Царской Фамиліи, у Валуева—около него и другихъ министровъ, и собственно общенія между провинціею и Петербургомъ никакого не было по той причинѣ, что бѣдные провинціалы стояли и двигались, какъ одинокія тѣни, и похожи были скукою своихъ физіономій на несчастныхъ мамашъ во время баловъ... Главнаго не дѣлалось: ихъ не знакомили съ петербуржцами. Было бы гораздо проще, говорилъ я тогда Валуеву, если бы вы устраивали у себя маленькіе званые вечера за самоваромъ, и приглашали нѣсколько провинціаловъ для бесѣды. Но Валуеву болѣе нравилась эта помпезность: стоять у дверей гостинной, и изрекать каждому два-три привѣтственныя витіеватыя слова.

Зима 1864 года была веселая, какъ сезонъ, зима. Дворъ и большой свѣтъ не скупились на пріемы...

Тогда начался разгаръ эпохи выкупныхъ свидѣтельствъ... Это была своего рода историческая по интересу минута въ жизни нашего большого свѣта. Потомъ понято было всѣми, насколько она была на дѣлѣ печальная и роковая эпоха въ жизни нашего дворянства,—потомъ, когда помочь горю нельзя было, но тогда она была блестящая эта эпоха выкупныхъ свидѣтельствъ. Въ каждую семью, въ каждый домъ сваливались съ неба крупныя тысячныя суммы, въ видѣ выкупныхъ свидѣтельствъ, сначала котировавшихся на биржѣ очень низко, чуть-ли не на 18 проц. ниже номинальной стоимости, и вотъ эти-то выкупныя продавались и превращались въ капиталы, на которые одни бросились въ заграничныя поѣздки, а другіе стали жить очень роскошно въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Замѣчательно было, что только меньшая часть тогда владѣльцевъ выкупныхъ, въ виду низкой ихъ цѣны, рѣшилась выжидать повышенія цѣнъ; большая же часть съ изумительною легкостью бросилась ихъ реализировать...

Итальянская опера въ Большомъ театрѣ и французскій спекталь въ Михайловскомъ театрѣ никогда не представляли на моей памяти такого блестящаго бель-этажнаго бомонда, какъ въ эту зиму... Это были феерическія выставки великолѣпнѣйшихъ туалетовъ и фамильныхъ драгоцѣнныхъ камней. Балы поражали своею роскошью... Улыбки сіяли на всѣхъ устахъ, и въ этомъ разливанномъ морѣ роскоши можно было подумать, что ни у кого не было заботъ, а у всѣхъ было полное довольство...

Странная минута. «Голосъ», сдѣлавшись тогда настольною газетою и органомъ всѣхъ, не исключая самыхъ истыхъ аристократовъ, ежедневно обливалъ помоями наше именитое дворянство, позоря его въ свѣжихъ воспоминаніяхъ упраздненнаго [illegible]тного права; сами дворяне,

какъ это я могъ убѣдиться во всѣхъ моихъ командировочныхъ поѣздкахъ по Россіи, съ «Голосомъ» въ рукахъ, сами себя безпощадно бичевали и унижали, настаивая на томъ, что они теперь не дворянство, а земство; на дѣлѣ, послѣ выкупной операціи, начался историческій процессъ разоренія дворянства, всѣ это понимали, и вотъ именно тогда-то кипѣла самая веселая, самая разбитная по денежнымъ тратамъ и по безпечной веселости эпоха въ средѣ высшаго дворянства въ Петербургѣ...

Подъ веселые звуки вальса и мазурки устраивались по обычаю браки большого свѣта, но подъ тѣ же веселые звуки велись разговоры о земствѣ и о конституціи, о выкупныхъ свидѣтельствахъ, о желѣзнодорожныхъ обществахъ, и вообще, о всѣхъ злобахъ дня... Серьезныя гостиныя, какъ Блудовская, моей матери,—какъ будто кололи глаза своимъ контрастомъ съ общимъ колоритомъ безпечности и веселія... Онѣ получили репутацію гостиной фронды.

Я помню одного губернатора, который говорилъ мнѣ самымъ серьезнымъ образомъ: здѣсь такъ веселятся, что некогда найти время говорить о серьезныхъ вопросахъ... Два бала, или три вечера въ одинъ вечеръ—были не рѣдкимъ для насъ явленіемъ въ эту зиму...

Этотъ губернаторъ разсказывалъ мнѣ свое представленіе Государю... Оно врѣзалось мнѣ въ память потому, что имѣло особенно интересный характеръ... Губернаторъ ожидалъ, представляясь Государю, обычнаго пріема или общаго, или особеннаго, но по обыкновенной программѣ вопросовъ... Вмѣсто этого съ нимъ случилось нѣчто неожиданное. Государь его принялъ въ своемъ кабинетѣ и, послѣ нѣсколькихъ словъ, говоритъ ему: ну, садись и разсказывай мнѣ все, что у тебя въ губерніи дѣлается...

А самъ Государь сталъ ходить по кабинету. Пріемъ обратился въ экзаменъ. Онъ началъ говорить по порядку: съ дворянства...

— Что дворянство очень на меня сердится за освобожденіе крестьянъ?—спросилъ, полушутя, Государь.

Губернаторъ отвѣтилъ, что этого чувства онъ никогда не замѣчалъ въ дворянствѣ.

— Ils font bonne mine á mauvais jeu,—сказалъ Государь,—ils veulent se rattraper sur le земство... А у тебя оно спокойно?—спросилъ серьезно Государь.

Губернаторъ отвѣтилъ, что спокойно.

— Столичныя земства, — сказалъ Государь,—даютъ дурной примѣръ, къ сожалѣнію. Они вздумали было меня учить, что дѣлать... Я надѣюсь, что губернаторы сумѣютъ сдерживать нетерпѣливые и слишкомъ увлекающіеся умы въ губерніи—съ тактомъ и съ энергіею...

Я спросилъ губернатора, какъ говорилъ Государь эти слова: съ гнѣвомъ, или спокойно?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ мнѣ,—безъ всякаго гнѣва, а скорѣе добрымъ голосомъ и совсѣмъ спокойно.

Вспоминаю то, что когда губернаторъ заговорилъ о народѣ и о его благодарности,—Государь сразу его прервалъ.

— Ну, насчетъ народной благодарности ты можешь мнѣ не говорить: я ни въ чью благодарность не вѣрю.

Это было въ январѣ 1865 года. Я запомнилъ эти грустныя слова потому, что какъ разъ почти въ тѣхъ же выраженіяхъ я слышалъ изъ устъ Государя тѣ же мысли, обращенныя лѣтомъ къ графинѣ Блудовой въ китайской гостиной за чайнымъ столомъ.

Вообще, губернаторъ, послѣ получасового свиданія съ Государемъ, вынесъ впечатлѣніе, что Онъ слишкомъ раз-

очарованъ въ людяхъ и въ особенности въ идеяхъ реформъ.

Да, уже въ это время далеко, далеко—мы всѣ это чувствовали,—было отъ той прекрасной весны въ душѣ Государя, когда въ 1861 году въ Святыхъ горахъ, и потомъ въ Крыму Государь такъ наслаждался своею Царскою дѣятельностью, такъ любилъ свое великое дѣло и такъ вѣрилъ въ свое призваніе и въ человѣка.

Въ три года онъ сталъ другимъ человѣкомъ. Даже въ домашнемъ кругу его мы знали о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ обычаяхъ, которые были въ связи съ этою перемѣною въ настроеніи и во взглядахъ Государя. Такъ, напримѣръ, гостиная Императрицы была уже не та. Прежде, съ начала царствованія, въ Петербургѣ говорили объ этой гостиной, потому что въ ней разъ или два раза въ недѣлю бывали небольшіе вечера, гдѣ велась оживленная бесѣда о вопросахъ русской жизни, и на которые приглашались люди, называвшіеся въ обществѣ умными или достойными вниманія. Вечера эти имѣли живой смыслъ и благотворное вліяніе, внося въ придворную атмосферу много правдивыхъ отголосковъ жизни. Тогда же говорилось много о благомъ вліяніи Императрицы на многія дѣла и на многіе государственные взгляды. Но въ 1864 году уже этихъ вечеровъ исчезли и слѣды. И всѣ знали съ грустью, что Императрица старалась отстраняться отъ всякаго прямого вмѣшательства въ дѣла. Почему? Увы, отвѣтъ былъ очень простъ: потому, что стали находиться люди, которые этому умному, умѣряющему и спокойному вліянію Императрицы признавали нужнымъ мѣшать, дабы другія менѣе умѣренныя и менѣе спокойныя вліянія не могли ея вліяніемъ парализоваться. Вечера бывали, но они имѣли характеръ свѣтскій и абсолютно не политиче-

скій, или же заключались въ чтеніи какой-нибудь беллетристической вещи. Только по средамъ, когда Государь уѣзжалъ на охоту, Императрица собирала у себя за обѣдомъ иногда людей для политическихъ бесѣдъ... Въ ту зиму на одномъ изъ вечеровъ у Императрицы произошелъ эпизодъ, давшій наглядное понятіе о прекрасной добротѣ Императрицы. Она сидѣла за чайнымъ столомъ, подходитъ кафешенъ (буфетчикъ) съ подносомъ, на которомъ стоялъ спиртовой золотой чайникъ; Императрица приподнялась, не замѣчая слуги, и ударилась объ подносъ такъ сильно, что золотой чайникъ повалился и облилъ ей шею кипяткомъ. Страшная настала минута: всѣ крикнули, Государь, поблѣднѣвъ, направился на несчастнаго буфетчика, но въ этотъ самый мигъ—между нимъ и Государемъ стала Императрица и съ умоляющимъ взоромъ взглянула на Государя. Въ этомъ одномъ взглядѣ онъ увидѣлъ моленіе о пощадѣ...

— Это ничего,—съ притворною улыбкою сказала по-французски Императрица—маленькій обжогъ, въ которомъ никто не виноватъ, кромѣ меня одной,—и, велѣвъ принести себѣ ваты и платокъ, Императрица весь вечеръ просидѣла съ гостями веселая и разговорчивая. А между тѣмъ, каковы должны были быть ея страданія, если послѣ этого цѣлую недѣлю Она должна была сидѣть взаперти—до того были сильны обжоги. Но главное было достигнуто: буфетчикъ былъ спасенъ.

Тогда мы задавали себѣ вопросъ: какъ объяснить это столь скоро наступившее разочарованіе въ Государѣ?.. Увы, причинъ этому было много... Десять лѣтъ прошло съ начала Его царствованія... Сколько людей наговорили ему въ эти 10 лѣтъ худого о худомъ и хорошемъ, и какъ мало, напротивъ, людей говорили ему хорошее о

хорошемъ и въ извиненіе худого. Печать на 1/4 говорила о благодарности и на 9/10 говорила во имя отрицанія, обличенія и осужденія. Подпольная и заграничная русская публицистика была полна доносами, обвиненіями и злобою. Каждый день подавались Государю въ разныхъ видахъ всѣ людскіе злые отзывы и злыя сплетни... Это одна сторона. А другая еще понятнѣе. Въ первые дни своего царствованія Государь только жилъ для мечтанія и желаній добра. Онъ могъ, слѣдовательно, ожидать отъ людей довѣрія и терпѣнія къ своимъ прекраснымъ и благолюбивымъ стремленіямъ. Но нѣтъ; едва онъ дѣлалъ благое дѣло, никто не успѣвалъ еще сказать: спасибо, какъ начиналось нетерпѣливое требованіе другого, еще и еще; нервная похоть къ новому и къ реформѣ была главнымъ двигателемъ всѣхъ, и чтобы ни дѣлалъ Государь, всѣ дѣла встрѣчала критика однихъ и нетерпѣливыя требованія другого отъ другихъ... Ему не давали услыхать и увидать благодарность на дѣлѣ... Трудно-ли было при этихъ условіяхъ, окружавшихъ Царя, не разочароваться.

Въ то время при большомъ дворѣ произносилось часто одно громкое имя: имя Анастасьи Николаевны... Кто тогда не зналъ этого имени. Его носила, въ полномъ смыслѣ слова, прелестная женщина, Анастасья Николаевна Мальцева, жена извѣстнаго брянскаго помѣщика и заводчика, Сергѣя Ивановича Мальцева, родная сестра того князя Урусова, о которомъ я нѣсколько раньше говорилъ. Женщина эта была близкимъ другомъ Татьяны Борисовны Потемкиной, была другомъ Великой Княгини Маріи Николаевны и, затѣмъ, мало-по-малу сблизилась съ Императрицею до такой степени, что считалась самымъ близкимъ и довѣреннымъ къ ней лицомъ. Я часто въ это время съ нею видѣлся, и не могъ, подобно

[illegible] не находиться подъ ея чарующимъ [illegible]. Въ умномъ и красивомъ лицѣ кипсэка было [illegible] оригинальной физіономіи, что, [illegible] не далеко не молодые годы, она производила [illegible] чарующее впечатлѣніе. Но глав[illegible] производила своимъ умомъ, своею [illegible], и всегда энергичною сердечностью... [illegible] съ нею въ нашихъ вечернихъ бесѣдахъ во [illegible], но одинъ мы расходились съ нею постоянно, это [illegible] страстномъ и ревнивомъ образѣ, ко[illegible] свой культъ къ Императрицѣ... [illegible] рождаются только при Дворѣ. [illegible] довѣріемъ особы, и стать ей на столь[illegible] сдѣлаться ея привычкою на столько, чтобы [illegible] безъ другихъ лицъ... Къ тому же А. Н. Мальцева была остроумна, и ей ничего не стоило [illegible] къ острому словцу, чтобы той или [illegible] не давать дѣлать лишняго шага къ [illegible].

[illegible] А такъ какъ въ это время сама Императрица старалась держать себя какъ можно отда[illegible] всего, что могло казаться политикою, то А. Н. [illegible] было тѣмъ удобнѣе поддерживать свое привиллегированное и исключительное положеніе самаго близ[illegible] лица.

Это былъ интересный типъ, оставшійся живымъ въ [illegible]. Пользуясь ея расположеніемъ, я былъ, какъ [illegible], подъ вліяніемъ ея чаръ, но въ то же время [illegible] не замѣчать, что она была при Императрицѣ [illegible], черезъ которую люди и событія или по[illegible] произвольное освѣщеніе, или уменьшались въ раз[illegible] — сегодня подъ вліяніемъ заботы не слишкомъ [illegible], завтра изъ опасенія какого-

нибудь другого вліянія. Но въ то же время, ничего не желая, кромѣ блага Императрицѣ, и одаренная отъ природы добрымъ сердцемъ, она постоянно казалась мнѣ лишенною главнаго: свѣтлаго спокойствія духа, ибо непрестанно должна была бороться сама съ собою, посреди ежедневнаго отлива и прилива впечатлѣній личныхъ стремленій къ добру... Она страшно желала, чтобы все доброе проходило только черезъ нее, и только черезъ нее доходило до храма и богини своего культа... А разъ такая забота является доминантною, такъ сказать, нотою въ культѣ къ особѣ, то невольно она призываетъ къ себѣ въ союзники умъ, а умъ въ этихъ случаяхъ, въ особенности когда онъ остеръ и тонокъ, даетъ подчасъ указанія если не совсѣмъ, то немного лукавыя относительно того или другого лица...

Заговорилъ же я объ этой чертѣ, свойственной обожанію въ придворномъ мірѣ потому, что не позже, какъ годъ спустя, послѣ того, какъ я такъ горячо спорилъ съ прелестною и милою Н. А. Мальцевой о томъ, что не слѣдуетъ культъ къ великимъ міра сего доводить до отвоевыванія ихъ отъ другихъ, съ цѣлью исключительнаго ими владѣнія, я впалъ совершенно въ ту же слабость въ своихъ отношеніяхъ къ Великому Князю Александру Александровичу, вскорѣ послѣ кончины Его Брата, фанатично увѣровавши, что я лучше всѣхъ сумѣю знакомить съ правдою, и отъ этого убѣжденія незамѣтно перешелъ къ ревности изъ-за того или другого вліянія. Къ счастію, я очень скоро отъ этого *страшнаго* недуга излѣчился и самымъ радикальнымъ образомъ, благодаря словамъ Великаго Князя, такъ мѣтко сказаннымъ и такъ во время мною услышаннымъ. Я всегда успѣю разочаровываться въ людяхъ,—сказалъ Онъ мнѣ однажды, когда

я подпустилъ шпильку на счетъ одного лица, — гораздо лучше меня привлекать къ людямъ... Я поразился тогда этими словами и ихъ простою правдою... Но объ этомъ послѣ. Я хотѣлъ только остановиться на этой чертѣ придворнаго міра, чтобы показать, какой она изображаетъ собою крупный подводный камень, именно для этого житейскаго моря...

Однимъ изъ близкихъ тогда лицъ къ Императрицѣ былъ старикъ князь П. А. Вяземскій, остроумный собесѣдникъ, милый поэтъ, который тоже, не взирая на свои 70 лѣтъ, питалъ высоко поэтическій культъ къ изящной и умной личности Императрицы... Старикъ князь Вяземскій былъ очаровательный человѣкъ, но вся его долгая и прекрасная жизнь прошла въ томъ, что онъ все собирался, какъ онъ самъ говорилъ, и не успѣлъ изъ себя что-либо сдѣлать, и ничего изъ него не вышло, кромѣ прекраснаго и очаровательнаго человѣка. По государственной службѣ, не взирая на блескъ положенія и на его дарованія, онъ дальше товарища министра при кратковременномъ министерствѣ Норова не пошелъ. На литературномъ поприщѣ, одаривъ русскую литературу такимъ критическимъ chef d'oeuvr'омъ, какъ его этюдъ надъ Фонвизинымъ, онъ дальше стиховъ не шелъ... Въ свой 50-ти-лѣтній юбилей, со свойственными ему юморомъ и остроуміемъ, онъ сказалъ про себя, что онъ даже не кончилъ тѣмъ, съ чего *теперь* всѣ начинаютъ, *полнымъ* собраніемъ сочиненій!... Но придворная жизнь подъ старость лѣтъ его сладко усыпляла, какъ замокъ Наины— Руслана... Вспоминая прошлое, онъ говорилъ, что считался когда-то либераломъ и вольнодумцемъ. Въ это время, состоя при Императрицѣ, онъ тихо и сладко отдалился отъ тогдашней бурной политической жизни и,

любя свою Царицу обожаніемъ поэта, онъ не вносилъ въ свой новый храмъ ни разсчетовъ честолюбія, ни горькихъ примѣсей души умнаго старика, судящаго глупыя увлеченія молодости того времени...

Эта ясная погода въ духовномъ мірѣ князя Вяземскаго была одною изъ его прелестей... Онъ никогда не осуждалъ, никогда никого не бранилъ: онъ всегда только судилъ кротко и остроумно о людяхъ и о событіяхъ, и только съ тонкимъ юморомъ осмѣивалъ въ нихъ смѣшное и дурное. Интрига и сплетня были отъ него столь же далеки, какъ ложь и лесть. 70 лѣтъ, въ центрѣ придворнаго водоворота, онъ, какъ будто, *продолжалъ* ихъ не понимать.

Самымъ оригинальнымъ и прелестнымъ зрѣлищемъ въ то время были бесѣды и общеніе князя Вяземскаго съ его другомъ Тютчевымъ... Тютчевъ, съ своими бѣлыми волосами, развѣвавшимися по вѣтру, казался старше князя Вяземскаго, но былъ моложе его; но, находясь передъ княземъ Вяземскимъ, онъ казался юношей по темпераменту... Бывало, Тютчевъ приходитъ къ горячо имъ любимому князю Вяземскому отвести душу, и сразу рисуется прелестная картина: безмятежнаго, съ умнымъ лицомъ, гдѣ добрая улыбка поперемѣнно смѣняется ироническою усмѣшкою старика князя Вяземскаго, и пылающаго своимъ вдохновеніемъ или своею главною заботою минуты старика Тютчева. Тютчевъ усаживается, какъ всегда, уходя въ кресло, князь Вяземскій сидитъ прямо въ своемъ креслѣ, покуривая трубку, и Тютчевъ начинаетъ волноваться и громить своимъ протяжнымъ и въ то же время отчеканивающимъ каждое слово языкомъ въ области внѣшней или внутренней политики. А князь Вяземскій только съ перерывами издаетъ звуки въ родѣ:

гмъ... пускаетъ изъ трубки дымъ, такой же спокойный, какъ и онъ, и когда Тютчевъ окончитъ свою тираду, вставляетъ въ промежутокъ между другою тирадою какое-нибудь спокойное или остроумное размышленіе, и какъ часто съ единственною заботою оправдать или извинить, послѣ чего Тютчевъ, какъ бы ужаленный этимъ спокойствіемъ, уносится еще дальше и еще сильнѣе въ область своихъ страстныхъ разсужденій. Изумительно кроткая терпимость была отличительною чертою князя Вяземскаго. Нетерпимость была отличительною чертою его друга Тютчева. Я говорилъ, что слышалъ Тютчева въ гостиной говорящаго одному либеральному оратору въ лицо: mais vous dites des sottises. Также помню я и Тютчева, послѣ долгой необходимости слушать одну политическую даму, болтавшую по-французски про политику, говорящимъ съ досадою: fatal abus d'une langue étrangère: elle n'aurait jamais dit tant de sottises, s'il fallait les dire en russe! Князь Вяземскій, наоборотъ, съ тою же прекрасною, доброю и умною улыбкою слушалъ изъ уваженія къ человѣку, изъ уваженія къ чужому мнѣнію, изъ гостепріимства, изъ-за добраго сердца — и глупости дурака, и подленькія рѣчи куртизана, и умныя рѣчи друга...

XXXVI.

(1865 годъ).

Весна.—Ухудшеніе болѣзни Цесаревича.—Отъѣздъ Государя въ Ниццу.—Послѣдніе дни Цесаревича.—Его кончина.—Новый Цесаревичъ.—Его возвращеніе въ Россію.—Похороны Цесаревича.

Зима кончалась, какъ началась,—весело.

Извѣстія, которыя приходили сперва изъ Италіи, а потомъ изъ Ниццы о Цесаревичѣ,—имѣли характеръ скорѣе благопріятный. Судя по тону Его писемъ ко мнѣ, писемъ въ 8 страницъ, и по письмамъ, которыя часто Онъ посылалъ своему Другу и Брату, Великому Князю Александру Александровичу, письмамъ веселымъ и полнымъ жизненнаго участія, можно было заключать, что состояніе здоровья Цесаревича скорѣе улучшалось. Въ послѣднемъ своемъ письмѣ Великій Князь говорилъ не только о своихъ впечатлѣніяхъ, но о будущемъ, подъ вліяніемъ сознанія и ощущенія возврата энергіи и живого интереса ко всему, смѣнившаго его лѣтнюю апатію. Въ письмахъ же къ Брату своему онъ шутилъ, острилъ, и въ каждомъ дышало, какъ я сказалъ, веселое состояніе духа.

Увы, это было затишье передъ бурею, то была его лебединая жизненная пѣснь. Начало его возрожденія вызвало его обрученіе, оно казалось такимъ и въ декабрѣ,

и въ январѣ, и въ мартѣ, но въ концѣ марта прекратились вдругъ его письма.

А затѣмъ, однажды вечеромъ я заѣзжаю къ Великимъ Князьямъ, и застаю Великаго Князя Александра Александровича въ слезахъ. Телеграмма пришла отъ Императрицы изъ Ниццы (гдѣ Она провела вторую половину зимы), съ роковымъ извѣстіемъ объ опасномъ состояніи Цесаревича. Тутъ же я узналъ объ отъѣздѣ Государя и Великихъ Князей въ Ниццу.

Вдругъ жутко стало во всемъ недавно веселившемся Петербургѣ. Вѣсть о смертельной болѣзни Цесаревича, какъ громомъ въ ясный день, поразила столицу, гдѣ не было рѣшительно угла, гдѣ не былъ прекрасный образъ этого Царскаго Первенца роднымъ и милымъ. Ему улыбался всякій въ Петербургѣ, какъ чудному весеннему дню, какъ милому юному витязю, и вдругъ—эти зловѣщія телеграммы.

Съ первой телеграммы, сразу возвѣстившей объ опасномъ положеніи Цесаревича, не было ни одной, послѣ подававшей хотя бы слабую надежду. Утромъ мы просыпались съ надеждою, утромъ же прибывавшая телеграмма разрушала безпощадно эту надежду.

По роковому ходу обстоятельствъ, всѣ знаменитые врачи, начиная съ великаго профессора Опольцера, были призваны въ Ниццу. Прибыла немедленно и королева Датская съ невѣстою Цесаревича. Онѣ выѣзжали изъ Копенгагена, пока одновременно изъ Петербурга выѣзжалъ Великій Князь Александръ Александровичъ. Увы, съѣхавшіеся врачи могли только констатировать болѣзнь, ее назвали: менингитомъ — мозговымъ и спиннымъ, то-есть приливомъ туберкулъ къ головному и къ спинному мозгамъ.

Съ 6-го апрѣля начали получаться телеграммы.

6-го апрѣля.

Ночь довольно спокойная; рѣдко просыпался; серьезность болѣзни неизмѣнно угрожающа, хотя признаки опасности слабѣе.

Голова свободнѣе, память хороша, отвѣты правильны, но положеніе свое не сознаетъ.

Вечеромъ. Тоже состояніе. Желудокъ дѣйствуетъ.

Здекауеръ прибылъ. Позвали Пирогова.

7-го апрѣля.

Положеніе серьезное, хотя нѣсколько лучше. (Отъ 5-ти часовъ утра). Конецъ ночи безпокойный, лихорадка нѣсколько усилилась, признаковъ давленія на мозгъ меньше, движенія свободны (10 час. утра).

Здекауеръ находитъ состояніе крайне опаснымъ. Надежда только на Бога. Онъ называетъ болѣзнь: méningite cerebro-spinale.

8-го апрѣля.

Бредъ послѣ тревожной ночи. Усиленіе признаковъ мозговыхъ. Опасность усиливается. Ждемъ Опольцера.

9-го апрѣля.

Состояніе опасное продолжается. Ночь эта можетъ быть рѣшающею. Прописанныя средства произвели временное успокоеніе. Сонъ прерывается бредомъ. Временами больной узнаетъ окружающихъ. Опасность все та же.

10-го апрѣля.

Ночь безпокойная, съ бредомъ. Узнаетъ, отвѣчаетъ хорошо, но языкъ нѣсколько затрудненъ; опасность очень велика.

Большая слабость. Истощеніе опасное.

Государь прибылъ. Не могъ видѣть Цесаревича. При-

были королева Датская съ принцессою Дагмаръ и наслѣдный принцъ.

Вечеромъ, 10 часовъ. Государь имѣлъ утѣшеніе свидѣться съ Цесаревичемъ. Больной улыбнулся, увидѣвъ Отца, и нѣжно поцѣловалъ Ему руку.

11-го апрѣля.

Легкое тревожное состояніе. Быстрый упадокъ силъ. 24 часа безъ сна. Сегодня утромъ свиданія съ принцессою Дагмаръ и съ братьями. Опасность усиливается...

Это была послѣдняя телеграмма о больномъ.

Слѣдующая сказала Петербургу и Россіи, что ея возлюбленный Цесаревичъ тихо скончался на рукахъ убитыхъ горемъ родителей...

Эти 6 дней прожить было невыносимо тяжело...

На первой панихидѣ въ церкви Зимняго Дворца самые твердые люди плакали. Къ этимъ слезамъ примѣшивалась у всѣхъ необыкновенно тяжелая тоска, въ видѣ вопроса со дна недоумѣвающей души: зачѣмъ?

Потомъ пришли облегчившія нѣсколько душу подробности о томъ, какъ умирающій Цесаревичъ встрѣтилъ смерть съ ясною и покорною душою; какъ Онъ, исповѣдавшись, пріобщился, какъ Онъ символически прощался со своею невѣстою и съ своимъ дорогимъ Преемникомъ, какъ Онъ прощался съ Родителями, и какъ, умирая, создалъ вокругъ своей постели атмосферу мира и свѣта.

Такъ кончилась эта прекрасная жизнь, столь богатая надеждами и обѣщаніями; такъ умеръ этотъ расцвѣтшій цвѣтокъ въ минуту своего полнаго расцвѣта.

Государь позвалъ всѣхъ членовъ Семьи и у постели скончавшагося Цесаревича заповѣдалъ перенести надежды и любовь на новаго Наслѣдника Престола. Слезы Отца соединяясь со слезами Сына, сопровождали благословеніе,

которымъ Государь осѣнилъ Своего новаго Наслѣдника и преисполнили благоговѣніемъ всѣ сердца. Императрица своимъ видомъ раздирала душу и тревожила всѣхъ, ибо не могла плакать въ первые часы горя. Она казалась окаменѣвшею въ своемъ горѣ, и глядѣла на уснувшаго на вѣки любимаго Сына, какъ будто потухая Сама.

Когда всѣ вернулись изъ злополучной Ниццы, я узналъ отъ приближенныхъ покойнаго Цесаревича, что, по странному капризу судьбы, никогда онъ не былъ такъ свѣтелъ и такъ уменъ, какъ въ послѣдніе дни, предшествовавшіе роковому приступу смертельнаго недуга. Онъ цѣлые часы разговаривалъ о политическихъ предметахъ съ такою изумительною логикою и съ такою ясностью въ высказываемыхъ имъ мысляхъ, что слушавшіе его изумлялись его уму. Умъ, казалось, спѣшилъ достичь своего развитія, спѣшилъ высказаться подъ вліяніемъ молодой души, быть можетъ предчувствовавшей смертный часъ.

Въ эти дни, послѣ 12 апрѣля, любившіе и знавшіе близко Цесаревича собирались въ тѣсный кружокъ вспоминать и бесѣдовать о немъ.

Тогда каждый изъ насъ въ полномъ недоумѣніи стоялъ передъ тѣмъ тяжелымъ вопросомъ: зачѣмъ? о которомъ я говорилъ выше, ибо никто изъ насъ не могъ понимать сокровеннаго смысла этого печальнаго событія въ жизни Русскаго государства и мириться съ потерею для Россіи столь прекрасно приготовленнаго Наслѣдника Престола...

Но стали проходить года, стало печальною скорбію заволакиваться, какъ тучами время, стали усложняться и затрудняться условія жизни и требованія, предъявлявшіяся ими къ Русскому Престолу, и пришелъ день, когда въ событіяхъ можно было читать довольно ясно разъяс-

неніе тайны 12 апрѣля 1865 года и отвѣтъ на вопрос
столь томившій насъ тогда: зачѣмъ?

Два сосуда заключали въ себѣ ту же чистую и бл
готворную влагу; но одинъ былъ тонкаго хрусталя, др
гой былъ плотнѣе, слѣдовательно, и менѣе хрупокъ.
Пришли минуты, когда я понялъ, что сосуду изъ хру
каго хрусталя угрожала опасность отъ неумѣлаго и сует
ливаго обращенія съ нимъ многихъ—разбиться; а сосуд
изъ того же чистаго хрусталя, но болѣе твердаго и проч
наго предстояло не бояться обращенія съ нимъ челов
ческихъ рукъ—и русскій Промыслъ избралъ сосудъ болѣ
твердый, болѣе безопасный.

Я понималъ, что душа покойнаго Цесаревича был
подготовлена царствовать, но пришли дни, когда я по
нялъ, что она была слишкомъ нѣжна для ожидавшаго е
черстваго времени. Душа Его Брата не готовилась цар
ствовать, но она была готова не только устоять противу
времени, но побороть его и повести...

Новый Цесаревичъ съ двоими младшими своими
братьями вернулись въ Россію раньше Государя, так
какъ Ихъ Величества рѣшили нѣсколько времени, на
возвратномъ пути въ Россію, остановиться въ Дарм
штадтѣ, чтобы бѣдной Императрицѣ хотя немного прійт
въ себя въ новой обстановкѣ жизни.

Я поѣхалъ на Сиверскую станцію встрѣчать Великих
Князей. Когда на станцію прибылъ заграничный поѣздъ
и я, войдя въ вагонъ Великихъ Князей, просилъ камер
динера о себѣ доложить, Великій Князь Александръ Але
ксандровичъ вышелъ ко мнѣ на встрѣчу и обнялъ мен
съ такимъ чувствомъ, какого нельзя забыть. Всю дорог
Онъ мнѣ разсказывалъ въ мельчайшихъ подробностях
пребываніе свое въ Ниццѣ и всю пережитую ими драму

Я жадно слушалъ каждое слово и, глядя на лицо новаго Наслѣдника Престола, не могъ не поразиться перемѣною, происшедшею въ этомъ лицѣ. Въ первую минуту я сказалъ себѣ, что мнѣ это только такъ въ минуту волненія показалось, но потомъ, чѣмъ внимательнѣе я въ него вглядывался, тѣмъ сильнѣе убѣждался въ дѣйствительности этой перемѣны. Я понялъ тогда, что Онъ пережилъ въ Ниццѣ у изголовья умиравшаго Брата, дѣйствительно, глубокую драму. Онъ вернулся съ другою физіономіею: Онъ уѣхалъ съ лицомъ, выражавшимъ свѣтлое, доброе и полное спокойствіе души; я не помнилъ на этомъ лицѣ отраженій глубокой заботы.

Въ роковой вечеръ, когда я увидѣлъ его въ слезахъ, отъ полученныхъ изъ Ниццы извѣстій, въ его лицѣ было много горя, настоящаго горя, но это было дѣтское горе, разлитое, такъ сказать, по всему лицу. Видѣлъ я его иногда сердящимся или недовольнымъ, но и тутъ это были только цѣльныя тѣни на лицѣ, цѣльныя, хотя кратковременныя новыя освѣщенія.

Но въ эти полтора часа нашего свиданія въ вагонѣ я увидѣлъ передъ собою новое лицо. Исчезло дѣтское по беззаботности выраженіе, и на лбу, ближе къ глазамъ, къ переносицѣ, образовались тѣ складки, которыя измѣняли его физіономію, отражая, когда онѣ появлялись душевную заботу и умственное напряженіе. Тогда я увидѣлъ зародышъ этихъ признаковъ пережитой драмы, а потомъ, чѣмъ дальше, тѣмъ глубже эти складки на лбу стали врѣзываться въ его лицо. Измѣнился при этомъ и взглядъ Его: Онъ остался чистъ и свѣтелъ, осталось въ немъ чудное отраженіе Его душевной правды, но постоянно находили, какъ легкія тучки на ясномъ небѣ, тѣни задумчивости. И затѣмъ, я увидѣлъ, что исчезла

дѣтская беззаботная веселость и исчезла навсегда.
три раза, во время разсказа, слезы текли по лицу н
Цесаревича, и при этомъ глубокое впечатлѣніе прои
на меня тѣ слова, въ которыхъ Онъ высказалъ:
была эта драма для всѣхъ, кого она потрясла горем
чѣмъ она была для него одного. На меня, — гово
Цесаревичъ, — разомъ обрушивались два удара; вд
создавалось положеніе, страшное по тяжести, о кото
никогда я и во снѣ не могъ думать, и тутъ же я
шался моего единственнаго друга, руководителя и
ника!

Пріѣхали мы въ Царское Село. На станціи я вс
нилъ отъѣздъ покойнаго Цесаревича за границу м
года назадъ, вспомнилъ я и слова его при прощаньи,
торыми онъ поручалъ мнѣ своего брата, и въ эту т
лую минуту возставшихъ съ такою силою со дна д
воспоминаній я былъ возвращенъ къ дѣйствитель
голосомъ новаго Цесаревича. Онъ подошелъ ко м
сказалъ: «надѣюсь, что вы къ намъ пріѣдете, и
скорѣе, тѣмъ лучше, я вамъ приготовлю комнату.
сибо, что вы меня встрѣтили». Эти слова положили
чало отношеніямъ, которыя получили для меня зна
исполненія во всей его святости порученія покой
Цесаревича.

Они рѣшили участь моей жизни: я весь от
одной мысли и одному чувству; эта мысль и это
составляли цѣль моей жизни, и стали причиною
хорошаго и всего дурного, всего свѣтлаго и отрад
всего печальнаго въ моей жизни. Цѣль безконеч
тая, которая создалась, — волею - неволею дѣлала
чѣмъ-то болѣе опредѣленнымъ и личнымъ, чѣмъ
и это «что-то», въ свою очередь, создало для мен

е,—это отношенія къ людямъ подъ угломъ зрѣнія,
де для меня не существовавшимъ. Для меня новое
ое положеніе Великаго Князя Александра Алексан-
ича не измѣняло ни въ чемъ свойства и прелести
духовной личности, не поднимало, такъ сказать, цѣну
духовнаго существа; оно только обязывало къ боль-
святости и отвѣтственности въ отношеніяхъ къ нему;
ля другихъ эта земная перемѣна въ Великомъ Князѣ
няла и отношенія къ нему людей: онъ сразу очу-
я окруженный людьми, вчера не замѣчавшими его,
годня преисполненными желаній не только его отли-
и превозносить, но и быть имъ замѣченными. Тутъ
не съ отдѣльными людьми, случайными и мимохо-
ими, какъ прежде, приходилось имѣть дѣло: тутъ
ступало къ молодому человѣку, вдругъ измѣнившему
положеніе, цѣлое человѣчество, а человѣчество —
я страшная стихія!

Мнѣ живо тогда припомнился эпизодъ въ минувшую
, въ комнатахъ Великаго Князя Александра Але-
дровича. Онъ былъ на Государевой половинѣ. Въ
данiи его пришлось вести бесѣду съ двумя изъ его
лиженныхъ по службѣ лицъ: съ однимъ изъ имѣв-
ь обязанности по учебной части, а съ другимъ по
итательной части. Разговоръ зашелъ о Великомъ
вѣ. Помню, съ какимъ непріятнымъ чувствомъ я ото-
отъ нихъ, послѣ спора, въ которомъ одно изъ этихъ
ъ лицъ съ такимъ пренебреженіемъ и съ такимъ непо-
ніемъ личности Великаго Князя отзывался объ его
венной личности, сравнительно съ Его братомъ Це-
вичемъ. И что же! Не прошло мѣсяца послѣ возвра-
я новаго Цесаревича изъ Ниццы, какъ этотъ самый
вѣкъ, при встрѣчѣ со мною въ Царскомъ Селѣ, бе-

женія, съ которымъ глядѣла Мать на черты Сына, молясь и крестя Его прекрасное лицо.

Потомъ была другая минута, которую не легко забыть.

Когда кончилось погребеніе и у могилы остались только дежурства и министръ Двора графъ А. В. Адлербергъ, я взглянулъ на лицо графа Сергѣя Григорьевича Строгонова, попечителя покойнаго Цесаревича. Онъ изображалъ собою статую нѣмой покорности. Онъ стоялъ неподвиженъ у могилы, со взглядомъ, устремленнымъ на нее: ни одного движенія, ни одной перемѣны въ лицѣ. Поза эта и взглядъ этотъ выражали все, что должно было происходить въ его душѣ: подъ эти камни зарывался прахъ всего того міра надеждъ, трудовъ, успѣховъ и ярко-свѣтлаго будущаго, которому посвятилъ этотъ старикъ все свое существо! И глядя на это лицо изъ сѣраго мрамора, на которомъ ничего нельзя было прочесть, я вспомнилъ скевенингенское утро, когда Цесаревичъ сообщилъ ему съ такою нѣжною осторожностью извѣстіе о смерти старшаго сына и графъ Строгоновъ себя принудилъ надѣть маску неподвижнаго лица. Въ этой же маскѣ я увидѣлъ его годъ спустя у могилы его дорогого Николая Александровича, какъ онъ называлъ Цесаревича.

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

СТРАН.

I. (До 1850-хъ гг.). Мои родители.—Мое дѣтство дома.—Мое дѣтство въ училищѣ Правовѣдѣнія.—Первые училищные начальники и воспитатели 1

II. (Послѣ 1850—1853 г.). Мое отрочество въ стѣнахъ училища Правовѣдѣнія. — Директоръ Языковъ.—Инспекторъ Рутенбергъ. — Священникъ Богословскій.—Учителя.—Посѣщеніе училища Императоромъ Николаемъ I. 9

III. (1853—1854 г.). Крымская война.—Что говорилось о ней въ нашей семьѣ.—Муки Императора Николая.—Настроеніе Россіи. 17

IV. (1854—1855 г.). Ополченцы.—Послѣдній кадетскій выпускъ при Николаѣ I.—Прекрасныя черты патріотизма въ высшемъ обществѣ въ Петербургѣ.—Князь В. А. Долгорукій.—Князь Меньшиковъ. — Князь Горчаковъ.—Двѣ стороны тогдашняго военнаго міра 23

V. (1854—1855 г.). Смерть Корнилова.—Первое стихотвореніе Апухтина.—Смерть Императора Николая I.—Его сотрудники: Д. Г. Бибиковъ, графъ Клейнмихель, Киселевъ, графъ Нессельроде 33

VI. (1855—1857 г.). Наши профессора: И. П. Шульгинъ, Богословскій, В. В. Шнейдеръ, Неволинъ, Калмыковъ 45

VII. Новыя вѣянія.—Ланской.—Конецъ войны.—Коронація.—Послѣ коронаціи.—Увлеченіе Герценомъ 59

VIII. (1857 г.). Моя дружба съ П. П. Демидовымъ.—Его личность.—Нравы золотой молодежи. 73

IX. (1857 г.). Заключительныя впечатлѣнія передъ выпускомъ.—Нашъ классъ и наше товарищество.—Репетиціи.—Экзамены.—Нашъ Принцъ.—Первые дни свободы. 79

X. (1857 г.). Выходъ изъ училища на службу.—Характеристика нашихъ знаній и личностей.—Первыя служебныя впечатлѣнія.—Наше служебное начальство: графъ В. Н. Панинъ, Мих. Ив. Топильскій, Илличевскій.—Петербургское высшее общество.—Центры придворные 91

XI. (1858 г.). Мое поступленіе на службу въ полицію.—Персоналъ моихъ сослуживцевъ.—Мое начальство.—Графъ П. А. Шуваловъ, оберъ-полиціймейстеръ.—Мои служебныя похожденія 105

XII. (1858—1859 г.). Петербургскій свѣтъ.—Потемкинскій домъ.—Умныя гостиныя.—Валуевъ.—Его восхожденіе.—Д. Н. Замятинъ.—В. П. Бутковъ 125

XIII. (1859—1860 г.). Мой переходъ въ уѣздные судьи.—Дворянскій либерализмъ.—Михайловскій и Мраморный дворцы.—Ихъ политическое значеніе 135

XIV. (1859—1860 г.). Тогдашнее тихое настроеніе общества.—Элементы либеральные, элементы оппозиціи.—Вредное вліяніе Самарина и его сподвижниковъ.—Умственное движеніе въ среднихъ слояхъ общества 147

XV. (1861 г.). Настроеніе общества.—Мой отецъ какъ помѣщикъ.—Черта крестьянской благодарности.—Наканунѣ 19 февраля.—Толки и чувства.—Забытый вопросъ.—19 февраля.—Государь и Его впечатлѣнія.—Настроеніе внутри Россіи. 157

XVI. (1861 г.). Путешествіе Государя.—Приглашеніе въ Святыя Горы Потемкинныхъ.—Мои впечатлѣнія въ Святыхъ Горахъ.—Ожиданіе и приготовленіе къ пріѣзду Императрицы.—Пріѣздъ.—Впечатлѣніе.—Неожиданное прибытіе Государя. 169

XVII. (1861 г.). Поѣздка въ Крымъ.—Ливадія.—Старикъ графъ Бобринскій.—Мой первый литературный опытъ.—Чтеніе въ Ливадіи.—Графъ А. П. Шуваловъ.—Мое пожалованіе въ камеръ-юнкеры. 185

XVIII. (1861 г.). Пріѣздъ въ Царское Село.—Впечатлѣнія.—Первое знакомство съ Цесаревичемъ Николаемъ и его братьями.—Въ Петербургѣ мой эпизодъ съ редакціей «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей».—Графъ Блудовъ.—Эпизодъ съ Огрицко.—Обѣдъ у Замятиныхъ.—Старикъ Неклюдовъ . . 193

XIX. (1861 г.). Перемѣна службы.—Поступленіе къ П. А. Валуеву въ чиновники особыхъ порученій.—Валуевъ.—Графъ Сергѣй Григорьевичъ Строгоновъ.—Первый вечеръ у О. Б. Рихтера съ Цесаревичемъ въ Царскомъ Селѣ.—Мои впечатлѣнія. 203

XX. (1861 г.). Свѣтскія впечатлѣнія.—Барышни Смирновы.—Начало сезона.—Вечерній чай у О. Б. Рихтера въ Царскомъ Селѣ съ Цесаревичемъ.—Вел. Кн. Марія Николаевна. Ея сынъ Герцогъ Николай Максимиліановичъ Лейхтенбергскій.—Вел. Кн. Елена Павловна 213

XXI. (1862 г.). Мои служебныя командировки.—Поѣздка въ Архангельскъ и въ Каргополь.—Впечатлѣнія 223

стран.

XXII. (1862 г.). Весна. — Свиданіе съ Огрицко. — Кн. Долгоруковъ—шефъ жандармовъ. — Царское Село.—Приглашеніе на вечеръ во дворецъ.—Пожаръ въ Петербургѣ.—Толки.—Валуевъ. — Впечатлѣніе Наслѣдника.—Эпизодъ изъ придворной жизни.—Осень въ Царскомъ Селѣ.—Графъ Павелъ Шуваловъ 227

XXIII. (1862 г.). Проектъ полицейской реформы въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.—Роковое совпаденіе питейной реформы съ крестьянскою.—Русскій богъ.—Мысли Огрицко.—Его роль.—Начало польскаго мятежа.—Роль Вел. Кн. Константина Николаевича.—Его ошибка 241

XXIV. (1863 г.). Моя командировка въ Смоленскъ.—Тогдашніе страхи.—Пограничныя волости государственныхъ крестьянъ.—Волостные головы.—Какъ я исполнилъ порученіе.—Въ Москвѣ познакомился съ Катковымъ и Леонтьевымъ.—Моя аудіенція у митрополита Филарета.—Знакомство въ Петербургѣ съ К. П. Побѣдоносцевымъ. 257

XXV. (1863 г.). Мои бесѣды въ Царскомъ Селѣ съ Цесаревичемъ.—Отъѣздъ Цесаревича въ путешествіе по Россіи.—Мое постоянное сближеніе съ Вел. Кн. Александромъ Александровичемъ. — Письма Наслѣдника. — Его письмо съ Дону.—Оцѣнка путешествія Цесаревича.—Мой инцидентъ съ орденомъ. 269

XXVI. (1863 г.). Валуевъ и польскій вопросъ.—Дѣятельность Муравьева въ Вильнѣ.—Огрицко и Сѣраковскій.—Лѣтнія мои командировки.—Курскъ.—Имѣніе моего дяди, В. И. Карамзина 279

XXVII. (1863 г.). Мое сближеніе съ Герцогомъ Николаемъ Максимиліановичемъ Лейхтенбергскимъ. — Лекціи у него.—Земская реформа.—«Голосъ» и Валуевъ.—Валуевъ и «Московскія Вѣдомости».—Новый правительственный органъ «Сѣверная Почта».—Князь Горчаковъ 289

XXVIII. (1863 г.). Князь Суворовъ.—Корифеи Мраморнаго дворца.—Головнинъ, Зарудный и Рейтернъ 307

XXIX. (1863 г.). Типы: И. С. Мальцевъ, А. И. Муравьевъ, графъ Комаровскій, Ѳ. И. Тютчевъ и А. Ѳ. Тютчева 317

XXX. (1863 г.). Князь В. А. Долгоруковъ, графъ А. К. Толстой и графиня А. Д. Блудова 329

XXXI. (1863 г.). 6 декабря 1863 года.—Цесаревичъ, графъ С. Г. Строгановъ и графъ Б. А. Перовскій.—Два брата . . . 341

XXXII. (1864 г.). Поѣздка въ Кіевъ. — Генералъ-губернаторъ Анненковъ. — Старикъ Юзефовичъ.—Впечатлѣніе при объѣздѣ края. . . . . .

XXXIII. (1864 г.). Возвращеніе въ Петербургъ.—Пасха.—Весна.—Первые признаки болѣзни Цесаревича. — Его отъѣздъ

СТРАН.

границу. — Моя заграничная поѣздка.—Свиданіе съ Цесаревичемъ въ Скевенингенѣ.—Лондонъ.—Парижъ.—Второе и послѣднее свиданіе съ Цесаревичемъ въ Дармштадтѣ.—Его помолвка 369

XXXIV. (1864—1865 г.). Возвращеніе изъ-за границы.—Князь В. А. Долгоруковъ.—Земскія броженія умовъ.—Агитація и интриги противъ М. П. Муравьева. — Уходъ Муравьева.—Князь С. Н. Урусовъ. 409

XXXV. (1864—1865 г.). Рескриптъ министру юстиціи.—Добродушіе Д. Н. Замятина.—Эпизодъ Государя и Замятина по вопросу о несмѣняемости.—Валуевскіе рауты.—Государь и Его мысли.—Его разочарованіе.—А. Н. Мальцева.—Князь П. А. Вяземскій 427

XXXVI. (1865 г.). Весна.—Ухудшеніе болѣзни Цесаревича.—Отъѣздъ Государя въ Ниццу. — Послѣдніе дни Цесаревича.—Его кончина.—Новый Цесаревичъ.—Его возвращеніе въ Россію.—Похороны Цесаревича 443

Stanford University Libraries
3 6105 001 319 164
DK 73
219.6
M4A3
v.1

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

FEB 04 2000
MAR 27 2000